

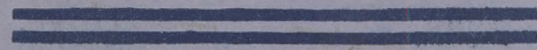
Н О В Ы Й
М И Р

|| 8 ||

Н О В Ы Й М И Р

|| 1957 ||

8



1957

НОВОЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXXIII

№ 8

Август, 1957 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
НЕСОКРУШИМО ЛЕНИНСКОЕ ЕДИНСТВО!	3
ИВАН МАКАРЬЕВ — О самом главном	
БОРИС ЛАВРЕНЕВ — Страницы из дневника	
ЛЕВ НИКУЛИН — Возвращаясь на Родину	
ЛЕВ ОШАНИН — Сила и мудрость партии	
НА СОРОКОВОМ ГОДУ. ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ	
М. БЕЛКИНА — Удэ	20
—	
М. ДЕМИН — Магистраль, стихи	39
КОНСТАНТИН ВАНШЕНКИН — Городские костры, стихи	43
ИННА ЛИСНЯНСКАЯ — Начало, стихи	44
АЛЕКСАНДР БЫЛИНОВ — Рота уходит с песней, повесть Окончание	47
ВИТЕЗСЛАВ НЕЗВАЛ — Из стихов разных лет. Переводы с чешского Д. Самойлова, В. Николаева, Леонида Мартынова	125
МАКС-ЛУИ ГАЛЛО — Горькая молодость, фрагменты из романа. Перевод с французского М. Кудинова	131
СОРОК ЛЕТ НАЗАД. АВГУСТ, 1917 год...	158
Я. ЛЕБЕДЕВ — Москва протестует	
И. ГРОНСКИЙ — У фронтовиков	
М. ЩЕДРИН — В «дикой дивизии»	
ИЗ ДОКУМЕНТОВ ТЕХ ДНЕЙ	
ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ	
КЛАРА ЦЕТКИН — Искусство и пролетариат	180
Кандидат исторических наук Е. БРОДСКИЙ — БСВ	188
ПУБЛИЦИСТИКА	
Инженер Г. РОВИНСКИЙ — Мысли об автомобиле	202
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
<i>Перечитывая книги...</i>	
Е. СТАРИКОВА — «Виринея» Л. Сейфуллиной	212

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
В. ГОФФЕНШЕФЕР — Революционная диалектика поэтического правосудия	216
ВЛ. ПИМЕНОВ — Разговор о драматургии (Заметки консультанта)	225
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	
Е. Ржевская. Пароль: Советский Союз!..— Илья Сельвинский. Стихи Дмитрия Кедрина.— Н. Грибачев. История капитана Кирибеева.— Владимир Дягилев. Первая книга.— С. Покровский. Новое исследование о Радищеве.— Анна Илупина. Гордость русского балета.— Н. Хохлов. Те Ги Чен — поэт и воин.	231
<i>Политика и наука</i>	
Кандидат химических наук О. Добролюбский. Великая задача химии.— И. Иноземцев, Поэт камня.— В. Гайдук. Во имя науки.— Кандидат экономических наук Д. Валентей. Миф о «народном капитализме».— Е. Немировский. В защиту книги.— Доктор медицинских наук В. Загорянская. От Гиппократа до Павлова.— Инженер М. Голей. Если мерить точной меркой...— И. Крупеников. Автор семисот научных трудов.	245
ОТГОЛОСКИ МИНУВШЕГО	
Из писем читателей.	261
РЕПЛИКИ	
Геннадий Фиш. «Музей села на открытом воздухе».	262
МЕЖДУ ПРОЧИМ...	
Александр Морозов. Поправка к поправке.— А. З. Шерлок Холмс, датчане и норманны.— Н. Трифонов. В защиту точности.	264
КОРОТКО О КНИГАХ	266
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	270



НЕСОКРУШИМО ЛЕНИНСКОЕ ЕДИНСТВО!

Все ближе славный праздник советского народа и миллионов его друзей во всем мире — сороковая годовщина Великой Октябрьской социалистической революции.

Сорок лет ветер стремительного движения к вершинам коммунизма наполняет наши светлые паруса. Мы приближаемся к цели, преодолевая враждебные бури, сметая все помехи на своем пути, создавая новую, справедливую жизнь и новые, несущие благо народу материальные ценности.

Недавно — в конце прошлого месяца — Центральное Статистическое Управление при Совете Министров СССР опубликовало сообщение об итогах выполнения государственного плана развития народного хозяйства СССР на 1957 год за первое полугодие.

В этом сообщении говорится: «В соответствии с Директивами XX съезда КПСС в первом полугодии 1957 года значительно увеличился объем промышленного производства. План первого полугодия по выпуску валовой продукции промышленности в целом по СССР выполнен на 104 процента».

И в конце, после многих столбцов цифр, с внешней бесстрастностью повествующих о фактах, исполненных огромного патетического звучания, сообщение лаконично констатирует: «Итоги выполнения государственного плана развития народного хозяйства СССР в первом полугодии 1957 года свидетельствуют о дальнейшем росте экономического могущества Советского государства и о мощном трудовом подъеме советского народа, готовящегося встретить 40-летие Великого Октября новыми успехами в борьбе за осуществление исторических решений XX съезда КПСС».

Каждая новая сводка ЦСУ снова и снова напоминает о замечательной особенности социалистической экономики. Эта особенность выражается в том, что развитие нашего народного хозяйства происходит в непрерывном поступательном движении, — год от году наращивая темпы и не испытывая на себе никаких угроз, никаких кризисов, характеризующих кривую экономической жизни капиталистических стран.

И, однако, именно в этом году, несмотря на многолетнюю, так сказать, привычку к стремительному ритму этого поступательного движения, мы по-особому ощутили его силу и его результаты.

Масштабы социалистической промышленности стали такими, что они настоятельно потребовали новой организации руководства всей промышленной деятельностью. Ленинская демократизация управления промышленностью, улучшение социалистического планирования, упрощение и рационализация всей системы управления, приближение его непосредственно к производству, максимальный учет повседневных насущных нужд народа — нужд каждой семьи, — все это нашло свое выражение в создании экономических районов и организации советов народного хозяйства. В основе своей совнархозы сохраняют и развивают ленинский принцип руководства народным хозяйством и одновременно отвечают новым, неизмеримо возросшим масштабам социалистического производства.

Именно в этом году, в результате достигнутого за последнее трехлетие крутого подъема сельского хозяйства, стало возможным выдвижение такого смелого и вместе с тем такого конкретного и реального лозунга, как призыв нашей партии и правительства в короткие сроки догнать США по производству мяса, молока и масла на душу населения. Вот цифры одного только года: с 1 июля 1956 года по 1 июля 1957 года поголовье крупного рогатого скота в колхозах и совхозах возросло на три миллиона, свиней — больше чем на пять миллионов, а овец и коз — почти на пять миллионов. Производство мяса в первом полугодии 1957 года по сравнению с первым полугодием 1956 года воз-

росло на тридцать процентов, а молока — на двадцать шесть. Разве не говорят эти цифры о реальности призыва, горячо подхваченного всеми работниками сельского хозяйства? А ведь это только начало, и мы хорошо знаем, что не только абсолютные цифры, но и прежде всего самый темп их увеличения будет стремительно возрастать с каждым годом.

Благосостояние каждой семьи, каждого советского человека — вот мерило, которым партия мерит наши хозяйственные успехи. Да и не только хозяйственные. Разве ослабление международной напряженности, ослабление угрозы войны не является фактором, укрепляющим благосостояние каждого отдельного человека? Разве не являются фактором в борьбе за это благосостояние день ото дня крепнущие связи стран социалистического лагеря, дружно сотрудничающих на основе равенства и взаимно уважимо-го суверенитета, на основе стремления к общей цели в борьбе за торжество коммунизма?

Двадцатый съезд КПСС развернул перед страной и народом грандиозную программу движения вперед, охватывающую все области нашей народнохозяйственной и идеологической жизни, восстанавливающую ленинские нормы внутрипартийной жизни, укрепляющую связи партии с массами.

Эта программа была поддержана всем народом горячо и единодушно. Идеино-политическое и организационное единство партии, ее непрерывно крепнущие связи с массами трудящихся обеспечили дальнейшее укрепление боеспособности партийных организаций и повышение их руководящей роли во всех областях жизни советского общества. Благодаря этому партия за короткий срок добилась новых крупных успехов в развитии промышленности и сельского хозяйства.

Опираясь на непоколебимое единство своих рядов, на поддержку всего народа, партия настойчиво проводит ленинскую внешнюю политику, неутомимо борется за укрепление мира во всем мире, за ослабление международной напряженности.

Однако в обстановке всеобщего вдохновенного созидательного подъема нашлись люди, которые не оправдали доверия партии, поставившей их на высокие руководящие посты. Они попытались сопротивляться мероприятиям партии и правительства, стали на путь фракционной деятельности и мешали нашему движению вперед.

Тому, как надо бороться с фракционерами, как решительно и беспощадно нужно избавляться от раскольников, учил партию великий Ленин. И ленинская твердость и ленинское единство были снова и снова продемонстрированы Центральным Комитетом КПСС 22—29 июня 1957 года в ходе обсуждения вопроса «Об антипартийной группе Маленкова Г. М., Кагановича Л. М., Молотова В. М.».

Это они — Маленков, Каганович, Молотов и примкнувший к ним Шепилов — упорно сопротивлялись и созданию экономических районов, возглавляемых советами народного хозяйства, и расширению прав союзных республик, и планам освоения целинных земель, и решению об отмене обязательных поставок сельскохозяйственных продуктов государству хозяйствами колхозников, рабочих и служащих, и мероприятиям, направленным к ослаблению международной напряженности, к сотрудничеству стран лагеря социализма и к мирному сосуществованию социалистических и капиталистических стран.

В постановлении Пленума ЦК КПСС сказано: «В то время, как рабочие, колхозники, наша славная молодежь, инженерно-технические и научные работники, писатели, вся интеллигенция единодушно поддержали мероприятия партии, проводимые на основе решений XX съезда КПСС, когда весь советский народ включился в активную борьбу за претворение в жизнь этих мероприятий, когда наша страна переживает мощный подъем народной активности и прилив новых творческих сил, — участники антипартийной группы остались глухими к этому творческому движению масс».

Разоблачив антипартийную деятельность группы фракционеров и раскольников и руководствуясь интересами всемерного укрепления ленинского единства партии, Пленум Центрального Комитета КПСС, как известно, единодушно принял решение о выводе из состава членов Президиума и из состава ЦК Маленкова, Кагановича и Молотова и о выводе Шепилова из состава кандидатов в члены Президиума и из состава ЦК.

Вся партия, весь советский народ приветствовали это решение, справедливо расценивая его как новое свидетельство несокрушимости партии, ее монолитной целостности, ее ленинского единства.

Вместе с тем решительный удар, нанесенный Центральным Комитетом по антипартийной группе, напоминает всем советским людям об остроте идейной борьбы, о бдительности, о необходимости своевременно разгадывать любые проявления ревизионизма и давать им боевой отпор.

Мы воспринимаем постановление ЦК также и как напоминание о наиболее острых, наиболее насущных задачах советской литературы.

Находясь у руководства идеологической областью, примкнувший к фракционерам Шепилов вел себя как двурушник и мешал нормальному развитию советской литературы. В своих публичных выступлениях и особенно в практической работе Шепилов примиренчески относился к нездоровым тенденциям, которые проявились у некоторых писателей и деятелей искусства. Узко, однобоко, неохотно касался он в своих выступлениях такого важнейшего для творчества художников вопроса, как ленинский принцип партийности. Говоря только о вульгаризации этого принципа в практике некоторых искусствоведов, Шепилов создавал впечатление, будто бы вообще разговор о связи искусства с политикой надо расценивать как упрощенчество, вульгаризаторство. После разоблачения фракционной деятельности Шепилова такая его позиция не может показаться случайной.

На собрании писателей выступавшие говорили, что Шепилов своим двурушничеством дезориентировал литературную общественность и, в частности, литературную печать.

Борьба против политической глухоты, мешающей услышать творческое движение масс, необходимость яркого художественного отражения нарастающего созидательного процесса, пестующая забота о повседневно возникающих ростках нового и прежде всего неразрывная связь литературы с партией — разве не об этом неустанно говорил еще А. М. Горький, определяя главные особенности метода социалистического реализма?

Быть с партией, быть с народом в его самоотверженном труде, раскрывать содержание и смысл наших побед и помогать осмыслению еще не решенных задач, видеть и показывать главные силы, способствующие нашему безостановочному движению по пути коммунизма и помогающие ускорить это движение, — вот долг советского писателя и конкретное сегодняшнее содержание ленинского принципа партийности литературы.

«Пишите правду!» — к этому всегда призывала и призывает писателей партия. Эти мудрые, простые и ясные слова всегда выражали направление и суть партийного руководства литературой и искусством.

Правда нашей жизни. Она в героическом порыве советской молодежи, которая, откликнувшись на призыв партии, помогла в течение одного года вырастить на земле, от века не испытывавшей на себе благодетельной силы человеческого труда, миллионы пудов нового хлеба. Она во всех проявлениях творческого созидания, которое приводит в движение гигантские турбины новых гидроэлектростанций на таежных реках, дает сверхзвуковую скорость советским самолетам, облегчает новыми машинами труд строителей домен и станков и труд горняка, добывающего уголь. Наша правда — в наших великих идеях, вселяющих надежду в сердца миллионов людей на земле, жаждущих мира и справедливости.

Показать эту правду и ее знаменосцев, раскрыть красоту и силу духа творцов социалистического общества и новые черты их характера — вот задача, поставленная перед литературой народом и партией. И за величие этой доверенной ему задачи должен быть признателен каждый писатель, посвящая решению ее все свои творческие силы.

Правду нужно искать не в закоулках жизни, не на искривленных боковых ее тропинках, а на главной магистрали движения — там, где уверенно движутся к цели передовые отряды строителей коммунизма.

Быть в рядах пролагателей путей, отважно вести с ними вместе разведку боем, согласовать воедино веления партии, народа и веления своего сердца — в этом наивысшее творческое счастье художника.

ИВАН МАКАРЬЕВ

О САМОМ ГЛАВНОМ

Свыше полувека назад, борясь за создание партии нового типа — партии большевиков, В. И. Ленин писал:

«Мы идем тесной кучкой по обрывистому и трудному пути, крепко взявшись за руки. Мы окружены со всех сторон врагами, и нам придется почти всегда идти под их огнем. Мы соединились, по свободно принятому решению, именно для того, чтобы бороться с врагами и не оступаться в соседнее болото, обитатели которого с самого начала порицали нас за то, что мы выделились в особую группу и выбрали путь борьбы, а не путь примирения».

Пятьдесят пять лет прошло с тех пор, как написаны эти слова. Изменилась обстановка, наша партия стоит во главе могучего, первого в мире социалистического государства, но принципы ленинской партии, выраженные в этих прекрасных словах, остаются незабываемыми. И сейчас мы идем по трудному, неизведанному пути, и сейчас нам приходится идти под огнем врага, — и сейчас единство партии является основным условием нашего движения вперед.

И именно об этом, о самом главном и дорогом — о единстве партии, — думаешь в дни побед и в дни трудных испытаний, на переломных этапах нашего развития и в повседневной будничной работе.

Вот почему с таким волнением каждый из нас воспринял сообщение о работе июньского Пленума ЦК и постановление этого Пленума об антипартийной группировке Маленкова, Кагановича, Молотова и прикнувшего к ним Шепилова, пытавшихся поколебать единство партии и зачеркнуть решения XX съезда.

* *
*

Последние восемнадцать лет мне пришлось провести на 70-й параллели, где в голой бесплодной тундре мы, советские люди, построили огромный комбинат и большой прекрасный город. Работа была тяжелая. Многие из нас работали в особо трудных условиях, но все эти годы нами владело чувство, которое так чудесно, просто и точно выразил Юлиус Фучик: «Не может быть таких обстоятельств, при которых коммунист мог бы перестать быть коммунистом».

Мне посчастливилось вернуться в Москву и участвовать в собраниях, обсуждавших решения XX съезда партии. Вся партия и весь советский народ восторженно приветствовали то бесстрашие и мужество, с которым ленинский Центральный Комитет выступил с критикой прошлых ошибок, связанных с культом личности, за восстановление ленинских норм, за коллективность руководства, за упрощение нашего аппарата, за нормализацию международных отношений, за предотвращение угрозы войны, за мир между народами. Каждый из нас помнит эти незабываемые, волнующие собрания, на которых веял ленинский дух XX съезда. Вся партия и весь народ приветствовали продемонстрированное XX съездом единство партии и ее руководства. Вся партия и весь народ приветствуют и поддерживают работу ЦК, так как она исходит из интересов народа и направлена на улучшение жизни народа.

И вот в это время находится кучка людей, которая хочет зачеркнуть решения XX съезда, повернуть партию назад, к вчерашнему дню.

Жалкая попытка!

Чем можно объяснить, что четверо людей, облеченных высоким доверием партии, скатились к раскольнической деятельности?

Только тем, что они оторвались от народа и его жизни, барски зазнались и привыкли считать себя несменяемыми, считали, что партийный устав написан не для них и на них не распространяется.

Только тем, что, как говорится в решении Пленума ЦК, «они находились и находятся в плену старых представлений и методов, оторвались от жизни партии и страны, не видят новых условий, новой обстановки, проявляют консерватизм, упорно цепляются за изжившие себя, не отвечающие интересам движения к коммунизму формы и методы работы, отвергая то, что рождается жизнью и вытекает из интересов развития советского общества, из интересов всего социалистического лагеря».

И еще тем, что они знали о своей ответственности за многое в недалеком прошлом и, как трусы, боялись разоблачения и поэтому упорно за это прошлое цеплялись.

Лицемерно болтая о коллективности руководства, они готовили заговор против этого коллективного руководства. Зазнавшиеся вельможи, ослепленные собственным прошлым «величием», они барски игнорировали Пленум ЦК и считали, что могут «вершить дела» за ЦК и без ЦК.

Июньский Пленум Центрального Комитета КПСС снова показал, что коллективное руководство существует на деле, и поступил с зарвавшимися раскольниками, пытавшимися поставить себя над Пленумом, так, как учил партию поступать в таких случаях Ленин. И единогласно Пленум ЦК принял решение о выводе участников антипартийной группы из состава ЦК. Партия единодушно поддержала это решение.

Эта кучка оторвавшихся от жизни и от народа людей презрительно морщила нос, когда партия засучив рукава боролась за освоение десятков миллионов гектаров целинных земель. Они пытались сорвать гигантскую перестройку управления народным хозяйством, издевались над призывом перегнуть Америку по производству мяса, молока и масла на душу населения. Они не поняли того, что именно это и есть на данном этапе конкретная борьба за коммунизм.

Раскольники забыли слова Ленина, как будто специально сказанные о них:

«Кому «скучна», «неинтересна», «непонятна» эта работа, кто морщит нос или впадает в панику, или опьяняет себя декламацией об отсутствии «прежнего подъема», «прежнего энтузиазма» и т. п., — того лучше «освободить от работы» и сдавать в архив, чтобы он не мог принести вреда, ибо он не желает или не умеет подумать над своеобразием данной ступени данного этапа борьбы».

Пленум ЦК выполнил это указание Ленина.

* *
*

А. П. Чехов в своем бессмертном рассказе «Человек в футляре» дал незабываемый образ человека, боящегося действительности, оторванного от нее.

«Всякого рода нарушения, уклонения, отступления от правил приводили его в уныние... Для него были ясны только циркуляры и газетные статьи, в которых запрещалось что-нибудь. В разрешении же и позволении скрывался для него всегда элемент сомнительный, что-то недосказанное и смутное... Под влиянием таких людей, как Беликов, за последние пятнадцать-двадцать лет в нашем городе стали бояться всего. Боялись громко говорить, посылать письма, знакомиться, читать книги, учить грамоте».

Непреложным для Беликова было только прошлое, привычное и неизменяющееся.

«Действительность раздражала его, пугала, держала в постоянной тревоге, и, быть может, для того, чтобы оправдать эту свою робость, свое отвращение к настоящему, он всегда хвалил прошлое».

Как похожи на Беликова участники антипартийной группы — Маленков, Каганович, Молотов и Шепилов, — цепляющиеся за окостеневшее прошлое.

Нет, в карете прошлого далеко не уедешь!

Могучее, освежающее половодье прошло по стране после XX съезда, свежий ленинский ветер прочистил затхлые закоулки, вымел сектантский сор и догматическую заваль, разметал сусальную мишуру культа личности. И это необратимый процесс! Жалкие потуги кого бы то ни было остановить эти вешние воды, закрыть шлюзы обречены на провал.

Партия бесстрашно рассказала народу правду о многих горьких вещах. И народ понял это и еще больше объединился вокруг партии.

В отчетном докладе ЦК XX съезду Н. С. Хрущев говорил: «...Партия не должна бояться говорить народу правду о недостатках и трудностях нашего продвижения вперед. Кто боится признания ошибок и слабостей, — тот не революционер. Нам нечего скрывать свои недостатки, ибо наша генеральная линия верна, дело коммунистического строительства растет и побеждает, а недостатков станет тем меньше, чем шире будут привлекаться массы к борьбе с ними... У нас не было бы многих недостатков, против которых мы ведем сейчас борьбу, если бы в свое время в отдельных звеньях партии не распространялись настроения самоуспокоенности, попытки приукрасить действительное положение дел».

Сейчас, после июньского Пленума ЦК, стало ясным, насколько к этому приукрашиванию приложили в свое время руку участники антипартийной группировки.

* *
*

Буквально отвращение вызывает попытка некоторых участников антипартийной группы спекулировать на вопросах литературы.

Самое смешное в том, что эти консерваторы и догматики пытались выступить с левыми фразами, начиная с либерально-обтекаемых высказываний Шепилова и кончая прямыми выпадами против руководства партии литературой.

Но «что им Гекуба, и что они Гекубе?»

Они не поняли и не поймут главного: литература живет жизнью народа и страны.

Писатель, если только он
Волна, а океан — Россия,
Не может быть не возмущен,
Когда возмущена стихия.

Именно в этом — в связи с живой жизнью, в бесстрашном раскрытии специфическими методами искусства противоречий действительности, именно в этом — сила нашего социалистического искусства и литературы. Именно в этом, а не в иллюстраторстве и не в выполнении «руководящих» указаний Маленкова о «типическом»...

Искусство несовместимо с консерватизмом, сектантством, догматизмом и косностью, которые являются отличительными чертами антипартийной группы Маленкова, Кагановича, Молотова и Шепилова.

Здесь — смерть искусства.

Двадцатый съезд и его решения — вот что определяет дальнейший путь развития нашей литературы. Июньский Пленум ЦК и его решения, наносящие удар по всему отсталому, затхлому и косному, раскрывают еще более

широкие горизонты перед нашей литературой. Вот почему каждый честный литератор с таким возмущением выступает против демагогических попыток антипартийной группы использовать литературу для нападков на руководство партии.

Позиция нашей литературы совершенно ясна.

Ее прекрасно определил Н. С. Хрущев в отчетном докладе ЦК на XX съезде партии:

«Партия вела и впредь будет вести борьбу против неправдивого изображения советской действительности, против попыток лакировать ее или, наоборот, охаивать и порочить то, что завоевано советским народом. Творческая деятельность в области литературы и искусства должна быть проникнута духом борьбы за коммунизм, вселять бодрость в сердца, твердость убеждений, развивать социалистическую сознательность и товарищескую дисциплину».

С этого намеченного партией пути никто нашу литературу не свернет!

БОРИС ЛАВРЕНЕВ

СТРАНИЦЫ ИЗ ДНЕВНИКА

7 марта 1957 года.

Читал нужные для работы комплекты газет, следил за тем, как трудно и медленно изменялась — но неуклонно изменялась, и притом к лучшему! — международная обстановка, и вспомнил, между прочим, любопытный эпизод из прошлогодней поездки в Югославию. Мы были первой делегацией советских писателей, посетивших Югославию после ликвидации длительного и тягостного недоразумения между братскими странами.

Личный контакт нашего государственного руководства с государственными деятелями Югославии привел к восстановлению взаимопонимания, к возрождению исконной дружбы двух славянских народов. Эта дружба возникла много лет назад на базе общих интересов, была скреплена кровью, пролитой в героических боях за свободу Сербии в 1877—1878 годах, в борьбе за самосуществование Сербии, а впоследствии Югославии, против кайзеровских полчищ в первую мировую и против немецко-фашистских орд в Великую Отечественную войну.

Люди Югославии, с которыми приходилось встречаться, с горечью говорили о бессмысленном разрыве дружеских связей и радовались восстановлению дружеских отношений.

За исключением небольшой группки югославской интеллигенции, ориентирующейся на «западную культуру» и кичащейся своей «левизной», заимствованной в уездных захолустьях Франции, — «левизной», которая кажется нам забавным анахронизмом, обветшалым и жалким, — люди Югославии повсюду, где мы были, — в Белграде, Загребе, Любляне, Дубровнике, Сараеве, Цетинье — принимали нас, как желанных гостей. Мы не во всем до конца понимали друг друга, иногда расходились в понимании задач и путей искусства и литературы, спорили, но спорили, как друзья.

Покидали мы Югославию с радостной уверенностью, что умная, дальновидная политика нашего государственного руководства вернула нам восемнадцать миллионов друзей.

В день нашей поездки на сказочно прекрасные Плитвицкие озера я подарил нашим двум водителям маленькие эмалевые жетоны-сувениры с барельефным профилем Ленина. Когда после пешей прогулки по берегам

озер мы вернулись к гостинице, где нас ждали машины, я увидел возле них скопление оживленно беседующих людей.

Увидев нас, один из водителей со сконфуженной улыбкой объяснил, что, заметив на его пиджаке жетон с изображением Ленина, водители машин, привезших других туристов, пожелали получить такие же жетоны. Я выложил из кармана оставшиеся пять жетонов, которые были тут же разыграны на узелки.

Тогда ко мне направился один из водителей, которому не повезло в этой необычной лотерее. Это был красивый, как большинство молодых югославов, парень лет двадцати пяти, одетый в замшевую курточку ярко-лимонного цвета и светло-синие рубчатого вельвета брюки, и, энергично жестикулируя, при помощи немыслимой смеси хорватских, русских и французских слов выразил свое неудовольствие тем, что он оказался обойденным. Он настаивал, чтобы я поискал в кармане, — может быть, там остался еще один жетон.

— Вы коммунист? — спросил я.

Он замахал на меня руками.

— Никако... Иесам неспособан до политика!

— Почему же вы так хотите иметь портрет Ленина?

Тогда горячо, захлебываясь словами, он объяснил, что совсем не надо быть коммунистом, чтобы любить Ленина, что Ленин хорош для всех, у кого такие вот руки. И вывернул ладонями кверху руки в пятнах смазочного масла, с мозолями...

И я подумал, что в каждой стране много людей с такими руками и что все эти руки с доверием и надеждой тянутся к Ленину. Чем полнее эти люди будут узнавать правду о нас и нашей Родине, тем больше дружеских рук протянется к нам с сердечным рукопожатием.

29 апреля.

Опять зашел разговор о Ленине. Что ж удивительного — жизнь напоминает о нем непрерывно. Тут и повседневные факты воплощения в конкретные дела решений XX съезда КПСС, и первое присуждение Ленинских премий, и памятные даты, которые сейчас, в канун сорокалетия Октября, заставляют вспоминать о нем и вновь переживать прошлое с особой остротой и яркостью, до малейших деталей. ...Говорили о мощи ленинской мысли, о ее простоте и ясности, которая делала ее доступной и понятной любому, самому неискушенному в политике человеку.

Мне лишь один раз удалось слышать Ленина, говорящего с балкона дворца Кшесинской. Особенно поразила вещественность его речи. Она была просто осязатима, как что-то живое. В ней не было ни одного пустого слова, сказанного просто так, для красоты. Все, что он говорил, как бы обращалось в совершенно реальные предметы. Ленин обладал непревзойденным, поразительным умением превращать теорию в практику. На заложенной Марксом основе гений Ленина создал не только теорию государства Советов, но и блестяще реализовал ее, эту теорию.

Вся история того, как возникало, укреплялось и побеждало наше небывалое в истории государство — эта совершенная система народоправства, — неразрывно связана с существованием созданного у самой колыбели революции гениального плода ленинской теоретической мысли, книги «Государство и революция».

И ведь надо помнить, в каких условиях была написана эта необыкновенная книга: в обстановке постоянной тревоги, в глубоком подполье, с повседневным риском очутиться в лапах шпиков Керенского...

К Ленину более всего приложимы прекрасные строки лермонтовского «Мцыри», созданные гениальным юношей поэтом: «...он знал одной лишь думы власть, одну, но пламенную страсть».

Одна дума владела нераздельно Лениным в течение всей его жизни — дума о счастье миллионов трудящихся. Этой думе он отдал себя целиком, и потому все мы с глубочайшим волнением и уважением склоняем голову перед силой ленинского духа, перед этой прекрасной одержимостью и страстностью ленинского творческого гения.

Гигантский интеллект Ленина великолепно осознавал огромное значение для будущего страны интеллектуального роста народа. Думается, что вопросам народного образования Ленин придавал не меньшее значение, чем электрификации страны. И если бы он мог сейчас увидеть наши дни, он был бы глубоко удовлетворен сказочным превращением бывшей темной, неграмотной России в страну передовой, широко распространенной в массах культуры.

В сущности говоря, сегодня у нас понятие «интеллигенции» как некоей межуточной прослойки между антагонистическими классами угнетателей и угнетаемых более не существует. Весь народ постепенно становится советской интеллигенцией в лучшем смысле этого слова, интеллигенцией принципиально нового типа — пытливой, смелой, ищущей во всем и всюду новых, неистоптанных дорожек, не останавливающейся перед препятствиями, умеющей на основе марксистско-ленинской теории практически решать любые сложнейшие проблемы.

20 мая.

Три с половиной часа просидел у меня К. Рассказывал о реорганизации управления промышленностью, об уничтожении разросшегося в кое-каких наших учреждениях бурьяна бюрократизма, глупой грызни между ведомствами.

И мне припомнилась история, которую я до войны имел удовольствие ежегодно наблюдать летом в Коктебеле. Друзья, впрочем, уверяли, что и после войны ничего не изменилось.

Известно, что в Черном море водится такая вкусная рыба — кефаль. За нею усердно охотятся рыбаки всего Крымского побережья, ее ценят как лакомство и метрдотели ресторанов и домашние хозяйки.

В Коктебеле существовал рыболовецкий колхоз, вернее — рыболовецкая артель при колхозе. Кефаль ходит в море, как сельдь, большими косяками и любит заходить в тихие бухты, вроде коктебельской. Рыбакам нужно не упустить момента такого захода косяка, чтобы вовремя перехватить ему путь сетями. Для наблюдения за ходом кефали в море, метрах в ста — ста пятидесяти от берега, устанавливаются треноги-вышки, на которых дежурят рыбаки. Как только заметят косяк, дают сигнал на берег. В море выходит баркас, заводит сеть и начинает подтягивать захваченный косяк к берегу.

До сих пор, казалось бы, все идет нормально, как положено. Но с той минуты, когда кефаль загоняли в заливчик у рыбацких шалашей, началось нечто несусветное и непонятное.

По допотопному телефонному аппарату, похожему на старую шарманку, каким, несомненно, пользовался легендарный царь Горох, председатель колхоза пытается вызвать рыбоприемный пункт в Феодосии, находящийся в семнадцати километрах. Известно, что порой легче бывает поговорить по телефону из Москвы с Рио-де-Жанейро, чем из Коктебеля с Феодосией. Похудев и охрипнув в тщетных попытках дозвониться, председатель посылает в Феодосию конного нарочного...

Кефаль — рыба не только вкусная, но и чрезвычайно нежная. Плена она не выносит и немедленно начинает засыпать. Уже часа через два после захвата в сеть отдельные экземпляры начинают всплывать вверх брюхом. Улову грозит гибель. Кажется, чего проще — чтобы рыба не погибала зря, тут же на месте продать ее местным домам отдыха и своим

же колхозникам. Но не тут-то было. Весь улов должен быть сдан рыбоприемному пункту в Феодосии для «дальнейшего следования».

Когда наконец нарочный прибывал в Феодосию и за кефалью высылалась баржа на буксире катера, половина кефали в коктебельской бухте уже спала вечным сном. Когда баржа добиралась до Феодосии, от нее несло падалью, как из морга. Тогда открывалось дно и улов спускался в море, отравляя воду. Но, если даже рыбу и удавалось довести до Феодосии живой, ее странствия еще не кончались. Погруженная в вагоны-рефрижераторы, она отправлялась куда-то на север, так как, по объяснению абригенов, ближайший консервный завод в Симферополе занимался фруктами и овощами, а для крымской рыбы в Крыму не было ничего подходящего. Так и возили кефаль на переработку «от пламенной Колхиды до хладных финских скал», а треску — в обратном направлении.

Случалось такое не только на берегах Черного моря и не только с уловом кефали. Доводилось читать в газетах о том, как производство необходимых стране изделий задерживалось на долгие сроки, ибо детали этих изделий изготовляли разные, «чужие» друг другу по прежнему организационному делению ведомства. И какие же тогда монбланы бумажного утиля рождала многомесячная бесплодная переписка между ними! Не один фельетон бывал посвящен историям, которые возникали, если между руководящим одним ведомством Иваном Ивановичем Перерепенко и главой другого ведомства Иваном Никифоровичем Довгочуном пробегала черная кошка...

Есть все основания полагать, что новая организация управления народным хозяйством покончит со всеми подобными неурядицами.

Ведь у нас накоплен огромный опыт умного и дальновидного планирования, огромный опыт мудрого руководства всей народнохозяйственной жизнью. Именно благодаря этому опыту мы могли от пятилетки к пятилетке убыстрять темпы развития во всех областях нашего хозяйства. И именно этот плодотворный опыт, проверенный и подтвержденный всей историей советского народа, создал основу для нынешних усовершенствований, для создания экономических районов с совнархозами во главе и тем самым для дальнейшего закрепления всего лучшего, что мы накопили за сорок лет, для уничтожения всех и всяческих искривлений и неполадок — для того, чтобы с еще большей охотой и еще большими результатами работали золотые руки рабочих и колхозников.

25 июня.

Поезд подходил к Москве ранним утром. На запыленной траве вдоль путей сверкали, переливаясь, брызги росы. В раскрытое окно вагона влетал смешанный теплый дух паровозного дыма и влажной листвы.

Проскочили Царицыно-дачное. Налюбовавшись серебряным блеском прудов, я обратил внимание на крыши. Они были буквально обсажены телевизионными антеннами, как молодые бульвары деревьями. Отдельные антенны начали встречаться в деревнях еще километров за сто пятьдесят от Москвы. Ближе к ней они становились все гуще и гуще, обратившись наконец в сплошную металлическую заросль над домами.

Полвека тому назад я ежегодно четыре раза проезжал по этой же Курской дороге, из дому в университет и обратно на каникулы. Полвека на циферблате часов истории человечества равны примерно одной двухмиллионной секунды. И как все изменилось за этот ничтожно краткий миг!

Никакому Жюльо Верну, никакому Уэллсу, написавшему «Россию во мгле», не могли присниться такие перемены.

В русской деревне, где пятьдесят лет назад не в каждой избе можно было найти керосиновую лампу, где освещались ветхозаветной лучиной,

ложились спать с заходом солнца, где ничего не знали о событиях, происходящих за околицей какой-нибудь Обираловки, сегодня радио и телевизор стали такими же обычными предметами бытового обихода, как прежде топор и грабли.

В заботе о росте материального благосостояния страны Коммунистическая партия поставила на очередь проблему освоения огромных пространств пустующих, никогда не тронутых плугом целинных земель Родины. Народ с великим духовным подъемом отозвался на призыв партии решить в кратчайший срок эту первостепенной важности задачу, которая дает возможность создать новые неисчислимы резервы хлеба.

И, как всегда, как в годы первых пятилеток, за трудное дело взялась замечательная советская молодежь. Молодежь, которая в свое время преграждала вольное течение рек плотинами Волховстроя и Днепро-строя, первенцев ленинской электрификации, создававшая новые города в пустынях и тайге. И задача, казавшаяся многим невероятно трудной и почти фантастической, была решена быстро и успешно. Золотой поток зерна потек на склады и элеваторы. С каждым годом этот золотой поток, основа жизни, будет увеличиваться, как будут с такой же быстротой увеличиваться запасы мяса, молока, масла и других продовольственных продуктов.

В деревне, которая еще так недавно не имела врача и лечилась у знахарей, где в одиночку мучился под властью тупых волостных старшин и урядников герой-труженик народный учитель, сея семена знаний в полуразвалившейся избе без печей и стекол в окнах, сегодня есть отличные больницы и школы, есть врачи и педагоги. И что всего значительнее — это зачастую с вои врачами и педагогами, уроженцы родной деревни, которым широко открылись двери вузов и которые, закончив образование, возвращаются в родные места служить народу.

И это все сделала для народа Советская власть, Лениң и ленинская партия большевиков. Вечная слава ей за это!

6 июля.

В газетах — отчеты о повсеместных рабочих собраниях, взволнованные речи, поддерживающие поистине ленинское решение Пленума Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза об антипартийной группе Маленкова, Кагановича и Молотова.

За многие годы после сокрушительного разгрома троцкистско-зиновьевской оппозиции в каждом из нас настолько прочно укоренилось сознание монолитного единства партии, что вряд ли кому приходила в голову мысль о возможности рецидива раскольничества, фракционной деятельности, возобновления какого-либо заговорщического сопротивления той политике партии, которая обеспечивает дальнейший расцвет Родины. Отсюда — ощущение оглушающей неожиданности при первом чтении «Правды» с материалами Пленума. Казалось сперва загадочным и непонятным: каким образом могли стать на позицию противодействия этой умной и реальной политике люди, которые долгое время стояли у штурвала государственного и партийного руководства?

Как можно втайне противодействовать таким мерам, как освоение целинных земель, которое давало народу новые миллионы пудов хлеба? Как можно было, нося у сердца партийный билет коммуниста, подрывать основу основ нашей государственной структуры — братский союз народов СССР, восставая против расширения прав союзных республик в административной, хозяйственной и культурной областях?

Как объяснить презрительное отношение к народам, которые за сорок лет Советской власти не только полностью покончили со своей отстало-

стью, но и показали всему миру возможности небывалого роста и расцвета национальных культур в условиях советского строя?

Как не понять громадного значения отмены обязательных поставок сельскохозяйственных продуктов с дворов колхозников, которая встречена общим одобрением многомиллионного колхозного крестьянства?

И как можно противиться решительной борьбе партии и правительства с нарушениями революционной законности?

На эти вопросы ясный и исчерпывающий ответ дан в постановлении Пленума ЦК:

«...они находились и находятся в плену старых представлений и методов, оторвались от жизни партии и страны, не видят новых условий, новой обстановки, проявляют консерватизм, упорно цепляются за изжившие себя, не отвечающие интересам движения к коммунизму формы и методы работы... как в вопросах внутренней, так и внешней политики они являются сектантами и догматиками, проявляют начетнический, безжизненный подход к марксизму-ленинизму».

Народ, преодолевая в течение сорока лет огромные трудности, жертвуя многим, проливая пот и кровь, неуклонно шел в своем развитии вперед, подымая страну, сделав ее маяком и светочем для всего передового человечества. Народ на практике доказал мощь и жизненность марксистско-ленинской идеологии.

А в это время несколько лениво-самоуспокоенных людей остановились, застыли в бюрократическом самомнении и самоуверенности и, наконец, стали по-рачьи пятиться назад, не понимая и не желая понимать незыблемых законов жизненного процесса, стремясь повернуть этот процесс вспять.

Сила партии в монолитном единстве ее рядов, учил Ленин. Это единство будет сохранено, и никому не удастся его нарушить. Накануне нашего общенародного праздника — сорокалетия Великого Октября — страна приветствует своего полководца — ленинскую партию и с уверенностью смотрит в будущее.

ЛЕВ НИКУЛИН

ВОЗВРАЩАЯСЬ НА РОДИНУ

Когда «ТУ-104» на высоте девяти тысяч метров со скоростью тысячи километров в час пересекает нашу воздушную границу, пассажиры этого не замечают. Мать кормит младенца, возвращающийся из командировки доктор технических наук записывает в книжечку расходы, цирковой артист сосредоточенно решает кроссворд, словом, жизнь течет так, как в вагоне скорого поезда Киев — Москва, разве что никто не бегаёт на остановке с чайником за кипятком.

От Праги до Москвы только два с половиной часа в воздухе, и вот мы пересекли воздушную границу и начинается спуск. Слегка закладывает уши от перемены давления, но в конце концов снижение не сильно ощущается в герметически закрытой кабине. А там уж виднеется знаковый Внуковский аэродром, посадка, и офицер-пограничник собирает паспорта.

Родина.

Шотландец любит свою поэтичную страну Бернса и Вальтера Скотта, швейцарец — горные альпийские озера, винодел Иль де Франс — свой благодатный край. Но более всего любит и ценит родину тот, кто вместе с ней перестрадал, испытал лишения, прошел ее долгий и трудный путь,

пережив с народом его радости и горести. Об этом прекрасно написал Маяковский.

В летний вечер, когда могучий «ТУ-104» опустился на Внуковский аэродром, моими спутниками были наши дипкурьеры — один постарше, другой помоложе. Профессия эта заслуженно считается почетной, ее освятил своей кровью товарищ Нетте. Я знал мужественных людей этой профессии в Афганистане в самом начале двадцатых годов, когда советские дипкурьеры с тяжелыми сумками одолевали верхом на иноходцах горные хребты Гиндукуша...

С тем из дипкурьеров, который был постарше, мы уже виделись в Париже и потсму легко разговорились в самолете. Как-то вскользь он упомянул, что родился в Москве в тот самый день, когда шли ожесточенные октябрьские бои с юнкерами.

— Таким образом, мне скоро сорок, и я в полном смысле сверстник революции.

Это и было поводом для того, чтобы он рассказал мне свою жизнь, пока мы летели над белоснежной пеленой облаков.

Он рос, учился ходить, произносить первые слова в тяжкие годы гражданской войны и блокады. Семи лет от роду, закутанного в платок, мать повела его в Дом союзов, в Колонный зал, подняла на руки, и он увидел в гробу человека в темно-синем френче, и мать сказала: «Это Ленин. Помни». И он запомнил. И потом много раз рассказывал о том, как семи лет видел прощание народа с Лениным...

Он стал ходить в школу, учили его всячески — и «бригадным методом» и по «дальтон-плану», — и все-таки научили. Он окончил школу; потом, как многие тысячи юношей, работал на лесах второй пятилетки, строил завод в городе у Азовского моря. Потом рассказывал с гордостью: «А ведь этот завод строила наша комсомольская бригада». Наступил срок, его призвали в армию, и 22 июня 1941 года он ушел на фронт. Были и окружение и выход из окружения, были и легкое и тяжелое ранения. Видел он в развалинах тот самый завод, который строил. Но видел и развалины Берлина.

В августе 1945 года, в капитанских погонах, с боевыми орденами на груди, в трофейной машине, он пересек возрожденную Польшу и остановил машину там, где начиналась земля его Родины, государственная граница СССР.

Было ему только двадцать восемь лет, а виски все же чуть поседели.

Он бросил шинель на выжженный снарядом холмик, лег на спину и, подложив руки под голову, долго смотрел в небо на облака, медленно плывшие с запада на восток. Так лежал добрый час, потом его позвали товарищи, и они поехали дальше, к развалинам Минска, мимо стертых с лица земли деревень, мимо братских могил с пирамидками из фанеры и вырезанной из жести красной звездой.

Ему было тридцать лет. Он был демобилизован; матери в живых он не застал, сестра жила где-то вблизи Магадана. Он работал завгаражом, когда встретил соратника, знакомого по фронту. На товарище была светло-серая форма (тогда такую форму носили работники МИД — Министерства иностранных дел). Товарищ знал восточные языки и теперь работал далеко на востоке. Эта встреча решила дальнейшую судьбу сверстника Октября...

На этом кончился наш разговор.

Самолет шел на посадку.

Человек, которому столько раз за десять лет приходилось пересекать воздушную и наземную границу Родины, как-то посветлел лицом, когда открылась дверь герметически закрытой кабины и офицер-пограничник сказал, прикасаясь к околышу фуражки: «Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, господа!..»

..Но это была не последняя наша встреча. В июле этого года, на собрании районного актива, я снова увидел моего спутника по рейсу Москва — Прага. Были серьезные дни, когда миллионы людей продумывали все, что было сделано за недавнее время, когда они еще и еще раз воочию убедились в благородных стремлениях нашего правительства и партии поднять жизненный уровень советского народа, развивать народное хозяйство, смягчить напряжение в международной политике.

На трибуне появлялись люди разных профессий, разных поколений и единодушно говорили о том, что решения партии о реорганизации управления промышленностью — правильные решения, что заботы о повышении жизненного уровня народа дают благие результаты. Молодой человек, только что вернувшийся из Казахстана, рассказал о великом сражении с вековой природой, о борьбе за освоение целины, которая завершилась триумфальной победой...

Недавно мне довелось побывать на западе Европы и на Среднем Востоке. Иной раз приходилось особенно остро чувствовать тревожную грозную атмосферу, которую создавали империалисты, не раз слышать по радио и телевидению вызывающие речи, прямые угрозы воинственных милитаристов по адресу нашей мирной страны. Сохраняя спокойствие, соблюдая достоинство великой и мощной державы, наше правительство старалось ослабить напряжение в международных отношениях, стремилось установить дружественные отношения Советского Союза с народами всего мира.

Это и есть ленинский курс на мирное сосуществование между государствами с различными социальными системами, на прочный мир между народами.

На собрании районного актива я наблюдал за лицами окружавших меня людей. Как ясно читались на этих открытых лицах живые чувства: гордость и вдохновение, когда речь шла о пути, пройденном нами со времени XX съезда, негодование и презрение — при упоминании о тех, кто, не чураясь антипартийной борьбы, пытался увести нас с этого победоносного пути.

Собрание закончилось поздно вечером, и некоторое время мы шли по улице молча, размышляя о том, что слышали.

Я думал о человеке, который шел рядом со мной, прожил сорок лет, видел и знал больше, чем мог увидеть и узнать человек прошлого века, доживший до глубокой старости.

Когда мой спутник был юношей, он строил завод на Азовском море. Он увидел его в развалинах, как и многие другие заводы, в 1945 году. И он увидел его восстановленным после войны, как и многие другие заводы... Юношеский энтузиазм, который воодушевлял, окрылял строителей в годы первых пятилеток, не угас; этот молодой энтузиазм позволил старшему и младшему поколениям залечить раны невиданной в истории человечества войны. Этот энтузиазм позволил народу пробудить к жизни, поднять целину и получить миллиард пудов зерна. Любовь к Родине даст народу силы достигнуть цели, поставленной перед ним Центральным Комитетом и правительством, — догнать США по производству мяса, молока и масла на душу населения. Вот она, настоящая забота о повышении жизненного уровня народа!

Мой спутник — зрелый, сорокалетний, много узнавший человек — вероятно, не раз думал о той косности, с которой неразумные люди считали, что система управления нашей промышленностью раз и навсегда установлена, и не видели, что система эта устаревала по мере того, как развивалась и росла промышленность наших республик и областей. Теперь настало время, когда каждая область в состоянии решать хозяйственные задачи не местнически, не со своей колокольни, а в соответ-

ствии с задачами всей страны. И человек принял всей душой реорганизацию управления промышленностью, организацию советов народного хозяйства как одно из могучих средств развития производительных сил страны.

Гнев и негодование вызвали у него, у моего спутника, попытки антипартийной группы саботировать решения партии, саботировать политику ослабления мирового напряжения. Он-то ощущал меру этого напряжения более, чем кто-нибудь другой, в частых своих командировках на Запад и за океан.

Он, прошедший сквозь пламя войны, видевший следы зверств гитлеризма в Бухенвальде, понимал, что несет с собой война, какие жертвы должны принести народы мира, если империалисты столкнут их в кровавой схватке. И он, мой спутник, всем сердцем одобрял мирную политику Советского правительства.

Именно так размышлял человек, который шел рядом со мной; эти думы его я узнавал по кратким замечаниям вслух и твердо поверил, что этот человек понимает долг гражданина и исполнит свой долг, куда ни пошлет его партия, идеалы которой были священным заветом всей его жизни.

«А как же мы, писатели?» — подумал я.

И как это бывает порой, мысли наши сошлись, и он спросил:

— Как же вы, товарищи писатели? Народ ведь ждет.

И он заговорил о том, что народ с особой силой ждет сейчас от советской литературы произведений, которые широко и с большой идейной глубиной показали бы сегодняшний день нашей страны и сегодняшнего советского человека с его борьбой, с его раздумьями и победами. Читатель хочет, чтобы такая книга была написана вдохновенно, в полную художественную силу — так, как к тому обязывает советских писателей великая русская классическая литература. Именно к созданию таких книг призывала нас партия, ее Центральный Комитет в приветствии, обращенном ко Второму съезду писателей.

Таков был смысл слов моего собеседника. И они совпали с моими мыслями о собственном долге — долге писателя-гражданина великой социалистической Отчизны.

ЛЕВ ОШАНИН

СИЛА И МУДРОСТЬ ПАРТИИ

В разных странах мне не раз доводилось беседовать с людьми, задававшими множество вопросов о Советском Союзе. И порою диву можно было даваться, до какой же степени многие люди за нашими рубежами не понимают того, что происходит у нас в стране!

Я не говорю здесь о врагах, которые не желают знать о нас ничего хорошего и всегда готовы намеренно исказить правду. Я говорю о тех, кто расположен к справедливости, кто искренне хочет понять нас.

Естественно, что у людей, плохо знающих уклад жизни, рожденный социалистическим обществом, наибольшее количество вопросов появляется именно тогда, когда особые формы советской демократии, столь отличной от куцей «демократии» буржуазной, проявляются во всей полноте, позволяя нам добиваться резких, крутых переломов и совершать новый рывок в безостановочном движении вперед.

Все знают, что Советский Союз первым в мире совершил социалистическую революцию и вступил на путь строительства коммунизма. Но не

всегда люди за рубежом отдают себе отчет, что же это значит, как бесконечно сложен путь открывателей нового, никогда не виданного общества! На этом пути неизбежны и ошибки и недостатки. Но тем и сильна наша партия, что она не боится открыто говорить о недостатках и ошибках и исправлять эти ошибки. Этому учил нас Ленин.

И в том-то и состоит суть нашего строя и принцип коллективного руководства нашей партией и страной, что любого, кто, зазнавшись и потеряв чувство перспективы, попытался бы сеять рознь, расколоть партию, задержать наше движение вперед, партия умеет отстранить от руководства со всей решимостью, невзирая ни на какие настоящие или мнимые заслуги.

Так случилось с Маленковым, Кагановичем, Молотовым и Шепиловым, когда они стали на путь фракционной деятельности, мешая осуществлению исторических решений XX съезда КПСС, горячо и единодушно проводимых в жизнь всем советским народом.

Ведь мы уже не первый год едим хлеб, уродившийся на целине. А давно ли мы впервые услышали призыв партии к освоению целинных и залежных земель?!

И разве не ошущали мы в недавние дни VI Всемирного фестиваля молодежи, встречая в Москве посланцев мира и дружбы из ста двадцати двух стран земного шара, что и это тоже один из прекрасных плодов, возвращенных заботой нашего государства о разрядке международной напряженности, о мирном сосуществовании стран социализма со странами капиталистического лагеря.

Да что говорить, каждый день нашей жизни во множестве проявлений приносит нам обильную жатву, собранную под мудрым и дальновидным руководством великой Коммунистической партии.

Этой жизнетворной деятельности пытались помешать фракционеры, цеплявшиеся за старое и тянувшие вспять.

Всячески пытались они помешать и той коренной перестройке руководства промышленностью, какую предприняла партия в нынешнем году.

Нам хорошо известно из газет, в частности со страниц «Правды», открывшей всенародную дискуссию по тезисам доклада Н. С. Хрущева, сколько неопровержимых фактов приводилось в пользу перестройки промышленности. Каждому, кто мало-мальски сталкивался за последние годы с промышленностью, абсолютно ясно необходимость этой перестройки. Я думаю, что каждый из нас может привести еще какие-то свои дополнительные соображения об этом. Да что далеко ходить! Мне довелось быть одним из участников строительства города Кировска в Хибинской тундре. Вспоминая тридцатые годы, горячность научных дискуссий, специальную выездную сессию Академии наук СССР в Кировске, доклады и статьи академика А. Е. Ферсмана, да и многие начинания самого С. М. Кирова, я сохранил образ нашего славного маленького полярного городка как центра целого комплекса научных проблем. Ведь достаточно напомнить, что на сравнительно маленькой площади Кольского полуострова, в его недрах, обнаружено больше двух третей таблицы Менделеева. Ведь достаточно напомнить, что легендарные апатиты добываются на горе Куки-свумчорр вместе со своим неперменным спутником нефелином и некоторыми другими весьма ценными, хотя и требующими специального извлечения, минералами. Когда поначалу добывались апатиты, то нефелин, являющийся ценнейшим сырьем для множества отраслей промышленности, просто выбрасывался в отвал, в речку Белую. Каково же было мое удивление, когда уже через много лет я опять приехал в Кировск, — нефелин по-прежнему выбрасывался в речку Белую, и это, в общем, никого не заботило, так как главк, в который входил комбинат «Апатит», к нефелину никакого отношения не имел. Застопорились, потускнели и многие другие научные проблемы, которые в тридцатые годы выдвигались тем же академиком Ферсманом и другими учеными, и не столько самые

проблемы, сколько их практическое осуществление. Почему? Опять-таки потому, что они должны были идти, как говорят, «по другому министерству». Естественно, что сейчас, когда в Мурманске создан Совет народного хозяйства, когда промышленное строительство будет вестись в едином комплексе освоения края, многое будет по-иному. Это маленький штрих. Но и он красноречиво подтверждает необходимость создания советов народного хозяйства. Эту идею выдвинула сама жизнь, она является необходимым условием нашего дальнейшего развития, и Центральный Комитет партии мудро и смело осуществляет ее, несмотря на противодействие бюрократически настроенных элементов, несмотря на сложность и серьезность ломки хозяйственного аппарата.

Фракционеры, сопротивлявшиеся новому, разоблачены и отстранены от руководства.

На Пленуме ЦК партии не нашлось ни одного голоса, не поднялось ни одной руки в их защиту. А когда коммунисты первичных организаций собрались обсудить решение Центрального Комитета, то на всех собраниях, о которых я знаю, точно так же как и на Пленуме ЦК, не нашлось ни одного голоса, не поднялось ни одной руки в их защиту.

Такова суровая правда жизни. И мы приветствуем решение ЦК партии без сомнений, без колебаний — во имя движения вперед всего нашего народа.

Разоблачение антипартийной группы Маленкова, Кагановича, Молотова не ослабило руководства партии, а, напротив, укрепило его. Центральный Комитет еще раз показал силу коллективного разума, коллективности руководства партии, показал, что не один человек, не три-четыре человека, а именно Пленум Центрального Комитета партии является подлинным руководителем партии между съездами.

Нам по сердцу смелые и мудрые решения нашей партии — по сердцу перестройка управления промышленностью, расширение прав союзных республик. Нам по сердцу лозунг партии о том, чтобы перегнать США по производству мяса, молока и масла на душу населения. Мы молоды. Мы не потерпим на своем пути того, что становится тормозом, того, что мешает нам развиваться и крепнуть.



НА СОРОКОВОМ ГОДУ

Очерки наших дней

М. БЕЛКИНА

★

У Д Э

Удэ, или удэгейцы, — их совсем немного живет на нашей земле, может быть тысячи полторы наберется, а было и того меньше... В недавнем прошлом совсем исчезал с лица земли этот полудикий, полукочевой таежный народ! Голод, эпидемии, шаманское колдовство, грабежи... Грабили и русские, и китайские купцы, и маньчжуры. Забирали пушнину — единственные деньги таежника, на них можно было приобрести горсть соли, чумизу, патроны... В страшной нужде, в вечной борьбе со стихией, дикими зверями жило это охотничье племя. Черная оспа, чума, тиф уносили целые стойбища. Редело население тайги. Недаром когда-то А. Фадеев назвал свой роман «Последний из удэге».

Но Советская власть пришла вовремя. «Последний из удэге» не исчез с лица земли, хотя и пришла Советская власть в эти самые глухие, самые отдаленные места Дальневосточной тайги позже, чем в другие края нашей земли. Только в 1922 году здесь смолкли последние выстрелы гражданской войны, последние интервенты были сброшены в море. И на этой дальней восточной окраине началась мирная жизнь, были установлены советские порядки.

Удэ были освобождены от тех, кто их грабил и угнетал, пользуясь их темнотой и забитостью. Многие из таежников — те, что тянулись к знаниям, к новой жизни, — стали выходить из тайги в одиночку, но большая часть этого маленького таежного народа пока продолжала еще жить в глуши тайги, кочуя по рекам в поисках удачной охоты. В разных местах, в разное время, но приблизительно в тридцатых годах в жизни удэ произошли коренные изменения — они стали переходить к оседлой жизни. Узнали, что такое медицинская помощь. Появились первые школы, появилась своя письменность, появился первый удэгейский писатель — Джанси Кимонко. Стали строить дома вместо балаганов, разводить огороды, домашний скот... А главное, удэ перестали вымирать, и хотя медленно, но число их стало расти.

Остались удэ жить, как и жили спокон веков, в тайге, глухой и дикой, по берегам рек, но теперешняя жизнь их совсем не похожа на прежнюю, и хотя еще кое в чем и бытует старый уклад, но новое все более властно вытесняет это старое.

Есть на реке Хор большое село удэгейцев — Гвасюги. Есть удэгейцы на реке Самарге, есть в Санчихезах. Живут они и по реке Бикин. Там, на Бикине, я у них и побывала.

Один на один

Снег валит лениво тяжелыми растрепанными хлопьями. И кажется, к ночи завалит все вокруг, засыплет могучие кедры по самые их макушки. До самого неба навалит сугробы. Сыплет и сыплет... Человек с трудом пробивается сквозь эту белую вязкую мглу. Он бежит по снежной дорожке,

по замерзшей реке. Вот он свернул к берегу, туда, где под белой крышей чернеет тайга. Вот он пригнулся, чтобы не зацепить ружьем за сучья, и исчез среди темных стволов, а лыжню за ним по реке засыпали хлопья...

В тайге тихо. Снег оседает на вершинах деревьев, на ветках, которые все перепутались в тесноте, на гибких стволах лимонника и дикого винограда, что перекинулись арками с дерева на дерево. Только редкие снежинки здесь долетают до самой земли. Человек уверенно скользит, огибая деревья, словно в этом нагромождении ильмов и кедров, бархата и желтой березы, колючей аралии и ползучих лиан есть какие-то тропы.

Вдруг он встал. Что он услышал? Ничего. Тайга заморожена, в ней нет ни звука. Что он увидел? След соболя? Или, быть может, колонок пробежал? Нет, на снегу — ни одной вмятины. Может, белка прыгнула с ветки на ветку? Нет. Нигде не осыпался снег.

Человек встал перед старым засохшим тополем — высоко на нем темнеет дупло, обметанное кромкой инея; он внимательно осмотрел ствол — на коре глубокие царапины: чьи-то когти оставили след; он приложил ухо к дереву, но вот уже отошел и, пятась, прищутив глаз, как для прицела, посмотрел на дупло. Он зашел за пихту. Нет, отсюда неудобно! Он прошел дальше, выбрал место около смолистого кедра, срезал тонкую березку, заострил топором один ее конец и стал вырубать в стволе старого тополя углубление. Когда углубление было вырублено, он всунул в него кол и начал им там шуровать. Раздался сердитый, обиженный рев. Человек выдернул кол. Внутри дерева что-то заворочалось. Он размахнулся и опять воткнул кол. Медведь взревел.словно раскаты грома, пронесся над тайгой его рев, и с веток посыпался снег. Человек насторожился, но медведь не полез, как он ожидал, вверх, к дуплу: его не так быстро выгонишь из теплого зимовья... Тогда человек стал шире прорубать дыру, и тут встревоженный медведь заскреб когтями.

Человек отскочил, но не успел добежать до облюбованного им кедра. Медведь оказался проворнее. Вывалившись из дупла, он уже шел на человека. Тот вскинул ружье и выстрелил. Медведь продолжал идти, поднявшись на задние лапы. Человек выстрелил во второй раз, целясь туда, где на черной косматой груди раскинулись два белых крыла. Медведь продолжал идти. Третьего выстрела не последовало. Медведь вышиб лапой ружье, и совсем рядом с собой человек увидел разинутую рычащую пасть. Он сунул в нее левый локоть. Медведь прикусил его, смял, а сам лапой смахнул с человека шапку и заодно сорвал когтями клочок кожи вместе с волосами. Человек спрятал лицо за ствол пихты. Только не лицо: гималайский медведь, обозлившись, схватит за подбородок и сорвет лицо.. Тогда конец!

Согнутым локтем, втиснутым в пасть медведя, человек старался задерживать зверя на расстоянии, а сам пытался выхватить нож из-за пояса. Но белогрудка — так в этих краях зовут гималайского медведя — навалился на него всей своей тяжестью. Человек упал, уткнувшись лицом в снег, и стал шарить правой рукой нож. Медведь был хитрый, он заметил этот жест человека и встал на его руку задней ногой, стараясь лапами поднять его за плечи и перевернуть. Он храпел, он тяжело дышал, он был ранен...

Человек сопротивлялся, прижимался к земле, а медведь пытался его отодрать. Он уже поднял его, вцепившись зубами в волосы и обхватив за плечи, но вдруг отпустил и, вздохнув, опрокинулся на спину. Человек не поверил... Медведь может притвориться, может следить за своей жертвой — шевелится та или нет? Медведь совсем затих: видно, раны одолели его. Человек осторожно повернул голову. Медведь лежал на спине с открытыми глазами. Тогда человек вскочил, схватил ружье и выстрелил. Но это было уже ни к чему — медведь был мертв.

И только тут человек почувствовал, что все лицо у него залито кровью. Он дотронулся до носа — вместо него свисали лохмотья. Видно, когда он прятал лицо за ствол пихты, медведь зацепил когтем. Затылок был весь ободран, левая рука не двигалась... По привычке он все же выхватил нож из-за пояса и вспорол медведю брюхо, но понял — силы его оставляют. Он не сможет одной рукой разделать тушу... Надо скорее уходить назад, пока он мог еще двигаться, пока не наступила ночь...

Он уговаривал себя: скорее, скорее... Три перевала ему надо было преодолеть. Три перевала... А снег все валил и валил; казалось, этим белым хлопьям не будет конца, казалось, они набили все пространство от неба до самой земли и вытеснили воздух. Человек задыхался. На последний перевал он взбирался на четвереньках. Падал и вставал, падал и вставал, но все же добрался.

И из Сяина уже звонили в Иман, требуя самолет.

— Медведь задрал человека, охотника, Канчуга Валентина...

Сяин

Об этой встрече один на один мне рассказал Канчуга. Странное ощущение не покидало меня все время, пока я была в Сяине, словно я очутилась одновременно в двух эпохах. Чем-то очень древним повеяло от рассказа Канчуга — так брали медведя его деды (правда, брали на копые; есть старики, что утверждают — ходить на медведя с копьем вернее: копые не дает осечки). Так и теперь брал Канчуга медведя один на один. Но вот случилось несчастье — раньше человек погиб бы, а теперь, хотя это и далекая, глухая тайга, но на спасение его встала современная техника. Из тайги зазвонил телефон, в тайгу прилетел санитарный самолет, все новейшие достижения медицины встали на защиту охотника!

И так почти на каждом шагу в Сяине меня подстерегало «вчера», и этому «вчера» противостояло «сегодня». В сяинском клубе я смотрела фильмы, которые в это же время демонстрировались на экранах Москвы, и там же, в Сяине, я попала на камланье! А старик удэгейец, искренне веривший в шаманское колдовство и боявшийся, что черт может украсть луну, знал, что такое пенициллин, и настаивал, чтобы от всех болезней ему делали уколы; и по Бикину он уже не хотел плыть в оморочке, отгалкиваясь шестом, как делал он это всю жизнь, а требовал у артели мотор, даже если ему нужно было только перебраться на другую сторону.

И в этом, таком резком сочетании «вчера» и «сегодня», в этих рядом стоящих «старом» и «новом» не было ничего удивительного, ничего экзотического, это казалось простым и естественным, стоило лишь понять, что удэгейский народ шел необычным путем развития, что почти из первобытного состояния этот полудикий лесной народ сразу шагнул в социализм.

Но вернемся к Канчуга. После той зимней встречи один на один левая рука у него еще плохо действовала и толстый рубец вздергивал одну ноздрю выше другой.

— Но медведю все же пришлось хуже, — пошутил он.

Черная мохнатая шкура лежала у нас под ногами. Валентин пробыл в больнице два месяца и, когда вышел, отправился в лес — медведь оказался цел, его никто не тронул.

Мы сидели в маленьком домике Валентина, в комнате, отделенной от кухни дощатой перегородкой. Было видно, как у плиты на корточках приютилась пожилая женщина и, зажав между колен низенькую длинную табуретку, рубила на ней мясо ножом. А перед нами на столе в глубоких тарелках дымилась пельмени — дэза по-удэгейски; это особые пельмени, очень сочные, их начиняют мясом и капустой. На этот раз мясо

было дикого кабана. К пельменям подают уксус и дюцай — китайскую травку с запахом и вкусом чеснока. Потом мне предстояло еще есть сальми — рыбу, жаренную до хруста, и талу — рыбу сырую.

Удэгейцы спокон веков ели сырое мясо, и даже без соли. Откуда могла быть в тайге у удэгейца соль? За солью ходили за сотни километров к морю. В деревянных чанах на медленном огне на кострах выпаривали морскую воду и потом уносили с собой в тайгу в мешочках соль, как драгоценность...

Ну, а теперь цивилизация внесла поправку в меню: сырое мясо, сырую рыбу проверяют для быстроты через мясорубку, в фарш добавляют уксус, лук, соль, перец и прочие специи — и, я думаю, к водке это не последняя закуска. Хотя за такое предположение мне потом здорово досталось от Гали Ершовой, хорошенькой курносой блондиночки, окончившей недавно фельдшерские курсы в Иваново и получившей сюда, за девять тысяч километров, назначение, — она решительно протестует против употребления сырого мяса даже в таком виде! (Воображаю, как бы Гали фыркнула и какую бы при этом скорчила гримасу, если бы я ей сказала, что среди прочего я и ее причисляю к «приметам нового!» Как же иначе, ведь это было еще совсем недавно, ведь еще живы те, кто на собственной шкуре испытал «санитарную гигиену» шаманов...) Вместо хлеба подавали пампушки из кукурузы, варенные на пару, но это вовсе не потому, что в Сяине нет хлеба, здесь есть пекарня, — просто Валентин решил меня угостить национальной едой. Он жалел, что не может предложить медвежатины, а то бы я сразу поняла разницу между мясом бурого медведя и белогрудки.

Бурый жрет что попало — и тухлую рыбу и порченное мясо. Здрава кабана, он выроет яму, сунет туда тушу, сверху прикроет ветками — любит мясо с душиком! А гималайский откармливается на ягодах и орехах и, особенно когда жирен, очень вкусен. Но мне пришлось поверить на слово.

Валентин — один из лучших охотников в Сяине, он всегда пропадает в тайге, и зимой и летом. Шкуры убитых им зверей висят на стенах в его комнате, лежат одна на другой на кровати, под матрацем.

На Сельскохозяйственной выставке в Москве его наградили серебряной медалью и... велосипедом. Не догадались, что охотнику в тайге он ни к чему — висит на стене, как почетная грамота, и Валентин, показывая его, крутит пальцем колесо, с которого хлопьями слетает пыль. Продать жалко — награда, а куда на нем поедешь, когда в Сяин ведут только две дороги: одна рекой, суток четверо подниматься по Бикину, другая воздухом над сопками и тайгой на почтовом самолете. Иных дорог нет. А по улице, когда ее всю заплели корни, коряги, пни торчат, не проедешь. Да и улица-то — крутанул педалью раз-другой, и вся, от реки до тайги.

Сяин — или, как пишут на карте, Сиин — совсем небольшое село. Бревенчатые домики выстроились вдоль улиц, на веревках, на сучьях деревьев просушиваются шкуры медведей — бурых, черных гималайских; серые — зимние шкуры изюбрей, рыжие — летние. Смешные амбарчики на сваях, крытые корой, похожи на сказочные пряничные домики, к ним прислонены длинные тонкие весла оморочек — удэгейских лодок, — такие тонкие, такие легкие, что, кажется, ударь по ним ветер, и они запоют, как струна. Но сразу за домами начинается чащоба тайги. Тайга взбирается вверх на горы, а горы, или, как здесь их зовут, сопки, взяли село в окружение — отроги Сихотэ-Алинского хребта, и ветер здесь — редкий залетный гость.

Правда, в районном центре, в Пожарском, держатся иного мнения — между Пожарском и Сяином идет длинный спор... Дело в том, что посреди села выстроены три совсем одинаковых белых домика, в одном поме-

щается правление артели «Охотник», в другом — сельсовет, в третьем — почта и там же радиоузел. Над крышей этого третьего домика торчит ветряк. Можно себе представить, даже не обладая очень пылким воображением, что означает радио для этого села! И как мне было любопытно в этой дикой тайге, где, чуть отойдешь от дома, можно запросто повстречаться с бурым или гималайским медведем или кабаном, а быть может, даже и с тигром, где по голове тебя хлопает маньчжурский орех, а за платье хватает своими колючками, торчащими прямо из ствола, аралия — реликтовое растение, или, как здесь его называют, «чертово дерево», — вдруг посреди такой странной и необычной обстановки услышать привычный бой часов на Спасской башне, или знакомый голос Левитана, или танец лебедей из балета Чайковского... Но я могу себе все это только представить, как и те, кто там не побывал! Ибо радиостанция в Сяине работала на ветродвигателе, и, если бы дул ветер, он мог бы зарядить аккумулятор и радио заговорило бы. Но ветер упрямылся. И хотя все село радиофицировано, радио молчало месяцами. Так было и при мне. А в райцентре, и даже в крае, в конторах связи считали — раз в Сяине зарегистрирован радиоцентр с ветряком, ветер должен быть! И никто не пособлял, и никто не распорядился, чтобы в Сяин регулярно доставлять аккумуляторы. А ветряк, между прочим, поставили, потому что нельзя было приобрести другой радиоузел, кроме КРЦ-10, а к нему в комплекте положен ветряк. Ну, а раз на него пришлось истратить деньги — пусть хоть крышу украшает, не выбрасывать же...

К слову сказать, Сяин — это «глубинка в глубинке». И если не считать соседнего села Олона, то на сотни километров в округе нет жилья — тайга. Но все же связь с внешним миром в Сяине потеряна не совсем...

Раз в неделю, по понедельникам, если, конечно, позволяет погода, сюда совершается регулярный почтовый авиарейс. Доставляется почта, киноплёнка — сразу несколько картин, и потом их крутят всю неделю. Самолет прилетит и улетит. А начальник почты в своей неизменной велюровой шляпе и его добровольные помощники — школьницы с жесткими черными косичками, со скуластыми румяными лицами и блестящими агатовыми глазами, — притащив тюки, разбирают их на почте. Крыльцо почты забито людьми. Они сидят на перилах, на ступеньках, а кто просто на корточках посреди дороги. Читать газеты приходится сразу за неделю. Центральные опаздывают на десять — двенадцать дней.

Библиотекарша, получив свою почту, — здесь всё старые московские знакомые: «Юность», «Огонек», «Крокодил», «Знамя», даже «Литературная газета», даже альманах «Литературная Москва» — не уходит с ними, терпеливо ждет, пока тут же, на улице, листают иллюстрированные журналы, пока читают газеты, и только следит, чтобы никто никуда не уносил... Даже старики приходят и толкают молодых, требуя перевести, «что там пишут»... Даже старухи приплетутся — а здесь живут особенно древние старухи — и, усевшись в отдалении на корточках, сосут свои трубки. Прозвенит звонок в школе, и школьники несутся, размахивая портфелями, сшибая друг друга, занять очередь, чтобы первыми выбрать открытки (их сюда присылают мало, и все больше дорогие), и у крыльца идет свалка, пока не вмешаются взрослые и не нададут шлепков.

Кто-то получил письмо, кто-то к кому-то возвращается из армии, у кого-то в Хабаровске сын срезался на экзамене; до Иркутска из Москвы уже проложен регулярный рейс «ТУ-104»; в Находку из Японии прибыл пароход за бывшими военнопленными; в Москве наши футболисты забili голы чешской команде — мало ли новостей за неделю...

И до полудня у почты все толпится народ — обсуждают события! А тут еще кто из тайги подойдет, кто с речки вернется, и заново начнутся разговоры.

Вот в один из таких «почтовых дней» приземлилась в Сяине и я. Но на этот раз никто не встречал самолета, и только начальник почты выполнил свой служебный долг — сдал и получил тюки, — да хорошенькая удэгеечка с красными бантиками в волосах подбежала и протянула летчику конверт, к которому такой же красной лентой был привязан камень.

— Фадеичев, — попросила она, — будешь лететь над Олоном, сбросишь над школой?

— Дружка завела?..

Она смутилась, взяла у меня из рук рюкзак.

— Я донесу, вам тяжело, — и убежала.

Запахавшись, по тропке, протоптанной в высокой траве, подошел директор школы и, отсчитав деньги, передал их летчику.

— Братишка из армии возвращается, завтра будет в Имане. Доставишь?

Здесь к самолету относятся, как к такси, и даже по телефону заказывают спецрейс — он обходится недешево, но у жителей Сяина деньги водятся.

У почты нас ждал высский парень в сапогах, в кепке, с тощей папочкой под мышкой — секретарь сельсовета Иван Пеонка.

Видно, исчезнувшая с моим рюкзаком девушка успела его предупредить о прилете постороннего человека.

— Представитель? Из какой организации? По какому вопросу? — спросил он меня сухо и официально.

Голос у него был начальнический, брови нахмурены. Он чувствовал себя единственным представителем власти на селе (председатель сельсовета уплыл в командировку вверх по Бикину, и я так его и не дождалась), а Пеонка по молодости лет считал, что суровость — неотъемлемое качество любого начальника.

Кроме Пеонка, у почты не было никого. В этот день иное событие волновало Сяин, и все жители его были на реке.

Студенты уплыли в Хабаровск

На низком берегу, у самой воды, где стоял магазин (товары сюда доставляются рекой, и магазин поставлен крыльцом к воде, чтобы сразу с лодок выгружать товары на прилавки), толпился народ. Женщины были в цветастых платьях и в вельветовых коричневых пиджаках, в сапогах — недавно прошел дождь, было топко. Мужчины в вельветовых куртках на «молниях», в костюмах, в шляпах — моду здесь диктует райпотребсоюз: что пришлет, то и носят. Многие были одеты в старую военную форму.

Лица у всех были монгольского склада: желто-коричневые, с тяжелыми складками век, нависающими на глаза, выпуклыми скулами, маленькими носами. Черноглазые, черноволосые. У мужчин волосы торчали во все стороны, спускались за воротник — в Сяине нет парикмахерской, и все стригут друг друга, как умеют.

Кто стоял, кто сидел на опрокинутых на берегу оморочках. У отъезжающих в руках были чемоданы, рюкзаки, пальто. Огромный бат, выдолбленный из гиганта тополя, груженный розовыми кедровыми бочками, был привязан к дереву. Голубица, набитая в бочки, пустила чернильный сок. Ее должны отправить вниз по Бикину, а потом по железной дороге во Владивосток, на винный завод. Два бата поменьше развернулись и встали на приколе у берега, их удерживали длинными шестами, упершись ими в дно заливишка. На одном стоял с шестом в руке дед Сигдэ, сухонький, босой, в драной рубашке навывпуск, в полинявшей фетровой шляпе, опрокинутой на голову, как ведерко, на другом бате — щеголеватый

парень в черном костюме и белой апашке, один из отплывающих. Он командовал посадкой, но из его команды ничего не получалось, все прыгали в баты разом. Девушки визжали, как им и положено, как визжат они в любом русском селе, в городе, когда прыгают в лодку, а парни раскачивали баты, нарочно пугая их. Чье-то пальто окунули в воду, чей-то чемодан с оторвавшейся ручкой шлепнулся на дно бата.

- Пиши каждую неделю...
- Пришли телеграмму...
- Живи в комнате с Суанка...
- Осторожней в поезде!
- Пальто надень, сыро...

Раздавались крики, совсем как на московском перроне. Кричали и по-русски и на родном языке. Кроме удэ, в Сяине живут нанайцы, есть семья эвенка, якута.

- Ой, косынку забыла, синюю, в горошек, на гвозде за дверью!..
- И кто-то бросился со всех ног за косынкой.
- Я на стипендию часы куплю...
- Смотри, чтоб пятерки...
- Зачем унты под кровать спрятала? Зачем не взяла?.. Зима будет, холодно...

К берегу бежала женщина, размахивая расшитыми унтами.

— Не возьму, в Хабаровске в унтах не ходят, стыдно, — заплакала в лодке девочка лет пятнадцати.

Товарищи ее уговаривали — мол, бери, что тебе стóит, там видно будет. И унты были переданы в лодку.

— Алло, алло...

Говорил простуженным голосом председатель артели Мунов. Горло у него было закутано шарфом, на ногах — калоши. По национальности он нанаяц. Лицо у него было плоское, светлое, попорченное оспой. Впрочем, здесь почти у всех людей среднего и старшего возраста лица были изрыты оспенными знаками. Мунов был высокий, грузный. Он страдал ревматизмом и пороком сердца, собирался ехать лечиться на курорт, да все дела не пускали.

— Алло, алло...

Он пытался привлечь внимание удэгейца с полевой сумкой через плечо и редкой растительностью на подбородке, изображавшей бороду. Человек этот забрал у деда Сигдэ шест и прыгнул в бат, он должен был его потом пригнать обратно.

— Алло, не забудь насчет локобиля... К Губареву зайди, жалуйся, я ему звонить буду... Халка нужна, баржа!

— В райпотребсоюзе скажи, — кричал тому же человеку заведующий магазином и, подняв над головой руки, закладывал по пальцам, — соли нет, населению капусту солить надо, керосина совсем мало, — выкрикивая он быстро, чтобы успеть все перечислить, — сахар надо, валенки не надо, с прошлого года не берут, обратно послать надо; махорка надо, брюки надо, зачем пятьдесят восьмой размер прислал, удэ худой... Известка надо, сколько писал, сколько звонил...

— Давай, давай трогай! — шумел Пеонка. — Время! — показывал он на часы. — До вечера кричать будете. Мне из Олона обратно пешком идти... — и шагнул в лодку.

- До свидания...
- Ая битудзэ...
- Учись хорошо!
- Пиши!
- Ая битудзэ...

Дед спрыгнул на корягу, плававшую на воде. Баты тронулись. На берегу и в лодках замахали руками, косынками, шляпами... Вода в заливе

чике была темная, зеркальная, а сам Бикин был серо-стальной и бежал мимо с такой быстротой, что при взгляде на воду кружилась голова. Тайга на том берегу подходила к самой воде, и сопки, покрытые ею, были зелены до синевы, и небо было сине, необычно сине, и зацепившееся, видать, за макушку какого-то могучего кедра белое облачко, казалось, было специально повешено для контраста, чтобы еще более подчеркнуть синеву. Баты вышли из заливчика, и Бикин понес их вниз по течению. Еще раз они мелькнули за кустами, за поворотом — и исчезли... В Олоне в них сядут еще студенты, и оттуда поплывут баты дальше... Ночевать будет где-нибудь на откосе, разведут костры, будут петь, а потом снова вниз по течению, все дальше, дальше — и прощай, тайга!..

Дед Сигдэ еще долго махал рукой, хотя ему некого было провожать. Люди, потоптавшись на берегу, поговорив, стали расходиться. Только старухи продолжали все так же сидеть на корточках, безучастные ко всему, словно неживые, словно выточенные из дерева. На них были надеты длинные узкие штаны с расшитыми манжетами у щиколотки, короткие широкие халаты с вышивкой по подолу и у ворота, в ушах — серьги кольцами, во рту — длинные трубки. Они сидели, выставив острые колени, и покачивали тяжелыми головами, которые, казалось, было трудно держать на тонких жилистых шеях... Они очень походили на каких-то мифических птиц с опущенными крыльями, с застывшими человеческими лицами.

— Сколько им может быть лет? — спросила я у Мунова, которому, видно, взгрустнулось — он проводил сына учиться и стоял задумавшись.

— Ну, этого никто не знает... Здесь, в тайге, было свое летосчисление... Спросите у них, что когда было, скажут: это было в тот год, когда черная оспа унесла все стойбище; или на третью зиму после того, как китайские купцы спойли всех и увезли пушнину; или это было в год урожая рыбы, или в год неурожая рыбы, или когда мор на зверей напал... А сколько раз спаивали купцы! Спят, заберут все до последнего колонка, только пустые бутылки в залог оставят... Сколько раз — сам видел — балаганы стоят, оморочки на берег вытащены, алочи на палках просушиваются, собаки бегают, воют, а людей нет... мертвые лежат, хронить некому — черная оспа! На берег этот никто не ступит, боятся заразы, рекой объезжают, стараются не дышать... А мертвецов звери растаскивают... Трудно жили, ох, как трудно! Если бы Советская власть чуть-чуть запоздала — никого бы не осталось. Вымирал здесь народ!.. Вы читали Джанси Кимонко? Он об этом рассказал в своей книге... Он жил здесь, неподалеку, на Хоре...

Мунов поднял валяющуюся под ногами кедровую клепку, пропитанное смолой розово-янтарное поленце, и бросил его в кучу, сваленную у стены магазина. Клепку давно уже сплавил в Бурлит, а эти особо смолистые поленья были оставлены для факелов. Вода в Бикине должна скоро спасть, наступит время метать икру кете, она пойдет вверх по течению. Тогда выйдут ночью на лодках бить ее острогой. Этот способ давно всюду запрещен, но здесь разрешают — людей мало, и бьют только для своей potreбы. Из кедровой щепы в проволочных корзинках загорятся факелы, прикрепленные к бортам лодок. Правда, есть и более совершенный способ освещать Бикин ночью — автомобильная фара, присоединенная к батарее.

— Понимаете, — продолжал Мунов, — вроде и немного я прожил — мне за пятьдесят... а вроде две жизни прожил! Одну — тысячу лет тому назад, другую — нашу... В музее меня можно показывать: какой был, какой стал! Я как-то мальчишкой с отцом в русское село зашел, в Боголюбовку на реке Ваку, менять пушнину на соль. Меня от школы палками прогнали — я только в окно хотел посмотреть... Грязный туземец,

зараза... Это верно, что грязный и что зараза... До двадцати лет не знал, что мыться надо, белье носить... Двадцать лет было, из тайги вышел...

Биография Мунова очень типична для удэгейцев и гольдов его поколения. Вышел из тайги, потому что русский охотник сказал: новая власть пришла, туземца за человека теперь считают... Вышел, одетый в звериную шкуру. Штаны из кожи зверя сделаны, куртка — все жилами сшито, не нитками... Первый раз в избу попал — спать не мог, душно, на двор ушел, под открытое небо. Молока дали, пить не мог — почему белое? Селедку — тошнить начало, хлеб — кислый! Ничего есть не мог! Как зверь, сырую рыбу ел, поймает — и съест потихоньку, пока привык... А через несколько лет уже в Хабаровске в комвузе учился, потом в Ленинград, в Институт народов Севера послали.

— Не кончил, не удалось... С детьми поехал, с женой. Климат в Ленинграде трудный, дети хворали... Вот... Сам в шкуре ходил, шамана боялся, в шалаше жил, а потом в Ленинграде... Разница? Да?.. Или как это по-русски говорят? Слово забыл...

— Контрасты?!

— Вот-вот... А начнешь нашей молодежи рассказывать, чтобы знали, как было,— не слушают, скучно... Вот сейчас в Хабаровск едут — общежитие их ждет, тепло, чисто, в столовой три раза в день кормить будут, учебниками, тетрадами обеспечивают, только учись! Культуры набирайся! С ног до головы оденут, белье, башмаки, платье, пальто — все бесплатно, все за счет государства! И стипендию дают... И еще, понимаете ли, недовольны! Дочь приехала, на учительницу учится, говорит — платье не тем фасоном делают, рукав не так шьют... А понять, что для нее Советская власть сделала, не понимает... Не тем фасоном рукав шшит...

Мунов рассердился и закашлялся.

— А что, все возвращаются сюда или часть оседает в городе? — спросила я.

— Кто в тайге вырос — в городе плохо, душно... — ответил за Мунова удэгеец в накомарнике, усевшийся на корточки около нас и крутивший козью ножку.

— Все возвращаются, — сказал Мунов. — Пятьдесят четыре студента. Хороший процент, а? На шестьдесят семейств...

Студентами здесь называют также и тех, кто, окончив семилетку в Сяине, учится в Хабаровске в десятилетке. Они живут там в интернате, на полном довольствии, их одевают, обувают, и, получив среднее образование, они могут перейти в институт или техникум, где до окончания продолжают жить на иждивении государства, которое полностью взяло на себя заботу об их обучении и содержании.

— Много очень интеллигенция... Перепроизводство... — подмигнул человек в накомарнике. У него был умный, лукавый взгляд. — Разве грамотный человек хороший охотник может быть?

— Это верно, — согласился Мунов, разводя руками и по своей привычке склоняя голову к плечу. — Настоящий охотник с детства к тайге приучается. А здесь самая охота на соболя, на медведя, на белку — в школу ходить надо... Отвыкают от тайги... Маленькое село, маленький народ, а своя проблема есть, много проблем есг...

Это верно, Сяину пришлось решить много «проблем», об этом я уже слышала, когда ехала сюда. Районные и краевые власти долго не знали, что делать с Сяином. Вначале решили создать здесь колхоз. А сяинцы все были охотники, таежники — привыкли брать то, что земля сама дает, а обрабатывать землю не их занятие. Да и потом, где в тайге земля? Выделили сяинцам землю за сто шестьдесят километров вниз по Бикину. И стали охотники подаваться из Сяина обратно в тайгу. Распался колхоз. Тогда была в Сяине создана промысловая артель — дело стало на-

лаживаться, привычное занятие — охотничий промысел. Но пока передавали артель из рук в руки, из одной организации в другую — ни одна не хотела нести ответственность за какую-то таежную артель, до которой в те годы добираться надо было чуть ли не месяц, — артель распалась. И опять сянинцы стали единоличниками. И только уже после войны здесь была создана артель «Охотник», которая существует и поныне. Но что любопытно: и опять ни одна организация не хотела числить артель за собой, и, несмотря на решение крайисполкома передать ее краевому совету промкооперации, тот ее не брал. А артель, между прочим, с каждым годом повышала доход, увеличивала премиальный фонд, выделяла фонд помощи престарелым. Двадцать два охотника награждены медалями Сельскохозяйственной выставки; артель награждена грамотой и машиной; уже своими силами построены новая школа, помещение медпункта, мечтают о новом клубе, но здесь, правда, без дотации не обойтись...

— ...Раньше мы только охотой занимались, — продолжал Мунов. — А охота — дело сезонное... Вот и стали думать, как доход повысить, как сделать, чтобы люди круглый год работали нормально, как всюду. Оглянулись — в тайге дел хватает. Теперь в артели двенадцать статей дохода. По бригадам все разбиты. Тайга свой календарь имеет: январь, февраль — соболем берем; февраль, март, апрель — клепку заготавливаем. Мерзлый кедр хорошо колется, и по снегу из тайги к реке вывозить легче. Май, июнь — плоты вяжем, сплавляем клепку по Бикину. С июня — пантовка, изюбрей бьем. Июль, август — ягода пошла: голубица, лимонник; сентябрь, октябрь — кету колем; ноябрь, декабрь — на белку охота, в мороз белка прячется. И еще с апреля по ноябрь кору с бархата¹ снимаем, плоты вяжем, сплавляем... Круглый год в тайге дело есть. Недавно артель машиной наградили — продали, куда здесь на машине поедешь? Пчел купили. Теперь мед на третьем месте по доходу стоит. Пушнина больше всего дохода дает, кора бархата очень ценится, на третьем месте мед. Еще пчел купим. Повышать доход надо. Нельзя стоять на месте: попробуй встань посреди Бикина — унесет... Дальше думать надо...

«Приговор был приведен в исполнение»

Большая печь. Вокруг печи бесшумно, крадущейся походкой, словно выслеживает зверя, ходит невысокий подвижной удэгеец. На нем накомарник, охотничий нож торчит на правом бедре — все это не вяжется с ведром глины и мастерком, которым он орудует. Впрочем, я уже успела привыкнуть: в Сяине маляр — это не только маляр, и завклубом — это не просто завклубом, на их счету могут оказаться такие встречи один на один! Печник молча мажет печь и вдруг, взглянув в окно, говорит мне, показывая мастерком на дорогу:

— Когда на медведя идешь, нельзя быть шибко храбрым, надо хитрым быть... Зачем Валентин характер не имеет, зачем торопился? Один кол, другой в дупло вбил, медведь злится, вылезти трудно, тут и бей...

По дороге, посреди села, шел Канчуга Валентин. Он возвращался с охоты, на нем были улы из кожи сохатого, старая солдатская форма, фуражка с красным околышем сдвинута на затылок, в руках он нес окровавленные легкие только что выпотрошенного им кабана. Сколько раз он так возвращался! Охота для него — дело обычное, будничное, но каждый раз, когда охота проходила удачно, его лицо, изрытое оспой, изуродованное шрамом, сияло, он был доволен собой. И завмаг тоже был

¹ Бархат амурский — пробковое дерево.

доволен: теперь магазину на неделю хватит торговать «свежей свиной». Валентин уложил кабана и чушку, килограммов триста потянут.

— Сильного врага одной храбростью нельзя взять. Его обмануть надо... — продолжал человек в ситцевом накомарнике, плотно облежавшем его голову и спускавшемся на плечи.

Комаров уже давно не было. Была осень. И только он один ходил в таком головном уборе. Меня давно заинтересовал этот удэгеец, но разговор у нас все не получался. На этот раз мы встретились в правлении артели «Охотник», здесь было тесно и шумно. То и дело хлопала дверь, то и дело кто-то появлялся на пороге. Вернулась из тайги бригада, заготавливавшая ягоды лимонника. Пришел завклубом, который шестнадцать дней пропадал в тайге, у него был отпуск — он с отцом принес корни женьшеня, чудодейственного лечебного растения. Одни приходили, другие уходили. Потом Мунов долго диктовал по телефону кому-то сводку:

— Панты — план двадцать пять, сдали двадцать семь... Панты... Да нет, первая буква «па»... Понимаешь, изюбр, рога... Вот-вот... Олон, Олон, не перебивай! Я с Пожарском разговариваю. Голубица — план восемь тонн, сдали двадцать тонн...

В комнате толпился народ. Ждали, когда освободится Мунов. В сутолоке удэгеец в накомарнике кончил мазать печь и исчез вместе со своим ведром. И спросить о нем у Мунова мне удалось, когда наконец правление опустело и остался только дед Сигдэ, который сердито стучал пальцем по стеклу барометра и словно уговаривал его:

— Зачем дождь? Бикин воды много, разольется...

Но барометр упрямылся и неизменно показывал «к дождю».

— О, так это же Канчуга! — сказал мне Мунов про удэгейца в накомарнике. — Нет, он не родственник Валентина. У нас здесь все на селе Канчуга, Узъя, Пеонка! Его зовут Николай Гайбович, он охотник, рыбак, печник, киномеханик, картины крутит. Как и все — на все руки. У нас иначе нельзя — людей мало. Он разведчиком был во время войны. Орден Боевого Красного Знамени имеет. Между прочим, японцы приговорили его к смертной казни — голову рубить. — И он ударил себя ребром ладони по шее.

— Ему удалось бежать?

— Нет, приговор был приведен в исполнение, — сказал он без тени улыбки.

Тут зазвонил телефон, и Мунов стал ругать райпотребсоюз, что нет до сих пор мотора с продуктами, что вода может начать спадать, что опять придется зимой продукты доставлять самолетом. Я не стала ждать, когда он окончит говорить, и пошла разыскивать Николая Гайбовича по селу. Его нигде не было. Наконец мне сказали, что он собирался ехать в Олон — класть печь в школе.

Я застала его на реке в лодке. Моторист уже завел мотор, и мне ничего не оставалось, как тоже прыгнуть в лодку. Лодка была узкая, длинная. Я сидела посредине на скамейке, Николай Гайбович — на носу и в случае необходимости должен был орудовать длинным шестом. Сзади трещал мотор. Пришлось запастись терпением.

Бикин несся стремительно — то разливаясь по протокам, рукавам, заливчикам, то собрав в себя воду, вздыбливаясь посредине, клубясь, крутя водовороты, гоня впереди себя ветви, стволы, коряги, разбивался с ревом и звоном о заломы, взбивая комьями пену, и, прорвавшись в ворота, катил дальше до следующего залома, где путь ему снова преграждали поваленные двести, триста, четыреста лет тому назад деревья, обглоданные, источенные водой, белые, огромные, как скелеты мамонтов.

Мы держались ближе к берегу, где течение было спокойнее, и тонкие острые листья тальника били нас по лицу. Из тайги веяло теплом и прелью. В глубине ее был мрак, словно там уже наступил вечер.

Река была безлюдна, только на отмели в одном месте лежали спрессованные туки коры бархата и у шалаша дымил притушенный костер. Да по ту сторону реки из протоки вынырнула лодка, в ней сидел, кутаясь в ватник, геолог, с которым я познакомилась в Сяине, а на корме стоял, управляя шестом, Петр Пеонка, брат секретаря сельсовета.

Третьего дня, уже совсем затемно, он спустился с гор из тайги и, узнав, что я остановилась у учительницы, ворвался в комнату. Свежие порезы от бритвы кровоточили на его щеках, волосы были наскоро обкромсаны ножницами. Атласная голубая рубаха, расшитая узорами, пузырилась на спине. Она была, видно, только что вытащена из сундука — смывая, в залежавшихся складках.

Когда из Владивостока сюда приезжают художники, то в поисках экзотики они рисуют жителей Сяина в национальном костюме, в одном и том же, в который все влезает по очереди, хотя здесь уже давно, за исключением древних старух, никто не носит национальной одежды. Но даже Мунова, совсем не похожего на удэгейца, с его плоским лицом, грузного и давно уже по-настоящему не охотившегося, художники изобразили в охотничьем костюме, в шапочке с собольим хвостом, взяв ее напрокат у драмкружковцев.

— Опиши меня, — с ребячливым простодушием пристал ко мне в тот вечер Петр. — Меня московские не описывали...

Я ему долго разясняла, что я не художник, портретов не пишу и что он зря надел голубую рубаху.

— Так пойдем со мной в горы, я тебе расскажу, какой я...

Он действительно утром ушел в горы с геологами, и я его больше не видела. А сейчас нас разделял Бикин. Петр что-то кричал, размахивая шестом, и мне казалось, что он кричит: «Опиши меня!..»

Наш мотор пронесся, и лодка осталась далеко позади. Вспугнутая цапля поднялась с островка, неуклюже свесив голенастые розовые ноги, словно ее кто-то дернул за нитку в небо, и она как стояла, так и поднялась, а потом, лениво вытянув ноги назад, застыла с распростертыми крыльями в воздухе. Когда шум мотора удалился, цапля снова выбросила ноги и встала на них на остров, словно проделала гимнастическое упражнение, разминая свои склеротические суставы.

Николай Гайбович затянул песню, протяжную, однотонную. О чем он пел? О чем поют удэгейцы? Что видят, о том и поют.

Река бежит — пел. Березки с пригорка спустились и, неосторожные, окунули ноги в Бикин. Бикин повалит, угонит, загубит. Медведь залез на черемуху, ягоды ест — пел. Сучья обламывает и кладет под зад, чтобы удобнее было на ветке сидеть. Белокорые ильмы стоят, стройные красавцы, головой в небо уперлись. А на елке черные гроздья винограда висят, и листья его горят красными фонариками. Плот плывет — кору бархата сплавляют в Хабаровск на пробковый завод. А на берегах Бикина остаются деревья, окоренные по колено, кора снова отрастет, ее снова будут снимать... Мотор шумит по реке — пел. А изюбр-дурак на берег вышел, голову набок свернул, в небо глядит, самолет ищет. К самолету привык, а к тому, что мотор на реке шумит, не привык. Артель недавно купила моторы.

...И вдруг наш мотор заглох. Лодку подхватило течением и вынесло на середину. Мы попали в водоворот, лодку развернуло, и теперь мы неслись мотором вперед, прямо на залом, туда, где были навалены гиганты дерева, где, как снежные комья, лежала взбитая пена... У меня промелькнуло в памяти, Мунов рассказывал, что с мотором не так просто управляться на Бикине — этим летом погиб парень: мотор зацепился за корягу под водой, и лодка встала свечой, носом в небо.

— Держи лодка! — кричал моторист, пытаясь завести мотор.

Николай Гайбович изо всех сил работал шестом, но было слишком глубоко, и шест не доставал до дна. Он бросил шест, схватился за куст, мимо которого мы пронсались, но сучья обломались. Тогда он сделал отчаянный, какой-то кошачий прыжок, схватился руками за тальник, росший на острове, и только кончиками сапог зацепился за борт лодки. Он, как мост, повис над рекой. Лодка остановилась. Он подтянул ее к кустам и, подложив под себя ветки, сел на них.

— Еще живы остались... мотор цел остался... — сказал он, вытирая пот с лица рукавом и улыбаясь. Удэгейцы хорошо улыбаются. Что-то доверчивое, детское есть в их улыбке. — Ты краник у отстойника отверни, мотор воды нахлебался, — обратился Николай Гайбович к мотористу.

— Инструмента нет. Может, у вас ножичек какой есть? — попросил у меня моторист.

В полевой сумке у меня были только маникюрные ножницы. Я их не решительно предложила, но они оказались подходящим инструментом. Передавая их, я заметила, что руки у меня дрожали, а мне-то казалось, что я даже не успела испугаться...

Пока моторист, чертыхаясь, возился с мотором, я спросила у Николая Гайбовича, правда ли то, о чем мне рассказал Мунов.

— Правда. Рубили голова! — сказал он очень просто, как о чем-то самом обыденном. — Плохо рубили. Японский солдат двадцать шесть человек рубил. Никому насовсем не срубил. Умирили — мучились очень.

— Но как же вам удалось уцелеть?

— Зачем умирать? Умирать успею, старый буду, жить надо! Удэ хитрый, зверя обманывал, палача обманул. Мягкая шея сделал, да?

Он все время добавлял это полувопросительное, полуутвердительное «да», словно проверял, дошло ли до собеседника то, о чем он говорил.

— Мой русский язык плохой, — сказал он. — Школа не ходил, сам учился. Шесть лет было, стал охотником. Колонка ловил, сам сэгми — самострел — делал... Как было? Великий Отечественный война был. Немецкий фашист напал на наш Родина... Все патриот армия пошел, — продолжал Николай Гайбович. — И я пошел. Все село ушел, один женщина осталась. Удэ — хороший охотник, метко целит, на фронте нужен... Я в Иманском пограничном отряде служил, в разведку ходил, да?! Сто, сто пятьдесят километров Китай ходил, там японцы были. Много ходил. Кто узнает — китаец, удэ? Китайский удэ тоже есть?! Дело делал. Один деревня, сто пятьдесят километров от границы, знакомый китаец жил, помогал. Он хороший, жена — сволочь, японцем спала. Это я потом догадался... Поздно было...

Шли трое наших разведчиков в октябре тысяча девятьсот сорок четвертого года. Шли долго в тылу врага. Шли тайгой. Еда кончилась. Бить зверя было нельзя, разводиться огонь нельзя. Голодали. Пришли к китайцу, как всегда, и, как всегда, им подали еду. Вдруг Николай Гайбович заметил, что товарищи его уронили головы на стол. Он сразу догадался — в еду было что-то подсыпано. Он хотел схватить маузер, застрелить их и себя, но маузер был таким тяжелым, он не мог его поднять... очнулся — кругом японцы... Били, пытали. Раны смазывали красным перцем со спиртом. Терял сознание. Обливали водой...

— Как чувствуешь? — спрашивали, смеялись.

— Нормально, — отвечал...

В августе тысяча девятьсот сорок пятого года повезли казнить двадцать шесть человек. Никто не знал, что уже давно окончилась война на Западе, что японцы уже удирали из Китая.

— Привезли — открытое место, поляна. Руки за спиной связали. На колени поставили всех... один, другой, один, другой... Голову велели опустить... всех подряд рубить будут. Ох, и помирать не хотелось! Почти

год в тюрьме в подвале сидел, а тут лес рядом... Скосил глаз — вижу, японский солдат нервничает, плохо бьет... Может, первый раз, может, торопится... Раз считает, два считает, на три бьет... Может, шашка тупая, может, рука слабая, голова не отскакивает... Туда, сюда шашкой бьет, неточный удар... Рука ходит... Дошел мой очередь. Японец раз считал, два считал, я мягкая шея сделал, в себя шея втянул, — и Николай Гайбович показал, как он втянул шею в плечи, — вперед качнулся, японец шашкой скользнул, мясо срезал, шашка не прямо ударила, боком прошлась... Я сознание терял, а хребет целый остался... Еще один живой остался — китаец, тоже охотник, тайга жил... тоже мягкая шея сделал... Лучше меня сделал... Я голову поднять не мог, на грудь падала, встать не мог, а он мог и идти мог...

В это время зафыркал мотор, лодку дернуло, мотор опять заглох, опять зафыркал.

— Оставайся Сяине, — вдруг меняя тон и весело мне подмигнув, сказал Николай Гайбович. — Тайга ходить будем, тайга учит. Думаешь, только город учит, книга учит? Мягкая шея делать научишься...

Шаман шаманит

Кино окончилось. И хотя на экране появилось крупными буквами слово «конец», Николай Гайбович объявил об этом вслух. Все высыпали из клуба. На улице был туман. Он, как мокрая марля, прилипал к лицу и окутывал дома, деревья, скрывая их от взгляда, но к небу он редел, и там мутно желтела луна. Я шла рядом с Валентином Канчуга и Муновым, осторожно нащупывая дорогу. Разговор нас сразу перебрал за тысячи километров от этого маленького села, затерявшегося в тайге и тумане. Мы заговорили о Европе, и ничего тут не было удивительного: мы только что просмотрели какую-то венскую оперетту, а Канчуга освобождал Вену от немецких фашистов, он был в Бухаресте, в Будапеште и в Праге. Мунов сражался под Кенигсбергом и Пилау...

— Скучный лес в Европе, — сказал Валентин, воспринимавший все в мире на свой таежный лад. — Больше саженый, дерево от дерева видно, тайги нет... Правда, Альпы — сопки приличные, и охота есть, козуль, зайцев бил, когда там стояли, для стсловой. У командира отпросился, соскучился. Ну, да разве с нашей охотой сравнишь?! Старики правду говорят: бог весь мир сделал, потом там птицу взял, там зверя взял, там дерево взял, отовсюду собрал и к нам бросил... Тигр есть, сохатый есть, кабан есть, медведь есть, все есть. Лучше нашей тайги нет. Что смеетесь? Может, и в Альпах кому нравится, вам город нравится... Каждого тянет своя дорога...

В тумане не было видно людей, только раздавались их голоса, шутки, смех, и вдруг, на минуту, разом все смолкли, и в наступившей тишине послышался какой-то странный нудный звук — кто-то на краю села глухо бил в бубен.

— Что это? — спросила я Мунова.

— Шаман шаманит, — ответил за него кто-то в тумане и засмеялся.

— Зачем неправду говоришь? Последний шаман давно умер... — сказал Мунов.

Видно, ему было неприятно. Только перед началом сеанса он мне рассказывал, что артель приобрела локомотив. Лес для столбов приготовили. Топлива хоть отбавляй — тайга за домом, и каменный уголь в трех километрах есть, прямо с земли бери. Электрификация обеспечена, а тут вдруг шаман...

— Это Гуйяно небось камлает, — сказал кто-то.

Гуйяно? Я вспомнила, как утром на медпункт к фельдшернице Гале пришел старый удэгеец и без лишних объяснений стал расстегивать пояс.

— Коли пенициллин, голова больно...

И когда Галя, осмотрев его, дала порошки от головной боли, он обиделся.

— Жалко?! Старый фельдшер колола. Молодой жалко?! Грудь болел, дышать больно — колола... Голова больно — жалко...

— Так тогда у тебя воспаление легких было, а теперь не надо пенициллина, порошок поможет.

Но старик не взял порошка и, сердито хлопнув дверью, ушел.

— Почему Гуйяно обязательно?! — сказал Мунов. — Может, кто другой из стариков, они боятся, в такую ночь черт может луну украсть, заговаривают ему зубы, отвлекают внимание...

— Старикам тоже скучно, развлекаются. Мы под баян в клубе танцуем, они — под бубен...

Кто-то засмеялся, кто-то хлопнул дверью, голоса в тумане разбрелись и смолкли. Я не пошла в интернат, где меня поместили в комнате русской учительницы Лидии Михайловны, а решила зайти к старику Сигдэ, который обещал рассказать мне удэгейские сказки. Я протянула руку, чтобы не наткнуться на забор, но туман, оказалось, свисал ключьями и у самого забора обрывался. Окно было черным, луна отражалась в нем, как в омуте, но, может быть, этим светлым бликом за черным стеклом было лицо старика. Я знала, старик любил сидеть, не зажигая света, в темноте у окна. Он жил один, старуха давно умерла, дети поженились. Я приоткрыла дверь.

— Дед, ты не спишь? — позвала я его.

Мне ответило молчание. А в лицо ударил спертый кислый запах никогда не проветривающегося помещения. Я постояла около пустой избы в нерешительности — что предпринять? А в это время словно кто дунул из тайги, туман вдруг поредел, поднялся над улицей, очистив дорогу, а на противоположной стороне еще плотнее окутал дома, скрыв от глаза их очертания.

Я пошла на звук бубна, шлепая резиновыми сапогами по мокроте, цепляясь за корни. И все вокруг меня — мертвенные отсветы луны в лужах на дороге, рваные ключья тумана над головой, как поднятые кулисы, желтые расплывшиеся пятна освещенных окон слева, где в тумане не видно домов, и четкие силуэты домов справа, и амбарчики на курьих ножках, и весла оморочек, и шкуры зверей на веревках, в блестях осевшей на них влаги, и черная тайга, где не шелохнулась ни одна ветка, — все это казалось каким-то нереальным, придуманным, невсамделишным, как говорят дети, особенно я сама, идущая по этому таежному селу, идущая на звук шаманского бубна, о котором читала только в старых книгах. Я старалась вспомнить, как пишется правильно — «камлают» или «камлюют» — это столь непривычное в московском обиходе слово. А звук бубна все приближался, вернее — я к нему приближалась. Теперь я знала, он бьет в крайнем доме, у тайги. Мне пришлось пройти мимо здания еще не достроенной новой амбулатории.

Утром здесь нервничала Галя — она вызвала Мунова и строителей.

— Ну, вот представьте себе, что вам семьдесят лет. Вот вы пришли в амбулаторию — попробуйте взобраться по этой лестнице, — говорила она Мунову, краснея и чуть запинаясь. — Ну, попробуйте, попробуйте... Или вы пришли рожать, — при амбулатории была специальная комната для рожениц, — у вас схватки, заберитесь на этот эшафот! Когда ступенька от ступеньки на километр поставлена.

Сейчас лестница была разобрана, и я, зацепившись за нее, чуть не полетела и ухватилась за дерево, обдав себя холодными брызгами. По-

том, продравшись сквозь мокрые кусты, очутилась наконец перед завешенным окном. Край одеяла или шкуры, висевшей на окне, отогнулся, и был виден кусок комнаты. Вероятно, керосиновая лампа стояла посреди пола, а вокруг нее кто-то — кто, мне не было видно — кружился с бубном. Его тень то появлялась на стене, сломанная потолком, то исчезала. И бубен то был поднят вверх, то отодвинут в сторону, то, видно, прижат к груди. И тень то мелькала быстро-быстро, раз за разом, и бубен бил дробно, а то вдруг мелькнет — и жди ее, и удары бубна редки, а то вдруг и вовсе бубен смолк, и тень исчезла, а потом опять все началось сначала...

Мне видны были только двое сидящих на полу. Дед Сигдэ сидел, поджав под себя ноги, с закрытыми глазами, и раскачивался взад и вперед. Лицо у него было сморщенное, желтое, редкие седые волосы свисали с голого подбородка, на котором кабан оставил свой след. Дед чем-то похож на корень женьшеня, вынутый из земли. Маленький, желтый, высушенный, с короткими ручками. Он был очень стар.

— Я знаю... семьдесят, восемьдесят, девяносто... давно живу, устал,— сказал он мне как-то.

Но на охоту ходил и считался специалистом варить панты. Ночью на оморочке он подплывал к протоке, куда ходят изюбры на водопой, где растет в воде длинная тонкая трава, как ее здесь называют «пластуша». В темноте по звуку дед определял, самка пришла или пантач. Пантач больше шума делает, когда достает траву из воды; он ее рогами цепляет и дышит тяжелее. Тогда дед бесшумно подгребают короткими веслами и бьет его. Он теперь применяет новую технику: под ружье на ладонь кладет электрический фонарик. Свет слепит зверя, и видно, куда стреляешь.

А осенью дед подзывает к себе изюбрей, крича по-изюбриному в берестовый рог. Осенью он уже панты не берет. К осени рога костенеют, и надо ждать, пока к весне они начнут отпадать и на их месте появятся новые. Осенью только мясо и шкура идут в дело.

Когда начинается гон, всю ночь до рассвета в тайге режут изюбры. Один закричит — другой ответит, и они ищут в темноте друг друга, готовые сразиться не на жизнь, а на смерть. Часто они так сцепляются рогами, что бьются до тех пор, пока оба не падают замертво. Вот в такие осенние ночи дед и кричит в свой берестовый рог. Ревнивый самец думает, что это его вызывает соперник, идет на его голос, ломая рогами ветви, ревя угрожающе. А за деревом ждет дед с электрическим фонариком. Дед носит фонарик на шее в мешочке, как драгоценную реликвию, и часто ощупывает его рукой, цел ли.

Я как-то заметила, что, идя на охоту, дед высек ножом на дереве треугольник и что-то быстро стал бормотать, качая головой.

— Ты молишься, дед? — спросила я его потом.

— Если у тебя зуб болел, говоришь — не болей, не болей... Если хорошо хочешь, говоришь — пусть будет, пусть будет... И я говорю — пусть зверь будет, много зверь будет, хороший зверь будет, легкий зверь будет...

— А ты в бога веришь?

Дед расшаркался. Я даже в первый момент растерялась, но потом поняла, что это не со мной он сводит свои счета.

— Твой бог — плохой бог, самый злой человек! — кричал он, тыча в меня сучковатым коротеньким пальчиком. — Зачем сделал — я как зверь жил? Ничего не знай, ничего не понимай, хуже зверя жил... А теперь помирай...

Дед все раскачивался за окном взад и вперед. Заговаривал ли он черта, чтобы тот не украл луну, или просил о чем ненавистного ему бога, в которого не очень-то верил, но которому, на всякий случай, молился.

или, быть может, просто слушал звук бубна — эту единственную музыку своей молодости.

А рядом с Сигдэ сидела на корточках старуха с неизменной трубкой во рту. Две тощие косицы, большая тяжелая голова на тонкой жилистой шее, длинное, высохшее, прямое, как ствол дерева, тело и большие узловатые руки, повисшие между колен. Она уставилась, не моргая, куда-то в одну точку, сидела, не шевелясь, и, казалось, даже не дышала и, казалось, глядела не на то, что было перед нею, а куда-то внутрь себя.

А бубен все бил, то дробно, тревожно, то тоскливо, и тень, расплюснутая, бесформенная, пронеслась по стене, накрывая лица стариков.

И мне вдруг представилось — нет этого села, нет радио, кино, самолета, школы... Только тайга. Бежит река Бикин, и на берегу несколько балаганов, как у деда Сигдэ во дворике, круглых, крытых корой и кожей, — это он по привычке спит там летом.

В таких балаганах жили круглый год. Сыро, холодно на звериных шкурах, на голой земле. Пищу варили на кострах, без соли, что добыл — тем и сыт, а не добыл — жалкий скарб собрал на оморочку и поплыл дальше. Может, там, на новом месте, повезет... Зимой, в мороз, женщины родить надо — ей шалаш поставят, воду принесут, дров наколют, шкуру подстелют: иди рожай. И никто подойти к шалашу не смеет, шаман не велит, грех. А когда придут за ней — и она и ребенок замерзли. И так бывало... А шаман говорил: бог наказал, грехов много. И бил в свой бубен. Медведь человека задрал — шаман опять бьет в бубен, велит наказать медведя, мстить ему, и все родичи погибшего должны выбросить запасы медвежьего мяса и сала. Собаки обожрут, а люди пухнут с голоду или погибают. Охотнику не всегда везет. И не в каждой семье есть охотник. Но шаман велел — закон. Тайга, река, звери... И как, должно быть, страшно было тогда слушать этот заунывный звук бубна и каким беззащитным должен был чувствовать себя человек...

Мне стало очень не по себе. Старость не радует взгляда, а эти никогда не улыбающиеся старики были какие-то особенно жалкие и беспомощные, и грусть и такая тоска проникали в душу, что мне захотелось поскорее в интернат, где меня каждый вечер ждали ребята, и сегодня я должна была им рассказать о новом стадионе в Лужниках; я так и не решилась им признаться, что до отъезда сюда не успела там побывать, и боялась, как бы они меня не поправили, если я что-нибудь спутаю, рассказывая по газетам.

Я уже собиралась уходить, когда старуха зашевелилась, и на груди у нее я увидела орден «Материнская слава». Я теперь узнала ее, это была мать Пеонка.

Я резко повернулась, чтобы уйти от окна, и, наткнувшись на что-то, испугалась, даже вскрикнула. Уж не сам ли окзо, удэгейский черт, которого заколдовывали, причудился мне или подлинный шаман в полном своем обличье — кстати, их очень не хватало для полной экзотики!.. Но я наткнулась всего только на ствол дерева, и при свете луны мне показалось по очертаниям, что это тис.

О тисе я слышала много легенд. Старики рассказывали: бог второпях, помечая, кому сколько жить, забыл о нем. Всем назначил срок, а его пропустил. Вот и растет он в этих краях с тех пор, как бог землю сотворил. Все вокруг умирает, исчезает с лица земли — звери, деревья, птицы; реки меняют русла, одни высыхают, другие появляются; горы проваливаются под землю, а новые поднимаются до неба... а он все живет... И не ест его никакой жук-дровосек, никакой короед не точит; те, с которыми он родился, давно исчезли с лица земли, а для тех, кто живет, он чужой... Никто его не понимает, и он никого не понимает и ничего не понимает, ничего не узнает вокруг себя...

Я попыталась кратчайшим путем выбраться на дорогу, пошла по тропке между огородами, но тропка привела меня кружным путем опять к тайге. Я вернулась по ней, пошла в другую сторону и опять вышла к тайге. И так было раза три. Видать, и правда, в этих краях обитал черт и решил меня покружить. Идти прямо между грядками, где рос картофель, где лежали кавуны величиной с голову годовалого ребенка — они здесь не вызревают, — было грязно и скользко. Постучать в дом, попросить, чтобы показали тропку, было неловко — заблудилась в трех соснах! А луна, как назло, пряталась за облаками. Я подождала, когда она появилась и осветила огороды. Теперь я узнала это место по сломанной валившейся в грязи кукурузе. Мы здесь ходили с Муновым и Пеонка, секретарем сельсовета, — корова забралась на огород и вытоптала кукурузу, нужно было высчитать убытки и возместить их хозяйке огорода. А так как Пеонка любит все делать официально, и, как он говорит, «документ должен быть оформлен», то он пригласил и меня в качестве представителя печати.

За огородом у домика на дереве были развешаны сети, к стене прислонен трезубец, которым колют кету. Там, в окне, был свет. Это, наверное, Николай Дункай, заведующий клубом, писал свою очередную заметку о том, как он с отцом нашел в тайге женьшень. Он любит писать об алмазных россыпях росы, о щебете птиц, о трепете листьев, и его корреспонденции охотно печатаются и в «Тихоокеанской звезде» в Хабаровске и в «Красном знамени» во Владивостоке.

Тумана больше не было. Луна светила. И я беспрепятственно добралась до интерната, где в коридоре меня встретила песня:

А второй боец диктует:
«Здравствуй, милая жена,
Моя рана прямо в сердце,
И не жди домой меня...»

Этой песней меня будили каждое утро в шесть часов. Ее пели перед тем, как садиться делать уроки, на переменках, забегая за чем-нибудь в комнату — школа была напротив, и вечером допоздна, пока воспитательница не уносила лампу.

Своих песен здесь нет. Хорошая русская песня доходит редко, разве из кинофильма какая запомнится. А петь хочется, и в тринадцать-четырнадцать лет так хочется погрузить под песню... Вот и полюбилась эта, непонятно как попавшая сюда, жалостливая и безграмотная песня о каком-то санитарном отряде, заблудившемся в Алтайских горах. И когда допевался последний куплет:

«Что тебе, голубчик, надо?
Или пить тебе подать?»
«Ничего, сестра, не надо,
Я ведь начал остывать...» —

у девочек на глазах блестели слезы. Если тут оказывались мальчишки, они начинали смеяться, дразнить — их подобные сентименты не трогали, и они лезли к девочкам вытирать слезы рукавами своих рубаш, за что получали толчки и пинки, и начиналась общая потасовка.

...Я все ждала, что меня спросят о Лужниках, где я еще не успела побывать, но разговор этот не состоялся. Девочек волновал предстоящий фестиваль. В Сяине готовилась программа художественной самодеятельности, обсуждались костюмы. И девочки размечтались — а вдруг их пошлют в Москву... Они сидели вокруг стола, завернувшись в простыни, и

их лица казались особенно коричневыми, глаза особенно блестящими. Они задавали такие вопросы о Москве, словно и сами уже успели там побывать, но только мельком, не осмотрев все подробно.

Зря на них обижаются Мунов, что, когда он им рассказывает о своем детстве, о своей юности, они его не понимают. Не понимают, как могли его отогнать от школы, потому что он туземец, да и слово-то «туземец» непонятное. И не понимают они, как он мог жить в балагане, ходить одетым в звериные шкуры и даже не знать, что на свете есть Москва. Как могло не быть в тайге радио, кино, самолета, магазина, мотора... Для них это все только сказка, и притом скучная сказка.

В сених заскрипела дверь, и на минуту ворвался все тот же нудный звук бубна — старики все еще шаманили. На пороге появились мальчики. Видно, разведка им донесла, что мы тут ведем разговоры. Одеты они были кто во что попало. Один — в сапогах и в трусах, голый до пояса, и на ноге у него выше колена виднелся розовый длинный шрам. Это он не добил секача-кабана, и тот бросился на него и распорол ему ногу клыком. Другой парнишка с головой завернулся в одеяло, третий был в пальто, и только один в ученической форме — гимнастерке, затянутой ремнем с начищенной пряжкой. Худенький, высокий, словно его взяли за уши и за ноги и растянули, как резинового.

— Ты кем хочешь быть? — спросила я его.

— Летчиком, — ответил он, пожав плечами, словно я и сама могла догадаться.

— Он будет почту возить! — засмеялись девочки.

— Да нет... — отмахнулся он от них. — Я на реактивном буду летать, на «ТУ-104», вокруг земного шара, — сказал он очень серьезно.

Сяин, Приморский край.



М. ДЕМИН

★

МАГИСТРАЛЬ

Строителям Южно-Сибирской дороги

1

Над полярной зыбью —
грань гряды,
где текут ручьи отар по склонам...
Говорят, что ханы из орды
к Енисею ездили с поклоном.
Путь востока!
Буйные монголы,
скифы и китайские купцы.
...От крутых Саян
до Танну Ола —
долы да леса
во все концы.
Солонцы.
Косая тень орла.
Бубенцы овсов.
Туман над хвоей.
Здесь теперь
тропою вековой
магистраль сибирская легла.

2

Стройки начинаются с костров.
Листопад.
И листья пахнут сладко.
Хмурый вечер
поднял над палаткой
месяца изогнутую бровь.
С кручи тень легла лиловой глыбой.
Ухнул сыч в замшелом кедраче.
Лунный блик
приняв в воде за рыбу,
где-то мишка
лапой бьет ручей.
Мрак.
Медвежий рык.
Теплынь с востока.
Партия строителей в горах.
Голубой Венере
у костра

нивелир моргает
 круглым оком.
 Пляшет пламя,
 да чатхан звенит.
 Тихо песню слушают хакасы.
 Стынет
 в звездном холоде зенит.
 Спит Сибирь
 в созвездьях новой трассы.
 Спит земля.
 А людям не до сна.
 Лесники развесили обулки.
 Взрывники
 скрутили самокрутки.
 Пляшет пламя,
 и звенит струна.
 И притих, постлав шинель в грязи,
 в сломанных очках геодезист.
 А старик, охотник с Балыксы, —
 порыжели от махры усы,
 выцвела от зноя просинь глаз —
 смотрит в ночь
 и свой ведет рассказ.

3

...Шли разведчики
 по дремучим
 гиблым топям,
 среди снегов.
 Шли урочищами,
 по кручам,
 вдоль нехоженных берегов.

И в невесте лесной вставали
 вежи будущей магистрали.

Мерзли люди.
 Курили мох.
 Бедовали.
 В обнимку спали.
 И однажды
 на перевале
 не проснулся
 один из трех.
 И в логоу, повитом пургой,
 обнял снег и не встал
 другой.

Но вставали в невесте,
 звали
 вежи
 будущей магистрали.

И, собрав остатние силы,
 третий молча шагнул в порошу.
 Молча.

Лишь на щеке обросшей
 льдинка крохотная застыла...
 Лечь бы так,
 отдохнуть,
 уснуть...
 Но еще не окончен путь.
 И шагнул.
 И не смог идти
 и почуял: конец пути.
 ...Трудно двигается рука
 над страницей дневника:
 «Знаю,
 Родина
 не забудет...»
 Ах, какой покой
 и безлюдье!
 И в размах — последняя строчка:
 «Вероятно, замерзну...» Точка.

Обогреться б...
 Но мочи нет.
 Закричать бы...
 Но кто услышит?
 Только слышно,
 о партбилет
 бьется жизнь
 все больней,
 все тише.
 Даль, подернутую свинцом,
 звезды снежные заматают.
 Звезды падают на лицо.
 Звезды падают...
 И не тают.

4

— Э, да ты взаправду, парень, скис-то! —
 тормозит сосед геодезиста.
 — Ничего, пустяк,
 дымит костер, —
 усмехнулся. И очки протер.
 А чатхан поет,
 поет, поет...
 Стоит только чуть смежить ресницы,
 от огня ладонью заслониться —
 и в глазах далекое встает...
 А охотник речь ведет о том,
 как над Томью,
 на яру крутом,
 он нашел когда-то в ивняке
 труп с тетрадь в ледяной руке.
 За рекою теплятся зарницы.
 В хвое сонно пинькает синица.
 А затем под первыми лучами
 сосны загораются свечами.
 С красных крон
 стряхнул росинки ветер.

Вспыхнув, раскололась тишина...
 Ночь прошла.
 А людям
 не до сна.
 Люди говорили о бессмертье.
 И молчал геодезист...
 Похоже,
 в мыслях он бредет по бездорожью,
 будто чувствует смертный холод тела,
 чувствует эти хлопья на лице...
 Разве кто подумать мог,
 что пелось
 нынче в песне
 о его отце?!
 Значит, здесь
 пути скрестились эти.
 Значит, здесь...
 Ну что же.
 До конца
 он пройдет,
 пройдет тропой отца
 по следам,
 по вехам,
 по планете!

5

Так и вечно —
 тех, кто пал в сраженьи,
 юное сменяет поколение.

Юность мира!
 Вот она, в походе,
 чай хлебает,
 курит у костра.
 И над ней
 большое солнце всходит,
 в сизый дым окутав магистраль.



КОНСТАНТИН ВАНШЕНКИН

★

ГОРОДСКИЕ КОСТРЫ

Всегда

в суровый час России

Среди полуночной поры
Костры пылают городские,
На мостовых горят костры.

Тоску таят в себе потемки.
Еще во многих душах страх.
Но мира старого обломки
Уже топорщатся в кострах.

Слова доносятся мужские:
«Арбат в руках у юнкеров».
Костры пылают городские —
Кого там нет, у тех костров!

Стоит задержанный прохожий,
Забывший пропуск и пароль,
И с ним конвойный в черной коже,
Еще едва входящий в роль.

Сидит, глаза прикрыв от света,
С Трехгорки — девочка почти —
И терпеливо ждет рассвета,
Чтоб лишь тогда домой идти.

И парень спит — таких здесь тыща, —
Приткнулся, голову склоня.
— Эй ты, испортишь голенища!
А ну, подайся от огня!..

Он смотрит дико — что за люди? —
И тянет пегое пальто.
— Взглянуть бы, что здесь, братцы, будет
Лет этак, скажем, через сто!..

А в переулке слышен шорох
И различимый стук сапог.
— Ну, сто не сто... Лет даже сорок,
И то, дружок, хороший срок...

Держа винтовку меж коленей,
Дымит, задумавшись, солдат...

Глаза грядущих поколений
В костры минувшего глядят.

ИННА ЛИСНЯНСКАЯ

★

НАЧАЛО

ГОРДОСТЬ

Мне говорили: — Будь горда,
Держи себя умеючи. —
Но гордости я никогда
Не тратила на мелочи.

И если вдруг хороший друг
Меня обидит, может быть, —
Не отведу при встрече рук,
Не притворюсь прохожею.

И если грянет вдруг беда —
Я окажусь у пропасти, —
Я другу крикну:
— Руку дай! —
Не промолчу из гордости.

И если перед правдой дней
Я виновата в чем-нибудь,
Не спрячу совести своей
За гордостью никчемною.

Я, может быть, лишь тем горда,
Что не живу умеючи,
Что гордости я никогда
Не тратила на мелочи.

В ОПЕРЕ

Я помню, в юности когда-то,
Когда послевоенный быт
Еще не штопан был, не латан,
Не остеклен и не обит,

И было не во что обуться,
И нечем голову покрыть,
Я в стареньком платьишке куцем
Умела в оперу ходить.

Казалось кой-кому нелепым,
Что вместо чека на обед

И порции ржаного хлеба
Брала я в оперу билет.

Но только так или иначе,
Взойдя под самый потолок,
Сидела я, под стул не пряча
Отцовских кирзовых сапог.

Я аплодировала рьяно,
Программу комкая в руке,
Я слезы Лариной Татьяны
Размазывала по щеке.

Мне в душу оперная сцена
Дышала русской стариной...

О, как играли вдохновенно
Артисты в год послевоенный —
Они-то знали, знали цену
Билета, купленного мной!

КАРТОШКА

Со студенческой группой
Я трудилась отменно —
Не за хлеб, не за рубль,
Говорю откровенно.

В подмосковном колхозе
Я картошку копала,
Завидующие слезы
Рукавом утирала.

Шли по соткам девчонки
С говорком да припляской,
Городские юбочки
Подоткнув по-крестьянски.

Не впервой им лопатой
Разгребать огорсды:
Были в группе девчата
Все крестьянского роду.

Городской, мне досталось —
От рассвета до ночи,
Трудно пряча усталость,
Я работала молча.

Отдыхала я реже —
Мне и отдых был тяжек:
Пуще всяких насмешек
Я боялась поблажек.

С черенка вдруг лопата
Не однажды срывалась,
Мимо цели куда-то
Не однажды врезалась

И крошила картошки
Хрустящее мясо.
Я когда-то и к ложке
Приучалась не сразу...

В подмосковном колхозе
Я картошку копала,
И уже я не слезы —
Только пот утирала.

Я картошку копала
И кляла, как умела,
Но ни раньше не знала,
Ни позже не ела

Ничего, что бы было
Мне и слаще и горше
Тех тяжелых, немилых,
Чуть подмерзших картошек.

ДОЧЕРИ

Доченька, тебе всего три годика.
Три весны прошли, как не бывало,
И пока игрушечные ходики —
Все, что ты о времени узнала.
Оттого, что называюсь мамою, —
И не по какой другой примете —
Для тебя хорошая я самая,
Самая умелая на свете.

Но пройдут года, ты станешь взрослою
И увидишь с этого порога:
Часовыми стрелками, как беслами,
Жизни раздвигается дорога.
Отнесешься строго и взыскательно
И к себе, и к людям ты, и к веку
И на мать посмотришь обязательно
Взглядом трудового человека.

Потому с таким самозабвением
И тружусь с рассвета до заката,
Чтобы встретить взгляд твой без смущения
И не улыбаться виновато.
Пусть лицо со временем изменится,
Пусть морщины станут откровенней,
Но я буду, буду современницей
Твоего большого поколения.

Это выше всех наград и премий мне —
Оставаться, как ты б ни взрослела,
Для тебя по всем приметам времени
Самую хорошей и умелой.



АЛЕКСАНДР БЫЛИНОВ

★

РОТА УХОДИТ С ПЕСНЕЙ

*Повесть**

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

Прокурор Котельников страдал астмой. Она привязалась к нему давно, но приступы случались не часто, и он даже забывал о ней в сухие и теплые дни. Она возвращалась к нему в туман или в дождь. В такие дни дышать становилось тяжело, и он злился на всех смертных, которые легко ходят и свободно дышат. Почему именно к нему привязалась эта проклятая болезнь?! Было особенно неприятно, когда Татьяна впервые стала свидетельницей приступа. Он полулежал в кресле, страдая от удушья, видел ее испуганное лицо, хотел успокоить, но не мог произнести ни слова. Татьяна и раньше тревожно прислушивалась к его хрипам и посвистам, знала о мучительном недуге, от которого, правда, до смерти далеко, но и до веселья не близко. И все же она поллюбила его и готова на все, лишь бы быть вместе.

Астма хватает железными пальцами, скрючивает в три погибели, пока человек не посинеет и не станет дышать, как рыба, выброшенная на берег. Он глотает порошки, его, беспомощного, безответного, колот иглами, а вокруг суета и расширенные страхом зрачки женщины, готовой закричать, бежать куда глаза глядят. Не надо в эти часы ни любви, ни нежности. Ничто не мило, все бы, кажется, отдал за глоток воздуха, за счастье свободного вдоха. Потом, через день, через два, это проходит, возвращается бодрость, забыты тягостные минуты, все неурядицы, связанные с болезнью, с этой поздней любовью и горьким семейным разладом.

Прежде Котельников был заместителем прокурора округа. Их познакомил Юст, следователь прокуратуры, разбитый малый с лоснящейся физиономией, постоянно озабоченный упаковкой посылок для жены, жившей где-то в Кустанае или Ташкенте. Котельников относился к нему снисходительно — у каждого свои слабости.

На именинах у Юста среди прочих женщин Котельников встретил Татьяну. У нее были серые глаза, утиный носик, нежная светлая кожа. Лицо неправильное, мальчишечье, хотя ей было заметно за тридцать.

Подвыпив, они танцевали весь вечер, ни на кого не глядя. Он забыл обо всем — о болезни, о службе. Он давно чувствовал себя одиноким, хотя нравился женщинам.

Лицо Котельникова было темным, мужицким, сильным. Рот великоват, нос с багровой, словно прижатой горбинкой, уши непомерно торпорщились. Но общий склад лица был привлекательным и гармонировал

* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 7 с. г.

с крупной фигурой, могучим торсом и басовитым, с придыханием голосом. Он был моложав и, видимо, не скоро сдастся времени. Разве что проклятая болезнь раньше срока разрушит это крепкое тело.

Тогда, на именинах, где угощением была картошка в мундире, пайковая сельдь да разведенный спирт, они потянулись друг к другу, поцеловались в прихожей — и судьба Валентины Ивановны Котельниковой и двух ее сыновей была решена.

Татьяна ходила в кожаном, уже не новом пальто и кожаном шлеме. Раскрасневшаяся от мороза, с заиндевевшими локонами, с ямочкой на подбородке, она походила на молодого русского витязя. Он так и прозвал ее — «витязь». Она загадочно улыбалась в ответ. Витязь так витязь. Лишь бы вместе.

Муж ее, летчик, погиб давно, в первые месяцы войны.

События развернулись стремительнее, чем ожидал Котельников. Семья его приехала из Вольска неожиданно-негаданно и встретила сочувствие у командующего и члена военного совета. Через много дней, очнувшись от всего происшедшего, Котельников понял, что семье нарочно вызвали, удружил кто-то из поборников нравственности. Встреча состоялась в холодной гостинице. Валентина постарела и казалась Котельникову совсем чужой. Ребята держали себя стойко, по-мужски, и с любопытством поглядывали на блудного отца. О них он, конечно, позаботится. А жена — что ж, она еще, пожалуй, выйдет замуж. Право. И даже будет счастлива. Он что-то еще лепетал, вероятно несуразности, потому что Валентина поторопилась закончить эту унижительную сцену.

Потом он предстал перед окружной партийной комиссией. Вероятно, сединок после этого поприбавилось, но на попятную он все-таки не пошел. Его сняли с должности и направили на низовую работу.

В запасную бригаду, в отторженную от мира степь, Котельников ехал, как в ссылку. Татьяне пришлось остаться. Приехать вместе покамест неудобно — это было бы вызовом. Тем более, что перед отъездом произошел знаменательный и обнадеживающий разговор с прокурором округа.

— Сумейте оправдать себя на низовой работе, майор, — сказал он, пожимая большую руку Котельникова. — Может быть, удастся что-нибудь сделать для вас.

— Прошу вас, товарищ полковник. Согласен на любую должность, только бы в городе. Я уже не юноша, вы видите, как трудно добывается счастье...

— Счастье — понятие относительное, майор, — уклончиво сказал прокурор.

Итак, что же он в конечном счете успел? Сменил отличный кабинет на обитую досками сырую землянку. Заработал одиночеством и ревностью, которая хуже астмы теснила грудь и не давала покоя; усталость и равнодушие решительно ко всему, что не связано с окружным городом и зелеными ставнями одноэтажного домика на заветной Шаумяновской. «Дела» в бригаде были оскорбительно примитивны. Все, что поважнее, уплывало к начальству. Котельникову доставались склады продфуражного снабжения, обозно-вещевого довольствия, мелкие нарушения. Его внушительная фигура явно не вязалась с этим лагерем, пахнувшим конской обрueй и солдатскими сапогами. Он давно уже вырос из этих полковых мерок. Еще до войны он был городским прокурором.

Война подняла его еще выше. И только астма цепко держала во втором эшелоне, где, как известно, не очень продвинешься. Однако и эти земные, суетные размышления о должностях, званиях, орденах вытеснила теперь одна Татьяна. Всему остальному он теперь познал цену, теперь ничего не надо.

Он написал с горя несколько писем полковнику, бывшему да и нынешнему начальнику. Письма были деликатные, выверенные до запятой.

Ответа не последовало. И только однажды на совещании в округе полковник заметил мимоходом:

— Вы мне писем больше не пишете, Котельников. Не отвлекайтесь. Оправдайте себя на низовой работе.

Татьяна тосковала вдали от него. «Неужели так трудно оправдать себя на низовой работе? — писала она. — Что это такое — оправдать себя? Хорошо поработать? Значит, надо хорошо поработать, Гог».

«Милая моя, — думал Котельников с горечью. — Знаешь ли ты, что значит хорошо поработать прокурору? Ведь дело не высосешь из пальца».

И вот наконец появилось дело Папуши. Вызвал сам командир бригады: «Церемониться не будем».

Папуша, Папуша... Котельников давно слышал об этом капитане. Кто-то даже докладывал о случае рукоприкладства. Чуть ли не комиссар Папуши — Соболюков. Котельников тогда не стал разбираться в этой кляузе. А теперь Папуша уже в ином качестве. Теперь Папуша — серьезное дело, требующее некоторого размышления. Сомнений нет, комбриг попал в точку. Он сам нащупал и передал в руки прокурора звено таинственной цепи, покамест еще теряющейся в тумане, и теперь уже дело Котельникова — рассеять туман и дотянуться до самого последнего звена.

Это «дело» достойно серьезных усилий и, разумеется, личного участия прокурора в расследовании. Обо всем этом, несомненно, прослышат в округе.

Особенная уверенность пришла к Котельникову во время допроса старшего лейтенанта Аренского, командира злополучной маршевой роты.

Он сидел перед прокурором бледный, утомленный, с обвислыми усами и не находившими себе покоя руками.

— Я вас вызвал в качестве свидетеля по делу Папуши, — сказал Котельников. — Я прошу вас показывать как можно подробнее.

Аренский объявил, что он сам виноват во всем.

Прокурор торопливо писал. Он не верил своим ушам. Все так просто получилось с Аренским. Можно сказать, сам приплыл к нему в дело...

Лист заполнялся за листом. Сбивчивые самообвинения Аренского излагались в протоколе допроса скрупулезно точными фразами. Привычно и деловито прокурор переводил взволнованную речь допрашиваемого на сухой и лапидарный язык следствия, не меняя ее существа. Но дух разговора, конечно, при этом изменялся. Из протокола улетучивались и застенчивая улыбка Аренского, и его поразительная наивность, и даже прорывающиеся иногда нотки экстаза, способные насторожить, и смягчить самого пристрастного следователя.

Аренский подписал протокол, не читая; видимо, он полностью доверял прокурору.

Котельников отпустил Аренского и вышел из кабинета в просторную комнату, где за столами сидели оба следователя бригадной прокуратуры.

— Рудин, — позвал прокурор, — вы мне нужны.

Рудин был молодой, толковый следователь, раненный на фронте в руку, которая теперь не разгибалась в локте. Очень худой, с длинноватым нежным, девическим лицом, он был близорук, вечно щурил глаза, писал, почти вплотную пригибаясь к столу, но очками не пользовался.

— Докладывайте, — сказал прокурор, когда Рудин сел на табурет у стола.

— Ничего нового, товарищ прокурор. Комиссару Соболюкову удалось сохранить боевой дух в батальоне...

— Песни поют? — перебил прокурор. — Соболюкова я допрашивал лично. Человек хлипкий. Политически незрелый. Проворонил все на свете.

— Разве он вам не сказал?

— Чего не сказал?

— Что он докладывал, писал.

— Этого не было.

Рудин молчал.

— Я вам сообщал что-нибудь?— строго спросил прокурор.

— Вы? Нет, ничего.

— Значит, не фантазируйте. Вы не романист, а следователь прокуратуры. Вы имеете дело только с фактами.

Рудин был удивлен: «Почему Соболюков ни словом не обмолвился о своих настойчивых донесениях Шербаку?»

Он прищурился, словно хотел увидеть то, что не дано было увидеть прокурору.

Котельников вел себя, в общем, обычно. Надо было обвинять, готовить материалы следствия. Но поскольку Рудин сидел не в прокурорском кресле, а только на простой следовательской табуретке, то и взгляд на «дело» был у него свой, следовательский. Он еще не знал, какой оборот примет дело, и суждения своего еще не выработал, но именно поэтому он где-то в глубине души воспротивился уж слишком быстро выработанному суждению прокурора. Уже случалось не раз, что Котельников выговаривал ему за медлительность и нерасторопность в оценках. Но Рудин оставался Рудиным — себя не переделаешь, что-то мешало ему принять эти отеческие наставления за чистую монету. Рудин чувствовал, что прокурор недолюбливает его, хотя и считает толковым следователем.

Котельникову же казалось, что этот молодой человек с определенными данными без должного уважения относится к нему, прокурору. Это было видно уже по тому, что, когда он еще только обдумывал какой-нибудь вопрос, прокурору этот же вопрос казался окончательно ясным и давно решенным. Более того, этот юнец как будто иронически воспринимает его самого, его фигуру, предназначенную для высокого кабинета в округе и вынужденную в силу сложившихся обстоятельств ютиться в дощатой землянке, пахнувшей сыростью и сосной. Второй следователь был поклядистее. А с этим он даже не всегда находил правильный тон. Материалы следствия у Рудина были всегда грамотны, но почти в каждом из них прокурора изумлял необычный поворот в сторону от профессиональной точности. Словно какая-то сила, с которой не мог совладать молодой следователь, водила его пером, выпирала из страниц протоколов то меткой, но решительно неуместной характеристикой, то развернутой психологической «разведкой», которая скорее пригодилась бы в романе, нежели в документе следствия, поразительно верным внешним портретом или точно переданным внутренним состоянием подсудленного или свидетеля. Котельников считал, что у Рудина есть способности литератора, что где-то в нем сидит художник, который мешает следователю. Вот и на сей раз он придумал совершенно наивную версию о мнимом благополучии в батальоне, несмотря на то, что комбриг имеет свое суждение на этот счет.

— В батальоне много серьезных недостатков, это правда,— сдержанно сказал Рудин в ответ на раздраженное замечание прокурора.— Но разложения там нет. Я, по крайней мере, его не вижу.

Рудин сумел увидеть батальон «снизу». — глазами сержантов и рядовых бойцов. Долго говорил он с Яковом Руденко, забыв о протоколе допроса. Да это и не был допрос, это была душевная беседа о жите-бытье между двумя людьми, призванными из запаса и одетыми в военную форму. По словам Руденко, после случая с маршевой ротой ребята определенно подтянулись. Вообще ребята в батальоне хорошие, но их учить надо. Люди преданы делу, люди злы на фашистов, рвутся на фронт.

— Вы уезжаете на завод?— спросил Рудин.

— Так точно, товарищ следователь. К сожалению, придется поехать.

— Почему, к сожалению?

— Потому что наше место на фронте, товарищ следователь.— Руденко помолчал и спросил:— А чем интересуетесь, если не секрет?

Чем интересовался Рудин? Он выходил в поле с бойцами и забывал порой о том, что листки блокнота остаются пустыми. Его увлекали учебные сражения, тренировки на стрельбищах и штурмовых полосах. В батальоне было много солидных, колоритных старшин и младших командиров — сержантов. Он описывал их мысли и настроения, рассказывал их биографии и факты из жизни подразделений. У него было обыкновенное любопытство к людям, которые в большинстве своем оказывались хорошими и — увы! — не пригодными для «дела».

...Прокурор небрежно листал тетрадки Рудина. Он чувствовал, что в этих сумбурных записях заключена правда. Не такая, которая становится правдой, только если ее скрепляет подпись допрашиваемого. А та, что всегда правда. Он не был противником такой правды. Но не в данном случае.

— Вы никогда не пробовали писать?— спросил Котельников.— Ну... быть писателем...

— Я работал в комсомольской газете. А в прошлом, до юридического института,— журналист.

— Это чувствуется. Ваши материалы, товарищ Рудин, больше смахивают на художественное произведение, нежели на юридический документ. Вам многое «кажется». Вместо помощи прокурору у вас какие-то противоречивые заметки. Так сказать, «взгляд и нечто». Я прокурор, я обвиняю. Вы готовите дело к судебному разбирательству. Дело должно быть не вялым, не шатким, а мускулистым, крепким. Мы твердо убеждены в виновности определенных лиц, мы расширяем круг обвиняемых, если материалы следствия подсказывают нам эту необходимость. Вы обязаны нам помогать, поймите, а не выискивать смягчающие вину обстоятельства. Похоже, что вы работаете не в прокуратуре, а в коллегии защитников, что ли...

Прокурор недовольным жестом захлопнул папку и протянул ее Рудину.

— Поработайте в таком духе,— сказал он уже мягче.— Вы способный следователь, но у вас есть вывих, вы извините меня, странность, если хотите. Избыток филантропии. Особенно же — учтите!— в военное время и когда начальство поручает оперативную и недвусмысленную работу. Вы понимаете меня?

— Понимаю.

— Ну вот, ну и хорошо.

2

«Прокурор — говорящий публично судья». Эти слова Кони Рудин успел уже полюбить.

Прокурор должен быть объективен и неподкупен, он должен быть и строг и добр, как должен быть строг и добр судья. Если когда-нибудь Рудину придется быть прокурором на процессе, он будет именно таким — судьей, говорящим гублично. Он даже видел себя на трибуне; в такие минуты его собственная неказистая фигура вырастала в его глазах, голос становился проникновенным и властным, логика слов — неотразимой и обаятельной, а мысль — одновременно гуманной и беспощадной. Но при встречах с Котельниковым величественная трибуна уплывала куда-то в дальний угол, и оставалась только эта его неказистая фигура с неловкими движениями и грузом сомнений на узких плечах. Если говорить начистоту, этой фигурке теперь скорее подошли бы пузатый портфельчик и роль адвоката, не претендующего на внешние

эффекты и озабоченного только тем, чтобы любыми способами отвоевать у грозной Фемиды ломтик милости для своего подзащитного.

Перечитывая свои студенческие записи, Рудин нашел такое высказывание одного видного юриста:

«...Что один и тот же факт может быть правдиво освещен с двух точек зрения, покажем на следующем простом психологическом примере: двое заходят в судебный зал — один мрачно настроен, другой настроен добродушно. Первый подумает: «Зал наполовину пуст», второй: «Зал наполовину полон». И тот и другой по существу не разошлись во мнении, не погрешили против истины, но каждый воспринял один и тот же факт индивидуально, сообразно особенностям своего характера или настроения».

...Сообразно особенностям своего характера. Почему же прокурору дела в батальоне видятся в столь мрачном свете? Тоже сообразно особенностям его характера?

После беседы с Котельниковым Рудин отправился в батальон и встретился с Соболевым.

— Почему же вы умолчали о ваших политдонесениях? Ведь это вас рисует совершенно в новом свете. Вы сигнализировали, докладывали, писали, но кто-то отнесся бюрократически... пропустил мимо ушей...

— Молодой человек, — ответил Соболев, — не доверяю я вашему прокурору — глаза его не нравятся. Не располагают к откровенности.

— Не знаю... не знаю... — Рудину показалось, что и его упрекают в чем-то. — Во всяком случае он представитель закона.

— Я смотрел ему в глаза, — продолжал Соболев, словно не услышав Рудина, — и читал в них одно: ожидание — назови того, назови другого... Нет, не назову, дорогой прокурор. Я один виноват. Проглядел. На-кася, выкуси. А что я сигнализировал кому-то, писал донесения... Ну и что с того? Все равно не довел дела до конца. Ограничился писаниной. И потом разве во мне тут дело? У меня такое впечатление, что ваш прокурор, если бы его воля, перешерстил бы всех, весь батальон. Зачем это ему?

Рудин промолчал.

— Если вы честный человек, вы отстоите Аренского, — неожиданно сказал Соболев. — Ему угрожает штрафная рота. Это никому не нужная жертва.

— Аренским занимается сам прокурор, — уклончиво ответил Рудин. — Мне поручено следствие в первых этажах батальона. Но я представлю дело вполне объективно. У меня нет предвзятости.

— И на том спасибо.

— Безвинно не пострадает никто, — твердо сказал Рудин. — Прокурор разберется. Он понимает.

— Мы тоже понимаем, — раздраженно сказал Соболев. — С нами тоже надо считаться вашему брату! Мы человека чувствуем и знаем не хуже вас. Вы допрашиваете час, а мы живем с ним год. Или даже всю жизнь.

— Между прочим, Аренский сам настаивает на своей виновности, — заметил Рудин.

— Самооговор слабонервного интеллигента.

— Вы юрист?

— Нет. Но я не думаю, что только юристам дано разбираться в преступлениях и наказаниях.

Рудин видел, что никто не был так близок к скамье подсудимых, как Аренский. Обстоятельства складывались против незадачливого комроты, вернее сказать, он сам же их складывал против себя. Что же можно тут поделать? Рудин ни разу не покривил душой. Разговаривая с бойцами роты Аренского, он не забывал, какая угроза нависла над их командиром,

с его сложным и, наверно, нелегким прошлым, с будущим, которое в известной степени зависело от него, Рудина.

В данном случае Рудин сделал все по правде. Она не нравится прокурору. Что ж, это еще не так страшно. Есть вещи, которые делает прокурор и которые не нравятся Рудину.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1

Борис Зайдер уехал на фронт в первый же день войны. В августе немцы заняли Кировоград, и с тех пор тревога не покидала Зайдера. Он не знал, успела ли семья уехать с заводом. Все попытки разыскать ее с помощью бюро в Бугуруслане не увенчались успехом.

Жену он, пожалуй, не любил. Они поженились задолго до войны благодаря вмешательству родственников — Борис, увлеченный техникой, не был приспособлен к ухаживанию. Она была рыхлой и не очень красивой. Но ему говорили, что у нее хорошие глаза. Глаза были действительно красивые — слегка выпуклые, карие, с зеленоватыми искорками. Ему не очень нравились брюнетки. Он бы скорее предпочел блондинку, похожую на ту кудрявую девушку, что снималась в американском фильме «80 дней вокруг света». Но покойная мама говорила, что Розочка будет хорошей женой.

— Ты хочешь, чтобы я женился на Розочке? — спросил Борис.

— Да, конечно, — ответила мама.

И он женился.

Зайдер никогда не был настоящим семьянином. Он был техником. Он увлекался своими изобретениями, техническими открытиями, но починить дверной замок или отремонтировать кран ему постоянно было некогда. Роза посмеивалась над ним, посмеивались и дети. Папа был «выдающимся изобретателем». У него было лишь одно рационализаторское предложение, экономившее всего двадцать пять тысяч рублей в год. Но он любил свое дело, был активистом БРИЗа и часами просиживал за чертежной доской, злоупотребляя неиссякаемым терпением жены.

Роза все-таки была хорошая... Жены его знакомых любили одеваться, шиковать, ездить на курорты, принимать гостей. У Розы все было скромно. Шиковать было не на что, жили они не широко. Но девочки у них были одеты не хуже, чем у других. Леночка ходила в четвертый класс. Риточке было шесть, и она уже бойко читала стихи.

Теперь они у немцев. Это было почти ясно, хотя еще теплилась надежда.

Даже майор Мельник, прощаясь, ободряюще похлопал Зайдера по плечу.

— Не вешай нос, друже. Все будет в порядке.

— Спасибо. Конечно, товарищ майор.

Зайдера любили в полку. Его небольшая фигура, доброе, грустное лицо с крупным мясистым носом и толстыми, словно припухшими губами, его рабочие, цепкие руки и молчаливая деловитость пришлись по душе однополчанам. Работу мастерских боепитания, состояние оружия в части всегда ставили в пример. Ходил Зайдер в замасленном комбинезоне, таком же, как у его помощников, и вместе с ними вечно возился то у гусеничного трактора «ЧТЗ», то у полкового мотоциклета, на котором ездил Шербак, то у 45-миллиметровой пушки, то у тисков с зажатыми в них ружейными стволами. Жил он в крохотной каморке, и полковые оружейники, отгороженные от него брезентовым пологом, были его закадычными друзьями.

Особенно сблизился Зайдер с пожилым оружейным мастером Неходой. Они любили вместе ходить в баню. Нехода плескал воду на раскаленные камни, и пар застилал крохотную комнатенку со скользким, как илистое дно, полом. Они обливались горячей водой, терли друг другу спину и подбавляли пару, побряхтывая и поругиваясь. Когда дышать становилось неважно, они ложились на пол и переводили дух и снова парились и поднимались с полки на полку, блаженно охлопывая друг друга ладонями.

— Усім нам одинаково, товарищ начальник. Все мы жинок, дитей оставили на Украине, — нередко ободрял Зайдера оружейник. — Невже ж можна так-таки переживать? Побачите, живы будут, як прийдемо.

— Не все, не все, Нехода, останутся живы, — отвечал Зайдер. — Ты и сам понимаешь, друг мой, что не все... Странно! Вот я, здоровый, сильный, почему я должен спокойно спать, улыбаться, есть, когда они там...

— А вы ж и не спите... Хиба вы спите? — возражал Нехода.

— Посмотри, Нехода, сколько у меня оружия! Снаряды, патроны, винтовки. Но беспомощнее меня нет никого на свете.

Когда радио сообщило о прорыве немцев на юго-западе и вторичном захвате Лозовой, Зайдер постарел за несколько часов. Ночью он позвал Неходу.

— Прибыв, товарищ начальник, — встревоженно доложил оружейник, войдя в каморку. Он был полуодет и взлохмачен. — Прибыв. Що трапилось?

Зайдер сидел в одном белье, и Нехода увидел большие, искривленные ревматизмом ступни начальника.

— Закуривай, — предложил Зайдер. — Садись. Ты извини меня за ночную тревогу. Слышал сводку?

— Слушал. Отдали Лозову.

— Отдали Лозову, — словно эхо, повторил Зайдер. — Лозовая — это крупнейший узел. Лозовая — Попасная... Значит, дела плохи.

— Ясно, що не вареники з вишнями.

— И долго это будет продолжаться, Нехода? Как ты думаешь?

— Думаю, пока второй фронт не откроют.

— А я думаю, что, пока откроют второй фронт, мы должны кое-что сделать сами. Как ты смотришь на диск-магазин к ручному пулемету Дегтярева?

Нехода свернул длиннейшую «козью ножку» и ответил, что пулемет отличный, а магазин действительно не совсем удобный в разборке и снаряжении и что Дегтярев, надо думать, ночи не спит, все работает над его усовершенствованием. Нехода знал слабости своего начальника и по ночным вызовам являлся без особой поспешности, хотя и с крайне встревоженным видом. Ночные беседы были нередки, и сам Нехода любил ночью покурить, потолковать по душам с Зайдером, зная, что наутро наверняка начнется изготовление макета для очередного зайдеровского усовершенствования.

— Видишь ли, Федор Васильевич, некогда сейчас отсыпаться, — сказал Зайдер. — Каждый должен внести свой взнос. Я придумал одну интересную штуку.

Он взял черный диск и стал вывинчивать отверткой винт пружинной задержки.

Нехода дымил сигаркой и с удивлением слушал Зайдера. Усовершенствование было оригинальное и простое.

— Що за голова у вас, добродию, — сказал он.

— Голова умная, а дураку досталась, — пошутил Зайдер.

— Та що ви, Борис Семенович! — В неслужбное время они называли друг друга по имени-отчеству, как принято среди уважающих себя мастеровых. — Це ж, вы знаете, пулеметчики вас на руках носыты муть...

— Не надо преувеличивать, Федор Васильевич, не надо. Знаешь ли ты, что такое Лозовая? Это ворота. Лозовая — Попасная... Ах ты ж, боже мой... — Он поднялся с койки и стал нервно вышагивать по своей каморке. — Мой отец, Нехода, старый печатник, эмигрировал в тринадцатом году из России в Вену. Не от хорошей жизни, скажу тебе. Во всяком случае, он искал лучшего. Он хорошо умел работать на плоской машине. Но он недолго проработал в типографии. Вскоре он заинтересовался изготовлением крахмала. Один австриец знал секрет высокосортного крахмала. Никого он не допускал в цех, когда принимался за работу. Тогда отец притворился дурачком. И австриец выбрал его в помощники. Сейчас ему пятьдесят восемь, а продукция артели «Крахмалсоюз» считается лучшей в области. Ты понимаешь, зачем я это говорю? За что фашисты хотят закопать моего старика? Это же интересная трудовая жизнь. За чем им понадобилась кровь моего отца, моих девочек?

Зайдер стоял у кровати, схватившись за ее ржавую спинку, и глаза его горели. Нехода заговорил с неожиданной для него нежностью:

— Борис Семенович, не треба, успокойся. Твой старик живой, ей-богу, живой. Давай насчет магазина... Ось, слухай сюды...

Через несколько дней оружейная мастерская занялась новым магазином к ручному пулемету. Тогда-то и произошла очередная неприятность с Борским.

Зайдер не мог понять, чего, собственно, хочет этот человек. Неужели он мстит за выступление на партийном собрании? Но что же мог сделать Зайдер? Борский вымогал у него тол, как будто взрывчатка на складах боепитания не приходится. Зайдер выдал взрывчатку раз, другой, третий... Но однажды он сказал начальнику штаба:

— Товарищ капитан, так же можно всю рыбу уничтожить...

— О рыбе не тревожься. Гони шашечку.

Зайдер дал взрывчатку и на этот раз. Он слышал на реке взрывы, и сердце его сжималось от негодования.

И вот наконец он отказал.

— Товарищ капитан, у меня тола нет, — сказал он почти торжественно, когда Борский, заметно навеселе, появился в мастерской.

— Врешь!

— Может быть, я и вру. Но для вас у меня тола нет.

— Почему это для меня нет? Кто тебя учил так разговаривать с начальником штаба?

— Товарищ капитан, у меня имущество... — Зайдер покраснел, и у него на лбу выступил пот. — Понимаете, военное имущество...

— Эх ты, лавочник, — презрительно сказал Борский и, круто повернувшись, вышел.

Об этом инциденте и рассказал Зайдер на партийном собрании в штабе полка. Он заявил, что никогда не был лавочником и никто никогда так его не оскорблял. В защиту Зайдера выступил Щербак, который заявил, что, если бы не фронтовая инвалидность Борского, следовало бы принять крутые меры.

После собрания Борский сказал Зайдеру:

— Действительно, затеял... Из-за паршивого куска тола таким динамитом по мне шарахнул. Неужто не договорились бы?

А когда Зайдер занялся диском-магазином, Борский опять появился в мастерской и засверлил Зайдера своим единственным глазом. Он был фасонистый, этот Борский! Никогда Зайдеру не быть таким стройным, таким красивым и вытуженным, как начальник штаба. Борский прошелся по мастерской, осматривая ее хозяйским оком.

— Это что? — спросил он, ткнув пальцем в детали, разложенные возле тисков.

— Изобрели новый магазин для «РПД», товарищ капитан, — объяснил Зайдер. — Он будет снаряжаться в три раза быстрее.

Борский пыхнул трубкой.

— Не магазин, а лавочку... Выражайтесь точнее.

— Что вы сказали?

— Лучше бы заботились о приведении оружия к нормальному бою. Изобретатели и без вас найдутся. Эдисон...

Зайдер, не помня себя, закричал:

— Что вы понимаете в этом?! Принц несчастный!

Борский поспешно вышел.

«Мелкая душа! — Зайдер дрожал. — За что? За что он так грубо мстит? Выходит, нельзя произнести ни слова критики в адрес начальства?»

Поостыв, он решил: жаловаться он не будет. Он докажет делом. Он добьется правды. Ведь диск уже почти готов.

Несколько дней спустя он набрался духу подойти к Беляеву.

— Я имею инициативу, товарищ полковник, прошу извинения.

Зайдер всегда смущался при разговоре с начальством, и на лбу у него выступала испарина.

— Я слушаю вас, — сказал полковник, внимательно всматриваясь в Зайдера. — Кто вы? Представьтесь.

— Начальник арттехснабжения 274-го полка, старший лейтенант Зайдер. Борис Зайдер.

— Очень хорошо, товарищ Зайдер. В чем заключается ваша инициатива?

— Я предлагаю новый диск к ручному пулемету.

Полковник помолчал.

— Это интересно. Жду вас. Приходите запросто.

Запросто. О, вот это разговор! Конечно, он придет к полковнику запросто. Он только посоветуется еще раз со своими оружейниками.

2

Таким образом Зайдер появился в кабинете комбрига. Он никогда не предполагал, что будет себя чувствовать так свободно, словно в кабинете начальника БРИЗа. На окнах такие же шелковые шторы, и просторный письменный стол и мраморный чернильный прибор такие же... И сам полковник очень похож на начальника БРИЗа, только надевшего форму.

Зайдер воспрянул духом и решил в конце беседы все-таки пожаловаться на Борского, рассказать о его грубости, несправедливости, о том, что он мешает Зайдеру работать, дергает, третирует его...

Ознакомившись с проектом нового диска, Беляев спросил, не приходится ли воентехнику видеть фашистские танковые атаки?

Зайдер покраснел. Ему показалось, будто командир бригады упрекает его в том, что он не видел танковых атак.

Нет, он не видел танковых атак. Он, к сожалению, находился все время при гараже армейской группы.

— Вам повезло, — сказал комбриг, улыбаясь. — Зрелище мало приятное.

— Еще бы! — согласился Зайдер. — Когда идет такая лавина...

— Так вот. Танковых атак не видели не только вы. То есть все, разумеется, знают, что такое танк, но не все представляют, что такое танковая атака, в частности атака немцев. Что же касается вашего диска-магазина...

Зайдер слушал с волнением. Комбриг считает изобретение интересным. Главная задача сегодняшнего дня — это борьба с немецкими танками. Для этого необходимо сделать все. Например, ликвидировать в войсках танкобоязнь, а у нас пока еще ни в одном полку не учат бойцов

по-настоящему бороться с железными чудовищами. На учебных полях, созданных в недавнее время, стоят «танки» из земли, из дерна. Разве это танки? Это чуела, это стыд и позор. Нам нужны настоящие машины. Вы понимаете?

Зайдер понимает. Но не совсем ясно, что должен сделать именно он. Зайдер должен сделать все. Если он техник, изобретатель.

— Все? Что значит — все?

— Все — это танки. Послушайте. Нужно сделать для бригады хотя бы один тяжелый танк. Поезжайте, куда хотите, поезжайте на танковый завод, выпросите старье, лом, соберите мне хотя бы одну машину. Мы на живом опыте докажем солдату, что фашистский танк уязвим, что его можно поразить наверняка. Нужны лишь споровка и расчет, и не нужно страха.

Зайдер улыбался. Он отлично понимает: диск диском, а танк надо собрать. Полковнику виднее, что надо сегодня. И со свойственной ему восторженностью Зайдер серьезно говорит:

— Мы мало знакомы, товарищ полковник, но у меня такое впечатление, что вы выводите нас на линию огня.

Комбриг улыбнулся.

— А относительно танка, — продолжал Зайдер, — разрешите посоветоваться с моими оружейниками. Какие это замечательные парни!

— Посоветуйтесь. А диск-магазин не бросайте. Если будут затруднения, приходите, не стесняйтесь. Помогу. — Комбриг помолчал и, глянув на Зайдера, спросил: — Вам никто не мешает работать? В полку не мешают вам?

Зайдер вспомнил инцидент с Борским. Разве он может помешать делать нужное дело?

— Никто, товарищ полковник.

— Вот и хорошо. А семью до сих пор не нашли?

Зайдер не ожидал этого мучительного для него вопроса.

— Мне кажется, что они не успели выехать из Кировограда. Вы знаете, у меня жена и две девочки — Лена и Рита. Я покажу вам фотографию...

На Беляева посмотрела женщина с большими выпуклыми глазами и рылым лицом и две девочки в одинаковых платьицах и с бантами в волосах, очень похожие на мать. Это была прошлая, довоенная жизнь Зайдера. Он, вероятно, был счастлив с ними в своем Кировограде. А мог ли он, Беляев, так же просто и откровенно продемонстрировать свое прошлое — смотрите, какое оно, какие у него глаза, какие улыбки и банты?

Увы, воентехник! Ни прошлого, ни настоящего, оказывается, не было у полковника.

Когда прощались, Беляев не удержался и спросил:

— Командира-то полка не жаль, Зайдер? Майора Мельника, говорю, не жалко вам? Ведь вы небось долго вместе служили...

— Служили, товарищ полковник. Год вместе, почти с самого начала. Хороший человек.

Зайдер был смущен. Ему хотелось ответить, что жаль Мельника, но он не решился.

3

После ухода Зайдера Беляев долго шагал по кабинету, благо никто не тревожил в этот час. Никогда он не предполагал, что могут так взволновать нахлынувшие воспоминания. Он в чем-то даже позавидовал доброму, страждущему семьянину Зайдеру, который смог так откровенно поделиться своим личным. Ничего похожего у Беляева не было.

Детей Лена не хотела. И, кажется, была права. Можно ли воспитать детей в походной люльке? Его перебрасывали с места на место, стремительно повышая в должностях, а Лена возила за ним домашний уют, за-

пах духов, безделушки, примус, вышивание, скуку. Он, кажется, сам виноват в том, что случилось. Жили они невесело, разными жизнями. У Лены болели ноги. Она часто ездила лечиться на юг, к морю. Там, на юге, это и случилось — она увлеклась. Чувство было, вероятно, глубокое, потрясшее ее всю. Мужу рассказала без утайки, и он растерялся перед проснувшейся страстью этой женщины и ее детской откровенностью. Ему казалось, что она сама изумлена тем, что произошло. Она, оказывается, летала на самолете в Ростов, к нему. Она, больная, трусиха, которую укачивало в поезде. А в это время муж водил батальоны в полесских низинах.

Оказалось, что семь лет их жизни — увы! — не настоящее. Вот оно, настоящее, пришло — и потрясло, испепелило... Он был подавлен и унижен. Как снег на голову свалилась беда, и он тогда только понял, что любит эту женщину, к которой привык и о которой забыл где-то в пути... А ведь она тоже любила его. Началось это давно, еще в университете, в Свердловске. Она все время ждала, потом приехала к нему в Москву, в академию, и тогда они поженились. Жили в комнатухе в загородном домике, у одинокой вдовы, единственным другом которой была большая лохматая собака. Алексей тоже мечтал завести собаку. Из-за этого они с Леной впервые и поссорились. Лена была решительно против. Она не любила ни кошек, ни собак. А он хотел. У его отца, мастера на конном заводе, всегда были собаки. Смешно!

Потом они уехали в Архангельск, а оттуда — в Белоруссию, в Полесье. Тогда и случилось все это. Потом она сказала, что едет к матери, в Свердловск. Но он знал, что она опять едет в Ростов. Он не кричал, не ссорился. Он был удивлен и опустошен. Лена уехала, оставив знакомый и непроходящий запах своих духов. Одиночество угнетало. Он и не предполагал, что так привык к ней, которая угощала его обедом, мылыми сплетнями. Ради него она оставила институт. А он не настаивал. Она была обыкновенной офицерской женой. Любила потанцевать в ДКА, была активисткой женсовета. И вдруг все пошло прахом.

В полку стало труднее. Вероятно, надо было уехать. Люди знали и говорили о случившемся. Однажды приехал в полк заместитель комдива. Беляев угощал его в столовой. Выпили. Подполковник стал утешать. «Не горюй, Беляев. Обойдется. То, что детей не было, — вот оно...» — «Да, если бы дети — все было бы крепче. Ну что ж. Не хотела. Аборты, аборты, а потом — конец, никаких детей, никогда. Ясно?» — «Ясно. Не тоскуй. Все они хороши». Беляев чуть не выгнал утешителя. «Не смейте при мне...» Господи, они не понимают, что сам он виноват во всем. Солдафон несчастный! Решил, что, кроме амуниции да устава, человеку ничего не надо. Ушел с головой в свой мир, наполненный медью труб, чеканной поступью рот, учебными боями и легко достающимися победами. Здесь стирали тысячи солдатских рубах, стригли тысячи голов, здесь дымили походные кухни, ржали лошади, скрипели подводы, гремели выстрелы, сверкали штыки. В этом мире бок о бок с уставами — «караулом называется вооруженная команда...» — жили Драгомиров, Клаузевиц и Суворов. Этот мир, целиком захвативший его, не могла постичь Лена — ей не было сюда доступа. А теперь встретила человека, вероятно настоящего, интеллигентного, открытого.

Вскоре из Свердловска пришло письмо. Короткое, виноватое, осторожное. Он понял, что увлечение Лены кончилось. Свободная. На душе стало тоскливо. И возникло непроходящее чувство досады и неприязни к ней. До этого письма он всячески старался оправдать ее.

Он не отвечал, раздумывал. Он не умел решать такие вопросы.

Все решила война. Беляев так и не ответил Лене. Он начал воевать со страстью, весь взвинченный и даже обрадованный тем, что может бить,

сражаться и даже погибнуть. Первые поражения отрезвили его. Вернулась прежняя собранность и твердость. Прошлое словно подернулось дымкой. Когда все это было? Да и было ли...

И нынче, передумывая прошлое, он поймал себя на невеселой мысли: «А ведь ты никому не дорог. Одинокий, злой, сухой службист. Жену отпугнул, заморозил, с людьми никак не поладишь. Друзей отсекаешь... Спаситель отечества, командир бригады... Нельзя ли помягче? В конце концов от тебя отвернутся, как отвернулась собственная жена».

И особенно тревожили его мысли о Мельнике.

Недавно Беляев побывал у него в гостях. Жена Мельника, Аннушка, суетилась, на столе появились ее знаменитая кислая капуста, утка, пельмени. Пригласили Щербака с женой, Маслова.

Никто, кроме них двоих, Беляева и Мельника, не знал, что все уже решено. Наоборот, думали, буря пронеслась, потрепала немножко, а нынче снова мир и содружество.

Одна Наташа, дочь Мельника, зорко присматривалась ко всему и, казалось, понимала больше других. Беляев следил за ней. Ему приятно было смотреть на нее — молодую, красивую, с едва заметной печалью в глазах. И невольно чувство виноватости охватывало его, словно он незаслуженно пользуется гостеприимством этих добрых, простых людей.

— Я хорошо помню вас,— сказала Наташа.— Вы-то меня не помните, а я помню. Вы даже не подозревали, что некая девятиклассница была влюблена в вас.

Беляеву показалось, что он ослышался.

— Вы шутите? — спросил он, стараясь скрыть невольное смущение.

— Дело прошлое... Я вас навсегда запомнила однажды зимой. Вы тогда с отцом вернулись из похода, прямо с мороза ввалились к нам в теплую комнату. Помните?

Еще бы! Как не помнить тот тяжелый двадцатидневный поход, когда гигантские костры из сосновых ветвей трещали на всю тайгу, согревая роты и батальоны. Еще бы не помнить, как они ввалились в теплую избу, сизые от ветра и мороза, выпили по стакану водки, поели и бухнулись на теплые овчины, чтобы сутки не просыпаться. Вот тогда-то она, оказывается, любила его. А он спал и не подозревал ничего.

Слегка захмелев, он смотрел на нее изумленными глазами.

А Щербак тем временем говорил:

— Могу заверить, товарищ полковник, полк вытянем. Все данные за то. Перестройку большую сделаем в соответствии с требованиями фронта.— Он не знал, что вопрос уже решен, что Мельник сам отпросился.— Мы все подможем Ивану Кузьмичу, прорыв ликвидируем.

— Алексей Иванович, вы совсем что-то привяли, — угощала гостя Аннушка, — капустки подложить? Извините за простое угощение. Кабы мирное время — не такой бы стол...

— Спасибо, спасибо! И так обкормили, — рассеянно отвечал Беляев.

А самого мучила неотвязная мысль: «Скорей бы отсюда. Невмоготу. Никто ведь и не подозревает, что задумал, к чему веду. Нечестно. А знают ли они, что добрый этот семьянин, Иван Кузьмич, муж и отец, посылал на фронт сотни молодых ребят, не подготовив как следует? Лишь бы план выполнить, лишь бы благополучная сводка».

Наташа словно прочитала его мысли.

— Отец уйдет? — спросила она.— Только правду говорите.

Он вздрогнул.

— Уйдет.

На ее глазах блеснули слезы, он это хорошо видел. Она вышла, сославшись на головную боль, и больше не появлялась. А бедная Аннушка

все угощала да потчевала гостей, не ведая того, что уже случилось в их дружной и доброй семье.

И вскоре он снова увиделся с Наташей на знакомой станции, когда провожали Ивана Кузьмича. Наташины большие серые глаза смотрели с застывшим недоумением. В ее облике странно проглядывала то женщина, то девочка. У нее был высокий, покатый, мужской лоб. У глаз — преждевременные морщинки.

Беляев держал себя неестественно, пытался шутить. Если бы не Щербак, Борский, Маслов, трудно ему пришлось бы. В минуту прощания Наташа так отдалилась от него, словно он видел ее в перевернутой бирюльки. И все отдалилось. И он как бы один остался на перроне. Сбравшись с силами, он подошел к ней.

— Наташа, вы мужественная, умная. Вы все должны понять.

— Я-то да. Понимаете ли вы?

И он осекся.

Когда он обнял Мельника на дорогу, женщины отвернулись.

— Жду со славой, — сказал Беляев. — Не поминай лихом.

— Дело солдатское.

— Война.

— Война.

Вот и все, что было сказано. Ах, сколько мудрых сентенций мог бы он придумать для оправдания своего поступка! Но глаза Наташи не считались ни с чем и ничего не прощали.

4

Пора, однако, было кончать с затянувшимися воспоминаниями. Беляев перестал рассказывать по кабинету и, крикнув Агафонова, приказал седлать.

Агафонов, видимо, заждался в передней. Поспешно, с явной радостью бросился он к телефону, чтобы передать приказ комбрига.

Они часто путешествовали вместе из полка в полк, и оба любили эти поездки верхом.

Серый в яблоках конь резво понес Беляева мимо офицерских домиков, вдоль ровно высаженного и уже оголенного кустарника. Спасибо Маслову: хоть и не кавалерист, но коня подобрал подходящего. «Это Борский, — объяснял Маслов. — Он лошадиный специалист. Известно, Принц».

Знакомой дорогой, минуя палатки, склады, стрельбище, они подсаkali к дощатому полковому клубу. Первым, кого, войдя, заметил комбриг, был Аренский, сидевший с газетой в руках. Аренский вскочил, как-то неестественно выпрямился и пробормотал:

— Товарищ полковник...

— Что случилось, Аренский? Продолжайте. Что читаете?

— Пьеса, товарищ полковник. В газете напечатана.

В глазах Аренского блеснула слеза, и Беляев подумал, что слеза, быть может, искусственная, — они, актеры, умеют это. Но тотчас же прогнал эту мысль.

— Почему же плачете?

— Похожие судьбы, товарищ полковник. Великая купель...

— Христос воскрес... — иронически вставил Беляев.

— Не совсем точно выразился, товарищ полковник. Прошу прощения.

— Да вы садитесь. Чем в полку заняты?

— Ожидаю трибунала, а оттуда, по всей вероятности, со штрафной на фронт.

— Вас допрашивали?

— Так точно.

— Наговорили на себя, надо думать, с три короба.

— Сказал всю правду, товарищ полковник. Виноват, виноват во всем. Все, что случилось,— логический конец странной жизни некоего актера, ставшего командиром роты! — Аренский горько усмехнулся и дрожащими пальцами тронул кончики пшеничных усиков, безнадежно свисавшие, словно омоченные слезами. Лицо его было бледно, но голос звучал твердо.

— Давно вы играли? — полюбопытствовал Беляев.

— Давненько, товарищ полковник. Последние годы я только режиссер. А играл еще в тридцать четвертом, пятом. «Собака на сене» — Теодоро, в «Женитьбе Белугина» — самого Белугина играл. Ничего... Аплодировали.— Аренский нерешительно засмеялся каким-то своим далеким воспоминаниям.

Полковник тем временем окидывал быстрым взглядом дощатый летний клуб и полковую библиотеку, огороженную невысоким деревянным барьером.

Наташи не было.

Аренский снова углубился в газету. Белесый хохолок на голове делал его похожим на увлекшегося ребенка, не сознающего близкой, реальной опасности.

«Нет, — подумал Беляев, — не получит этой головы Котельников. Не получит, хотя бы мне пришлось переругаться со всеми прокурорами и трибуналами армии».

— Знаете что, Аренский? — сказал он.

— Слушаю, товарищ полковник.

— А что, если бы нам создать свой театр? Вы — художественный руководитель. Ставьте «Собаку», ставьте «Белугина», вот эту пьесу, что читаете.

— Вы шутите, товарищ полковник, — грустно сказал Аренский. — Шутите, или я не знаю что... Через несколько дней, когда прокурор Котельников закончит дело, я — рядовой штрафной роты и с оружием в руках буду искупать свою вину, свои вины, скажу точнее. Я не актер, я солдат. Прошу извинить.

Беляев молчал, хмурясь и чувствуя, что краснеет. Он не знал, что сказать Аренскому.

«Негодяй Котельников, — думал он. — Вот обработал человека...»

5

Беляев выходит из клуба, взлетает в седло и прищипывает коня. Ветер свистит в ушах, разметает полы шинели, охлаждает горящее лицо. Комбриг мчится в поле, к ротам, не знающим усталости. Он думает по дороге: почему такая тревога, словно виноват в чем-то, и есть ли в лагере уголок, который может принести покой душе? И снова мысленно возвращается назад, к дощатому клубу.

За целый день он успеет побывать во многих ротах и батальонах, не раз спешится и снова очутится в седле — и горечь воспоминаний постепенно улечитится, рассеется среди новых забот, новых событий.

А сколько событий уже пронеслось с того дня, когда он встретил маршевую роту на станции! Давно уже эта рота на фронте. Успел возвратиться и офицер, сопровождавший ее, и доложить, что прямо «с колес» рота была брошена в пекло. Задержавшись на станции в ожидании поезда, он повидал кое-кого из маршевиков, которых уже лизнуло пламя: они ехали с окровавленными повязками в тыл.

А враг, между тем, прет к Сталинграду, положение отчаянное. Беляев знал об этом не только из утренних сводок, но и по ускорившимся темпам отправки. Одна за другой следуют роты знакомым, протоптанным путем к станции, и песни летят над степью.

Лето незаметно ушло. Помогли убрать соседнему совхозу хлеб, и шинелишки раскатали и надели на плечи, а «дело Папуши» все еще, как заноза, торчало в теле бригады.

Папуша слонялся по лагерю.

Однажды он зашел к Шербаку.

— Пошлите в совхоз на уборку. Не сбегу, не бойтесь. А от безделья и впрямь закиснешь.

В совхозе Папуша трудился за троих: видимо, и впрямь истосковался по работе. А перед самым отъездом в полк напился, раздобыв где-то самогонку, буянил, пытался избить бригадира. Младшие командиры, еще совсем недавно трепетавшие перед грозным комбатом, на свой риск связали его и с сожалением и любопытством смотрели на беспомощное пьяное тело.

Через несколько дней Папушу вызвал к себе Беляев. Тот явился как ни в чем не бывало, подтянутый, начищенный. Рука привычно ходит, как на шарнирах, к козырьку — вниз.

— По вашему приказанию подследственный Папуша...

— Садись, подследственный Папуша, — сказал Беляев и вышел из-за стола. — Рассказывай.

— Что рассказывать, товарищ полковник?

— Все рассказывай. Жизнь свою. Как дошел до этой точки. Лесничим, говорят, был?

— Так точно. Лесничим.

— Жена, дети, родители... Все выкладывай. Говори.

Папуша рассказал незамысловатую историю своей жизни. Жена бросила, не захотела жить в глуши, в лесу. Увезла сына. В Чернигове — мать, отчим. Жизнь в детстве не сладкая. Отчим работал грузчиком, пил. Приучил и пасынка к водке. Частенько бивал и его и мать. Так и ожесточился в жизни. В лесничестве был на хорошем счету. Браконьеров давил, дышать не давал. Однажды избили до полусмерти. Мешок на голову — и сапогами, вилами, чем попало... Отлежался.

Полковник внимательно вглядывался в лицо, изрытое оспой.

— Да-а, жизнь невеселая. Знаешь, что тебя ждет? — спросил он.

— Знаю. Штрафная.

— Точно так, — подтвердил полковник.

— Зачем вызвали? — угрюмо спросил Папуша, вставая. — Агитировать?

— Хочу поближе познакомиться. Садись.

— Зачем нам знакомиться? Тут прощаться пора.

— Знать надо, с кем прощаешься. Чтобы потом совесть не грызла. Не сухой сучок небось срезаешь. Хоть плохой ты, а человек.

— А что у нас человек? Сегодня человек — завтра дерьмо. Нашли козла отпущения! Знаю, чья работа, — Соболькова. Фронта не нюхал.

— Погоди, — перебил Беляев. — Жаль будет, если так и уедешь на фронт дураком. Никто с тобой счеты не сводит — ни Собольков, ни я, ни Котельников. Выкинь это из головы. Судят тебя за государственное, воинское преступление. За ненужные жертвы на фронте по твоей вине, за слезы вдов и сирот, чему ты причиной. За пьянство. За то, что дал повод острякам называть твоих бойцов «папушечным мясом»! Мало тебе?

— Хватит, — сказал Папуша, натянуто улыбаясь. — С человеком поговоришь — легче станет. Прокурор сколько времени жилы выматывает. Я уже ему всех, кого он хотел, назвал — мало ему. Я спрашиваю, когда конец?

Беляев поморщился и брезгливо посмотрел на Папушу.

— Уходи, Папуша. Познакомились вплотную. Пойдешь под суд. Один пойдешь.

Когда прокурор Котельников пришел за санкцией, Беляев встретил его сурово и, не приглашая сесть, жестко сказал:

— Аренского я вам не отдам. Борского тоже. Нечего избивать кадры.

Прокурор нахохлился.

— Я не избиваю кадры, товарищ полковник, — произнес он с достоинством. — Выбирайте, пожалуйста, выражения. Я выполняю свой долг.

— Долг тоже выполняют по-разному. Под этим флагом знаете, что можно натворить?

Прокурор, глядя на Беляева, вежливо, снисходительно улыбнулся.

— Аренского будут судить, как это ни печально. Вы хоть и командир бригады, но закон есть закон.

— Вон отсюда! — закричал Беляев, мгновенно теряя самообладание.

Опомнившись, он зашел к Дейнеке и смущенно рассказал обо всем. Дейнека ухмылялся. Он недолюбливал Котельникова и был как будто доволен тем, что случилось. Но надо было мирить начальство. На другой день Дейнека позвонил Котельникову. Ему ответили, что тот заболел. Очередной жестокий приступ астмы свалил его.

Комбриг решил навестить прокурора.

Котельников полулежал в постели, обложенный подушками. Около него молча суетилась медсестра Верка.

Котельников тяжело дышал. Землистое лицо его еще больше потемнело, осунулось и выглядело очень старым. Он посмотрел на Беляева тяжелым взглядом и попытался что-то сказать. Беляев сделал успокаивающий жест.

— Нехорошо, — сказал он. — Нехорошо получилось.

Котельников только кивнул в ответ.

— Я прошу прощения за вчерашнее. Есть у меня невыдержанность. Не обижайся. Виноват я. Плохо воспитан. Выздоровливай, брат.

Беляеву стоило большого труда произнести все это. Он пожал холодную руку больного и вышел. На душе не было облегчения. Казалось, смерть уже подкарауливает Котельникова, и странно выглядели его упорство в деле Папуши, стремление расширить рамки дела, устроить «бум» на весь округ, на всю армию. Зачем все это делается? Во имя чего? Чтобы начальству продемонстрировать: бдительность на высоте — есть и враги и кара этим врагам?

Этот астматик вцепился клешнями в живое тело батальона. Он может, конечно, надеть беды. И комбриг окажется бессильным. Если округ санкционирует, а трибунал усмотрит состав преступления, — зашагает усатый интеллигент в штрафную роту...

Беляеву трудно, невысказанно было представить себе, что это действительно произойдет.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1

Борский почувствовал себя уверенно. Прокурор дал понять, что все окончится легким испугом, надо только быть откровенным. Опять помогла Верка. Дежуря у постели Котельникова, она осторожно заговорила о Борском. Прокурор ответил, что Борский — инвалид войны и для него можно будет найти смягчающие вину обстоятельства. Аренского же будут судить. И еще кое-кого тоже будут судить.

Верка высказалась так: пусть Аренского судят, раз он виноват, она давно недолюбливает этого усатого интеллигента, а Борский, конечно, легкомысленный, но никак не враг.

Котельников, немножко придя в себя, спросил с едва заметной улыбкой:

— Вы живете с ним?

Верка покраснела и кивнула.

— Вы только никому не рассказывайте.

— Да об этом весь гарнизон знает!

Верка повела плечом и сказала независимым тоном:

— Ну и пусть себе знает.

В тот же вечер, ласкаясь к Борскому, Верка торжествующе пересказала ему свой разговор с прокурором.

До сих пор, замечая командира полка, Борский чувствовал себя не прочно. Хорош командир полка, над которым висит угроза трибунала! И Верка честно разделяла его смятение и тоску. Теперь же благодаря ей можно расправить крылья. Словно тяжелый камень упал с души.

— Ты слышишь, Верка? — говорит Борский, теребя ее маленькое разгоряченное ушко. — Ты слышишь, что придумал этот воентехник?

Она лениво потягивается и целует его в щеку. Ей совершенно безразлично, что придумал воентехник. Ей хорошо, и она как будто добилась, что им будет долго еще хорошо. Ей никто не нужен — ни Аренский, ни Зайдер, ни Щербак, ни Собольков, которые слишком занимают мысли ее Принца. У нее свой мир.

— Нет, ты послушай. Он ходил в штаб бригады на прием лично к комбригу. Не сомневаюсь, что он наябедничал, будто я мешаю ему работать и свожу личные счета.

— Зайдер ходил жаловаться? Откуда это известно?

— Доложили.

— Это надо проверить. Слухам доверять нельзя. Впрочем, если даже и так, что с того?

Верка всегда найдет правильные слова. И хотя она ни черта не понимает в их солдатских делах, суждения ее всегда житейски справедливы, неторопливы и вдумчивы: «Не торопись. Надо проверить».

— А что, собственно, проверять? Его надо поставить на место. Если бы ты знала, как он меня оскорбил. Хотя ты все знаешь.

— Замолчишь ты наконец? Ты ведь не в штабе.

2

Татьяна писала Котельникову из Чкалова:

«Милый, дорогой Гог!

Я приеду. Мне холодно. В комнате по-прежнему не топят, хозяйка злится. Дрова кончились, а Юст обещал привезти кубометр и не привозит. Прости, Гог, что я так начинаю письмо. Кому же мне пожаловаться, с кем поделиться, как не с тобой, мой большой Гог. Мысленно прижимаюсь к тебе и немного согреваюсь.

У меня по-прежнему все тускло. Работаю там же. Сберегательные книжки, ордера расходные и приходные, счета и облигации. Недавно собрались у Файны по случаю именин, пришли Юст (конечно!) и сослуживцы по госпиталю, врачи и юристы. За мной ухаживали. Торопись, Гог! Я пошутила, милый. Никого, кроме тебя.

Что еще? Только одно: жду. Когда можно приехать? Удобно ли? Приедешь ли ты? Будем ли вместе? Надуваю резиновую подушечку, подаренную тобой, обнимаю ее.

Жду. Целую, целую... Твой витязь».

Котельников уже выздоровел и даже закаляется гимнастикой и холодными обтираниями. Он борется со старостью, гонит ее прочь, потому что ему очень нужно именно сейчас быть молодым и здоровым.

Однако надо кончать. Перед ним лежит снова пухлое дело только что ушедшего Папуши.

— Что вы со мной сделаете, товарищ прокурор? — спросил Папуша.

— Сделаю не я, делает закон. То, что вы заслужили, то и делает.

— Почему тянете? Уже сил нет.

— Не торопитесь с козами на торг.

— Отправьте меня на фронт, к чертям свинячьим! Ведь знаю, что дело кончится штрафной ротой. Дадут десятку, потом заменят штрафной. Не тяните, все равно ничего из меня не выжмете.

Действительно, Папуша очень переменялся. Он уже не тащил за собой в «дело» ни Щербака, ни Соболькова, ни Аренского. Теперь он предпочитал оставаться в одиночестве.

Котельников забеспокоился. Он знал, что суд скорее примет во внимание именно последнее заявление подсудимого. Множество страниц в папке уже поблекло. Под огнем перекрестных допросов могут потускнеть и другие страницы, может рухнуть все замысловатое строение, тщательно и терпеливо сооруженное им за долгие недели следствия. Он ощущал сопротивление. Комбриг против. Ясно, не хочет огласки. Замазывает явные грехи Аренского.

Дело выскальзывало из рук. Вот, например, вызывал он Соболькова. Длинноногий доцент странно отнесся к Котельникову.

— Вам не удастся показать батальон в дурном свете. Вы прокурор. Вы говорящий публично судья.

«Откуда он знает изречение Кони? — изумился Котельников. — Конечно, от Рудина. Мальчишка просто невыносим».

— Я не собираюсь чернить батальон, Собольков. Поверьте, что мне самому надоело это дело. Почему вы не хотите мне помочь?

— Помочь вам оговорить Аренского и других? Я плохой помощник в этих делах.

— Но вы плохой помощник и своему комиссару. Вы проглядели Папушу.

— Виноват.

— Если виноваты, должны ответить.

— Что ж, привлекайте.

— Выходит, я, по-вашему, должен привлечь весь командно-политический состав полка?

— Это по-вашему. Я не придерживаюсь такой точки зрения.

— Значит, вы не докладывали комиссару о беспорядках в батальоне? — решительно спросил Котельников.

— Нет.

— Будете нести ответственность за сокрытие истинного положения, за очковничество и примиренчество, за преступную халатность, черт вас возьми!

— Я готов.

Собольков вышел. Котельников со злостью смял протокол допроса и швырнул в корзину. Он знал, что Собольков настойчиво докладывал Щербaku о делах, творящихся в батальоне. Когда Рудин в свое время попытался доложить ему об этом, Котельников резко оборвал его — тогда еще не следовало впутывать в дело и Щербака. Но потом Щербак, кажется, пошел на поводу у гнилых либералов. Котельникова бесило поведение Соболькова, или, иначе говоря, круговая порука, которая связала всех, кто, по его мнению, причастен к делу.

— Разрешите! — слышится знакомый басовитый и немножко насмешливый голос Щербака.

— Входи, Щербачок, входи! — обрадованно воскликнул Котельников. Он шумно привстал, широким жестом подал руку комиссару полка. Служебные отношения их были независимы, и поэтому оба держались непринужденно и были на ты. Щербак опустился на табуретку, оседлав ее по привычке худыми ногами.

— Как жив-здоров? Не задушила еще, проклятая? — задал он свой традиционный вопрос по поводу астмы.

— Так я ей и дался!

— Послушай-ка, Котельников... Знаешь что? Пора кончать, брат, всю эту комедию.

— Что товарищ комиссар изволит называть комедией?

— Всю эту волюнку с Папушей.

— Только ли с Папушей?

— Только, — хмурясь, сказал Щербак и стал разминать заскорузлыми пальцами папиросу. — Больше никого не получишь.

— Вот как... И ты, Брут? И тебя распропагандировали?

— Какой такой Брут? Просто шарахаться в крайности вредно. Не в наших интересах. Оставь в покое мой полк. Это неapolитично, понимаешь? Ковыряться в полку столько времени, держишь людей под подозрением. Неужели не понимаешь, майор?

— Неapolитично другое, товарищ комиссар, — неторопливо сказал Котельников. — Получать донесения о преступной работе Папуши и не читать их, пропускать мимо ушей сигналы. Кто ты — политический руководитель или шляпа?

Щербак помолчал. Прокурор добрался-таки до злополучных донесений Соболькова.

— Ну что ж, суди, если твоя власть, — сказал наконец Щербак. — Ошибок у каждого из нас можно настругать немало, была бы охота.

— Ошибка ошибке рознь, — веско заметил Котельников.

— Твое право возбудить дело. Только запомни — терпение лопается. Это все равно получается, что больной выздоравливает, все уже на лад идет, а ты ему касторки закатил для порядка. Что может из этого выйти?

— Что бы ни вышло, а закон есть закон. Я вижу, ты тоже скособоцился и поддерживаешь всю эту гниль, окопавшуюся в тылу во главе с грубияном комбригом. Я человек невелик, но все вы обо мне вспомните. Статья ходит за каждым из вас, и разделаться с ней не так легко. Можно выгнать прокурора из кабинета, но статью не выгонишь — она при тебе, в тебе, если хочешь... Знаю, что не любите меня. Мне, между прочим, и не нужна ваша любовь. Но разум должен быть. Вы ограждаете Аренского от закона и одновременно топите себя. Не понимаю, зачем вы боретесь за человека, который по всем статьям подлежит наказанию и сам признался во всем. У меня все улики, неопровержимый материал предварительного следствия.

— Показания подсудимого на суде более достоверны, чем показания на предварительном следствии, — вдруг сказал Щербак.

Котельников изумился.

— Откуда ты это знаешь?

— Знаю.

«Опять Рудин, — подумал Котельников. — Он консультирует их всех, он проводит подрывную работу. Тайную подрывную работу. Не только, оказывается, в полку и в бригаде, но и здесь, в собственном доме, можно сказать, есть враги, предатели...»

Снова поблекли еще какие-то листы дела, и вся папка показалась пустоватой и легковесной.

Он вынимает помятый платок, вытирает потный лоб, все лицо, потемневшее от усталости и досады. А Щербак, ухмыляясь, думает, что так вот должна чувствовать себя гончая, из-под носа которой ушла добыча.

3

И все-таки прокурор не сдавался.

Снова и снова листал он страницы папки, и прежняя уверенность возвращалась к нему. Вот свежие страницы допросов. Допрошены десятки людей. Это огромный материал, с которым не может не посчитаться трибунал.

Дождутся голубчики! Котельников уже видит их всех без петлиц, в красноармейской форме, остриженных и однообразных. Вот разжалованный в рядовые Щербак, вот полковник Беляев, капитан Соболев, майор Дейнека.

— На что жалуетесь? — громко спрашивает прокурор, и его голос гулко отдается в пустой комнате.

Он ненавидит их круговую поруку, их неожиданное и дружное сопротивление. А знают ли, кого отстаивают? Кто такой Аренский? Сын изменника Родины, белоэмигранта, окопавшегося за границей. Яблоко от яблони недалеко падает. Сын опозорил звание командира Красной Армии.

Надо действовать смело и решительно, поражать неожиданно и масштабно.

Ненависть накаляла его перо. Только когда придет авторитетная комиссия и привлечет к ответственности всех их, связанных круговой порукой, только тогда он вздохнет свободно. И товарищи из центра пожмут ему руку. «А что делает здесь, в этой глуши, майор Котельников? И почему он только майор?»

Котельников перечитывает написанное, то негодуя, то улыбаясь. Они все ответят за всё!

Письмо перепечатано в четырех экземплярах. Печатал, запершись в своем кабинете. Машинистку он отпустил гулять, и сам одним пальцем отстукал весь документ. Машинка жалобно всхлипывала. Но он таки доконал это письмо. Это было не письмо, а фугасная бомба.

В три адреса: командующему округом, главному военному прокурору и в Ставку.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

I

Полк «наступал».

Бежали батальоны, вытянувшись по дороге длинной гибкой лавиной, задыхаясь, топоча сотнями сапог, придерживая винтовки и лопатки, чтобы не колотились о бедра. Скакали лошади, волоча за собой «сорокапятки», повозки, дымящие кухни. Громыхали тяжелые орудия, рядом вприпрыжку бежали озабоченные артиллеристы. Ездовые натягивали поводья, подхлестывая лошадей.

Впереди батальонов на конях — комбаты, а комиссары, тоже верхом, где-нибудь в хвосте колонны, со старшинами, подтягивали отстающих, ободряли поникших, пополняли санитарные двуколки теми, кто вовсе выдохся.

Третий день полк оторван от своей базы. Третий день идут ожесточенные «бои» на незнакомой местности, полки бригады наступают и обороняются, атакуют огневые точки «противника», отражают атаки самолетов и танков, артиллеристы поддерживают пехоту, взводы идут в штыковую атаку, минометчики организуют шквальный огонь. Белые клубы дымовой завесы стелются по осенним степным перекатам.

Третью ночь не спит комбриг. Он с Чернявским внезапно устроил побудку всем — никто не знал о предстоящих маршрутах. Даже командиры полков, которые нет-нет да проведают о предстоящем, и те не знали. Даже Дейнека не знал и немножко обиделся на комбрига. Полит-

отдельцы собрались быстро и тут же разошлись по частям. Дейнека с Беляевым снова очутились в полку Борского. Перекликались старшины хриплыми голосами, ржали кони, поблескивали трубы оркестра, автомашины урчали, вспарывая ночную тишину. Грузить было приказано все. Маслов только помаргивал своими сонными, но всевидящими глазками, наблюдая за работой своих подчиненных.

И когда полк тронулся, собравшись по-хозяйски, неторопливо, но и не мешкая, комбриг произнес свое любимое: «Стало быть!..», и по тону, каким были сказаны эти слова, можно было догадаться, что все, стало быть, хорошо, что, стало быть, если пожелать, всего можно добиться.

Борский получил боевую задачу — выйти на соединение с соседним полком к развилке дорог и отдельному хуторку.

— Видите, вот здесь, в квадрате семьдесят четыре...

— Так точно, вижу, товарищ полковник.

Он чувствует, что комбриг доволен сбором по тревоге. Ему хочется заверить комбрига — полк выполнит боевую задачу.

С комбригом у него странные отношения: после ночного «сабантуя» доверил полк. Правда, сам чуть не каждый день в полку, но командует-то он, Борский! И не так-то уж плохо командует, черт возьми!

— Вытянем полк, Борский, тогда и рыбу будем ловить. А?

— Так точно, товарищ полковник. Удочкой. В свободное время.

Третью ночь не спит начальник штаба Чернявский. В его планшете — детально разработанный план действий бригады. Километровки и десяти-километровки, заранее проработанные и «поднятые» в тиши кабинета, уже дышат осенними запахами перелесков и оврагов, стали плацдармами ожесточенных сражений, непредусмотренных военных событий. Третья ночь — решающая фаза учений. Скоро, вероятно, отбой. Третьи сутки не спят и штаб бригады, и штабы полков, и командиры, и бойцы. Подремлют то ли на ходу, то ли на часовом привале — и снова в путь и в бой, снова окопы во весь рост по всем правилам фортификации, снова разведчики уходят в ночь на поиск, снова бросок, бег и форсированный марш.

Вместе с батальоном бежит и комиссар Соболев. Он задыхается, хотя на нем и нет солдатского снаряжения. С сердцем, вероятно, не все в порядке, частенько покалывает. Но у кого оно не покалывает?

Он бежит, как и все, хотя ему и тяжело приходится. Несколько раз Щербак настигал его на своем мотоцикле.

— Послушай, Соболев. Будем ругаться.

— В чем дело, товарищ комиссар?

— Ты зачем изнуряешь себя? В скороходы записался? Это, знаешь, никому не нужная игра в демократию. Ты начальник, тебе положена лошадь. Понятно?

— Мне положено размяться.

— Разве засиделся?

— Я много лет просидел в кабинетах, а свежий воздух глотал изредка. Теперь есть возможность побегать. Давненько я что-то не бегал.

Щербак усмехнулся.

— Тебя не переспоришь.

— Вас тоже.

Странно, Щербак обращается к нему на ты, а Соболев отвечает на вы. Но ничего...

— Что в батальоне? Сколько отставших? Потертостей?

— Отставших нет. Потертости — разве что у комиссара.

Щербак пожимает плечами и мчится дальше. «Вот ведь как... — думает он. — Не замечал, что рядом с Папушей живет и по-своему борется такой человек, и даже не читал его донесений из-за того, что невзлюбил. А на самом деле это парень стоящий, и есть у него все данные,

чтобы стать агитатором полка, ближайшим помощником комиссара вместо этого сухого формалиста Рыжко, который гарцует перед полком на вороной кобыле, хотя выглядит в седле, как собака на заборе».

Собольков думает: «Ни за что, ни за что не сяду в седло. Разве я из другого теста, чем бойцы батальона? Только что я комиссар, а они рядовые. Возраст? Но в ротах есть и постарше меня. А ведь никаких поблажек, никаких удобств и снисхождений не получают... Место комиссара — среди бойцов».

Раньше он этого не понимал. Вообще он многого не понимал до войны. Казалось, что вся мудрость жизни заключена в книгах, скрыта за толстыми переплетами с золочеными корешками.

В его квартире было множество книг. Он был истинным книголюбом и все свободное время проводил за чтением. У него были и другие увлечения, прихваченные им из детства. Он коллекционировал марки. Коллекционировал старые деньги. Он был собирателем маленьких документов прошлого. Каждая старинная монета, которую удавалось ему приобрести, приносила радость победы: значит, не зря прожит день.

На войне он понял, что существует несколько иное, неожиданное продолжение столь боготворимой им мудрости. Рухнул под фашистскими бомбами его университет. Сгорели дом и библиотека. Марки и древние монеты потеряли смысл, потому что трещала основа самого бытия.

Хорошо намотанная портянка порою становилась важнее всех фолиантов «секретаря истории» Бальзака и судеб всех его героев — от Цезаря Бирстто до Растиньяка. Котелок с кашей или с обжигающим, сильно приперченным борщом непостижимо оборачивался источником добра, так же как и простая алюминиевая ложка за голенищем сапога.

Ноги вспухали от непривычной ходьбы, появлялись потертости, потому что портянки было совсем не просто навернуть так, как показывал ротный писарь.

Ни за что Собольков не сядет на коня, ничем не облегчит себе тягот. Он как и все. Он страстно ненавидел тех, кто старался в общей борьбе «вскочить на коня» — положенного или неположенного, — опередить время, общество. Он даже называл их «конокрадами».

— Шагом марш... ма-арш... м-а-арш...

Полк уже не бежит, а идет.

Слышно, как в темноте сопят, кашляют, тяжело дышат, сморкаются.

— Товарищ комиссар, может, на орудия тово... присядете? — Это подбежал парторг третьей роты Руденко. — Глядите, все командиры на конях, даже ротные.

Действительно, многие взобрались на коней.

— Нет, ничего. Не надо.

— Вам же ж положено.

— Кто послал? Щербак?

— Так точно. Комиссар полка приказал.

Собольков улыбается. Ему кажется, что он покори́л чем-то сердце комиссара Щербака, что ледок наконец растаял и перегородка между ними рухнула.

— Товарищ комиссар, давайте хоть противогаз. Полегче вам будет.

— Кто это? Опять Руденко? Что, Щербак приказал вам за мной следить?

— Так точно. Допомогать.

— Скажите Щербаку, что я не маленький...

— Кто тебя заставляет бежать, товарищ старший политрук? — спрашивает Руденко, шагая рядом, еще не отдышавшись как следует.

— А тебя? — вопросом на вопрос отвечает Собольков.

Руденко понимает, что хочет этим сказать комиссар батальона. Руденко тоже мог бы не бежать. Он давно уже должен был покинуть

батальон и уйти на «гражданку», к сталеплавильным печам — таков приказ командира бригады, согласованный с округом. Документы уже готовы, и на днях все-таки придется «отчалить», но жаль оставлять землянку, любовно отделанную своими руками, жаль расставаться с ребятами, с новым пополнением и кадровыми командирами, в том числе, конечно, и с Соболюковым. Вот что заставляет его бежать.

Привязался Руденко к комиссару после приезда комбрига и ночного «сабантуя». Соболюков собрал политруков и парторгов рот, рассказал о положении в батальоне. Он признавал свою вину в деле с Папушей. Он объяснял: «Не проявил настойчивости, не довел дело до конца. Беседовал, убеждал, писал донесения Щербаку. А сам втайне надеялся — придет приказ, вмиг все решится, все на фронт пойдем как действующее воинское соединение. Война все спишет. Но вот — просчитался. Надо, оказывается, уметь видеть фронт в тылу».

А Руденко думал: как же уйти сейчас? Надо помочь Соболюкову. Парень он честный, открытый, литературу знает неплохо. Но рабочей хватки у него маловато. Помочь надо, поработать. С ним, со Щербаком, с новым комбригом. В комбрига Руденко уверовал с первой встречи, хотя и старался не попадаться ему на глаза: спросит ненароком, почему не отбыл согласно приказу на завод, почему до сих пор в армии. А как он может уехать? Ведь он уже полюбил своих командиров.

Полюбил! Вот еще странность какая. А ведь любовь к командиру, как нигде, живет в армии. И как на заводе ни ценишь, ни уважаешь своего мастера или инженера, но любить... Нет, брат, любить так, как любишь хорошего командира в армии, — этого не бывает. И соль и табак пополам. И горе, и радость, и жизнь, и смерть. Мудрый командир, он с тебя семь потов сгонит, а ты ему «спасибо». За науку, что жизнь тебе сохраняет.

Однажды Руденко слушал комбрига на собрании партактива. Комбриг распекал одного офицера.

«Уважать, говорит, бойца надо, равнодушный вы человек. Забываете, говорит, кто выносит на своих плечах все тяготы... Бойцы».

Правильно все это. Но тяготы выносят на своих плечах и командиры. Соболюков, к примеру. Вместе с бойцами такой путь прошел, они пешие — и он пеший, они бегом — и он бегом. А здоровьице у него неважное, это видно каждому. Но что значит, скажи-ка, сила примера! Отстали по дороге некоторые, воли не хватает, плетутся в хвосте колонны едва-едва. Ты им скажешь: глядите, ребята, а комиссар-то с нами все время. Глянут ребята — и словно кто силы поддаст.

— Комиссар полка приказал вам беречь силы,—говорит Руденко, энергично ступая рядом с Соболюковым. Сейчас опять последует команда: «Бегом марш!» — и полк снова помчится.

Соболюков молчит, тяжело дышит. Ему не до разговоров.

— Эх, товарищ капитан, расскажу я вам историю.

...Соболюков не смеется. Он понимает, что Руденко пытается отвлечь его от трудных мыслей. Когда в пути болтаешь, легче двигаться.

А Руденко бубнит рядом:

— Ребята все насчет второго фронта беспокоятся. Не доверяют Черчиллю, товарищ комиссар. Или вот еще такой случай...

Ничем его не проймешь, этого комиссара.

И снова команда:

— Бегом ма-арш!.. Бегом ма-арш!.. Ма-арш!..

И полк опять в стремительном движении, позвякивают котелки, топаят сапоги, дребезжат в скачке походные кухни и лафеты орудий.

Руденко вспоминает Порошина. Тот давно в действующей. Только портрет его до сих пор на стене... «Дорогой друг Руденко! Привет с фронта. Защищаем волжскую твердыню... Ждем от вас отличного по-

полнения...» Это письмо громко зачитали в ротах. А нынче вот бежим. Торопимся сталинградцам на подмогу... Потому что нелегко там — куда труднее, чем нам здесь.

...Полк ступил на лесную дорогу. Черный, сырой и таинственный лес сразу становится веселым и уютным от говора тысяч, от огня костров, рассыпающихся мириадами искр. Ночлег в лесу. Терпкие запахи сырого клена. Строят шалаши на случай дождя — и вповалку спать.

Спать, спать... Однако перед сном надо еще съесть полкотелка горячего борща.

Ржут кони, переговариваются люди, трещат костры. Славно бы перебраться, высушить портянки.

— Товарищ комиссар, получите вашу порцию. Вот хлеб.

Кто-то принес котелок, кто-то — хлеб, кто-то развернул походный столик, появилась табуретка. Никогда Собольков не ужинал так вкусно.

Задымила махорка, где-то песню запели. Кто-то густо хохочет. А рядом уже храпят. Сейчас утихнет лагерь.

Где-то далеко, точно за тридевять земель, поет труба. Вот он, отбой, настоящий, законный, потому что о нем возвестила труба, он похож, этот звук, на струю ключевой воды в жаркий день. Но старшины еще никак не уgomонятся. Куда-то прошлепало отделение. Кто-то волочит целое дерево, шуршит осенней листвой. Кто-то смачно выругался. Идут бойцы — кто с котелками, кто с валежником, у костров расселись в кружок, сушат портянки, балагурят, поют песни, курят, похрапывают.

У Соболькова еще много дел впереди. Созвать политруков, принять политические донесения. Самому набросать донесение комиссару полка. Потолковать с бойцами, ободрить.

А лес наполнен голосами.

— Сколько отставших? Потертостей? Никто не утерял оружия?

— Святое дело, товарищ старшина, материальная часть.

— Был у меня случай, винтовку загубил...

— Ох, ноженьки, ноженьки...

— Послухай сюды, Кравчук...

— Как там второй фронт, не слышать?

— Чухаются...

— Когда солдату счастье, знаешь? Поел, выспался, да чтоб ноги в тепле...

Соболькова одолевает необыкновенная усталость. Нет, это, пожалуй, не усталость. Странно отдаляются голоса. Слабость окутывает его, словно ватным одеялом.

И вдруг резкая боль в сердце пронизывает все существо. Что-то ломит внутри, слева. Нет, не проходит. Кажется, эта боль навеки. И впервые в жизни — страх смерти. Все вокруг зашаталось, голоса куда-то уходят и уходят...

— Постойте, товарищи... Руденко! — Собольков хватается за что-то твердое и вместе с легким походным столиком валится наземь.

...Он приходит в себя незаметно для окружающих. Глаза еще закрыты. Случилось что-то неприятное, стыдное. Неподобающая слабость — комиссар упал, на глазах у всех свалился. Но что же с ним случилось? Никогда ничего похожего не было. Хотя в дни войны нас оставили все болезни. Шадят, не трогают. Это уж после войны почувствуем мы и слабость и сердечную дистрофию, как любят выражаться врачи.

Боль по-прежнему гнездится в сердце, словно кто-то резкими ударами вбивает в него гвоздь. И слабость отчаянная. Леню открыть глаза. Слышны голоса Щербака, Руденко, Веры-сестры, полкового врача. Значит, действительно с ним неладно. Он на носилках. Значит, ствoевался. А ведь хотелось на фронт...

Чей-то женский голос. Потом знакомый мягкий тенор:

— Не было такой необходимости...

Чей это голос? Соболюков понимает, о чем идет речь, все о том же: отказался от лошади.

Это голос Дейнеки. Теперь все ясно. Сам начальник политотдела здесь. Значит, дела неважные.

— Конечно, для испытания силы и воли не мешает пробежать с полкилометра, не больше...— Это голос полкового врача.

Нет, не для испытания! Как они не понимают? Не желает он выделяться. Не хочет быть похожим на тех, кто заботится о личных удобствах, о собственном благополучии. Коммунист должен быть всегда с народом, с его бойцами. Если оторвешься от народа — никто за тобой не пойдет. Если ты вожак — иди впереди, но не отдаляйся, не отрывайся, не думай, что ты избранник. И не ищи для себя в жизни особых удобств, ищи их для всех. Только тогда удобства придут к тебе...

Соболюков силится высказать эти совершенно четкие мысли, но не может пошевелить губами. Голова свежа и ясна. А тело чужое. Ужас охватывает его. Неужели конец? А впереди столько дел!

Звучит знакомый тенор, словно отвечает мыслям комиссара:

— Конем надо пользоваться и не забывать, что ты комиссар. Ложная скромность. Никому она не нужна и делу не помогает. У комиссара дела больше, чем у бойца.

Вокруг тишина. И крупная слеза катится по мертвенно бледной щеке Соболюкова.

2

Эта неожиданная смерть потрясла Щербака. Соболюков умер тихо, так же как тихо жил в батальоне. Станным казалось, что больше никогда не вдвинется в дверь долговязая фигура Соболюкова с чуть перекошенной шеей, что не моргнет он белыми ресницами, не улыбнется...

Он умер на другой день после возвращения в лагерь, умер в санчасти, на глазах у Верки, у полкового врача, у Щербака, который не отходил от его постели. Случилось непоправимое с сердцем. Только тогда Щербак понял, насколько опасна была причуда Соболюкова. О, если бы знать заранее, Щербак заставил бы его сесть в мотоцикл и возил бы с собой до самого отбоя. А вместо этого, когда Соболюков уже лежал в лесу в обмороке, он еще посмеивался с Дейнекой — ничего, дескать, выздоровеет, мы его проработаем за ложную скромность, за интеллигентскую выходку. А он вот взял и умер. Не пожелал никаких дискуссий. Странно устроен человек. То иной раз сдается, что нет ничего крепче, выносливее его. То вдруг убеждаешься, что слабее и ненадежнее нет ничего на свете.

Щербак вспоминал все обиды, которые поначалу наносил Соболюкову, свою грубость, пренебрежение и предвзятость. За что он невзлюбил этого человека? Почему не мог преодолеть в себе неприязни? Поздно, слишком поздно он раскусил, понял, что кроется в этой неловкой, неармейской оболочке. А полюбить все-таки не успел, хотя Соболюков того стоил.

Соболюкова хоронил весь полк. Сплели солдатский венок из осенних цветов и листьев. Над свежерытой могилой произнесли речи. Маршевая рота дала салют из винтовок.

Щербак сдерживал себя. Он никогда не предполагал, что смерть человека может так потрясти. Он хоронил не впервые. На фронте гибли ребята, с которыми начинал кадровую службу. Щербак тяжело переживал все эти потери и, отправляясь по приказу командования в глубокий тыл, не мог избавиться от чувства неловкости перед ними, которых оставлял в земле, захваченной врагом. Но смерть в бою воспринималась как нечто неизбежное...

А смерти Соболякова попросту могло не быть. Комиссар мог жить, если бы не его странный характер, если бы не удивительная отрешенность от самых необходимых личных забот. На похоронах многие бойцы плакали. Он сумел «дойти» до них, он, который сорок лет жил книгами и коллекциями. Щербак в душе посмеивался над рассказами Соболякова о его маленьких увлечениях, но в конце концов одобрял их. Чем бы дитя ни тешилось...

Плакал Руденко. Сестра Верка рыдала, как девчонка. Это ведь она делала Соболякову первые уколы в лесу. Борский стоял в почетном карауле, на лбу его дрожала набрякшая жилка. Но и он не пытался успокоить Верку. Щербак и сам готов был зареветь, потому что нервы не выдерживали. Казалось, комиссар Соболяков покинул полк в знак протеста, не желая иметь ничего общего с этим самонадеянным Щербаком.

Батальоны один за другим уходили в лагерь. Оркестр, стоя в стороне, исполнял походный марш. Снова послышались голоса старшин, зашагали роты, зазвучали первые нерешительные шутки, сдержанный смех. Но жизнь шла по-прежнему, и уход комиссара вскоре будет забыт. Придет новый на его место, и все в батальоне потечет, как прежде.

Щербак направился к Дейнеке. У продовольственного склада увидел Немца. Тот стоял в дверях в обычной своей позе, прислонившись к косяку.

— Что скажешь, немец? Видишь, какое дело...

Что-то притягательное было в этом стареющем сержанте. Любил с ним побеседовать Мельник, любил и Щербак.

— Нехорошо, товарищ комиссар. Ой, як нехорошо, что и говорить...

Щербак подождал — что он еще скажет? Но немец заговорил о другом:

— Знаете, товарищ комиссар, что скажу? У Филичкина на кухне нелады. Меню-раскладка нарушается. Я ведь не механические весы — выдал продукты, и все. Я за ними в столовую хожу. Заглядываю в котелки. Ежели ложка стоит в борше — лады. Ну и что сказать? На день каждому бойцу положено сто тридцать граммов крупяных и мучных изделий, семьсот — овощей, семьдесят пять — мяса, сто двадцать — рыбы, сорок граммов жиров и другие продукты. Как «Отче наш», знаю. С такого продукта солдат жаловаться не должен. А что получается? Крупинка за крупинкой гоняется. Ежели пшенная каша — глиняный раствор, ей-богу... Бойцы недовольны. Разговор промежду них идет политически неправильный.

— В чем неправильный? — насторожился Щербак.

— Обсуждают.

— Что обсуждают?

— Начальство.

— Правильно обсуждают. Раз начальство не позаботилось, как следует о красноармейской пище, надо его не только «обсуждать», но как следует вздрючить...

Щербак подумал, что немец нарочно свел разговор к меню-раскладке, чтобы отвлечь комиссара от тяжелых мыслей. Но Щербак и не собирался отвлекаться от тяжелых мыслей. Сегодня панихида по Соболякову, и надо говорить и думать о человеке, который так неожиданно и так нелепо ушел. Надо проверить и друзей — в чем виноваты перед ушедшим, может, правильное слово сказали или недобро посмотрели на мудрого книжника, ставшего в дни войны комиссаром батальона.

— Ты, немец, про пшенную кашу перенеси разговор на завтра. Говори, что думаешь. Ну...

Завскадом посмотрел на Щербака и вздохнул.

— Что говорить, товарищ комиссар? Недоглядели человека мы с вами...

Щербак метнул взгляд на Немца — он сказал то, чего ожидал и боялся комиссар. «Мы с вами...» Но при чем тут «мы»? При чем здесь Немец? Его, Щербака, вина. Станет ли он рассказывать о своих настойчивых просьбах: «Сядь на коня, нечего тебе бежать по-солдатски, ты комиссар». Станет ли оправдываться тем, что приказал старшине глаз с Соболякова не спускать, помогать на походе и в броске? Не станет, потому что не это надо было, — не схватил за шиворот, не втащил в кузовок мотоцикла, который пустовал, черт побери, пустовал же, проклятый!

Никому не расскажет он этого еще и потому, что была между ними — живым и мертвым — тайна. Соболюков никому не пожаловался на то, что Щербак пренебрег его донесениями о Папуше. Как же можно теперь рассказать, что Соболюков не послушался здравого совета, сам виноват в случившемся? Пусть и это останется тайной, пусть думают, что Щербак действительно недоглядел.

— У Филичкина организуем пробную варку, — прогудел Щербак. — Покажем и командиру и бойцу, чему положено быть в котелке. Правильно сигнализируешь. Надо заботиться о людях. — И подумал: «Соболюков-то умел заботиться...»

— Есть желудочные заболевания, — заметил Немец.

— Откуда знаешь?

— Заглядаю, товарищ комиссар. В санчасть заглядаю, к примеру в изолятор. Я не просто — выдал продукт, и все. Я хожу за им, за продуктом, и дывлюсь. Что в котел, а что мимо. Меня беспокоит, потому тысячи кормим.

— Насчет больных знаю, — хмуро сказал Щербак, чувствуя, как невольное раздражение поднимается против Немца. — Профилактикой плохо занимаются в подразделениях. Правил гигиены не соблюдают. Рук не моют.

— А умывальники есть, товарищ комиссар? Я, например, насчет этого интересуюсь.

— И умывальниками интересуешься?

— Ну да. Набрел на такое дело, товарищ комиссар. У Соболюкова в батальоне умывальники имеются. У Филичкина умываются кто как может. Жалуются бойцы — старшины на речку не пускают. Почему на речку не пустить, раз насчет умывальников не позаботились? А?

— Не знаю, не знаю, товарищ Немец, — рассеянно сказал Щербак. — Думаю, что на речку должны пускать. — Он подумал, что, к стыду своему, не знает таких подробностей, какими интересуется простой завскладом, какими оказывается, занимался Соболюков. А Немец, между тем, продолжал:

— Еще хотел сказать, товарищ комиссар, насчет порядка в подразделениях. Имеется днем час отдыха — боец должен спать. А ведь его не соблюдают. Как кому на душу ляжет. Вот, к примеру, перед выходом побывал я во втором батальоне. В роте Куриленко. Один боец ружье чистит, другой письмишко сочиняет. Сержанты готовятся к занятиям. Старшина там орет, голос у него хриплый, людям, которые приземлились, спать не дает... Постоял я, постоял, плюнул да ушел...

— А ты когда же успеваешь по землянкам ходить?

— В мертвый час выбираюсь.

— А тебе разве не положен отдых? Сам нарушаешь?

— Мое дело стариковское, товарищ комиссар. Мне отдых дневной не обязательно. А солдату — он с утра на пузе как поползает, ему отдых положен. Раз нарком обороны распоряжением установил, никакой старшина отменять не имеет права.

— Ты тоже обязан отдыхать, — сказал Щербак после паузы, потому что надо было что-то сказать. — Ты что же, выходит, у нас здесь вроде второго комиссара в полку...

— Нет, не комиссар я, — смушенно ответил немец. — Просто, по-отечески... так сказать... К слову пришлось, товарищ комиссар...

— Ты гляди лучше, чтобы остатков на складе не было.

— Есть, глядеть... — ответил немец, подтянувшись, понимая, что досадил комиссару.

Щербак и впрямь был раздосадован. По существу получил он нахлобучку от заведующего складом.

Уходя, Щербак оглянулся. Немец стоял у дверей склада в той же своей неизменной позе и смотрел ему вслед. Щербак вдруг улыбнулся. Почему-то стало теплее на душе, вспомнилось детство, сеновал, медный самовар — единственное богатство в хате и батько, вот так же стоявший у дверей и провожавший сыновей то ли в город, на базар, то ли в соседнее село, на мельницу.

Целый день он провел в ротах. Ему казалось, что бойцы потрясены так же, как он, но в землянках он услышал и смехок и прибаутку.

Заметив комиссара, бойцы умолкли, словно застыдились. Но он сказал им:

— Ничего, ребята. Жизнь есть жизнь. Надо, оказывается, быть повнимательнее друг к другу. Это ясно?

— Ясно, товарищ комиссар, — дружно ответили бойцы и обступили его. У каждого нашлись слова, всевозможные истории, которые должны были успокоить и комиссара и их самих.

— У меня брательник умер от сердца... Тоже так, неожиданно, — сказал кто-то. — А был молодой, слесарем в депо работал...

— Смерть не разбирает, что молодое, что старое...

Щербак сидел среди них, прислушиваясь к бодрому говору и сам понемногу освобождался от преследовавшей его тоски.

Когда он уходил, один немолодой боец спросил:

— Товарищ комиссар, разрешите обратиться. Как правильно надо сказать: фэрфор или фарфёр? Тут у нас дискуссия возникла.

— По-моему, фэрфор, — сказал Щербак. — А в общем, узнаю и доложу... Я не энциклопедия.

«А Собольков, должно быть, знал — фарфёр или фэрфор!»

Вечерело. Лохматые, разбухшие тучи надвинулись на лагерь. Они быстро шли с запада, низко нависая над землей, и запахи дождя носились в воздухе. То там, то тут зажигались огоньки. Ветер свистел в оголенном кустарнике. Одинокая могила, оставленная людьми, возвышалась у опушки леса.

Щербак, задумавшись, брел по плацу. Он понимал, что переносит сейчас самое трудное испытание из всех, которые выпадали и могут выпасть на его долю. Не разобрался в человеке. Потерял, загубил комиссара. И что-то еще очень важное потерял...

Ветер брызнул каплями дождя, обдал разгоряченное лицо. В политотдел Щербак решил теперь не идти. Он пойдет домой и ляжет спать.

Жил он неподалеку от Мельника, точно в таком же деревянном коттеджике, обмазанном глиной. Когда Щербак подходил к дому, дождь уже превратился в ливень, земля стала скользкой, и Щербак ускорил шаги. Уже у дверей он почти столкнулся лицом к лицу с Аренским.

— Прошу прощения, товарищ комиссар. Мне надо сказать вам два слова.

— Фу, напугал. Как привидение. Ты что, спектакль какой разыгрываешь? А если б я так испугался, что взял бы да стрельнул?

— Надо было стрельнуть, товарищ комиссар.

— Будет тебе пустяки болтать. Чего тебе? Впрочем, зайдем ко мне.

— Нет, нет, товарищ комиссар. Я не могу. У меня многое накопело на душе. Но сегодня я не мог с вами не поговорить. Я вижу ваше горе. И мне надо было вам сказать...

Щербак почувствовал, что отпустить Аренского не сможет.

— Заходите!

— Нет, не зайду, товарищ комиссар. Только выслушайте. То, что случилось с Соболевым, должно было произойти. Не убивайтесь. Вы здесь, ей-богу, ни при чем. От судьбы не уйдешь. Смерть всегда выбирает лучших.

Аренский исчез так же внезапно, как и появился.

«Что за чертовщина! — подумал Щербак. — Часом, не свихнулся наш артист?»

Дома Щербака встретили настороженно. Ирина, видимо, предупредила детей, особенно маленького Игорька, который привык вечерами надоедать отцу. Они очень любили батьку — сурового, но доброго.

Сестры занимались в соседней комнате; Игорек, высунув язык, что-то рисовал на белом листке. Мать предупредительно поглядывала на него. В квартире было тесновато, но уютно. Мебели — почти никакой, но занавески, вышитые коврики и скатерки создавали впечатление обжитого, милого уголка.

Щербак пообедал и коротко, избегая смотреть в глаза, рассказал о странной встрече с Аренским.

— Почему же ты не пригласил его? — встревожилась Ирина. — Человек без семьи, одинокий. Почему вы все на него?

— Кто сказал «все»?

— Разве не известно? Беда с Романычем — все знают.

— Беду кличет прокурор, — сказал Щербак. — А мы-то его оградим, надо полагать.

— Вася, почему «надо полагать»? Неужто такого человека в штрафники? Это же просто ни на что не похоже. Честный ведь он, ну сплеховал малость.

— Чудной он какой-то нынче.

— Будешь чудным, когда прокурор все жилы вытягивает. Каждый из нас, суда ожидая, умом может тронуться, не то что Романыч. Ничего ведь не делает, ото всего отстранен. Да так он, право, и руки на себя наложить может.

— Что ты, что ты, Ирина! — пробасил Щербак. — Разве может офицер такое сделать? А прокурор, видать, — подлец, все данные...

— А ежели подлец, так зачем держите?

— Разве мы держим? Округ держит.

— А вы разве подсказать не можете?

— Без нас есть кому подсказывать.

— Вот вы какие формалисты, — не выдержала Ирина. Ее немолодое, но миловидное лицо с непроходящими и зимой веснушками покраснело. Она, женорганизатор, близко к сердцу принимала все полковые дела, частенько вмешивалась в заботы мужа, пытаясь по-своему, по-женски, осмыслить происходящее. Она обо всем знала, а Щербак только изумлялся, выслушивая из ее уст полковые, а то и бригадные новости. — Я бы такого прокурора давным-давно коленкой под зад наладила. Всем ведь известно — человек ненадежный, семью оставил.

— Семья — одно, а дело совсем до этого не касается, — пытался отшутиться комиссар, зная строгие суждения жены о тех, кто нарушает супружескую верность.

— Ты свое знаешь, а я свое, Щербак. — Ирина частенько называла его по фамилии. — Только Аренского зря не пригласил. Не очень ты уж большая цаца, чтобы побрезговать за один стол с таким человеком сесть. Романыч — это грамота, культура. И нам этого чураться ни к чему.

Щербак улыбнулся. Нравилась она ему своими резкими и неожиданными суждениями! Но тут уж неправа баба, ей-богу, неправа.

— Не могу я с каждым за стол садиться, Ира,— серьезно сказал Щербак. — Субординация, знаешь? А ты, как солдатская жена, могла бы это понять давно.

— Конечно же, я солдатская жена,— повторила Ирина. Ей, вероятно, понравились эти слова.— Но не тут у тебя гвоздок. Не в чинах разница, Щербак. Чапаев похлестче тебя был, а чаевал с солдатами. А в том, что не любишь тех, которые пограмотнее тебя. Небось с Соболюковым покойным тоже за стол не садился.

По лицу Щербака прошла тень. Он встал, резко отбросив табуретку, схватил шинель, фуражку и, ни слова не говоря, вышел.

Ирина мгновение стояла растерянно, потом словно пришла в себя и стала со злостью убирать посуду. Она любила мужа, знала его силу и его слабости. Не стеснялась говорить правду в глаза. Знала, что он страдает от недостатка настоящей грамотности и жадно стремится к тому, чтобы дети получили образование, раз уж самому не удалось, но знала и то, что недолюбливает он интеллигентов, попадающих под его начало. Не то чтобы он их преследовал — нет, этого ее Василий никогда не позволил бы ни себе, ни другим. А попросту недолюбливал. И когда стряслась беда с Аренским, Щербак говорил о нем резко и нехорошо, настаивал на суровом наказании. Затем какая-то сила заставила его изменить свое мнение об Аренском и не рубить наотмашь. Но вот сегодня, в такой дождь, встретившись с ним у самой двери, не уговорил зайти, не согрел. Ирина не могла простить мужу его равнодушия к судьбе Аренского, и на этой почве у нее с Василием уже бывали размолвки.

Слова о Соболюкове вырвались неожиданно. Но она не пожалела об этом даже тогда, когда за мужем гулко захлопнулась дверь. Вошла старшая дочь, Катя, вылитая отец, худощавая, смуглая, с его настороженным взглядом.

— Что случилось, мама?

— Ничего особенного. Ты же знаешь нашего Щербака. Сам правду режет, а когда ему в глаза пальнешь — не очень-то. Вот под душ побежал...

— Может простудиться,— покачала головой Катя. Она училась в девятом классе и считалась в доме главной советчицей. Она дружила с Наташей, дочерью командира полка, хотя была много моложе. Вдумчивая, медлительная, она, казалось, все происходившее в полку воспринимала острее и более чутко даже, чем отец и мать. Отъезд Мельника она пережила безболезненно, понимая, что ее отец, комиссар, так же причастен ко всему, что делалось в полку. Она зорко наблюдала за отношениями родителей, ценила прямоту и честность матери, но вместе с тем считала отца мудрым и опытным. Смерть Соболюкова поразила ее. Она никогда не видела смерти так близко, только читала о многих смертях в газетах да видела Наташины слезы о погибшем Алике. Она мало знала Соболюкова, но ей нравился этот простой, очень начитанный человек с наивными глазами. Теперь он почему-то умер. И отец мрачен. И с матерью размолвка. И отец ушел в дождь тоже, видимо, из-за Соболюкова.

— Ты что-то наговорила, мама? Не надо было так резко.

— Да я и не резко, доченька. Я о покойнике слово сказала. А он вспыхнул, как спичка. Ну что ж... А только в себе эту правду носить не стану. Мы друг друга не стыдимся...

Щербак вернулся домой скоро. Он весь промок и дрожал, словно в ознобе. Но на жену как будто не злился.

— Понимаешь, проклятое дело, исчез... Исчез, нема.

И он рассказал жене о словах Аренского: «Соболюков должен был умереть...»

Ирина быстро оглянулась на дверь в соседнюю комнату — не слышат ли дети — и зябко поежилась, укутываясь в шаль.

— Знаешь, Вася, я то же подумала. Это странно, но я так подумала...

Щербак переоделся в сухое, он как будто успокоился, но дрожь не проходила даже у плитки, возле которой примостила его жена. Для нее он был не только выносливый, грубоватый, непререкаемый комиссар. Она знала и его слабости и недуги. По существу он был добр и мягок, хотя и не показывал этого. Любил тепло. Был склонен к простуде.

— Значит, ты бегал, искал Аренского?

— Бегал...

Она погладила его голову, а он прижался губами к ее руке.

Щербак не стал ей рассказывать, как нашел Аренского под дождем у свежей могилы Соболькова, как стояли они рядом, с лицами, мокрыми от дождя и слез. Как молча пошли назад и как Аренский опять не пожелал зайти к нему в дом.

«Не стоит, товарищ комиссар. Спасибо за доброту, за внимание. Вам же будет пеловко, если кто-нибудь увидит. Я ведь подследственный».

...Игорек принес показать рисунок. Он мог командовать комиссаром, как хотел. Его пленяли пистолеты, шашки, пилотки и португезы. Каждый день для него начинался по-новому: то подхватит мальчишку сильными руками старшины и на плече пронесет по лагерю, то забросит на склад к дедушке Немцу, где вкусно пахнет мукой и хлебом, то на конюшню, где толкаются лошади и тоже неплохо пахнет навозом, сырмятными уздечками и едким потом. То заманит в клуб к киномеханику — здесь настоящий праздник! Во-первых, здесь пахнет конфетами, во-вторых, настоящий киноаппарат и множество железных коробок с наклейками. Везде его знали и встречали тепло. Перед ним распахивался разнообразный и дружный мир, в котором люди и вещи строго подчинялись приказу, команде. В этом мире очень много значил его отец. Это было весело и любопытно. Если бы он, Игорек, мог приказывать, он бы целый день ездил верхом на лошади и стрелял бы из пистолета в небо...

А отец вовсе не приказывает и не командует. И даже незаметно, что он комиссар.

Все бойцы и генералы сейчас воюют на фронте, бьют фрицев как герои, а здесь как будто и нет войны. И отцу, конечно, тоже обидно, потому что его не пускают на фронт. Игорек бы с ним тоже поехал бить фрицев.

— Папа, тебе холодно? Ты замерз?

— Да, сынок. Продрог маленько.

— А я думал завтра покататься на лошади. Ты обещал.

— Погоди, брат. Все это будет. Послушай-ка... Знаешь что?

— Что?

Щербак задумался.

— Тебе дядя Костя подарил альбом для марок. Принеси-ка.

Игорек стремглав кинулся в соседнюю комнату.

Щербак сидел у плиты на низкой скамеечке, неловко поджав босые ноги в летних бриджах, из-под которых виднелись белые завязки кальсон. Портянки сушились на полукрытых дверцах духовки.

Весь день он думал о том, что придет домой, в тепло, и попросит сына показать ему марки. Что в них находят люди, что находил дядя Костя — брат жены, студент-химик, перед уходом на фронт подаривший Игорьку шахматы и альбом с марками? Что находил Собольков? Ведь он, должно быть, не зря возился с марками и не зря с таким увлечением рассказывал об этом. Причуда причудой, но не мог же такой умница, как Собольков, тратить время на всякую ерунду.

Щербак перелистывал плотные страницы альбома. Красные, синие, зеленые марки, с штемпелями почты и без штемпелей... Игорек подсказывал: Гватемала, Эквадор, Гондурас, Чили, Венесуэла, Гвиана... Откуда

мальчишка знает столько стран? Щербак хорошо знал карту Европы, мог указать предполагаемые места будущей высадки союзников, знал и Африку, где шли бои между войсками Монгомери и Роммеля. Он был, как и полагается комиссару, осведомлен о положении на фронтах, всегда мог рассказать бойцам о боевых событиях, но он совсем не знал тех стран, где свободно хозяйничали его Игорек с Соболюковым. Это был провал в его образовании. Провалов было немало. Надо учиться. Вот кончится война, и он, если останется жив, пойдет учиться. Как Соболюков.

Ему не хватало сегодня Соболюкова. Он бы с ним посоветовался, потому что комиссар батальона отлично знал, чему надо учиться.

— Это марка из Люксембурга. Люксембург, папа,— это самое маленькое государство... Знаешь?

Сотни марок веселыми разноцветными фонариками светились на страницах альбома. Эти маленькие зубчатые гонцы из всех стран земного шара принесли дружеские поклоны Игорьку и собрались в его альбоме веселым братством. Что в них находят люди? Игорьку это, видимо, более понятно... Когда он вырастет, будет ли он помнить войну, и смерть Соболюкова, и этот вечер у плиты, и отца с альбомом на коленях? Нет, он, пожалуй, не запомнит всего. А Щербак запомнит. И Ирина будет помнить и старшие девочки, рассевшиеся на кроватях. Они испуганно смотрели на отца, которого тряс озноб.

— Игорек, а Игорек? — спросил отец. — Как называются те, которые марки эти... собирают? Говорил мне как-то Соболюков.

— Филателисты,— с гордостью ответил сын.

— Филателисты, да-да,— повторил Щербак, и зубы его отбивали дробь.— Вот еще нашли занятие! Это, брат, забава. Это для шибко грамотных забота. Гондурас, говоришь, Чили, Эк... Эквадор. Я тебе скажу лучше: Полтава, Перещепино, Звенигород... Катя, как правильно — фарфор или фарфёр? Ты у меня ученая... А?

Щербак весь горел. Ирина встревожилась не на шутку. Катя укоризненно смотрела на мать, когда она поила мужа чаем и, как ребенка, укладывала в постель.

8

Дейнека старался поменьше двигаться.

А как неутомимо колесил он когда-то по району! То в открытом «газике», а затем в «эмке», то верхом, то в двуколке, запряженной племенным рысаком, а иной раз пешком из конца в конец, потому что пешее движение полезно — он знал это — не только писателю, но и партийному работнику. Однажды видный киевский писатель, захав в район, рассказал Дейнеке о своей встрече с Горьким. Алексей Максимович спросил киевского писателя, каким способом тот передвигается из Киева в Москву.

— Иногда самолетом, а чаще поездом.

— А ежели поездом, то каким классом изволите ехать? — допытывался Горький.

— Международным либо мягким... — отвечал приезжий, на что Горький с печальной улыбкой заметил:

— Я в ваши годы, молодой человек, более по России пешком ходил. Для писателя оно полезней... Однако, ежели поездом доводится ездить, то советую вам по-стариковски — третьим классом. Да, да, третьим классом.

Дейнека запомнил эти слова и сам потом повторял их на заседаниях бюро, на пленумах райкома, подчеркивая, что для партийного работника эти слова — сама азбука, основа его деятельности. Связь с массами, всегда с народом...

А нынче он утрачивал эту связь. Его собственный позвоночник казался ему таким ненадежным и хрупким, что достаточно одного неверного движения — и все рухнет.

Его, однако, тянуло к людям. Давняя привычка вела его медлительно из землянки в землянку. Он спускался по неверным ступенькам в царство полумрака и запаха пота, смешанного с пряным ароматом сосновых досок.

Он с завистью поглядывал на Беляева, крепко сидящего в седле. Когда этот пехотинец научился так ездить верхом?

Однажды комбриг приказал Агафонову спешиться.

— Николай Иванович, садись. Саша, помоги начальнику политотдела.

Дейнека усмехнулся и покачал головой.

— Чего боишься? — весело спросил комбриг. — Думаешь, растрясет или сбросит? Она спокойная.

— Как младенец, товарищ начальник политотдела, — вставил Агафонов, с готовностью подавая стремя.

— Да вы что, смеетесь? — смутился Дейнека. Он инстинктивно оглянулся, словно из окон штаба могли увидеть его нерешительность. — Вижу, полковник, хочешь со свету сжить меня. При этом способ придумал верный и чистенький... Никто не придерется.

— Да. что ты, комиссар? Лошадка-то в курсе дела, сознает, какую ценность на спинку принимает. Не так уж часто рискуют политработники.

Неведомо какая сила взметнула Дейнеку в седло. Может быть, это было желание показать комбригу несправедливость его слов, может быть, досада и зависть, только он привычно схватился за луку седла, вдел ногу в стремя и впервые за долгие месяцы очутился на лошади. Ощувив под собой ее покорную и упругую спину, он радостно засмеялся. Неужто ничего не хрустнуло, не заболело? И позвоночник, как ни странно, не переломился. Верно, не худо потрудились эскулапы, прежде чем выпустили его из госпитальной палаты.

— Поехали? — спросил Беляев. — А ты того... держисься!

— Почему бы мне не держаться? — ответил Дейнека. — Я ведь политработник.

И пришпорил кобылицу Агафопова. Малая рысь, легкая, когда ты, словно на волне, покачиваешься на сильной и чуткой спине лошади! Она, умница, то всхрапнет, мотнув головой, словно в ожидании доброго похлопывания по крутой шелковистой шее, замедлит побегу, перебирая дробно ногами и как бы заигрывая со своим седоком. Ты вспоминаешь довоенные районные будни, мирную молодость, когда не боялся галопа, полного аллюра «три креста».

Нет, он еще побаивался нынче переходить на галоп и устремиться за комбригом, который оставил его далеко позади. На первый раз достаточно и рысцой проехать по знакомым местам.

Беляев, оглядываясь, улыбался. Чему — Дейнека не знал, но догадывался. Вот, мол, и еще одного усадил в седло. Каждого в свое седло!

Позднее, оставшись наедине с собой, Дейнека весело рассмеялся. «Молодец комбриг! Когда-то в комсомоле это называли подначкой».

На бригадных учениях, на многодневном выходе он уже чувствовал себя физически крепким, прошла боязнь самого себя, болей, подстерегавших каждую минуту.

И только смерть Соболькова опять заставила насторожиться. Как просто, как невзначай ушел Собольков! Надо будет как-то тактично, исподволь, переосвидетельствовать весь личный состав бригады.

С похорон возвращались вдвоем с комбригом. И Дейнека высказал ему все, что думал.

Беляев молчал, и они некоторое время шли, не проронив ни звука. Дейнека понимал, что комбриг, казалось бы, сдержанно воспринявший смерть Соболевкова, прячет в душе бурю и считает его, начальника политотдела, косвенным виновником.

— Вот ты все в Щербака влюблен,— сказал наконец Беляев.— Многое прощаешь. А ведь Соболевкова-то недоглядел он...

— Ну уж, извини. Кто же мог знать, что такое случится? Нет, брат... Тут, если на то пошло, каждого можно винить. И меня...

— И тебя,— охотно согласился комбриг.— Почему же? Все мы виноваты. Но среди всех есть, однако, кто-то один. Мне кажется, это Щербак.

— И что же ты предлагаешь? — резко спросил Дейнека, едва сдерживая досаду.

— Ничего не предлагаю. Ограничимся, стало быть, обсуждением вопроса; есть, кажется, такая формулировка. Соболевкова не вернешь.

Напряжение схлынуло. Дейнека успокоился.

— Я тебе вот что скажу, Алексей Николаевич. Щербак, надо думать, не совершенство. Знаний у него не хватает. Теоретически подкован слабовато. Политработник, если хочешь, он «с перекосом».

— «С перекосом»? — переспросил Беляев и засмеялся.— Ну-ну, любопытно.

— Да, «с перекосом». Недоценивает культуру, теорию. Но — политработник! По духу, по призванию, если хочешь. Колюч, прямолинеен до грубости? Верно. Ошибается? Бывает. Но исправляет свои ошибки с душой, честно. И есть у него главное — не кабинетчик. Со срывами, повторяю, с ошибками, но народ его любит. Это немало.

— Да, это главное,— согласился Беляев.

— Ангелочков среди нас маловато. Не примечал что-то. Идеальных людей в жизни не бывает. Политработников тоже. Важно нащупать в человеке ведущее, главное. Стерженек, так сказать. А у Щербака стерженек есть. За ним пойдут — в бой, на смерть, в огонь, в воду. Он такой же простой, как они, и они это ценят, будь уверен. А воспитать Щербака, устранить «перекося» — это уже наша забота.

— Вот ты как за свои кадры бьешься, бережешь их,— беззлобно и даже с оттенком одобрения сказал полковник.

— Это не мои кадры, а наши.

— Ладно, наши. Не в том дело. Ты бережешь, а я нет.

— Как так?

— С Мельником-то расстался. И легко расстался.

— Мельник — это другое.

— Другое, потому что не твое. «Наше», но не твое,— уже в сердцах бросил полковник, вызвав невольную улыбку Дейнеки. Милый парень, этот комбриг! До сих пор не может примириться с тем, что произошло в полку, с неизбежным уходом Мельника. И до сих пор неведомо за что точит зуб на тыловых политработников.

— Не со всеми и ты расстаешься, Алексей Николаевич. Кое-кого и ты бережешь,— сказал Дейнека, помолчав, словно колебался, стоит ли продолжать этот острый разговор.

— Кого это берегу? — вспыхнул Беляев.

— Борского хотя бы.

— А что — Борского? Что тебе Борский?

— Тоже ведь «с перекосом».

— «С перекосом». Я ничего и не говорю.

— А возишься. Полк доверил.

— Временно...

— Но доверил.

— Да, доверил. Вожусь. Потому что стоит. Молод он, избалован, скажу тебе. Видимо, легко, быстро далась она ему, эта власть над людьми.

ми, вот и срывается. Удачлив, неотразим, к жизни жаден. В общем, успех А еще на войне пострадал, глаза лишился, — теперь, сдается, все ему поклонись! А на самом деле напускное. Ты его поскреби хорошенько — добрый же малый! И неглупый. По душе солдат, строевик.

Они расстались у штаба бригады, и Дейнека торопливо зашагал обратно в полк.

Он побывал всюду. Конечно, можно было перенести на завтра все это и не месить грязь у землянок. Но сегодня навсегда проводили доброго мастерового из обширного цеха политработников, и сегодня обязан Дейнека побывать среди людей вместо комиссара, ушедшего с поста. Надо посмотреть в глаза бойцам, помочь преодолеть тоску, уныние и печаль, принесенные со свежего могильного холмика.

Но ни тоски, ни уныния, ни печали Дейнека не встретил в рогатых землянках. Его даже покорило это спокойствие людей, произносивших привычные и вовсе не трогательные слова, вроде: «Жаль человека», «Неплохой был комиссар», «Хоть бы на фронте погиб, то не так обидно было бы».

В одной землянке Дейнеку спросили:

— Как правильно сказать, товарищ батальонный комиссар: фарфор или фэрфор?

Дейнека ответил.

— Это точно? — переспросил боец.

— Точно.

— А комиссар Щербак сказал: «фэрфор».

— Не надо спорить. Будем говорить: фаянс.

Бойцы засмеялись.

— Фаянс фаянсом, а фарфор дороже. Это вещь богатая.

— И то и другое — керамика, — заметил Дейнека. — Все — каолин, белая глина.

По дороге домой Дейнека зашел к Щербаку. Тот лежал в ознобе, под двумя одеялами. Дейнека молча постоял в сенях, чтобы не наследить в комнате.

Ирина, все приглашавшая его зайти, спросила:

— Наделал делов мой Вася? Скажите по-честному.

— По-честному — никаких делов не наделал, — ответил Дейнека. — Врача ему надо срочно. Я пришлю бригадного.

— Спасибо вам, — сказала Ирина, кутаясь в шаль. — Он ведь такое начудил — беда с ним! По натуре ему не комиссаром быть, а в институте благородных девиц, право...

— Да, он у вас из «девиц», это верно, — не скрывая иронии, согласился Дейнека. — Самая что ни на есть «красная девица, ничего не скажешь».

4

Руденко уехал вскоре после похорон.

В батальоне появился новый комиссар. Это был молодой, хваткий, всезнающий фронтовик со шрамом на лбу, любивший строевое дело и, несомненно, превосходивший Соболькова по этой части. Немножко свысока поглядывал он на тыловиков, не нюхавших пороха. Сталевару показался он из молодых, да ранним, хотя, может, со временем приобретет и рассудительность и скромность, чего у Соболькова было в избытке.

Как бы то ни было, но показалось Руденко пустовато в батальоне и одновременно грызла совесть, что лично он «проглядел» комиссара, придумывая на марше всякие побаски да шуточки, вместо того чтобы силой посадить его на коня.

Об этом он рассказал Дейнеке, с которым у него издавна установились теплые отношения.

— Вы, наверно, считали, что я отбыл давно,— сказал Руденко, когда обо всем уже было переговорено.— А я вон какой нарушитель...

— Нет, я знал, что ты в батальоне.

— Неужто знали?

— Знал. Думал, что там и останешься, прикипишь.

— Приказ комбрига, товарищ начальник политотдела. Я бы с дорогой душой. Тем более отсюда скорее на фронт можно.

— Полагал, что удастся тебя сохранить как воспитателя молодых... Хоть на фронте ты и не был, а рабочая закалка — она почти соответствует фронтовой. Твое слово было нужно здесь. Прощай.

Руденко показалось, что Дейнека обижается на него за то, что он без сожаления покидает лагерь: «прощай» прозвучало суховато.

— Ну что ж...— помялся Руденко.— Оставайтесь в добром здоровье, товарищ начальник политотдела. Не обижайтесь на меня. Потому что, если бы не комбриг, давно бы на фронте был. Не дезертир я.

— Чужак человек! Вот уж и обиделся. Зачем такие слова? Об одном прошу — пиши нам, пиши в роту, как живешь, как трудисься. Обещаешь?

— За это не беспокойтесь. И сталь дадим и письма писать будем.

Ну вот, как будто со всеми простился. Лагерь провожал его тепло. На душе было спокойно. Он шел по жизни правильно. В этой тяжелой войне он и одного дня не простаивал. Сейчас снова к печке, снова «дра-знить» металл длинной пикой, снова ложкой зачерпывать пробу и смотреть, как искрится жидкая сталь, льющаяся в «стаканчик» для анализа. Опять вместо командиров появятся инженеры и мастера, которым не отдавать честь и перед которыми не стоять по команде «мирно». Снова он пожалел на мгновение, что уходит, но душевный его покой был невозмутим. Нет, простое у него не было!

Уже стало прохладно. Недавно выдали шапки-ушанки. Руденко дотронулся до звездочки, словно желая удостовериться, на месте ли она. С ней сегодня тоже придется расстаться. Придется расстаться и с треугольниками в петлицах. И стать рядовым гражданским человеком.

Что сказал бы Порошин, о котором теперь рассказывают агитаторы: вот, мол, был солдат и отличился в учении, вмиг орлом взлетел, стал сержантом, и вы такого почета можете удостоиться. Не осудил бы за то, что так легко отдает красноармейскую звезду? Впрочем, их встреча еще впереди. «Я имею расчет после войны до печки, Яков Захарович...» — «Давай, брат, давай. Будешь у меня подручным стоять».

С портретом Порошина и могилой Соболькова Руденко простился по-своему, молчаливо, и на станцию отправился без особенной торжественности.

Но когда вдалеке показался дымок и приблизилась минута отъезда, он взволновался.

А уже позднее, когда ехал в областной город в бесплацикартном вагоне среди бойцов, баб да ребяташек, Руденко растревожился вконец. Потому что понял: о многом не позаботился. Хоть и был он младшим командиром в роте, но забот у парторга было немало. Недосказал, во-первых, многого прокурорскому следователю насчет Аренского; добрых слов мало сказал, а они ведь его судить собираются. Никчемная затея, по его понятию. Вмешаться бы как-нибудь в этот вопрос и насчет этого дела свое рабочее слово высказать. Думал дожидаться трибунала, дождался другого — смерти Соболькова, которая ускорила и его отъезд.

Теперь оставалось только ждать штемпелеванных треугольников — писем из ставшей родной ему роты.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

1

Накануне процесса прокурор Котельников сказался больным. Он, как обычно, полулежал в кресле, утопая в подушках; так же, как всегда, тяжело дышал; на столике, у постели, стояли склянки с лекарствами.

Он вызвал к себе Рудина и, поминутно закатывая глаза от удушья, объявил о своем решении поручить ему, своему помощнику, поддержать обвинение в трибунале.

— Вам оказано доверие... Надеюсь, замените с честью. Да и вам пора шагать самостоятельно. Дело ясное, простое. Все сомневаетесь? До каких пор будете сомневаться? Вы же не Гамлет... Поймите, не время нынче для сомнений. Война... Какая уж тут гуманность... Знаете сами, на фронте за один шаг назад — строгое наказание... Слишком вы много размышляете. На войне надо выполнять...

Рудин, нахмурившись, молчал.

— Вы что, недовольны?

— Как прикажете проявлять свое удовольствие, товарищ майор? — неожиданно спросил Рудин.

— Да... никак... — замаялся Котельников, неловко приподымаясь на локте. — Я, собственно, хотел спросить... по-прежнему ли сомневаетесь в ценности дела? Теперь-то уж не только злой и нехороший Котельников дает оценку материалам следствия, но и прокуратура округа...

— Окончательную оценку даст трибунал, — холодно проговорил Рудин.

— Это так. Но ваша задача — помочь трибуналу... Понимаете?

— Я помогу, — ответил Рудин.

— Отлично... Я все-таки верю в вас. Верю, что не подведете. Ну, желаю успеха. Буду мысленно с вами, — сказал Котельников, пожимая руку своему помощнику и пытаясь поймать его рассеянный взгляд.

Прокуратура округа наконец поддержала Котельникова. По материалам следствия было установлено наличие состава преступления в действиях старшего лейтенанта Аренского, и, несмотря на ходатайство командира бригады, округ дал санкцию.

Котельников торжествовал. Это был уже второй добрый знак оттуда, из кабинета прокурора округа. Первый был получен тоже недавно: Рудина повысили в должности и назначили помощником прокурора.

Это произошло не без участия Котельникова. В личном письме своему бывшему непосредственному начальнику Котельников всячески превозносил молодого следователя за усердие и просил назначить его своим помощником. Он с удовольствием сочинял это письмо, втайне рассчитывая, что между теплых и бескорыстных строк, посвященных молодому, искренне выдвигаемому юристу, начальник увидит и самого Котельникова, страдающего, обиженного, но озабоченного чужими делами, увидит и вспомнит, вспомнит и простит.

Тому, кто знал об истинных отношениях между Котельниковым и Рудиным, могло показаться странным это настойчивое стремление приобрести помощника, на которого столь рискованно положиться в особо ответственных случаях. Но Котельников знал, что делал. Прокурор округа однажды на совещании весьма лестно отозвался о молодом растущем следователе. Котельников, не разделявший мнения прокурора, однако, намотал это на ус. И вот нынче подоспел удобный момент погратифить начальству. Помимо этого, сегодняшней колеблющийся и сомневающийся следователь превратится завтра в твердого и непреклонного стража законности. Отныне он не сможет позволить себе и ребяческих сентенций в протоколах допроса. Котельников привлечет на свою сторону Рудина, которого любят в брига-

де, обласкает его, доверит, обопрется о его плечо, его руками и его устами завершит процесс, тщательно, в упорной борьбе подготовленный его, Котельникова, собственными усилиями.

И потом, подготовив себе надежную смену, легче будет уйти. Зачем самому красоваться на трибуне под неприязненными взглядами офицеров бригады? Не лучше ли, не разумнее ли будет, если жестокую обвинительную речь услышат от симпатичного юноши? Он сумеет произнести эффектные, уничтожающие слова. Недаром в его материалах пробиваются разные художественные обороты. К тому же прокурор поможет... Прокурор напишет речь.

А если, не дай бог, дело начнет расплываться на усиленных перекрестных допросах, Котельников опять же загородится помощником: «Не сумел... Не оправдал надежд...»

Теперь, когда процесс уже, вероятно, в самом разгаре, Котельников улыбается. Он не верит в худшее. Трибунальцы редко подводят, он наблюдал их работу. Поддай только кончик, а уж они размотают клубок.

На часах — девятнадцать. Пора бы и к финишу. Семь часов заседают. Рудин уже наверняка выступал.

В коридоре слышатся чьи-то шаги. Наконец-то! Рудин обещал после процесса зайти и доложить.

Входит второй следователь, пожилой, с нездоровой желтизной в лице.

— Ну что? Рассказывай. Садись, брат.

Следователь усаживается у стола, вытаскивает папиросу, похлопывает себя по карманам, ища спички. Потом вдруг прячет папиросу.

— Я и забыл. Курить-то у вас нельзя.

— Кури, кури. Можно. Говорю, можно! — Котельников находит на тумбочке коробок и ловко бросает следователю. — Рассказывай, как там? По порядку. Народу много было?

— Ломилось.

— Представляю! Привалили, наверное, из других частей? С а м был?

— Присутствовал. В первом ряду сидел.

— Так, так... Ну-с... Что Папуше? Выкладывай.

— Спекся Папуша.

— Штрафбат?

— Точно. Как и полагали.

— Что усатому? Небось плакался, христосик?

— Оправдан.

— Что?

— Оправдан, говорю. И старшина оправдан.

— Как оправдан?! — Кресло летит в угол вместе с подушками. — Как оправдан?! Где Рудин? Что он? Мямлил, заикался? Ну, говори же!

— Рудин отказался от обвинения.

Котельников ищет опоры. Он задыхается. Астма, оказывается, на самом деле подкарауливала прокурора весь этот день.

2

На другой день после суда Шербак вызвал к себе Аренского. Командир роты, переживший мучительные минуты на допросах и по-прежнему упорно взваливавший все грехи на себя, был поражен, когда услышал, что Рудин отказывается от обвинения.

Аренский настойчиво просил трибунал судить и его по всей строгости военного времени, но Папуша вдруг встал и громовым голосом объявил, что тот не виноват, а виноват один он, Папуша, поскольку Аренский докладывал ему о неподготовленности роты.

— Когда это было? — спросил Аренский не то у председателя, не то у Папуши.

— Эх ты,— вздохнул Папуша.— Неужто у меня, у пьяного, больше памяти, чем у тебя, трезвого? Граждане судьи, прошу верить.

Аренский прошел на процессе как бы стороной, вызывая подчас улыбку и даже смех в зале.

Растерянность овладела Аренским. Что же он за офицер, если трибунал даже не принял его всерьез, не пожелал судить за существенные проступки, если даже сам прокурор не явился на процесс, а вместо себя прислал своего молодого помощника. А этот мальчишка, видимо сжалившись, вдруг почему-то защитил Аренского. Что же теперь делать? Решительно проситься на фронт! Теперь отпустят. Не станут удерживать. Слишком уж намозолил всем глаза.

Идя к Щербаку, Аренский расправил плечи, подкрутил усы, надеясь, что это придаст ему вид подтянутый и строевой. Он хотел казаться бодрым и вполне готовым выполнить боевую задачу на фронте, куда его, несомненно, отпустят.

Слова Щербака разочаровали и поразили Аренского. После болезни комиссар осунулся и похудел. Аренскому казалось, что Щербак до сих пор не может простить себе смерть Соболькова. И снова желая успокоить комиссара, он повторил Щербаку все, что говорил в ту дождливую ночь.

Щербак насмешливо смотрел на Аренского. Вот опять несет какую-то чепуху, чертовщину, поповщину.

— Послушайте, Аренский. Это же пропаганда не наших идей. Прямотаки мелкобуржуазные разговорчики. Не выносите этого мусора никуда.

— Как угодно, товарищ комиссар.

— Чтобы офицер, интеллигентный человек, высококультурный, верил в такую чушь, как судьба, или, как вы говорите, рок. Этак скоро начнете молиться богу.

— Я атеист,— сказал Аренский задумчиво.— Но фаталист.

— Чего?

— Фаталист... Верящий в неизбежность.

— А я филателист,— вдруг сказал Щербак.

— Что вы говорите? — встрепенулся Аренский.— Это чудесно! Я ведь и сам этим занимался. В детстве, конечно...

— А вот Собольков этим занимался уже взрослый. Оторвала его война от альбомов, а то бы и по сей день собирал марки да возился бы со всякими коллекциями.

— Не собирал бы, товарищ комиссар,— кротко, но настойчиво заметил Аренский.

— Прекратите! — резко сказал Щербак.— Собольков пал в бою. Ясно? Пал смертью храбрых. Так надо понимать его смерть. Нельзя о коммунисте, о комиссаре да вообще о воине говорить такие слова. Вы, кажется, человек с понятием... С образованием...

Аренский досадовал на себя. Черт его дернул пуститься в философию, за которую всю жизнь ему достается. Когда же Щербак, совсем успокоившись, открыл ему действительную причину вызова, Аренский растерялся.

— Позвольте, товарищ комиссар... Что же это происходит... Я совершенно... Не пойму, право...

Щербак загадочно улыбался. И вдруг крупные слезы покатались по чисто выбритым и бледным щекам Аренского. Упав на стул, он зарыдал сдержанно, мучительно стесняясь своих слез.

— Успокойся... ну... успокойся,— непривычно мягко сказал Щербак, наливая воду из графина в стакан.— На, выпей. Это понятно, конечно. Разрядка получилась...

Стараясь успокоиться, Аренский вытащил носовой платок и размазал слезы по лицу. Наконец он поднялся и сказал решительно, почти торжественно:

— Товарищ комиссар... Я подал рапорт — на фронт. Я думаю, что меня не могут, не имеют права не отпустить... Я прошу вас поддержать...

— Об этом разговоре не будет, — весело сказал Щербак. — Вопрос поднят политотделом бригады. В данный момент вам поручается постановка патриотической пьесы. Думаю, что это у вас получится удачнее, чем командование ротой. Как думаешь?

— Я не смею верить, — сказал Аренский.

— Поверь, Аренский, право, поверь.

— Благодарю вас... Вероятно, это судьба моя.

— Опять судьба! — Щербак в сердцах хлопнул ладонью по столу. — Заладила сорока Якова! Нет, брат, неисправимый ты человек! Не судьба, а политическая необходимость. И гляди, чтобы в постановке никаких идеологических вывихов не наблюдалось. Чтобы все было выдержанно и правильно.

— Но я ведь... Товарищ комиссар... Какое же это искупление вины? Ведь все знают...

Щербак нахмурился.

— Вы человек военный?

— Так точно, товарищ комиссар.

— Приказам подчиняетесь? Это приказ.

— Есть, приказ! — Аренский вытянулся, лицо его стало как бы моложе и мужественнее. — Разрешите в таком случае сесть?

— Садитесь.

У Аренского вдруг появилось множество мыслей, целый вихрь вопросов. Мозг его заработал лихорадочно. В нём уже просыпался профессионал-режиссер.

— Первый вопрос. Труппа.

— Труппа? — переспросил Щербак. — Труппа это очень просто. Дадим команду начальнику клуба. Он подберет людей с определенными данными. Конечно, заслуженных и народных артистов у вас не будет.

— Это понятно. К слову, они и не нужны нам. Еще вопрос. Театр?

— Конюшня, — сразу ответил комиссар. — Я уже продумал этот вопрос.

— Отличная идея!

Аренский изобразил на лице восторг, хотя совершенно не представлял, каким образом недостроенная конюшня — огромный дощатый сарай — сможет стать театром. Тем не менее он твердо знал, что театр будет жить. Он вышел из кабинета комиссара, и совсем иным показалось ему все вокруг. Он не без горечи распрощался со своей мечтой — искупить вину на фронте. Но все мысли уже вертелись вокруг будущего спектакля. Он уже комплектовал труппу, перебирая в памяти знакомых офицеров, сержантов, бойцов, вольнонаемных, вспоминал женщин, способных играть, — и вспомнил с надеждой Наташу, с которой особенно подружился в последние дни, и медсестру с красивым широкоскулым лицом, подругу Борского, подумал о художнике Савчуке — ему-то можно будет поручить оформление спектакля! — об образах пьесы, которую с волнением прочитал недавно, о сцене, занавесе, соффигах, музыке. Весь лагерь, раскинувшийся в песках, представился ему огромным зрительным залом. Спектакль должен потрясать сердца маршевиков, уходящих на фронт, воспитывать жгучую ненависть к врагу. Какое счастье прикоснуться к любимому искусству в эти трагические дни! Не было ли то, что случилось, счастливой судьбой, наградой ему за долгие дни и ночи мучительных раздумий и тревожного ожидания?

В спектакле Наташе досталась роль бесстрашной разведчицы Тони. Наташа никогда не играла на сцене и немножко страшилась предстоящего выступления. Впрочем, до выступления было еще далеко. Романыч только лишь «прорабатывал» пьесу, читал ее вслух актерам полностью и по кускам, выхватывая отдельные сцены. Он называл это время «застольным периодом». Наташа не на шутку увлеклась предстоящим спектаклем.

После отъезда отца она незаметно для себя привязалась к Аренскому. Ожидая суда, он часто приходил в библиотеку, подолгу просиживал за газетами и книгами. Он вспоминал о сцене, о знаменитых актерам, с которыми был знаком, рассказывал о своем отце. Когда он почему-либо не приходил, Наташа скучала. С ним было интересно — он много знал. Знал античное искусство, помнил наизусть многое из Шекспира, Пушкина, Островского. В прошлом сыграл бесчисленное количество ролей и теперь читал ей монологи, стихи и отрывки из пьес. Иногда, задумываясь над судьбой Аренского, Наташа порывалась пойти к комиссару Щербаку, к командиру бригады. Как можно судить такого человека! А легко ли его создать, воспитать такую память, отточить такой ум, зажечь такое вдохновение?

Однажды она остановила Рудина, часто приходившего в библиотеку. Молодой следователь покраснел и замаялся, он не имел права говорить с ней о подробностях дела. Он суховато ответил Наташе, что военный трибунал во всем разберется, а его сейчас больше всего интересует роман Фадеева «Последний из удэге». Она со злостью швырнула Рудину книжку, и он, ни слова не говоря, взял ее, избегая Наташиного взгляда.

Этот случай припомнился ей на суде, когда Рудин отказался от обвинения Аренского. Краска залила Наташины щеки, по окончании суда она нашла руку Рудина и по-мужски, крепко пожала ее, а Аренского обняла при всех и поцеловала. Кто-то из офицеров галантно пошутил: «Не отказался бы быть под судом и следствием...»

Начались репетиции. Роль Тони глубоко захватила ее. Тоня молча любила. Шла на опасный подвиг. Произносила горячие слова о Родине. Наташа вспоминала школу, где проходила практику, звонкоголосых пятиклассников, девочку с красным бантом, сидевшую на первой парте, непередаваемые школьные запахи... Потом эвакуация. Большой медный звонок лежит на подоконнике, отзвенев последний раз. В своем классе она нашла чей-то пенал, тоненькую голубую ручку в нем и полуистертый ластик. На доске остались слова, написанные мелом: «Кто при звездах и при луне так поздно мчится на коне...» Кто? Кто действительно мчится на коне так поздно? Она села за парту, едва удерживая слезы, увидела вдруг на черном лаке нацарапанное имя «Алик» и зарыдала. Все вокруг было детское, беззащитное, а сама она показалась себе ребенком, беспомощным и жалким перед лицом грозных событий.

Подружка Майка влюбилась в белобрысого лейтенанта, целовалась с ним в скверах, а когда он ушел с дивизией на фронт, ринулась вслед за ним искать свою любовь на дорогах войны. Наташа и этого не могла сделать. Они с Аликом даже не поцеловались на прощание.

Долгий путь на восток вместе с отцовым полком обрек ее на томительное бездействие. Русская равнина лежала перед ней, курские, воронежские, саратовские деревни, избы, полные молчаливой тоски по мужьям, сыновьям, братьям. Горе, прятавшееся в углах, суматоха вокзалов, окаменевшие лица эвакуированных, девушки в солдатских шинелях, грубых кирзовых сапогах, то с сумкой военного санитаря, то с папкой делопроизводителя — «делопута», как, шутя, говорили в полку. Тоска не

покидала душу. Почему на восток, почему с отцом и с матерью в глубокий тыл? Так ли учили ее?

Ей не жилось тут. Почему это Майка уехала на фронт, а она нет? Не хватило силенок? Вероятно, так. Не всем, пожалуй, суждено быть героями. Она обыкновенная, заурядная. Наташа поступила работать писарем в штаб полка. «Писарь...» Самое это слово сначала казалось издевкой. Потом она привыкла. Работы было много. Бумажки, как хлопья снега, заваливали стол. Гора бумажек вспухала, она не успевала справляться с потоком входящих, исходящих, рапортчиков и накладных. Все это было скучным, как бревенчатые стены, как тучи махорочного дыма под потолком. Она хотела уехать. Отец не отпускал. Ах, этот папочка! Как он ее любил и как цепко держал подле себя, пока можно. Он так и говорил: «Будешь со мной, пока можно». Конечно же, она могла приносить пользу и в лазарете, могла быть зенитчицей или связисткой. Майка, кажется, стала зенитчицей. «Нет, будешь со мной», — говорил отец. Наташа раздражалась, плакала, но он умел приласкать и успокоить ее. Мама была строже, даже неласковой. А вот папа — первый друг. Наташа заметила, что отец медленно, с трудом, продвигается в званиях. Он ведь не учился. Он и слово порой не то скажет и напишет с ошибкой. Она думала про себя: «Отстает папка. Поучился бы...» Но учиться ему было поздно.

Есть в семьях маленькие, а порой и большие «тайны», известные всем. О них не говорят, они под негласным запретом. Но все члены семьи об этой тайне думают, всех она мучит, у каждого на уме. Родители думают по-своему, дети — по-своему. Но для всех эта тайна не тайна, хотя и хранится под семью замками. Такая тайна жила и в семье майора Мельника, и была она связана с его военными делами и дальнейшим ростом. И Наташа и мама лучше других знали его. Это была настоящая и тяжелая тайна. Наташа думала о ней непрестанно. Порой казалось, что отец не понимает всей серьезности происходящего, что война еще как бы не ступила на порог его сердца, не обдала его своим горячим жаром. Добравшись до командования полком, он как бы остановился и даже завважничал. Откуда у него эти барские повадки? А ведь, случалось, что и жаловались на него. Писали в округ: плохо заботится о подчиненных. Однажды на партийном собрании заговорили о плохой работе столовой. Отец сказал: «Кое-кто недоволен тем, что командир полка съедает на две оладушки больше, чем командир роты. Что ж поделаешь? Будешь командиром полка — будешь тоже съедать на две оладушки больше». Наташе тяжело было видеть, что отца все меньше уважают и что при этом он слепо уверен в себе, в прочности своего положения.

Он любил парады. Любил принимать начальство — это он умел делать. И он же кряхтел и ругался, если кто-нибудь приезжал с серьезной проверкой, если комдив устраивал тревоги и «выхода». Когда пришла война, Наташа малодушно испугалась. Но и на этот раз обошлось: отца назначили командиром запасного полка. И тогда он сказал ей: «Будешь со мной, пока можно». И она испугалась: уж не обыватель ли ее отец? Как тяжело было молчать об этом! Она покорялась ему, любила со всеми недостатками, ободряла, прихорашивала для себя. И он выглядел добрым, милым, немножко ленивым служакой. Может быть, и такие нужны в армии? Не всем же звезды с неба хватать!

Приезд Беляева подвел черту ее мучительным размышлениям. Удивительно быстро и решительно вмешался он в ее сокровенные тайны, не посчитался ни с чем. И тогда ее поразила неожиданная твердость и выдержка отца. Как он уезжал! Казалось, он даже приветствовал то, что случилось. Кончилась игра, началась жизнь. Когда дело коснулось офицерской чести, он показал, на что способен. И в душе ее поселилась до-

сада на приезжего, сухого и жестокого человека, который мог бы и поделкатнее обойтись с ее отцом.

А между тем, боясь даже себе в этом признаться, она с любопытством и затаенным одобрением следила за всеми действиями Беляева. Сила его, поразительно всколыхнувшая людей, манила и привлекала. Это была энергия молодости, независимой, вольной и смелой, зовущей под свои знамена, без оглядки, вперед и вперед! И он, вероятно, поймет ее и поможет вырваться наконец отсюда, как, наверное, кто-то помог и Майке. Делать здесь больше нечего...

Роль, доставшаяся ей в спектакле, приподняла над обыденным. С этой минуты она жила двойственной жизнью: ничем не примечательного полкового библиотекаря и смелой разведчицы, для которой самый подвиг стал обычным делом.

Однажды старший политрук Рыжко, агитатор полка, застал Наташу и командира батареи Воронкова в библиотеке за летучей репетицией лирического отрывка.

— Чем занимаетесь? — спросил Рыжко, облизав сухие губы и подняв руки к лицу, словно защищаясь от наваждения.

— Как — чем? Репетируем пьесу, — спокойно ответила Наташа, обычно обходившая молчанием все придирки политрука.

— А вы уверены, что это необходимо?

— Да, необходимо!

Тоня из пьесы звала ее на подвиг. Все остальное казалось мелочным и недостойным осторожности.

— Глупости, — сказал Рыжко, втянув свои и без того впалые щеки. — Повторяю — выдумки. Вместо дела, понимаете, пустяками занимаетесь. Библиотекарь должен работать с книгой, составлять списки рекомендованной литературы, делать, понимаете, тематические альбомы, вклеивать газетные вырезки, как я этого требую. А вы чем занимаетесь? Чепухой.

— Товарищ старший политрук, — вмешался Воронков. — Чепуху, я так думаю, на страницах центральной газеты не печатают.

— Я не сказал, что газета печатает чепуху, не выдумывайте, Воронков. — И Рыжко изобразил на лице кислую улыбку. — Я не против пьесы, а против нелепой затеи. Артисты, понимаете, нашлись... Надо готовиться к боям, учиться наступать, а не спектакли разыгрывать. Слишком зажились в тылу. Самоуспокоились, понимаете... Да разве вы потянете такую громоздкую пьесу? Время растратите, вместо того чтобы планировать и громкие читки и другие библиотечные мероприятия с книгой... А на деле получится пасквиль, понимаете.

Воронков покачал головой.

— Эх, товарищ старший политрук, знал бы писатель, как вы к его пьесе относитесь, он бы вас в новую пьесу, понимаете, вписал и так прокатил бы, что будьте уверены...

Рыжко пожевал губами и медленно сказал:

— Я о вашем поведении доложу комиссару полка или командиру бригады.

— Докладывайте, — ответил Воронков. — Только комбриг — не пугало. Очень даже симпатичный.

— Вот он вам свою симпатию, понимаете, и покажет. И научит, понимаете, разговаривать со старшими по званию. А вам, девушка, никто не давал права нарушать порядок... Достаточно ваш папаша потрудился в полку.

Наташа расплакалась. Воронков бросился ее успокаивать. Рыжко спокойно удалился.

Весь драматический коллектив возмущился выходкой Рыжко. В полку его не любили. Его беседы с бойцами и семинары его с агитаторами рот

вызывали неудержимую зевоту. Однажды он пытался заставить Савчука изготовить ему гигантскую доску, на которой в размеченных клетках значились бы темы занятий на полгода вперед, фамилии всех агитаторов, время и место проведения семинаров, длиннейшие списки рекомендованной литературы. Этот щит, по замыслу Рыжко, должен был вместить всю мудрость и сложность агитационной политической работы в массах. Рыжко упрямо настаивал на осуществлении своей затеи, пока Щербак не запретил ему даже заикаться об этом.

Когда же Рыжко, облизывая сухие губы и от волнения удесятерив свое «понимаете», доложил о происшедшем в библиотеке, Щербак не смог сдержать улыбку.

— Ты-то пьесу читал?

— Не успел, товарищ комиссар.

— Некогда?

— Некогда. Все беседы, семинары...

— Забываешь в данном случае о живом деле, Рыжко,— заключил Щербак.— Все хочешь в квадратики втиснуть. Пьесу прочитай! Понимаешь?

— Есть, прочитать пьесу.

— И дочку Мельника не смей обижать! Она нынче наша дочь. Дочь полка, ясно?

Рыжко ушел, затаив обиду. А Щербаку стало грустно. Вот он — пачетчик и формалист! Как ненавидел таких Собольков! И каким бы он сам был агитатором полка, если б был жив, как бы он горячо помогал молодому театру!

Стопка книг на столе Щербака — вот все, что осталось от Соболькова. Комиссар старательно перечитывал книгу за книгой, словно отдавая дань его памяти, и Собольков становился понятнее и ближе. Он знал назубок эпохи и людей, населявших страницы. А нынче они теснились пестрой толпой и вокруг Щербака. И как это сам Щербак до сих пор обходился без их общества? Теперь-то он как угодно, но наверстает упущенное. И не мешало бы протолкнуть что-нибудь на самостоятельную сцену, пусть бойцы познакомятся с симпатичным мавром Отелло или, к примеру, с отчаянным Кориоланом. Надо потолковать с Аренским...

Тем временем в дощатой летней конюшне кипела работа. Утепляли стены, обмазывали глиной хворостное плетение, строили тамбуры. Постройкой сцены лично руководил Аренский. Строить так строить! Размеры сцены были солидные. Место для оркестра отделили узенькими филёнками и даже устлали землю под полом битым стеклом; по обеим сторонам сцены воздвигались две ложи с обивкой из красного бархата, а в столярной мастерской вовсю шло изготовление реечных скамеек по образцу, одобренному и утвержденному самим Щербаком. В кузне выковали замысловатые кронштейны для занавеса по чертежу Аренского, а материю отобрал из старых, выбракованных палаток заведующий складом, потребовавший за это хорошее место на открытии клуба.

4

Котельников затаил свой гнев. Дело по существу лопнуло. Рудин сподличал, но приходится делать вид, будто ничего не случилось, и даже до поры до времени заигрывать с помощником. Ведь только что сам выдвигал, лично ходатайствовал.

Но ничего, Котельников возьмет свое. Долгожданная комиссия из Москвы уже прибыла.

Прокурор готовился представить в распоряжение комиссии все материалы, все записи и наблюдения. Но, странное дело, члены комиссии

не приглашали прокурора для беседы и как бы не замечали его. Все дни они проводили в подразделениях, на полигонах, стрельбищах, в землянках и штабах. Они словно растворились среди людей бригады, и только один Котельников оставался в стороне.

Бесило и то, что Рудин зачастил в клуб на репетиции.

— Что это вы надумали, Рудин? — спросил его однажды Котельников. — Есть сведения, что лавры Качалова не дают вам спать. Записались в драмкружок?

— Так точно, товарищ майор.

— Дело, конечно, не мое. Каждый развлекается по-своему. Но не кажется ли вам, мой дорогой, что для представителя закона не совсем удобно появляться на сцене... как бы вам сказать... ну... в фашистском мундире...

Рудин удивился.

— Вы серьезно?

— Вполне серьезно. К тому же с Аренским не все кончено. Что там творит командование — это их дело. Прокуратура округа не согласится с либеральным, гнилым приговором трибунала. Комиссия, надеюсь, по заслугам оценит их поведение, так же как и увлечение театром. Вам же советую поразмыслить над этим. Вы ставите прокуратуру в дурацкое положение. Над нами будут смеяться.

Рудин понимал бессилие Котельникова. Старик сдавал позиции. Если уж он придирается к невинному увлечению самодеятельностью, значит дела совсем плохи. А ведь только сейчас Рудин по-настоящему понял, кого хотел осудить и забрить в штрафники прокурор Котельников. Совершенно беспомощный в житейских и военных делах, Аренский вырос на сцене в незаурядную фигуру. Он был и генералом, и командующим, и солдатом, и нежным просителем, и сурсым повелителем; он играл за всех, разъяснял, показывал, натаскивал, консультировал художника, костюмеров, строителей, поторапливал бойцов, которые таскали носилки с землей и дерном, утепляли стены, сооружали ложи. Он стал сердцем большого коллектива. Рудин слышал биение этого сердца и отвечал ему чувством признательности. Проявление этого чувства сдерживалось служебными условностями, брюзжанием Котельникова. Но с большей охотой он подчинялся Аренскому, нежели прокурору.

Наступил день спектакля. Уже повеяло холодом, хотя осень была и солнечной и безветренной. В неотопляемом клубе — печи еще не были сложены — публика сидела в шинелях. А на сцене дрожали актеры.

В ложе разместились командование бригады и члены московской комиссии. Вместе с ними сидел Котельников. Неведомо, зачем они заманили его в этот холодильник! Все эти дни его не тревожили, никто даже не наведалься в прокуратуру, хотя Рудина пригласили однажды для беседы. Что там было — неизвестно. Неловко расспрашивать помощника, а сам он не рассказывает. Видать, не к добру вся эта игра в молчанку.

И вдруг перед самым отъездом председатель комиссии, подполковник с тихим, хрипловатым голосом, позвонил по телефону:

— Майор Котельников?

— Так точно.

— Не надоело ли восседать на скрижалях закона? Снизойди, брат... Явись на премьеру.

Он усадил Котельникова рядом с собой, на виду у сотен зрителей. Подполковник молчал. Котельникову тоже не о чем было говорить здесь. Но, когда молчание показалось прокурору уже невыносимым, он не выдержал.

— Видите, товарищ подполковник, чем облицован зал? Все это фанера. Государственная фанера уфимского завода. Все выяснено до тонкостей. Копии накладных и счетов у меня. Антигосударственная практика, нарушение законов. Отпуск без фондов, так сказать «налево». Дело в том, что у комиссара полка — вон он, напротив, худошавый, Шербак его фамилия, — у него на этом фанерном заводе земляк какой-то обнаружился в отделе снабжения; снабдил, так сказать, неположенным товаром. Но все эти нарушители у нас в кармане. Сняты подробные показания с художника Савчука. Этот доставал и ездил в Уфу. Опять же декорации увидите — все из этой же фанеры. Я писал, между прочим, об Аренском. Вот он-то и является как бы первопричиной...

Председатель комиссии рассеянно слушал и поглядывал на стены, на потолок, на самодельные люстры, проводил рукой по дорогой обивке из красного бархата.

— Сидишь, как в Большом театре, — усмехнулся он, перебив Котельникова. — Видно, с любовью все это делали.

— С любовью-то с любовью, — поддержал Котельников, — а сколько эта любовь стоит народных денежек?.. Да и моральных расходов немало, должен сказать.

Председатель комиссии с удивлением глянул на Котельникова.

— Послушайте, майор. Умеете ли вы радоваться, улыбаться, веселиться и прощать, наконец? Ваши заботы о фанере, право, выеденного яйца не стоят, простите за грубость. Что же касается писем ваших, то в них перемешана истерика с неправдой. Удивляет нас, как вы докатились до жизни такой, майор.

Котельников похолодел. Подобного он не ожидал. Он мог согласиться, что письма его не «отстоялись», что есть крикливые нотки, что кое в чем перегнул, пересолил, переборщил. Но факты отражают истинное положение дел в бригаде.

— Это ваше личное мнение или мнение комиссии? — осторожно спросил он.

— Это мнение комиссии. Завтра огласим. А покамест будем смотреть.

Звуки аккордеона хлынули в зал, но мысли Котельникова были далеко... «Завтра огласим... Завтра произойдет разгром. Это конец».

Он искаса оглядывает сидящих рядом.

«Комиссия из центра! Много их нынче ездит, любителей легкой жизни. Для кого война, для кого мать родная...»

На сцене он видит Рудина в роли гитлеровского офицера. Играет неплохо. Довольно противный тип. Котельников даже не подозревал в мальчишке такой талант. Собственно, не все ли равно? Факт тот, что этот мальчишка изменил, сподличал, не оправдал самых сокровенных надежд и притом незаметно притерся к этим людям, пошел на выучку к Аренскому, которому место в штрафной роте.

Странно, что столько взрослых людей может увлечься подобной дребеденью. Да еще эти москвичи, члены комиссии, которые знают, конечно, что такое и МХАТ, и Большой, и Малый. Зачем они пригласили его в этот сарай? Чтобы поглумиться? Побеседовать с ним о деле не нашли нужным, а привели сюда, на посмешище...

Котельников наклоняется к председателю комиссии и, преодолевая свистящие звуки, вырывающиеся из груди, спрашивает:

— Товарищ подполковник, разрешите узнать, зачем все же пригласили?.. Так просто или зачем же? В некотором роде... так сказать... непонятно мне... — Он говорит невразумительно: почва уже уходит у него из-под ног.

— Для того, чтобы своими глазами поглядел, кого хотел укатать! — отвечает председатель, не отрываясь от сцены, где уже зажила своей жизнью отважная разведчица Тоня.

— Разрешите уйти? — силло спрашивает Котельников, и председатель кивает, продолжая смотреть на сцену.

Беляев, сидевший вместе с Дейнекой, Щербакком и Борским, заметил суету в ложе напротив. Вот поднялся и ушел Котельников. Председатель московской комиссии переглянулся с соседом, затем посмотрел прямо на Беляева и усмехнулся.

— Драматический эпизод, — сказал Беляев Дейнеке.

Тот передернул плечами.

— «Гарун бежал быстрее лани...»

Все сдержанно засмеялись.

— Не мешайте, — сказал комбриг.

Зал аплодировал. Игра актеров и сюжет пьесы делали свое дело. Лица зрителей были разгорячены не меньше, чем лица актеров, дрожавших от холода. Беляев с удовольствием смотрел и на сцену и в зал, мысленно благодаря Аренского за все происходящее. Он вдруг поймал себя на мысли, что за много месяцев и даже лет впервые сидит в театре перед сценой, залитой электрическим светом. И сцена, и зрительный зал, и ложи, обитые красным бархатом, — все это живо напоминало прошлую, мирную жизнь.

На сцене происходило объяснение в любви между Наташей и лейтенантом Воронковым, молодым артиллеристом, которому приделали усики и навели морщины. Беляев вспомнил ночную тревогу в полку, и как батарея выехала без снарядов, и как этот лейтенантик просился на фронт. А теперь он выступает на сцене в роли командира небольшого боевого отряда. Вспоминает, вероятно, минувшие бои, внозь переживает... Но на сцене у него завидная любовь. Бывает ли такая в жизни?

Окончился акт. Шурша, закрылся брезентовый занавес. Весь зал бешено аплодировал актерам.

Но тут произошло событие, вышедшее за рамки спектакля и взволновавшее всех.

Для публики было ясно только то, что антракт непомерно затянулся. Зрители принялись бить в ладоши и в нетерпении топтать ногами, что одновременно спасало их от холода. Духовой оркестр, выручая «дирекцию», непрерывно играл марши, вальсы и польки.

На сцену торопливо прошел Щербак. Зал притих в ожидании.

— Товарищи зрители! — загудел Щербак, появившись перед занавесом. — Произошло недоразумение, только вы не волнуйтесь. Есть все данные, что спектакль будет продолжаться. Тут есть и наша накладка и ваша, капитан Борский. Артист, или, вернее, красноармеец Литвиненко, только что отбыл на фронт с маршевой ротой. А он исполнял роль этого офицера, который с бородой, не помню его фамилии. Конечно, товарищи, без бороды никак не обойдешься на сцене... Но, товарищи, — продолжал Щербак, — есть у нас в запасном полку и запасные артисты. Так что роль этого офицера сыграет не кто иной, как сам режиссер спектакля, старший лейтенант товарищ Аренский, который знает все роли назубок... Просим.

Щербак зааплодировал и сошел со сцены. Зал поддержал его дружными хлопками. Беляев, шутя, сказал Щербакку:

— Не уверен, какой из тебя комиссар, но конферансье ты отличный.

Щербак, не моргнув глазом, ответил ему в тон:

— При таком комбриге не вредно иметь запасную профессию.

Щербак был уверен, что здесь не обошлось без вмешательства Рыжко. Только шалишь, номер не удался. Аренский без труда заменил ушедшего актера, и всем показалось, что так и должно было быть с самого начала.

Приближался финал.

Когда в последнем действии Наташа вышла на сцену окровавленная, в разорванной кофточке и легкой юбчонке, Беляев вдруг ощутил неловкость. Это обнаженное плечо и детские беспомощные коленки как бы открывали ему новую Наташу, совсем не ту, перед которой он красовался на своем сером в яблоках жеребце. «Что у нее в прошлом? — думал он. — Жених, о котором с горечью рассказывал Мельник... А она небось думает, что я отнял у нее отца, выжил из бригады... Может быть, и его следовало оставить, как оставили Аренского? Ведь не просчитались. Остался Романыч, и кто пожалеет об этом?..»

Но нет. С Мельником ведь совсем другое. Она должна в конце концов все понять. Ведь ни разу, ни разу он с нею не говорил, не объяснял ей, что такое воинский долг, что такое служба и дружба. Но что ей до этих солдатских заповедей?

Наташа была почти чужой, он оскорбил ее, но вместе с тем не мог избавиться от ощущения ее близости. Он поймал себя на мысли, что недоволен тем, что тысячи глаз рассматривают Наташу.

— Послушай-ка, Щербак, актеры-то замерзают.

— На то они и актеры, товарищ полковник. Аплодисментами согреваются!

— Нет, я серьезно. Ты бы хоть печку там на сцене поставил, что ли. Еще один-два спектакля, и «дочь полка» получит воспаление легких.

— Обойдется, — сказал Щербак. — Она «закаленный товарищ». Бой выдержала с моим агитатором. А это не каждый может. А вот вас знаете о чем попрошу? Поддержите вы их. Поощрите словом как командир бригады. Они будут прямо-таки счастливы.

— Я сам хотел это сделать, — пробормотал Беляев, внутренне довольный тем, что Щербак подкасал отличную идею.

После спектакля Беляев прошел за кулисы. Он поблагодарил участников спектакля от имени командования бригады, пожал руку растроганному Аренскому, а Наташе, взяв ее за плечи, сказал:

— Замерзла основательно? Сосулька!..

Она улынулась. И ему показалось, в ней что-то оттаяло.

— На фронте в нашей дивизии была такая вот разведчица, — продолжал Беляев. — Она была при нашем штабе, такая же, как вы, белокурая. Я все старался понять, откуда у нее, у девочки, столько мужества и самоотверженности. Она ведь только окончила школу! Потом ее замучили гестаповцы. Мне докладывали, как ее нашли. История гораздо печальнее, чем у вас на сцене. — Он невесело улынулся. — Что пишет отец?

— Вы, вероятно, думаете, что я сержусь на вас? — сказала Наташа, покраснев. — Сначала было, а теперь нет. Я ведь все понимаю... и знаю. Отец, правда, еще в резерве. Но ему обещают.

— Вот хорошо! — И Беляеву сразу стало легко разговаривать с ней. — Молодец, Наташа. А я ведь ждал... Верил... Право, верил. Очень здесь сложно было. Хорошо вы играли...

— Вам понравилось, правда? А я так боялась...

— Важное дело вы все сделали. Пьесу нужно показывать... Часто показывать. Каждая маршевая должна посмотреть. Обязательно. Это воспитание ненависти. А сейчас пойдете. Укутайтесь. Давайте я помогу.

Наташа оделась, они вышли из клуба и медленно направились к машине, которая ожидала комбрига.

— Знаете что? — сказала вдруг Наташа. — Вот вы говорите: укутайтесь, не думайте. Почему не думать? Я знаю: потому что я не настоящая. Закончила спектакль — и кто я? Трусиха, обыватель? Подруга моя на фронт пошла. Тоня на сцене. Та, ваша разведчица... Почему не думать? Я давно собиралась к вам.

Она высказала ему все. Стыдно, что она здесь, под крылышком. О, она все передумала! Ее угнетает бездействие. Неужели она не может, как другие? Неужели полковая библиотека, куда ее «устроили» (как противно это слово!), неужели это истинное ее призвание? Она не желает приспособляться, как отец. Она хочет жить настоящей, а не книжной, не театральной жизнью. Чтобы не было стыдно... На фронт, в действующую. Пусть он поможет, ведь это же не очень трудно для него. Правда? Мать поймет. Мать все понимает.

В ее голосе звучали слезы.

Беляев был ошеломлен. Вот она, молодость, которая зовет чистые сердца на подвиг. Невдомек им, что подвиг не только на фронте, но и рядом с нами, здесь, в тылу, в однообразной и монотонной жизни этих землянок и учебных плацев. Но она пойдет, не задумываясь. Шагнет со сцены прямо в колючую ледяную воду, погибнет от вражеской пули.

Но самое важное не это. Самое важное, самое главное — то, что она не обвиняет его. Понимает, что произошло с отцом. И вдруг он остро почувствовал, что теперь-то без нее не сможет. Что без ее присутствия здесь, в лагере, в этих желтых песках, не сможет работать, думать. Неужели она не чувствует этого? Ведь самое страшное позади. Она не обвиняет его. Или ему только показалось, почудилось?

Наташа, дотронувшись до его руки, робко спросила:

— Вам тоже тяжело здесь?

— Будет еще тяжелее, если уйдешь. — Он нашел ее руку в темноте. — Наташа, милая... Поймите. Я помог бы. Но только хочу сказать... наш подвиг в тылу. Да... — Он заговорил неожиданно деловым тоном: — Завтра же пойдешь к маршевикам, увидишь, что есть фронт в тысяче километров от Сталинграда. А туда нельзя нам пока что. Я ведь тоже не сразу смирился.

Машина зафыркала и скрылась в темноте. Наташа вернулась в клуб. Он был уже пуст и непригляден. На сцене еще возились машинист и осветитель, выключая софпиты.

Она медленно шла в проходе меж скамей, щеки ее пылали. Нет, нет, обо всем этом после, наедине с собой, дома.

5

На другой день Наташа появилась в одной из ротных землянок. Узнав причину ее прихода, командир роты засуетился, приказание следовало за приказанием, и через несколько минут бойцы уже сидели на нарах, ожидая чтеца. Наташу поразило собственное спокойствие, с которым она предстала перед сотней незнакомых ей людей. Потом она поняла, что спокойствие исходило от книги, которая была у нее в руках. Ей придется читать. Этим ограничена ее роль.

Увидев убранство землянки, аккуратно заправленные постели, треугольнички полотенец, выложенные на сплошной синеве одеял, она не сдержалась.

— Как у вас чисто!

— Чисто, а як же, — откликнулся пожилой боец с темным и большим, точно высеченным из камня лицом.

— Вы с Украины? — спросила Наташа.

— Мы з усюды, — улыбнулся боец. — Интернациональная рота — десять национальностей. Так что вы, будь ласка, товарищ разведчик Тоня, читайте на десяти мовах.

Наташе вдруг захотелось прочесть им то, к чему она не готовилась, но что на всю жизнь осталось в памяти с детства. Пусть это отсутствует в принесенной ею книжке и, быть может, не значится в плане агитационных бесед, но ее уже повлекло к этим полноводным берегам, и она тихо, как бы про себя, заговорила:

— «Чуден Днепр при тихой погоде, когда вольно и плавно мчит сквозь леса и горы полные воды свои. Не зашелхнет, не прогремит...»

Бойцы засмотрелись на светловолосую девушку, которая неожиданно-негаданно появилась перед ними в полутемной землянке, пахнувшей сыростью, и вдруг открыла им волшебную картину родной природы. Она произносила знакомые слова, неотрывно глядя в расширенные глаза пожилого украинца, и видела, что читает нужное, близкое и понятное.

— «...И чудится, будто весь вылит он из стекла и будто голубая зеркальная дорога без меры в ширину, без конца в длину реет и вьется по зеленому миру...»

Нет, не только о полоненном ныне Днепре читала она сейчас. Словами поэта она говорила о Родине, о России. И сознание того, что враг посягнул на эту сказочную реку, величественно текущую по зеленому миру, на поэзию и свободу родной страны, на ее собственную молодость и счастье, на торжественность институтских экзаменов, где всего лишь два года тому назад она произносила эти же слова, — сознание всего этого делало ее речь взволнованной и сильной.

Она окончила читать, а бойцы продолжали сидеть неподвижно. И пожилой боец вдруг сказал:

— Да, товарищ библиотекарь, этот язык всем нам понятный. У нас на Криворожье, между прочим, Саксагань протекает. Она, конечно, поменьше Днепра, до книги, ясное дело, не попала, но, скажу, люди говорят — под нею великие залежи рудные имеются, а это для человека знаете какое богатство? И вот это все дело тоже оказалось у врага в лапах. Трудно нашей стране без руды. Снаряды, пушки, танки, пули и, даже вот это перо, которым писарчук наши разные фамилии записывает, — это же есть руда, важное дело.

— Что ты заладил? — перебили его. — Человек с книжкой пришел работу проводить, а ты свое!

— Я делюсь впечатлениями, — с достоинством ответил он и обиженно замолчал.

— Нет, нет, говорите, я прошу вас! — горячо заговорила Наташа. — Это очень все нужно, прошу вас, говорите. Пусть расскажет, — попросила она всех.

— Что ж, — произнес криворожец, большое лицо которого и сейчас, казалось, носило на себе следы красноватой рудной пыли, — я вот знаю нашего Алексея Ильича, нашего молодого таланта товарища Семиволоса. Мы с ним на одном руднике бурили. Ну, я моряк. — Он приподнялся с нар, могучий, широкоплечий. — Я пошел на корабль, в Балтфлот. Когда вы еще малыми ребятами были, я кочегаром плавал. Как Зимний брали, я помню... А ныне трое моих сынов — Петр, Андрей и Алексей — убитые на фронтах. Петр в разведку ходил, убит. Андрей под танком погиб. Алексей пропал без вести. — Он помолчал и, видя, что его слушают, продолжал уже спокойнее: — Алексей Ильич уже обурил руду на полгода вперед. Так когда взрывали его шахту, этот депутат, этот новатор, этот большой человек плакал, как ребенок... Я читаю в газетах — нынче он на Урале, наш Алексей Ильич, все бурит. А нам воевать. И вот слушал я описание Гоголя и ваше представление — и вспомнил всю нашу жизнь с моими детьми да с Алешей Семиволосом и по-

нял: не может оно быть иначе, как оно было, потому что зачем же тогда Советская власть, река Днепр, как зеркало, товарищ Семиволос?.. И тому подобное. Я не скажу... Конечно, могу я умереть, ты, он. Это на фронте, конечно, возможно. Но природа же останется! И Советская власть, и крижоворожская руда, и Днепр, и Гоголь. И дети, понимаешь, останутся. Это же не умирает!..

Он умолк так же неожиданно, как и начал, а Наташа сияющими глазами смотрела на него и на других бойцов. Вот и родилось то, о чем она мечтала. «Не может оно быть иначе...» Не может, потому что слишком глубоко в землю пустило корни шумное и густое дерево нашей жизни.

— Очень хорошо вы сказали! — вырвалось у нее.

— А вы читайте, читайте еще.

И она стала читать о том, как на заре, среди снегов, в русской деревушке умирала девушка Зоя. Светлые ее глаза последний раз смотрели на мир, вобрав в себя всю зимнюю прелесть русской природы, первые лучи морозной зари, заалевшей на востоке. Туда, на восток, обратила свой взор она в последний раз. Там, далеко, кипит жаркий труд ее Родины, там Москва, необъятная страна, знакомые улицы, подруги, мама, тетрадки. Быть может, в этот морозный рассвет рота выбегала из землянки на физзарядку, люди оглашали ночь смехом, шутками, прибаутками, делали гимнастику, разгоняя остатки сна, умывались, завтракали. И как раз в ту минуту, когда не стало самой преданной, самой чистой девушки на земле, в роте не притихли, не сняли шапок — не знали о таком горе...

Бойцы сидели молча. Тишину нарушил дневальный.

— Приготовиться на ужин! — рявкнул он.

Бойцы уже гремели котелками и кружками, готовясь к построению, возвращаясь к будничной жизни из того далека, куда Наташа их завела.

— У вас часто бывают такие беседы? — спросила Наташа пожилого солдата.

— Как вам сказать, барышня, — неожиданно улыбнулся тот. — Вчера, например, тоже концерт был. Только по другой линии.

— По какой же линии? Я хочу все знать о вашей жизни.

— Не всегда мы красивые, как сегодня, и не всегда хорошие, дивчина хороша. Иной раз такое делается, что и рассказывать нехорошо... Ну ладно. Я говорил вам, сдается, насчет простыни. Вчера, выходит, постелили новое бельишко, а старшина наш возьми да и засни днем с сапогами на простыне. А тут откуда ни возьмись комбриг. Уж тут было всего, аж выговорить трудно. Лычки ему приказал снять. Да двадцать суток сплеча рубанул. «Люди, говорит, умирают в великой душевной чистоте за Родину, а ты, говорит, старшина, хозяин роты, пакость такую допускаешь» — и все в таком роде. Ну, прощайте, заходите к нам почаще, развеселите душу хорошим словом.

Наташа вышла из землянки на свежий воздух. Порывистый ветер свистел меж сухих ветвей рощицы, в оголенных кустах.

Перед глазами стоял гневный Беляев, наказавший старшину вчера в той же роте, где сегодня звучал ее голос. Вчера он, оказывается, был здесь. И послал ее. Нет, она случайно попала именно в эту роту, но в случайном этом совпадении она усмотрела некую закономерность. Она, оказывается, помогает ему в его трудной работе.

Ей вдруг захотелось рассказать ему обо всем, что пережила сегодня в землянке, о той радости общения с людьми, которая хорошо знакома ему, но совсем не была ведома ей. Рассказать и поблагодарить за слова, услышанные ею вчера после спектакля.

Холодный воздух горячил лицо. Наташа шла белеющей в темноте дорожкой. Никого вокруг.

Домой не хотелось.

Если бы мать знала, что пережила только что ее дочь, что творится теперь у нее в душе, если бы знала, кого ищет в этот сырой и холодный вечер на дорожках военного лагеря, чтобы рассказать обо всем, что пережила в землянке! Мать не простила бы... Ведь она до сих пор не может примириться с тем, как обошелся с ее Кузьмичом Беляев.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

1

К ноябрю бригада полностью «окопалась». Бойцы и командиры под руководством прорабов и десятников, прибывших по мобилизации, строили землянки с таким искусством, будто им всю жизнь только и приходилось, что строить себе подземные жилища. Поверх деревянных стропил укладывались широкие плетеные маты — их заготавливал в лесу целый батальон; поверх них настилалась земля, затем глина. Мокрую глину трамбовали и тщательно выравняли гладилками. Стены внутри также обшивались матами. Нары строили в два яруса, выкладывали печи, сушилки для обуви и портянок, устраивали умывальники, каптерки и канцелярии.

В землянках было темновато: стекла не хватало, и окна приходилось прорезать небольшие. Было здесь и сыро и нерадостно, но что поделаешь? Люди прибывали со всех концов страны, помещений не хватало. Строилась великая армия, строилась для решающих битв.

Понемногу наловчившись, стали сооружать землянки по-домашнему, уютные и удобные. На помощь пришли смекалка, веселая выдумка, неистощимая изобретательность и опыт бывалых людей, чьи золотые руки все знают, все умеют. Первая землянка для начальства напоминала мягкий вагон. Искусно оплетенные зеленой тонкой лозой, словно покрытые дерматином стены и потолок придавали землянке обжитой вид; двухъярусные нары, утепленный тамбур и умывальник создавали впечатление, что этот вагон вот-вот тронется в края более приветливые и теплые, нежели Оренбургская степь зимы 1942/43 года. Внутренние стены второй землянки для офицеров были полностью облицованы фанерой. Это уже был комфорт. Электричество осветило все помещения. В ноябре задымили трубы, и подземный городок зажил дымной и теплой жизнью, готовый во всеоружии встретить лютую оренбургскую стужу.

К празднику задул ветер. Шестого ноября ветер усилился. Над лагерем стояла сплошная пелена из песка и снега. Ветер сбивал с ног, слепил глаза, наметал горы снега, заваливал снегом двери жилищ. В этот день воентехник Зайдер со своим неизменным напарником Неходой по бескрайней степи перегоняли тяжелый танк с завода в лагерь. Танк ожидали к празднику и, несмотря на разгулявшуюся пургу, готовили ему торжественную встречу.

Если бы у Зайдера спросили, как ему с Неходой удалось собрать танк на ремонтном заводе, он не смог бы толком ответить. Ни нарядов, ни материалов, ни чертежей не было. Была только просьба командования, выраженная в письме, собственное упорство и доброе отношение заводских работников.

Зайдер одного просил, другого уговаривал, на кого-то даже кричал, кого-то призывал поторопиться для дела победы. Он метался по цехам, просяживал в отделах, выклянчивая то отходы металла, то запасные части к мотору, то электросварщика на несколько часов. Он встретил зна-

когого конструктора, который помог ему чертежами и замолвил словечко, где нужно. С завода Зайдер связался по телефону со штабом округа, где поддержали идею Беляева, и только после этого он получил остов разбитой, основательно помятой «тридцатьчетверки», которую уже не чаяли возвратить в боевой строй. Зайдер поглаживал холодное железо танка, не веря своим глазам. Когда же спустя много трудных дней, можно было включить наконец скорость и гусеницы лязгнули, а тяжелая машина устремилась вперед, он обнял Неходу, кого-то еще, стоявшего рядом, потом побежал в цехи, в партком и крепко пожал руки всем, кто помогал в трудах и хлопотах.

Они выехали из ворот ремонтного завода ясным, солнечным утром и до обеда успели пройти «своим ходом» всего сто километров — железная дорога была перегружена военными перевозками и в платформе отказали.

Поземка началась после обеда. Вскоре поднялась вьюга, скрыв солнце, заслепив глаза и взметнув к небу тонны сыпучего снега.

Дороги не стало, танк двигался по целине, то проваливаясь, то взбираясь на заметенные снегом ухабы, утопая в снегу по самые смотровые щели. Зайдер остановил машину.

— Я, например, дороги не вижу. Что делать, Нехода? Может, у тебя глаз вернее?

Нехода вытащил кисет, что обычно делал во всех затруднительных случаях, и, не торопясь, продул плексигласовый мундштук.

— На ночь глядя не грех было б заночевать, товарищ начальник. Я такой, що забрив бы до якоись кумы. На праздник мы таки опоздаем... Включите мотор, Борис Семенович, и рушимо, ей-богу, кудысь на огонек до хаты.

— А где же тот огонек, хотел бы я знать? — покачал головой Зайдер. Он все-таки включил мотор, и танк двинулся вперед.

Между тем уже стемнело. Смотровая щель открывала глазам сплошную снежную завесу. Проехали еще с километр. Зайдеру показалось, что танк выбрался наконец на дорогу, и он прибавил газу, но тут же ухнул в канаву и понял, что дороги не найти. Мотор заглох. Несколько минут оба сидели молча.

— Обидно все-таки, Федор Васильевич, — сказал наконец Зайдер. — Три недели мы сидели на заводе, собирали все по кусочку и даже, можно сказать, сделали танку пластическую операцию: сварили кусок брони, морочили голову себе и людям, чтобы поспеть к празднику, а ведь за этот танк директору не то что ордена не дадут, а даже спасибо не скажут. И вот, пожалуйста, мы даже к празднику не можем доставить удовольствие нашим командирам этим учебным пособием...

— Я так думаю, что хочь бы завтра добраться до своих. — Нехода задумчиво пыхнул сигаркой. — Тут такой, говорили мне, климат, что на три дня оцей ветер, нияк не меньше.

Зайдер с натугой открыл верхний люк и высунулся по пояс. Сумерки все густели. Темнеющий снег простирался далеко вокруг, в пустынной степи бесновалась, плясала, кружила метель. Никаких признаков жилья. Зайдер захлопнул люк и сполз на свое место.

Оба молчали.

— Когда мне приходится недосыпать, Нехода, я всегда вспоминаю фронтовиков. Когда мне холодно — то же самое, и тогда мне не страшен мороз. Предположим, что мы на фронте...

Нехода хмыкнул.

— На фронте нас может заметить товарищ и помочь, подбуксировать. А тут?

— Но на фронте нас может «подбуксировать» и вражеский танк. Нет, брат, тут у нас преимуществ все-таки больше. Надо думать...

— Приймайте решение, товарищ начальник, — сказал Нехода и снова затянулся, на мгновение осветив красным огоньком внутренность танка.

— Ехать дальше нельзя. — Зайдер помолчал. — Знаешь что? Танк начинает остывать. А ты ведь хорошо знаешь, какая теплая вещь мерзлое железо? Пока суд да дело, я предлагаю встретить праздник как следует, а потом решать. Замерзнуть мы всегда успеем. Есть пол-литра, сало и хлеб.

— Оце я понимаю, Борис Семенович!

Через несколько минут праздник в застывшем танке был в разгаре. Друзья пили прямо из бутылки, закусывали замерзшим и поэтому необыкновенно вкусным салом. Хлеб до того застыл, что его пришлось откалывать топориком по кусочку и медленно оттаивать во рту. Тем не менее друзья повеселели и почти забыли о том, как нелепо застряли в поле среди танцующей вьюги. Крохотная аккумуляторная лампочка освещала их раскрасневшиеся лица.

— Як папаницы на льдине, так и мы в цьому танку, лышенько його забери... — разглагольствовал Нехода. — Тильки у них собака був, а у нас и блохи нема. За що я тебе люблю, Борис? За то, что ты чоловіку правильную цину знаешь...

— Да здравствует Великая Октябрьская революция! — сказал Зайдер, чокаясь бутылкой о кусок сала в руке Неходы. — Сегодня мы должны веселиться — ведь это наш исторический праздник. А?

— Так-то воно так, а з воза як? — сказал Нехода. — Коли б вже капут цим клятым нимцям. Це ж вони нас засадылы на праздник у холодный танк. А коли б це мирный час, сьидили б мы у теплой хати, а на столи чого тильки твоя душа не схоче. От про що я кажу.

— Ничего, Нехода, можно и в танке праздник встретить. Бывает и похуже. Это когда человека зря обижают. Этого я переносить не могу. Ты, конечно, знаешь Борского. Это самовлюбленный человек, Нехода. Для него люди все равно что деревья в лесу — все одинаковые. Человек должен развиваться, расти и уметь. Если ты начальник, так ты ему простор дай, чтобы он мог себя показать, покрасоваться. Да еще и подкажи вовремя, если что не так, а не дави на него, не загапывай. Дорожить человеком надо, чтобы он в себя поверил, в свою ценность, нужность... в свое достоинство. Что ты скажешь?

— Озяб я зовсим, Борис Семенович. Все це складно ты говоришь. Тильки не зимовать же нам у цим танку. Надо итты, шукать шляху.

— Хорошо, Нехода, веди. Природы, я скажу тебе по совести, совсем не знаю.

Зайдер потуже завязал наушники, натянул рукавицы и вылез через люк башни. Ветер заполнил рот, уши, забил дыхание. Дышать приходилось порывисто, часто, увертываясь от сильных порывов ветра. Снег безжалостно хлестал по лицу, обжигал щеки ледяной крупой.

— Куда? — спросил Зайдер.

— Колы не ошибаюсь, за километр влево — хутор. — Нехода стал спиной к ветру.

Они пошли, утопая по колено в снегу. Мороз тысячами игл жалил лица. Впереди пробирался Нехода, за ним плелся Зайдер наедине со своими мыслями.

Он не помнил, сколько времени они шли. Нехода вдруг остановился, и тогда Зайдер пробудился от своих мыслей. Тяжело дыша, Нехода сказал:

— Щось того хутора и духу немає.

— Мы где-то здесь ехали и где-то здесь были населенные пункты. Это же глубокий тыл! Как здесь можно заблудиться? Смешно.

— Воно зовсим не смишно... А ну-ка... — Нехода прислушался.

— Что можно разобрать в таком концерте? — спросил Зайдер. — А у тебя, я должен сказать, вовсе не абсолютный слух, Нехода. Что ты можешь слышать?

— Мовчить, Зайдер! — громко крикнул Нехода, прислушиваясь, и Зайдер покорно ответил:

— Молчу.

Но Нехода ровно ничего не слышал. Нескончаемый посвист выюги раздавался в глухой безлюдной степи — и нигде ни огонька, ни человеческого голоса.

— Пошли, — сказал Нехода, и они снова двинулись.

Точно застывшие волны, простирались перед ними сугробы, и путники тонули в снежных ямах, снова выбирались, прислушивались и торопились к воображаемому огню, теплу.

Вдруг Нехода остановился.

— Стой, Борис Семенович! Що це мы робимо? Кинули материальну часть, а сами дезертирували?

— Сегодня праздник, Нехода. Обогреемся...

— Где? Есть предложение вернуться в танк, разжечь горячее, гри-тысь и ждать до ранку.

Они снова тронулись. Зайдер шел весело. Он даже пытался напевать что-то себе под нос. Он не был пьян, он был просто навеселе. Сегодня праздник, на который осмелился поднять руку враг. Не выйдет, фрицы! Зайдер празднует, празднует вся Россия, пусть в муках, в тоске, под свист метели и завывания выюги, но все же празднует славный ноябрьский день.

Зайдер вытер рукавом нос и не почувствовал прикосновения.

— Нехода! — закричал он. — Я отморозил нос.

— Треть снегом, — ответил, не оборачиваясь, Нехода.

Зайдер схватил пригоршню снега и стал ожесточенно тереть кончик носа.

— Шукаю я танк, шукаю, нияк найты не могу, — упавшим голосом сказал Нехода. — Замерзать будем. А? Борис Семенович...

— Что ты говоришь? Мы же взрослые люди.

— Замерзать будем, Борис Семенович, — повторил Нехода, и по его тону Зайдер понял, что стряслась беда.

— Что случилось, Нехода? — закричал он. — Говори!

Нехода молча сел на снег. И тут же шальной ветер намел вокруг него сугроб, осыпая белыми хлопьями, как рождественского деда.

— Я зато хорошо знаю природу, — деревянным голосом сказал Нехода. — Замерзаем...

Ветер на мгновение ослабел, и только тогда Зайдер почувствовал всю силу мороза. Да, это была нелепая история, и где же она случилась! Не на фронте, а всего только в районном центре, неподалеку от знакомой МТС. И теперь они должны замерзнуть, как замерзал ящик в песне.

«Нет, это — безумие, — подумал Зайдер. — Нехода потерял волю...» И вдруг крикнул:

— Слушай мою команду! Встать, за мной!

Нехода послушно поднялся и двинулся вслед за ним в эту гудящую метелью слепую ночь.

Компаса не было. Небо было беззвездное. Зайдер вспомнил, что ориентироваться можно по наметам снега, но как именно — этого он не знал.

«Неуч, — выругал он себя. — Бездарный неуч. Тебе казалось, что ты все знаешь, а вот попался и домой не дойдешь, замерзнешь, а не дойдешь. Как глупо... Только что ведь были среди людей, говорили, спорили, советовались. И поблизости где-то живут люди, в тепле, возле огня. А тут замерзай в снегу, в ледяном одиночестве».

Он поймал себя на том, что почти не движется. Он едва переставлял окоченевшие ноги и вдруг понял, что дальше не сделает ни шагу. Но едва до его сознания дошла мысль о том, что двигаться дальше нет сил, мозг заработал с удесyтеренной энергией. «Что делать? Почему молчит Нехода? Неужели так необъятны Россия и этот Урал, что нет спасения? Страшно ли замерзать? Хорошо бы сейчас найти танк, забраться внутрь и, быть может, зажечь паклю! Это опасно и невозможно. Как мог предложить такое Нехода? А на ветру огонь погаснет. Сигнальть? Кто увидит сигнал в такую ночь? Но что же делать? Ни минуты нельзя ждать. Где Нехода? Нехода, ты здесь? Нужно что-нибудь предпринять. Нужно дать сигнал полковнику — он все сделает для спасения. Как это я оплошал?.. Неужели мне нельзя поручить такого простого дела? А ведь танк ждут».

Зайдер ощущает смертельную усталость. Если бы сейчас свалила его пуля, кажется ему, он успел бы ей поклониться и поблагодарить за избавление от мук.

А что будет с диском-магазином, модель которого уже отослана в Москву? Что будет с его мастерской, с полковым оружием, со старым отцом, с детками и женой? Что будет с ними? Они ведь ждут его. И веряг, если еще живы, что он спасет их, он вместе с Красной Армией, верят и надеются, надеются и ждут.

Они ждут, и он придет. Придет! Прекрасная сила разливается по его телу. Прекрасная теплая сила. Уже больше не нужно шевелиться. Мы все равно посеедим. Жена Роза идет с двумя детками в весенних платьицах, а за ними в старенькой кепке и старомодном чесучовом пиджачке шагает известный крахмаловед и мыловар, его папа Семен Зайдер.

Зайдер хочет ускорить шаг, побежать им навстречу, но сердце замирает так радостно, что он не может двинуться с места.

2

В этот праздничный вечер Беляев получил приглашения из всех полков бригады. Билеты лежали перед ним на столе, вызывая раздумье. У каждого из них было свое лицо, свой голос. Подчиняев звал с открытой, ребяческой улыской строевика-служаки, голосом звонким, нетерпеливым: «Да приходи же, поглядишь, как наши ходят, какие молодцы, орлы!» Подполковник Гавахин приглашал солидно, сдержанно. И билет, тоже строгий, без виньеток и рисунков, на серсь, как солдатская шинель, бумаге, был сдержан и прост. Он обещал отличный концерт — этим так умел блеснуть подполковник Гавахин. Розовый билет Кочеткова, молодого командира полка, назначенного вместо Мельника, настойчиво звал множеством голосов. Среди них слышался и извиняющийся голос нового полка: «Не все еще в порядке, но сделаем, сделаем», и низкий, гудящий голос Щербака: «Все понимаем, товарищ полковник, ждем», и голоса Аренского и Зайдера, Борского и Наташи.

...В кабинет вошел Дейчека. Беляев уже полюбил его. Нравился и его спокойный, уравновешенный характер и смуглое лицо, которое по первоначальному замыслу природы, казалось, было предназначено для девушки, а досталось солдату.

— С праздничком! — сказал Дейнека. — Погодка действительно праздничная. А это что? Раскладываете пасьянс? — Он усмехнулся, глядя на разноцветные билеты, красочно отпечатанные в бригадной типографии.

— Решение принято уже давно, — ответил Беляев.

— Ясно. Подробности не надо. Вся бригада знает, где полковник проводит праздник.

— Обида?

— Нет, конечно. У каждого родителя может быть любимое дитя.

— Особенно если это дитя выздоравливает после болезни.

— Согласен. Я бы только не забывал, что там есть уже постоянный врач...

У Дейнеки губы подрагивали в улыбке.

Беляев понимал, на что он намекает. Полком командовал молодой майор Кочетков. Еще во время финской кампании он заслужил орден, храбро всевал в 1941 году. Был контужен и переведен в тыл. Ему надо было помочь. Поэтому Беляев чаще бывал именно в его полку и даже с некоторой ревностью относился ко всем полковым делам. Полк решительно выправлялся. Однако, как воздух и солнце выздоравливающему больному, нужны ему и командирская спайка и дружба. Этого как раз не хватало. До сих пор там нелады с Борским, в которого, вопреки всему, продолжал верить Беляев.

— В полках толкуют о «подмене», — сказал Дейнека. — Говорят, что комбриг сменял шило на швайку и жалеет об уходе Мельника... Сам теперь в полку топчется.

Беляев вспыхнул. Он почувствовал, что краснеет, но скрыть волнение не сумел.

— А вы? Жалуете?

— Нет.

«Что ты можешь понять? — подумал Беляев. — Хоть бы засомневался на миг. Все вы начетчики и прямолинейны, как штык. Что тебе Мельник? Неужели все так ясно и просто?»

— Вот и отлично, — сказал он, преодолев неприязнь, снова возникшую было к Дейнеке. — Долг превыше всего.

— Правильно.

— Пусть думают, что хотят, — сказал Беляев. — Я знаю свое. Они не все понимают.

— Правильно, полковник.

Пусть думают, что хотят. Пусть упрекают его в излишней опеке. Зато полк хоть и медленно, но выравнивается. Он чувствовал, как натягиваются струны управления, как снизу доверху растет требовательность. Да, он пойдет праздновать в этот полк...

— С Гавохиным выпью чарку Первого мая, — улыбнулся Беляев. — Или с Подчиняевым... А сейчас разреши.

— Неужели до мая досидим здесь? — вырвалось у Дейнеки.

— Досидим. И пересидим, брат.

За окнами бушевала метель. Холод проникал и в комнаты штаба, поэтому оба сидели в шинелях. Торжественный парад был отменен. Митинг тоже. Собрания проводились в землянках, по подразделениям.

Дейнека сказал, что побывает в полках бригады, на собраниях у маршевиков, на вечерах у офицеров.

— Дельно, — согласился Беляев.

— Женку не забыл поздравить? — на прощание спросил Дейнека. — Я своим телеграмму хочу отправить через штаб округа. Думаю, не откажут.

— Не откажут, — сказал Беляев и смутился. Он ведь никаких подробностей не рассказывал Дейнеке о своей семейной жизни. Сказал как-то, что женат, детей нет, жена в Свердловске. И все...

Опять мелькнула неприязнь. Как будто нанялся сегодня Дейнека заводить за больные места. Мало ли что? Может быть, не сложилось у человека? Не у всех же так просто и ясно, как у Дейнеки: семья, жена, дети в Алапаевске. А если некому давать телеграммы?

После ухода Дейнеки Беляев тут же остыл. Все нервы виноваты. Развинтился. А по существу ведь искренний человек Дейнека, открытый. Только вот черные усики не мешало бы сбрить. Все хочет ему. Беляев

сказать об этом, да не решается. Может обидеться. Но все же... Все учитывает Дейнека, умный человек и дальновидный, и о «женке» комбрига не забыл, а вот собственных усиков под носом не замечает. А они не к лицу ему... Скажи ему об этом — обидится.

Дейнека давно ушел, а Беляев все еще сидит за столом над приглашенными билетами. Он теперь жалеет, что забыл сказать Дейнеке еще об одной причине, которая влечет его в 274-й полк. Сегодня, в праздничный день, должен туда прибыть долгожданный танк, большой, настоящий танк, собранный Зайдером на ремонтном заводе. И воентехник приведет танк в свой полк, чтобы именно здесь впервые испробовать его на занятиях. Он не преминет порадовать однополчан чудесной новинкой! Только ли это бронированная машина? Не есть ли это воплощение воли к победе?

И зимний лагерь с холмами землянок, занесенных снегом, и подсобные хозяйства, посеявшие озимый клин и успевшие в этом году собрать большой урожай картошки, и высоченные башни сена, как курганы, стоящие в каждом полку, и припорошенные снегом штабеля дров, и макет населенного пункта, построенный из хвороста, глины и дерна, где происходят наступательные и оборонительные бои, и стрельбища, и настоящий театр, и, наконец, настоящий танк, который вскоре впервые пройдет над окопами, над головами замирающих в страхе бойцов, — все это ведь и его воля, направившая в нужное русло энергию тысяч.

Этой осенью прошла переаттестация политических работников. Все они стали, как и строевики, майорами, капитанами, лейтенантами. Дейнека стал майором, Щербак — капитаном. Комиссары превращались в заместителей по политической части — единоначалие укреплялось.

Нужно было остановить врага. Это означало прежде всего ликвидировать танкобоязнь, приучить малоопытных бойцов из сибирских и казахских деревень к этой машине, доказать, что танк не страшен, если умеешь бороться с ним. Одними статьями и беседами повывавших виды фронтовиков этого не сделаешь, а вот показом, тренировкой, наглядным обучением можно достигнуть многого. Придет ли сегодня танк? А может быть, он уже на месте?

На санках Беляев добрался до клуба. Вечер уже был в разгаре. На сцене гремел оркестр. В зале стояли столы, вокруг них танцевали пары. Утрамбованный земляной пол размяк от сырости, но танцоров это не смущало.

Щербак и новый командир полка Кочетков поспешили навстречу комбригу. За дверью слышался грохот движка, освещавшего зал; духовой оркестр без устали продолжал знакомый вальс, но в зале уже наступило то едва уловимое замешательство, каким обычно знаменуется появление долгожданного гостя.

Музыка смолкла. Все стали шумно усаживаться за столы.

— Зайдер не прибыл? — осведомился Беляев.

— Никак нет, — ответил Кочетков. — Думаю, буран их в дороге застал. Но он же упрямый, будет вести танк, пока не приведет.

— Надо выпить за благополучный приезд, — улыбнулся Беляев. — Борский, нальете?

Борский оказался тут же. Натертые пуговицы на вытюженном кителе так и сияли под стать блестящим, словно лакированным сапогам. Глянув на эти сапоги, Беляев улыбнулся про себя: «Агафонов и тот был бы доволен».

— Значит, выпьешь за здоровье Зайдера? — спросил Беляев. — Не очень-то ладно живете вы с ним. В чем неладили?

— Вам лучше знать, товарищ полковник.

— Не знаю.

— Фискалов не люблю. Еще в школе их драли. — Борский немного выпил и чувствовал себя свободно. — Вообще должен сказать...

— Должен сказать, — перебил его Беляев, — ошибаешься. Никогда Зайдер не доносил. Выдумка. И пора бы тебе, капитан, научиться разбираться в людях. Должность обязывает!

— А что ему должность, товарищ полковник? — вставил Щербак. — Живет легко, бездумно. Получил власть, а думает, что дали ему армянник. Полагает, ежели власть, значит все дозволено.

— Не колите мне глаз, комиссар. И так один у меня остался! — резко сказал Борский, щелкнув каблуками. — Не ко двору я здесь, товарищ полковник... видите...

— Здесь не двор, а ты не придворный, — сказал Беляев, которому понравилось, как Борский отбил атаку Щербака.

Все засмеялись. А Борский, сверкнув глазом, сказал:

— Неплохое начало для праздника. Благодарю.

— Наливай, — мягко проговорил Беляев. — Ну, наливай же, да веселей! — Он хлопнул Борского по плечу и поднял стакан. — За тех, кто в пути. Ясно?

Всем понравился тост. Разговор стал оживленнее.

— Извините, однако, пьем сырец. Вина остались в массандровских подвалах, — заметил Щербак. — Закуска тоже не из ресторана «Аврора». Но спасибо Маслову и за это.

Маслов, сидевший неподалеку, повеселел.

На сцене опять заиграл оркестр. Пары пошли танцевать.

— О Зайдере надо подумать, — задумчиво сказал Беляев. — Он может пропасть в такую пургу. Знает кто-нибудь санную дорогу в город?

— Я ездил, товарищ полковник, знаю, — сказал Борский.

— Он все знает, решительно все, — подтвердил Щербак, занятый подрумяненным куском свинины.

Но Борский услышал его слова и опять вспыхнул.

— Придираетесь!

— Вы отлично знаете дорогу из Тегерана в Тавриз. Это верно, — продолжал Щербак. — К тому же вы не рискнете ради Зайдера. Также верно.

Щербак слегка выпил и откровенно подзадоривал Борского.

— Воентехнику нынче плохо, — примирительно сказал Беляев. — Хуже, чем нам с вами, хоть вы и ссоритесь. Гораздо хуже.

Щербак поднялся. Он понял слова комбрига, как приказание. Оружейников надо спасать, а он, увлекшийся праздником, и не подумал, какой опасности подвергаются те двое, пока не напомнил командир бригады. Черт возьми, не так ли погиб Собольков?

— Товарищ комбриг, разрешите мне...

— Я знаю дорогу, товарищ комбриг, — по-мальчишески упрямо повторил Борский.

— Что ж... У тебя есть возможность доказать это, — сказал Беляев.

Командир полка майор Кочетков не спускал глаз с комбрига. Ни одного слова зря, казалось ему, не произносил комбриг.

Заменив Мельника, Кочетков сразу и, разумеется, не без помощи Щербака раскусил Борского — этот позелоченный орешек. Ему не нравились «пжионы» в мундирах. Поэтому он счел возможным за праздничным столом вполголоса сказать комбригу:

— Командование просит вашего разрешения, товарищ полковник, убрать Борского. А партийной комиссии обсудить. Предварительно.

— Что так срочно? — улыбнулся Беляев, рассеянно прислушиваясь к песенке, которую пели на сцене.

Кочетков, ободренный улыбкой начальника, выпил водки и отломил корочку черного хлеба. Ему нравилось, что вот он с комбригом за праздничным столом, как военачальник с военачальником, решает важные теловые вопросы.

— Борский не соответствует, товарищ полковник. Вы сами видите.

Всех норовит лбами сшибить. Самовлюбленный человек, дерзкий. Хвастун. К тому же... — Кочетков замылся. — К тому же слабость к женскому полу...

— Ого! Да ты его, пожалуй, тоже, как Папушу... в Военный трибунал... Только что избавились от одного ретивого прокурора, а тут, стало быть, новые объявились?

— В трибунал не надо, — упрямо настаивал Кочетков. — А освободиться надо. Все у нас как-то выравнивается, товарищ полковник, а вот с Борским беда...

— В общем, не сработались? — спросил Беляев, не глядя на собеседника, а по-прежнему прислушиваясь к песенке о бойце, который предлагает товарищу закурить по одной папироске, обещая вспомнить когда-нибудь пехоту, и родную роту, и его, который дал ему закурить.

— Так точно, не сработались, — обрадованно заверил Кочетков.

— Ну, и неправда. Неправда, говорю я вам. Нельзя так, нельзя... Что же это вы в самом деле?.. — Беляев не на шутку рассердился.

Кочетков от неожиданности встал. С побледневшего лица его сбежала улыбка. Он уже не рад был, что затеял этот рискованный разговор. На помощь Кочеткову поспешил Щербак.

— Борский — поганая овца, товарищ полковник. Портит все стадо. Надо его снять и отправить вслед за Котельниковым. Понемногу очищать надо, ей-богу, надо. Видите, танцует. Это, конечно, он знает, и любовниц заводит он умеет...

Борский танцевал с Веркой. Широкоскулое миловидное лицо ее слегка улыбалось, взор скользил по лицам, ни на ком не задерживаясь и все возвращаясь к тому, чья рука лежала у нее на талии, и тогда монгольские глаза Верки слегка расширялись. Беляев вспомнил, что не умеет танцевать и никогда в жизни не танцевал со своей женой.

— Куда же ты его хочешь отправить? — спросил он, следя за Борским, уходившим в танце в дальний конец зала.

— В распоряжение округа, в другую бригаду, куда угодно.

— А я верю в него, — сказал Беляев. — Вот как хотите, что хотите говорите... Не все же гладенькие и ровненькие, есть и шершавенькие. А? Ты его в другой полк. Ну и что же? Уедет. Плакать небось по вас не будет. Крепко вы ему в печенках сидите. Обрадуется. Нет, друзья, не то, не то задумали вы. Пусть здесь, где шкодит, тут, стало быть, и исправляется. В том-то наша сила, сила коллектива, что она людей выпрямляет. А вы слабость проявляете, вот именно — слабость... Видите, вот он танцует и даже не подозревает, что мы сейчас дружно выпьем за его высокочество...

Беляев улыбнулся каким-то своим мыслям и налил четыре стопки до краев.

— Борский, — позвал он, когда танец кончился.

Борский подошел и встал навытяжку перед комбригом.

Беляев подал ему стопку. Все встали.

— За вас, Борский, за следующее воинское звание, за честь и достоинство офицера.

Они выпили, и Беляев заметил, как дрогнула рука Борского, выдавая его волнение.

Оркестр молчал, говор в зале стал стихать.

— Товарищи, внимание! — громко провозгласил Щербак.

Все взоры обратились к столу, за которым сидело командование.

— Вы слышите, товарищи, как бушует вьюга? — спросил Щербак. — Черные силы фашизма вот так же хотят сломить нашу волю к борьбе, хотят сделать нас рабами, без света, без тепла, без наших праздников и без веселья. Проклятый зверь терзает нашу Родину. Но, товарищи, великая зреет победа! Выпьем же за победу, она с нами, здесь!

Беляев внимательно оглядывал столы. Он искал Наташу. Странно, что ее не было сегодня. Неужели Щербак забыл пригласить и ее и ее мать? Беляев хотел было спросить у Щербака о Наташе, но сдержался.

Снова загремел оркестр. Снова поднялись и пошли танцевать пары. Встал из-за стола и Беляев. Пора бы ей появиться — вечер в разгаре. В голове шумело от выпитого. Он никогда не умел веселиться. Не умел любить как следует. Он проиграл... Он хотел счастья. Но его маловато на земле. Особенно в эти дни. А что есть счастье? Разве не в этой дружной солдатской семье оно? Не в алом ли штандарте на синем небе, когда «под знамя — смиренно!» и клинок дрожит на плече от волнения? Не в ротах ли, утомленных и запыленных, но идущих вперед?

Он беспокойно оглядел зал и встретился взглядом с Аренским.

Аренский ответил улыбкой на его улыбку и, оставив стол, за которым сидели веселые «артисты», подошел к Беляеву. Он немножко выпил, и рыжий хохолок у него на голове колыхался, словно ковыль на ветру.

— Товарищ полковник, — сказал он восторженно. — Прошу извинить... — И замолчал.

Молчал и Беляев. Потом налил стопки, и они, звонко чокнувшись, выпили.

— Я виноват, — сказал Аренский. — Я, конечно, во многом виноват, товарищ полковник. Вы знаете, как сложилась жизнь... Мой отец... Но вы все знаете. Мне только хочется сказать: я теперь могу уехать. Вы гуманный человек!.. — Аренский серьезно посмотрел на полковника. — Еще хочу сказать: в память нашего комиссара Соболюкова мы ставим Лопе де Вега... — Голос его стал тверже, он поднял руку. — Лопе де Вега! «Собака на сене», Теодоро и Диана... Мы утверждаем жизнь! Мы сделаем веселый спектакль, чтобы все радовались... Теодоро и Диана... Парадокс. Однако... — И, внезапно сникнув, Аренский снова превратился в подвыпившего актера-лейтенанта, который виновато топтался перед Беляевым. Беляев улыбнулся и пожал руку немолодому актеру. Аренский выполнил свой долг. Он нашел себя в этой войне. Пусть поверит полковнику. Каждый должен найти свое место.

— А где же ваша разведчица?

— Ах, дочь полка... Не знаю, не вижу, товарищ полковник. Задержалась, вероятно, у Сорочьей балки, — ответил Аренский, довольный тем, что нашелся и вспомнил место переправы разведчицы из пьесы.

А Беляев уже заторопился к выходу. Он увидел Наташу. Она пришла наконец, и он в миг забыл и о Зайдере с его танком, и о Борском, и обо всех полках бригады, и о том, что он не один в этом зале, а среди многих — самый заметный.

Она стояла у стены, тяжело дыша. Изморозь покрыла ее волосы, выбившиеся из-под платка. Она была хороша, и Беляеву захотелось сказать ей об этом. Но в глазах ее он прочитал смятение.

Когда он подошел, она, судорожно глотнув, сказала, точно не ему, а самой себе:

— Папу убили.

И, с трудом оторвавшись от стены, распахнула дверь и, пошатываясь, ушла прочь.

— Наташа!

Но она даже не оглянулась. Побежала и растаяла в ночи.

Первым движением души было догнать Наташу. Он успел бы ее догнать, остановить, прокричать ей что-то в свистящей пурге, взвалить на свои плечи всю тяжесть вины за совершившееся. Но тут подошел Щербак. Он, видимо, заметил замешательство у дверей.

— Что случилось, товарищ полковник? — спросил он.

— Беда. Иван Кузьмич убит, — ответил Беляев. — Найди Агафонова. Пусть шинель принесет... — И он прислонился к тому месту у стены, где только что стояла Наташа. Щербак кинулся в зал, а подле тотчас очутился Агафонов с полковничьей шинелью через плечо и папахой в руках. Он все время наблюдал за комбригом.

Ординарец напялил на него шинель.

— Куда пойдем, Саша? — устало спросил Беляев.

Агафонов, недоумевая, переглянулся со Щербаком, который уже вернулся к выходу.

— Никуда не надо, товарищ полковник, — с несвойственной ему мягкостью сказал Щербак. — Глядите, какая метель.

— Пойду, — сказал Беляев.

В зале оркестр играл польку, и пары носились по сырому полу. Остаться здесь, слушать это все было невыносимо.

— Я пойду, — еще раз сказал Беляев. — Ты извини меня, Щербак. Вы тут продолжайте.

— Может, отбой дать, товарищ полковник? Как прикажете?

— Зачем отбой? Продолжайте. Только не ходите за мной, слышишь?

Беляев вышел, и Агафонов рванулся было за ним, но Щербак остановил его.

— Не ходи, чудак, не надо. Пусть он один... Понимаешь? То-то же... Ай, беда какая...

Порыв ветра чуть не свалил Беляева. Натянув папаху на уши, он продвигался еле заметными тропками, занесенными снегом. С трудом вытаскивая ноги из сугробов, он прошел мимо освещенных окон, за которыми еще шумел праздник.

Где-то здесь только что прошла Наташа. Ветер уже замел ее следы, и она исчезла.

Безотчетный страх внезапно охватил его. Что он наделал?! Зачем черт пригнал его сюда, в Оренбургскую степь, зачем свел его с Мельником? Чтобы отправить на смерть своего старого комбата?

Беляев не замечал ни режущего ветра, ни жестокой снеговой дробы, бившей в лицо. Он упрямо шел наперекор вьюге, словно в этом отчаянном своем упорстве находил целительное облегчение.

Если бы он мог исправить все это, вернуть тот первый день их встречи, когда безоговорочно и жестоко решил, что старый командир полка Мельник уйдет! Почему так это случилось тогда? Неужели не мог он найти иной, тоже суровой, но не крайней меры? Не потому ли так решил, что побоялся пересудов в бригаде — дружка бережет! — а об их стародавней дружбе слух далеко побежал по частям. Если бы можно было повернуть время вспять, он бы наверняка пришел к тому первому дню гораздо осторожнее, куда вдумчивее, без излишней горячности, которая не раз уже подводила его. Он сумел бы подтянуть бригаду и без таких жертв. Удержал бы Мельника здесь так же, как удержал Аренского, и так же нашел бы ему место в тыловой зоне войны.

Но тут же он прогоял эти мысли. Ему казалось, что они как бы оскорбляют память майора. Солдаты исполнили свой долг, только и всего. Он, полковник, — свой долг. Майор — свой.

И когда он уже добрался наконец до этого спасительного рубежа в своих размышлениях и как бы упростил до обыкновенных действий всю сложность тяжелой задачи, когда солдатское понимание неизбежности смертельных исходов на войне и собственной непричастности все же взяло верх, он опять вспомнил о Наташе, чьи следы уже успела замести вьюга... Она не прощала, и это было страшнее всего, даже суда, устроенного им самим над собой. И снова все рушилось, и сознание непоправи-

мой ошибки снова овладевало им, и приходил страх, превращавший его в школьника, отнимавший уверенность, командирскую несгибаемость.

В ее душе кровоточила рана, которую нанес не кто иной, как он, Беляев. Станет ли она пускаться с ним в объяснения, слушать слова оправдания?

Беляев подошел к занесенной снегом избушке командира полка, где побывал однажды перед отъездом Мельника на фронт. Тускло светились окна, покрытые ледяными узорами. Ни одного звука не доносилось из дома. Внутри — смятение и горе, а здесь — холодное, мертвое молчание.

Надо постучать в окно, стащить с головы смушковую папаху, преклонить колени... Беляев прислонился к стене дома, ветер здесь был слабее, и, думалось, впору бы ей услышать, почувствовать его присутствие здесь. Ведь совсем-совсем недавно между ними что-то произошло, кажется, очень важное для обоих...

Постучать, однако, не хватило сил, и он, с трудом выбираясь из снежных наметов, двинулся в обратный путь. Подходя к полковым строениям, он услышал сквозь завывание ветра далекий звон бубенчиков и понял, что это кто-то из командиров, может быть Борский, помчался на поиски Зайдера и Неходы. Он снова подумал о Борском: «Вот ведь не ангел, а делает шаги к добру. А разве Мельника нельзя было так же терпеливо вывести из тупика?»

Горькое чувство не покидало его, и он решил не возвращаться в полковой клуб. Домой, в одиночество, тоже не хотелось. Он снова побрел в темноту ночи. Однако не сделал и десятка шагов, как его окликнули.

— Эй, кто там?

Беляев остановился.

— Это я, Немец, завскладом, — послышалось уже ближе. — Какой леший тут ходит? А ну-ка...

Узнав комбрига, Немец на мгновение опешил, но, быстро справившись со смущением, продолжал как ни в чем не бывало:

— Зачем, товарищ полковник, в одиночку по такой погоде пойдешь? Можно замерзнуть. Чи не заблудились часом? А может, прости господи, чарочку-другую ради праздника зверх лишнего... Конечно, извиняюсь за це...

Полковник молчал.

— Да что мы, в самом деле, тут стоим? — сказал Немец, внимательно всматриваясь в лицо Беляева. — Пойдем до меня в склад, перегреетесь трошечки. Пойдемте, товарищ полковник...

Беляев послушно следовал за ним. Они вошли в склад. Немец подвинул Беляеву стул.

— Вот фамилии моей все дивуются, — продолжал он, — а я знал одного дядьку под фамилией Светсолнцакамень, убей меня, если брешу. Или нашего командира полка, к примеру, фамилия Мельник. Мельник-то все в муке человек, а этот нынче... Чи не знаете, товарищ полковник, что случилось? Не слышали?

— Слышал, Немец. Слышал...

— Геройской смертью, говорят... в атаке под Сталинградом. Душевный был человек. До меня, простого сержанта, прощаться пришел. Вот тут, на этом стуле, сидел... Настоящий был командир.

— Настоящий? Это точно знаешь? — спросил полковник, поднимая взор.

— Настоящий, а чего же? До каждого подход имел. Может, в чем и сплеховал, не знаю, начальству виднее. — Немец замаялся, увидев, что полковник встал и нервно теребит свою папаху.

Беляев вышел. Он снова подставил разгоряченную голову свирепому ветру, разгулявшемуся по краю, не находя ни тепла, ни покоя своей душе.

Выйдя из клуба, Борский направился в конюшню.

Ездовые пировали. По их покрасневшимся лицам видно было, что они изрядно хватили.

— С праздником! — поздравил их Борский.

— С праздником, с праздником! — отозвались ездовые.

— Придется запрягать, — сказал Борский, пройдясь по каморке и наблюдая, какое впечатление произведут его слова. Но хмельные ездовые и бровью не повели.

— Как прикажете? Чего закладывать?

Они были уверены, что капитан шутит. Они любили его за веселый нрав. Им нравилось, что вот он начальник, а рыбу глушит, как мальчишка, что вот случились у него нелады по службе, а он и в ус не дует, что заполонил такую девку, как Верка, что никого не боится, а более всего уважали за любовь к лошадям и тонкое их понимание. Когда прибывала новая партия, он обязательно приходил в табун и с видом знатока определял стати коней:

— У этой коровий постав. Не годится. Длинные бабки. Что за лошадь? Свиной зад, не видишь, что ли, вислозадая? А этот, эх, мать честная, до чего хорош, конь трех ключей, дончак, морда сухая, прелесть!

Ездовые привыкли к его шуткам.

Но нынче он не шутил.

— Запрягай Пульку. Поедешь ты, Василий. Готовь два, нет, три тулупа.

— Товарищ капитан, — взмолился ездовой, — куда же ехать в такую стынь? Леший так закрутит, что и хвоста у лошади не увидишь, нешто вам жизнь надоела?

— Не разговаривать! — крикнул Борский и почувствовал, как последние остатки хмеля улечучиваются из головы.

Ездовые молча переглянулись, и высокий, широкоплечий, с приплюснутым носом Василий стал не спеша собираться.

— Куда подать? — спросил он.

— Отсюда поедем. Водка есть?

— Непьющие, товарищ капитан, видит бог.

— Не хитри. Горючее осталось?

— Трошки есть.

— Взять с собой.

— Куда же это вы все-таки, товарищ капитан, в такую ночь?

— Людей искать. Людей, понимаешь?

— Дезертиров, что ли?

— Людей, говорю. Побыстрее, Василий.

Василий молча вышел за дверь. Холодный воздух ворвался в комнату, пар закрутился в дверях.

Через несколько минут резвая Пулька мчала сани по глубокому снегу. Ветер заметно ослабел, хотя поземка все еще кидала снег в лицо. Борский закутался в тулуп. Рядом с ним сидел Василий, слегка отпустив вожжи и привычно чмокая губами.

Пулька рвалась вперед, мерно поскрипывали оглобли, легкие санки подсакивали на ухабах. Борский ощущал каждое движение сильной лошади.

«Застоялась», — привычно отметил он.

Тщетно вглядывался он в черноту ночи, силясь хоть что-нибудь увидеть. Он уже понимал, что путешествие предпринял опасное и почти бесцельное: в такую пургу отыскать танк — все равно что иголку в стоге сена. Но что-то звало его вперед, тянуло на риск, к опасности.

Слова комбрига еще звучали у него в ушах. Он им докажет. Докажет Кочеткову, Щербаку — всем, что он не мальчишка, не хвостун, не «киранский принц». Спасибо Верке. Она опять оказалась тут как тут... Когда танцевали, он рассказал ей о своем разговоре с полковником, о том, что ошибся в Зайдере и зря на него напал и что полковник поднял тост в честь Борского. А она ушипнула его и сказала: «Ты должен поехать! Ты не такой плохой, каким кажешься им, ты должен доказать всем... Слышишь, Борский...» Он не понял, о чем она говорит, но тут же сообразил. «Ты с ума сошла, Верка. Ты хочешь от меня избавиться, хочешь, чтобы я замерз?» — «Глупенький. Я ведь люблю тебя». — «Любишь?» — «Ну да, люблю. В степи замерзают люди. И ты их спасешь. Ты докажешь, какой ты на самом деле! Поедем вместе». И он понял, что поедет — один, конечно, — что не может не поехать, что без Верки он в жизни пропадет. Он поцеловал ее...

Лошадь вдруг остановилась, запрядала ушами и тихонько зафыркала.

— Что случилось? — спросил Борский, отвлекаясь от своих мыслей.

— Волки шалят, должен, — равнодушно ответил Василий и снова зачмокал губами. — Ну, хлопочи, хлопочи, миляга.

Но Пулька, не двигаясь с места, мотала головой и храпела, готовая вот-вот отпрянуть.

— Вот те раз, — протянул Борский. — Не было печали.

Ездовой встал с саней, вышел вперед и, схватив Пульку за повод, повел, приговаривая: «Давай, давай, миляга, ишь ты, серого испугалась. Главное — дорогу не потерять».

Это успокоило Пульку. Она двинулась вперед и затрусила рысцей. Оглянувшись, Борский увидел далеко за санями две бледно светящиеся точки, то исчезающие, то появляющиеся вновь.

Он беспокойно ощупал на боку пистолет. Пусть волки, пусть опасность, тем лучше! Он докажет. Полковник поверил в него.

Василий взмахнул кнутом.

— Неподалеку деревня, небось не ухватят.

Пулька понесла резвее.

В приливе озорства Борский вытащил пистолет и выстрелил в воздух. Выстрел гулко разнесся по степи, эхом ударился о деревья перелеска, утонул в сугробах. И снова наступила тишина, только скрип оглобель и трудная работа Пульки, временами увязавшей в снегу, нарушали безмолвие ночи.

Ветер слабел — казалось, пурга устала от собственного буйства. Но сначала она все перевернула в степи, изменила знакомый рельеф местности, будто замаскировала от налета с воздуха. Где полагалось быть оврагам, намела сугробы и начисто обнажила все холмы и пригорки.

Проехали еще с километр. Мороз пробирал сквозь полушубки, ноги в валенках замерзали. Лошадь шла ровнее, и Борский, закрыв глаза, задремал. Вдруг Василий резко толкнул его.

— Не они ли? — Ездовой указывал кнутом на какую-то неясную громаду, одиноко черневшую шагах в двадцати от дороги.

Борский вскочил.

— Тут и деревня недалече. Люди-то, может, в избах... — крикнул ему Василий.

Но Борский уже не слушал. Проваливаясь по пояс, он побежал к танку. Дойдя до оледеневшей металлической глыбы, он тронул рукой железо, точно желая удостовериться, что это действительно танк, а не мираж. Потом он взобрался на башню и заглянул в люк.

— Эй! — крикнул он. Никто не отзывался. — Люди, эгей! — снова крикнул Борский и, вытащив пистолет, дважды выстрелил в воздух.

Он спустился вниз и начал кружить, напряженно вглядываясь в темноту. И тут он впервые за долгие месяцы по-настоящему пожалел о своем

втором глазе, выбитом на фронте осколком мины. Отходя все дальше и дальше, Борский описывал круги вокруг танка. И вдруг, уже отчаявшись, увидел две чернеющие фигуры, полузанесенные снегом. Он бросился к ним, ног не чуя от радости.

— Зайдер, Зайдер, проснись! — кричал Борский, пытаясь поднять воентехника. Тот еще не замерз, жизнь еще теплилась в нем. — Зайдер, проснись!..

Воентехник открыл наконец глаза. Ничего не понимающим взором он уставился на Борского, и тот ощутил вдруг прилив необъяснимой нежности к Зайдеру.

— Как же это тебя угораздило, дорогой? Эй, Василий, водки!

Борский и Василий принялись растирать оружейников спиртом. Утомленными глазами смотрели полузамерзшие на своих спасителей, и только Зайдер, как бы сквозь стопудовую тяжесть сна и усталости, произнес вполголоса:

— Борский... Ты...

— Я, я... А то кто же?.. Лежи, лежи, брат. Сейчас доставим в тепло.

Танк стоял всего лишь в ста шагах от ближайшей, теперь уже ясно видимой избы. Здесь и заночевали четверо военнослужащих из запасной бригады. Зайдера и Неходу раздели, опять растерли спиртом и салом, уложили в теплую постель, и Борский долго сидел над ними, словно оберегая их глубокий сон.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

1

Первое пополнение восемнадцатилетних прибыло на станцию в жестокий пятидесятиградусный мороз. И хотя почти все новички были из ближних мест — уфимские, чишминские, бугульминские, адбулинские, — то есть привычные к холодам, однако на этот раз мороз и им показался небывалым, так жестоко ожег он их молодые лица. Новобранцы высыпали из вагонов шумной ватагой, со своими котомками, мешками, сундучками, баульчиками, но, увидев на освещенной станции множество командиров, сразу присмирели, поняв, что сами являют собой нечто значительное, если собралось столько важного начальства ночью, да еще в такой мороз.

Хлопотливые командиры построили их по четыре в ряд. Всю дорогу шли быстрым шагом. Командиры покрикивали: «Следи за соседом, у кого нос побелел — три снегом. Безносых не держим. Эй, парень, три сильнее, не то отвалится...»

И замороженных не было, хотя шли четыре с лишним километра. В лагере, к удивлению новобранцев, их ждал горячий ужин. Это было здорово придумано: в ледяную ночь, посреди этой пустыни — вдруг аппетитный суп с макаронами, горячий сладкий чай и потом сон вполвалку в жарко натопленном распределительном пункте.

Вместе со штабными на станцию выехал встречать эшелон и командир бригады.

После праздника, ночью, командующий округом генерал-лейтенант Рогов вызвал Беляева к телефону.

Рогов. Привет, полковник Беляев. Передаю приказ Ставки, затем округа. Приготовьтесь к приему молодых бойцов. Поняли?

Беляев. Понятно, товарищ генерал. Благодарю за внимание и почетное назначение.

Рогов. Срок обучения до шести месяцев. Нравится?

Беляев. Поздравляю с успехом на фронте.

Рогов. Поняли правильно. Хочу предупредить. К вам выезжает комиссия округа по поводу подготовки к приему пополнения.

Беляев. Готов обойтись без оной, товарищ генерал.

Рогов. Не острите. И так не очень балуем вас комиссиями.

Беляев. И, как видите, справляемся.

Рогов. Не хвастайтесь, Беляев. Поработали вы неплохо, но и недостатков у вас немало.

Беляев. Так точно, товарищ генерал.

Рогов. То-то же.

Еще до приезда окружной комиссии Беляев провел специальные беседы со старшинами, с командирами отделений, с офицерами, с политработниками, выступил на партийном активе, собрал жен командиров, поговорил с ними о встрече молодого пополнения.

Землянки были приведены в образцовый порядок. Изобретательность ротных и старшин не имела границ. Если один батальон выкрасил стены, столбы и нары в белое, то соседний увешал землянку занавесками, а третий придумал еще что-нибудь необычайное, что должно и согреть и порадовать молодых солдат. Хотя случаи малярии в лагере были редки, спрос на акрихин до того вдруг вырос, что полковой врач хватался за голову и четырежды налагал запрет на это лекарство. Но, несмотря на все его усилия, расход акрихина не прекращался, а, наоборот, увеличивался, так же как увеличивалась утечка обыкновенной зеленки. Отличные красители, эти два лекарства, как по волшебству, улетучивались из аптеки, становясь трофеями ротных и старшин. Зеленка и акрихин воплощались в радующие глаз всевозможные оттенки желтого и зеленого на марле, тюле, сшитых бинтах и прочей белой материи. Таким образом, землянки усилиями командирских жен превратились к приезду окружной комиссии в уютнейшие уголки. Только один из трех членов комиссии ничему не изумился. Это был хорошо знакомый здесь бывший агитатор полка, а ныне инструктор политуправления округа майор Рыжко. Несколько месяцев тому назад отдел кадров политуправления, прельстившись высшим образованием майора, «поднял» его к себе на должность инструктора. Когда это произошло, Щербак облегченно вздохнул. И только младшие политработники, близко знавшие Рыжко, недоуменно пожимали плечами.

— Вот тебе и подбор кадров...

Теперь он прибыл в составе окружной комиссии. Дружелюбно встреченный сослуживцами, он с первых же минут надулся и заважничал. Ему-то и не понравилось внутреннее убранство полковых землянок.

— Для глаза неприятно, понимаете, столько желтизны. И что за вкусы у вас, дорогие друзья?

— А ты возьми на язык, воно еще горькое,— послышался бас Щербака.— Лекарство проверенное. Профилактическое мероприятие, чтоб, не дай бог, приезжие руководящие товарищи не заболели малярией.

Рыжко посмотрел искося, но промолчал. По окончании обхода землянок он сказал Щербaku:

— Должен заявить открыто — плохо у вас с агитаторами. Кадры агитаторов не закреплены. А семинары проводите нерегулярно, как бог на душу положит... Понимаете?

Тут Щербак благоразумно согласился с майором, понимая, что спорить было бы бесполезно, хотя отлично знал своих агитаторов.

— Наследство ты нам оставил, Рыжко, неважное, — примирительно и с хитрецей сказал Щербак. — Кадры-то твои... Ну, да бог с ними. Исправим, Рыжко, исправим. Замечания справедливые, что там говорить. Все верно.

В день встречи эшелона Рыжко вместе с другими членами комиссии также выехал на станцию. Полковник, глава комиссии, был старым войсковым служакой, опытным штабистом. Ему не впервые было обследовать части. И он держался умно, то есть так, словно разделял всю ответственность бригады за прием пополнения. Третий член комиссии, интендант, мерз в своем коротком тулупчике и относился ко всему с полным безразличием. В глазах его можно было прочесть недоумение: зачем, например, ему мерзнуть всю ночь на станции, зачем вся эта сутолока и кутерьма? Ведь и ночной ужин, и свежие постели, и обмундирование, и баня, и дезкамеры, и все прочее уже обеспечено полностью. К чему же все командование, все высшие чины бригады высыпали на станцию самолично встречать пополнение, когда совершенно достаточно поручить это дело старшинам и командирам рот?

В ожидании поезда командиры собрались в дежурке станционного коменданта. Они дымили папиросами и махоркой и смеялись остротам полковника Чернявского, обладавшего неистощимым запасом всяких солдатских историй.

— Вы говорите, нормальный линейный полк? — говорил Чернявский. — Конечно, шесть месяцев по возному времени — срок немалый. Да учите вы их, не во гнев будь сказано, жалеючи. Мне вот пятьдесят два стукнуло, а ружейные приемы и теперь еще выполняю похлестче всех вас. Так я говорю? А обязан я этим фельдфебелю учебной команды Новобаязетского полка, песню которого помню и поныне.

И полковник Чернявский очень недурным голосом пропел куплет из старинной солдатской песни, притопывая в такт ногой:

Весь наш полк как один,
Мы в бою сроднились.
Командир наш — исполни,
Все ему дивились.
Враг бежит и кричит:
«Новобаязетцы!»

Командиры с любопытством слушали полковника. Не так уж часто бывал он в ударе.

— А фельдфебель этот, Антон Гаврилович Четвертак, настолько врос в солдатчину, что уж не помнил ни рода своего, ни племени. Учил он нас ружейным приемам собственным, им изобретенным способом. Становились мы с винтовками лицом к стене, почти вплотную, вот так (Чернявский показал присутствующим, как все это происходило в далекие и нерадостные времена) и по команде: «На плечо!», «К ноги!», «На плечо!», «К ноги!» — проделывали ружейные приемы. До крови разбивали себе руки о стенку, но зато винтовка ходила «в плоскости», как любил повторять фельдфебель. — Чернявский нахмурился. — Ты не подумай, Николай Иванович, — обратился он к Дейнеке, — что я пропагандирую варварские методы воспитания. Боже сохрани. Еще в партийную комиссию вызовешь. Но я полагаю, наша нынешняя война требует такой тренировки воли и навыков, что уж пота, знаешь, жалеть не приходится...

— Я так думаю, товарищ полковник, что шестимесячный, такой все же большой срок обучения вызван тем, что отпустило чуток на фронте? — задал вопрос командир полка подполковник Подчиняев в легкой, несмотря на мороз, кавалерийской фуражке.

— Видать, отпустило, — улынулся Чернявский, от чего его лицо сразу стало добрым и каким-то домашним. — А вот ты лучше расскажи народу, как кавалеристов вылавливаешь?

— Да что уж рассказывать, товарищ полковник, — застеснялся Подчиняев, хотя по лицу его можно было догадаться, что он ждет не до-

ждется, как бы завести разговор на любимую кавалерийскую тему. — Настоящий человек, то есть кавалерист, по одному движению распознается: «Покажи-ка носовой платок, голубчик?» Ежели, добираясь до карманов, отвернет спереди полу шинели — пехота. Ежели же сзади, где у шинели кавалерийской разрез, — наш человек, конник. Никогда кавалерист по-пехотному в карман не полезет. Это уж точно.

— Многих выловил?

— Попадаются, да не густо. Военкоматы строгий отбор делают.

— Военкоматы... — вставил Беляев. — Военкомат такого сталева давеча заслал к нам, вон Щербак знает... Пришлось задержать. Сейчас на Магнитке работает. Дейнека, кажется, повозился с ним, пока внушил, что такое истинный патриотизм... Верно?

— Верно. Вот переписка, между прочим, тянется, — отозвался Дейнека. — Помните, был у него здесь дружок, Порошин? Его портрет и сейчас висит.

— Как же, как же... — Беляев оживился. — Тот, что дзот подавил. Солдат что надо... Ну, ну, что же там?

— Пишет Руденко — уже орден Порошин получил.

— Ах, дела! — Беляев даже пристукнул ладошкой по столу. — Слышишь, майор из политуправления? Нет, друзья, не умеем, не умеем мы собирать историю бригады. Придет когда-нибудь историк или писатель какой-нибудь, копнет наши тылы, резервы, почует поэзию нашего труда и подумает: «Вот бы книгу написать о делах и людях резерва, ковавших кадры победы, широко и правдиво показать истоки нашей армии, силы нашей». Глядь туда, глядь сюда, а материалов-то и нет. По неволе тогда скажет: «Стало быть, головоотяпы сидели здесь и ничего для истории не сберегли». Верно, майор?

Рыжко с упрямой невозмутимостью ответил:

— В историю вашей бригады придется без утайки вписать и Папушу, и дезертирство, и плохую работу с агитаторами, и еще кое-что.

— И впишем! — воскликнул комбриг. — Все впишем. Мы не боимся правды.

— Тогда же, если на то пошло, кой-кого из окружных комиссий тоже отметить надо, — пробасил Щербак, лукаво оглядывая собравшихся. — Как они формалистикой занимались, как по службе продвигались, как потом приезжали до нас, заедались, важничали...

— Впишем, и это впишем! — горячился Беляев, не замечая иронии Щербака, но вдруг увидел его смеющиеся глаза, посмотрел на вытянувшееся лицо Рыжко и расхохотался. Улыбались и остальные командиры, с трудом сдерживаясь от хохота и поглядывая с чувством неловкости на председателя комиссии.

— Ты меня прости, полковник, — сквозь смех обратился к нему Беляев. — Не могу я на тормозах, честное слово! Но тут дело щекотливое. Рыжко-то ведь наш. Наш, единокровный. Он здесь не один месяц в полку агитировал. Верно, Дейнека? Выдвинулся, как это говорится. Стало быть, в округе — наш представитель. Гордимся. Вот и хотят ребята, чтобы и его в историю бригады запечатлеть. Все-таки почетное дело для нас. Пусть фигурирует. Только чтобы веселее был. Мы веселых любим. Скучное ведь наше дело — готовить резервы. Каждый день одно и то же: «Подымайсь!», «Равняйся!», «Шагом марш!», «Крутом!» В общем, «ать-два». А задача наша — чтобы скучное это дело люди весело выполняли, с задором, с огнем. Чтобы любили это дело. А когда любишь — скучать некогда.

— Я думаю, что оснований для веселья у нас мало, товарищи, — сухо и неторопливо проговорил Рыжко. — Выборочное обследование показало сегодня, что многие офицеры, коим надлежало бы после обеда

в подразделениях быть, сидят дома, читают романы и прочее. Лежат, понимаете, вповалку, с книжками. Это есть не что иное, как нарушение дисциплины и внутреннего распорядка, установленного приказом наркома. Так что, с моей точки зрения, веселого здесь мало. Очевидно, и это придется вписать в историю.

— Историю создают не обследователи, а народ! — Голос Беляева дрогнул, и знакомые окружающим складки у губ обозначились резче. — Обследователи могут составить полезный или бесполезный акт для руководства. — Он помолчал, словно ему наскучила эта пикировка. Но тут же горячо высказал много раз, очевидно, обдуманное и выношенное: — В том-то и беда, что комбат у нас в старшину превратился. Так загруз в батальоне, что и головы не поднять. Ему бы осмотреться, поверх заборчика глянуть, свежего воздуха глотнуть, «Анну Каренину» почитать или Шолохова. Ведь художественная литература, тот же Лев Николаевич Толстой, прямое отношение к воинскому воспитанию имеет, а Грибоедов, тот прямо о резервах писал. Ну что ж, беда, стало быть, наша — не приучили. А когда аврал, тогда — свистать всех наверх! Вот мы все и топчемся в одной роте. У меня, бывало, комбат раз в два дня появлялся, а это было событие в батальоне. Сам комбат пожаловал! А ротного тоже не часто увидишь. — Беляев остыл и недружелюбно посмотрел на Рыжко. — А ваши сегодняшние наблюдения можете занести в кондуит на мой счет, — резко заключил он. — Я приказал не появляться в ротах, а читать романы. Можете на меня жаловаться!

2

Но Рыжко жаловаться не собирался. Он был бы рад чем угодно искупить свою дерзость. Он понял, что далеко зашел в пререканиях с бывшими сослуживцами и что за свое поведение ему может не поздоровиться в округе. Тем более, что полковник, председатель комиссии, ушедший по уши в дела бригады и помогавший, чем мог, ее командованию, почти не замечал Рыжко и не обращался к нему за помощью. «Вот возьмет кто-нибудь да и напишет начальнику политуправления, — думал Рыжко, — а может быть, и сам председатель комиссии доложит начальнику ПУРа: Рыжко разрешил себе глупую пикировку, зазнайство и тому подобное при исполнении служебных обязанностей». Надо было немедленно налаживать отношения с командиром бригады и другими лицами. И дернул его черт ввязываться в этот спор с Беляевым, которого, кажется, ценят в округе. Генерал-лейтенант Рогов не раз добром вспоминал его имя на совещаниях и разборах. Как же можно было забыть об этом? Проклятая амбиция! Никак не избавиться от этой дурацкой назидательности. Хотя как можно держать себя в рамках, как можно сдерживаться, когда малограмотный бывший бухгалтер Щербак, эта посредственность, которая берет одной хитростью, и только хитростью, считает себя настоящим комиссаром, опытным политработником, а его, Рыжко, всячески унижал и осмеливался учить? Не без горечи вспоминалась и история со спектаклем. Пьеса прошла на славу, а после спектакля Рыжко здорово досталось от Щербака за «мелкую пакость» — отправку с маршевой ротой одного из актеров. Больше того, Щербак не скрывал своего удовлетворения по поводу отбытия Рыжко в округ. Не потому, что был рад выдвижению товарища, а потому, что, видите ли, избавился от плохого работника. Он считает, что перехитрил самого начальника политуправления, отдав ему Рыжко, агитатора с высшим образованием. Однако сейчас нужно было любой ценой наладить отношения. У всех и у самого Рыжко остался неприятный осадок после вчерашнего столкновения.

И он бы эти отношения безусловно наладил, если бы не новая неудача, случившаяся с ним буквально на другой же день на главном учебном поле бригады.

Это поле было образцово оборудовано еще летом по схеме полковника Чернявского: с окопами и щелями, с макетами танков и проволочными заграждениями, со штурмовой полосой, заборами, рвами и дзотами.

Встретившись здесь после завтрака с полковником Беляевым, майор Рыжко, откозыряв по всей форме, произнес приготовленную фразу:

— Товарищ полковник, прошу извинить за вчерашнее. Вел себя не как военный, а как... школьный учитель, что ли...

— «Как школьный учитель»? — задумчиво повторил Беляев. — Мой комиссар Жуков тоже был школьный учитель. Учитель истории. Вы знаете, как хронологию знал? Во сне — разбудите — любую дату скажет. А вот змей боялся. Странно, знаете, змей боялся. Рассказывал, что в детстве его испугала змея, повисла вдруг, откуда ни возьмись, над самым изголовьем, зашипела, как все змеи шипят, — и вот готово. С тех пор не то что при виде, а при одном слове «змея» в неопикуемый ужас приходил. Как-то в начале войны ребята подшутили над ним: поймали ужа и под подушку ему сунули. Он чуть не застрелил этого шутника. Стрелял человек, право. Болезнь это такая — змеобоязнь, что ли... Так вот, к чему же это я? Ага... Вот что. Змей боялся, а под танк, брат, во весь рост пошел. Во весь рост... Да. Это был учитель... — И, словно стряхнув с плеч груз печальных воспоминаний, весело закончил: — А историю бригады мы все же напишем. Вот она, история, перед вами. Прошу. Смотрите, майор, солдаты протаптывают себе дорожку в историю.

Молодые бойцы, еще в своей домашней одежде, — кто в братней или отцовской старой шинелишке, а кто в ватнике или овчине, в валенках, сапогах, ботинках — старательно уминали снег на поле, пробуя ходить учебным шагом, размахивая руками «вперед до пряжки, назад до отказа».

В эту ночь комбриг спал всего два часа. Возвратившись за полночь из распределительного пункта, он выпил стакан крепкого чаю и лег, не раздеваясь. А в пять утра снова был на ногах.

Он не хотел и не мог откладывать знакомство с этим молодыком, которому предстояло войти в великое армейское братство. Его не покидало волнующее ощущение того, что он присутствует при рождении чего-то нового, чему предстоит освободить мир от проклятой «коричневой чумы».

И он хлопотал все утро на подъеме в землянках, точно хотел с первых же дней защитить всех этих новичков, облегчить им переход ко всему новому и непривычному, чем встречала их армия после домашнего уклада. Еще накануне внимание Беляева привлек невысокий стройный паренек с умным открытым взглядом. Рассказ его был краток:

— Мы эвакуированные. Папа погиб на фронте в сорок первом. Мама с сестренкой остались одни. — Он неохотно отвечал на вопросы, и глаза его были еще влажны, вероятно, от воспоминаний о неостывших поцелуях матери. И то, что он сказал не «отец», а «папа», и мать назвал по-сыновьи нежно «мама», и то, что это, по сути дела, был неоперившийся юнец, не похожий на своих крепких и рослых сверстников, которому еще, пожалуй, жить бы и жить под кровом матери, если бы не занес над его юностью руку Гитлер, и то, что мать с сестрой остались одни, заставило на миг сжаться сердце и почувствовать в горле подступивший комок.

Вскоре он снова заметил этого паренька. Увидел, как взвилось одеяло, отброшенное ловкой рукой, как быстро, в минуту, он оделся и одним из первых встал в строй на зарядку, застыв по команде старшины.

Наблюдая занятия молодых, еще не переодетых солдат, он наметанным глазом уже видел этих юношей, вооруженных автоматами, бесстрашно переползающих линию фронта, видел их окрепшими и обученными, умеющими выносить все тяготы походной, боевой жизни. Но покамест это было еще «сырье», новобранцы, и втягивать их в военный быт следовало постепенно. Несмотря на его приказание дать новичкам хорошенько выспаться, кое-кто из ретивых старшин перестарался и, нарушив приказ, поднял людей раньше положенного, сразу втиснув их в рамки изнурительного дневного распорядка. За это придется вздыхать.

...Вдали показался танк. Он шел по заснеженной равнине, устремив вперед длинный ствол орудия. Он должен по приказу комбрига пройти учебным плацем, внушая молодым бойцам уважение не только к могучей советской технике, но и к будущим занятиям, максимально приближенным к боевой обстановке. С этим танком им придется бороться, этот танк придется пропускать над собой, спрятавшись в щели. Он собран славными бригадными мастерами Зайдером и Неходой. Знают ли об этом в округе?

— О да! — ответил председатель комиссии. — Реляции об этом танке достигли уже Москвы. Это очень полезное и важное учебное пособие. Отдел боевой подготовки округа разослал во все бригады и училища специальные сообщения об инициативе местных работников, рекомендуя заимствовать боевой опыт... Зайдер и Нехода, кажется, премированы округом?

— Да, они премированы и округом и бригадой. Но они не останавливаются на этом. Знаете ли, чем они заняты нынче? Нет, не скажу, пожалуй. Секрет изобретателей. Они конструируют совершенно новое пособие для обучения войск.

— Надеюсь, что и оно станет достоянием всего округа.

Танк тем временем приближался, набирая скорость. Танк вел Зайдер, Нехода был с ним. Они уже оправились после перенесенной ночной катастрофы. И, конечно, не новое изобретение, которым заняты были оба оружейника, будоражило душу полковника, вызывая его почти мальчишеский восторг, а пока именно танк, его детище, которое, он видел, приковало взоры не только представителей военного округа, но и всех молодых солдат, рассыпавшихся цепочками отделений по снежному полю.

— Товарищ полковник, — сказал Рыжко, откозырнув, — следовало бы, я думаю, использовать такое массовое стечение солдат и продемонстрировать, понимаете, танк в действии. То есть немедленно посадить отделение в щель и пропустить над ними эту громадину, чтобы наглядной, понимаете, агитацией убедить каждого в безопасности танка при наличии хорошей щели. А щели здесь, как мне кажется, добротные.

Это и было очередной неудачей майора.

— У меня такое впечатление, что вы, майор, никогда не были восемнадцатилетним, — резко сказал Беляев. — А так, знаете, сразу родились майором и агитатором. Вы бы посадили школьника за «Капитал» Маркса? Вряд ли. Хотя с вас, пожалуй, станется. А не лучше ли... — Он обвел взглядом вокруг, что-то быстро обдумывая. — А не следует ли нам, старшим начальникам, показать этим юнцам, что не так страшен танк? — И, как бы утвердившись в своей мысли, скомаиндовал: — Майор Рыжко, за мной, бегом! — И быстро побежал, не оглядываясь, к ближайшей щели, на середину поля.

Рыжко неловко побежал, путаясь в полах шинели. Он не смел не последовать за комбригом. Когда они подбежали к щели, Беляев слегка подтолкнул Рыжко вперед, взмахом руки указал дорогу танку и, крикнув водителю: «На меня!» — прыгнул вслед за майором.

— Зачем вы это? — побелевшими губами успел произнести Рыжко.

— Как зачем? Использовать массовое стечение солдат. Да не бойтесь вы! Щели-то добротные! Ложись!

Громада танка накрыла щель и, скрежеща гусеницами, проползла над нею. Через мгновение все было кончено, и Рыжко, стряхивая с шинели снег и землю, выбрался из щели. Лицо его было бледным, земляные губы тряслись.

Танк прогрехотал дальше.

— Ну, каково? — спросил полковник, тоже выбравшись из щели и отдуваясь. — Не обижаешься? А я пожалел было... Вдруг раздавит! Такие случаи бывают. Ну, чего молчишь? — Он сам был по-мальчишески возбужден происшедшим и искал отклика в потухших глазах Рыжко. — Э, брат, да ты никак струсил? — Полковник хлопнул Рыжко по плечу. — Ну-ка, голову выше. Тверже шаг. Веселей гляди, агитатор!

Рыжко ничего не ответил и внезапно сел на снег.

Полковник повернулся и, оставив Рыжко, зашагал к командному пункту. Поравнявшись с командирами, он оглянулся и сказал, сдерживая улыбку:

— А ведь одного из нас танк все-таки раздавил.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

1

Немцы под Сталинградом окружены! Эту весть принес комбригу Беляеву редактор бригадной газеты. Проваливаясь в сугробы, он добрался ночью до квартиры полковника, разбудил его и сообщил содержание только что полученного сообщения «В последний час».

— Выпускайте наутро листовку, — сказал полковник.

— Есть, выпускать листовку! Наборщики уже не спят. Вообще я не знаю, как можно спать в эту ночь.

Полковник улыбнулся.

— Не знаю, как вы, а я ложусь.

И он действительно лег. Но заснуть не заснул. В эту ночь свершилось нечто необычайно счастливое и значительное. В эту ночь человечество было спасено от гибели. Почему же тогда люди спокойно спят, почему он сам так легко отпустил взволнованного редактора, первого человека в лагере, поймавшего в эфире эту счастливую весть? Должно быть, все великие события совершаются и воспринимаются людьми в первый миг просто, без пафоса.

Чутьем солдата он понимал, что именно в эту ночь колесо войны повернулось в обратную сторону.

И вдруг явственно представил себе Москву, Красную площадь. Неподвижно стоят припорошенные снегом елц у зубчатой стены. Так же неподвижны часовые у Мавзолея. Знают ли они о случившемся? Москва спит, утомленная ратным днем. Не спят в Ставке. Телеграфная лента ползет из-под колесика, шуршит в пальцах, летит, как драгоценная струя, которая напоит завтра миллионы людей, утолит их жажду победы. Левитан уже произнес эти строки у микрофона. Наборщики во всем мире набирают слова победного сообщения. А полководцы водят цветными карандашами по карте, намечая новые удары и контрудары, подтягивая

резервы, вводя в бой все новые соединения, новые части... «Может быть, впервые за этот год они уснут по-настоящему», — подумал Беляев.

Завтра же он созовет командиров полков, всех офицеров, всю бригаду и постарается передать им те чувства, которые обуревают его в этот миг.

На другой день по всем полкам бригады прошли торжественные митинги.

А после обеда он вызвал командиров полков и их заместителей к себе. Многие пришли еще празднично настроенные, немного взвинченные. Подполковник Подчиняев уже успел накуролесить, отсалютовав сталинградцам двадцатью пятью толовыми шашками, отчего в прилегающих домиках опять вылетели стекла. В штабриге уже проведали об этом и косились на неугомонного кавалериста.

Сообщение было коротким. Комбриг доложил собравшимся о новом плане подготовки маршевых рот. Увеличивались сроки обучения, однако прибавлялось и количество рот.

— Теперь от нас потребуют немало резервов для наступления, — сказал комбриг. — Но это уже легче. Некоторый опыт мы имеем. А кое-кто из нас, может, и сам пойдет наступать.

— Товарищ полковник, — встал Подчиняев. — Прошу принять во внимание. Пустяковая царапина. Чуток зацепило. И по этой причине всю войну, извиняюсь, в тылу сижу. Я, знаете, у генерала Федюнинского воевал в разведчиках. Обещает принять. Прошу ходатайства.

— Ладно, Подчиняев, посмотрим. Там в приказе тебе сегодня... Зайдешь во вторую часть, там все имеется.

— За здоровье или за упокой? — спросил Гавохин. Он почувствовал, что обстановка заканчивающегося совещания такова, когда уместна и шутка и реплика невзначай.

— За двадцать пять толовых шашек, — ответил Беляев. — Ежели соскучился по артиллерийской стрельбе, вызови барабанщика. Праздник праздником, но зачем же стекла бить?

— Вставляя за свое жалованье придется, голубчик, — напомнил Чернявский. — Воистину угораздило тебя, Подчиняев, отличиться!

— Чуток не удержался, товарищ начштабриг. Больно уж веселый день сегодня. А насчет зарплаты согласен. Только отпустите на фронт.

— Фронта еще хватит на наш век, — сказал Чернявский. — Не думаешь ли, что войне конец? Ой-ой!.. Всех сменят, все пойдем.

— О нашем Воронкове читали, товарищ полковник? — вставил Кочетков. — Пишут в «Красной звезде»: «Легендарный минометчик Сталинградского фронта». Думаю, портрет его изготовить и в комсоставской столовой повесить. Все же не каждый день такое.

— Каждый полк пиши свою историю, пора! — сказал комбриг. — Как скажешь, Дейнека? Верно?

— Точно так. В каждой роте рассказать о наших традициях, о воспитанниках полка. Пусть знает молодежь про славных орлов, что вылетели на простер из их землянок... Ежели прикинуть, так сколько войск прошло уже через наши ворота? Их забывать нельзя. Не только что живых, а и погибших геройской смертью знать и вспоминать надо.

— И Мельника, командира полка, в их числе, — вставил командир бригады и тут же метнул острый взгляд по лицам сидящих. Это он впервые сегодня после той встречи с Наташей произнес имя Мельника, вспомнил, хотя и не забывал о его смерти.

— Это ведь не точно еще? — полувопросительно произнес Подчиняев. — Какое-то письмо, кому-то. В этом деле документу и то еще не верь.

— На этот раз правда, — сказал самый молодой из всех, майор Кочетков. Он никогда не видел Мельника, и ему было легче, нежели другим, поверить в эту смерть.

— Есть официальное извещение? Давно получено? — вскинул глаза Беляев.

— Официально, третьего дня.

Сдержанный Гавохин слегка забарабанил пальцами по столу. Это было нетактично, но он не мог сдержаться. Он и Мельник были старейшими командирами в этом соединении, вместе оборонялись на берегу Днепра, вместе шли по осеннему бездорожью Украины, Курской и Воронежской областей, вместе строили бригаду. Да, верно, что Мельник был слаб. Быть может, он был староват. Нет, не староват, а, пожалуй, старомоден. Отстал, не учился. Но когда Гавохин узнал, что полковник Беляев расстается с Мельником, недоброе шевельнулось в его душе против нового комбрига. Он присматривался к нему, как подчиненный обычно присматривается к новому начальнику, стараясь разгадать его, пока не убедился, что разгадывать нового комбрига нечего, человек он простой, с характером, службу знает, как хороший кадровик. И, быть может даже против собственной воли, Гавохину понравился новый комбриг. Только отчисление Мельника не мог он забыть.

— Некоторые, должно быть, считают меня виновником его смерти... — глухо произнес Беляев, точно про себя, и рассеянно посмотрел на Гавохина.

Гавохин смутился. Но как солдат, честный до конца, он вдруг встал, ибо подумал, что комбриг упрекает его и ждет откровенности.

— Каждый из нас был бы рад почетному фронтовому назначению. Не в том суть... Но с майором Мельником, я считаю, вы расстались напрасно.

— Спасибо за откровенность, подполковник Гавохин, — сухо сказал Беляев. — Вы все свободны.

Он мысленно упрекал себя за то, что допустил такую вольность на совещании. И тут же, устало откинувшись на спинку кресла, подумал, что сейчас поедет к Мельникам. Вызовет сани и поедет к Мельникам. Это будет страшно тяжело. Но он знал, что поедет. После того, что произошло здесь, после слов Гавохина, он не может не поехать. Но имеет ли он право в этот час прийти к ним? Посмотреть в глаза? Правду никуда не денешь — с самого праздника он избегал встреч, ходил, объезжал библиотеку десятой дорогой, словно признавал свою вину в случившемся.

Как-то с опаской он спросил Щербака:

— Что там? Как они, наши?

— Как все. Солдатки. — Он смотрел на полковника как бы с сожалением. Потом добавил: — Между прочим, собирается на фронт.

— Кто?

— Ясно кто, разведчица. Вместо отца.

— Блажь! — А у самого сердце заколотилось и кровь отхлынула от щек. Он задержал Щербака. — Погоди-ка... Ты расскажи мне. Как же так... Внезапно...

— Почему «внезапно»? Давно ведь мечтает.

Да, да. Он знал, что она давно мечтает. Но неужели она и впрямь решилась? После всего, что произошло между ними? А что, собственно, произошло? Не показалось ли?

Он никак не мог совладать с собой.

— Послушай, Щербак. Откуда ты это знаешь?

— Все же, как-никак, комиссар в полку, товарищ комбриг. Письмо командующему направила. Прошу, мол, содействовать.

— Давно?

— Тотчас, как узнала о гибели отца. Приходила ко мне...

— Храбро! И что же ты... поддержал?

— Патриотизм поддерживаю.

Ему казалось, что от сердца отдирают самое дорогое, без чего немислимо жить. Хотелось бежать куда-то, скорее, лишь бы остановить, отменить то, что надумала... Неужели не понимает, как нужна ему?

Он вспомнил, как звал ее в ту вьюжную ночь, как она ушла, не оглянувшись, как он бродил под окнами, не смея постучать. А потом мерещилось ему, что и все в бригаде, так же как и Наташа, распознали неправоту своего начальника. Все эти дни он подозрительно вглядывался в глаза Дейнеки и Щербака, Кочеткова и Агафонова: что думают, что знают?

И вот наконец Гавахин... Вот кого прорвало. Так нет же! То, что он сделал тогда, было правильно. Это не было жестоко, что бы ни говорили. Это было необходимо. Страшновато, когда важные посты — то ли на войне, то ли в мирной жизни — оккупируют люди малоспособные, негибкие, рутинеры... Беда наша, что еще подчас тупость, неграмотность, лень, равнодушие этаким увальнем восседает там, где надлежит искриться таланту, живому уму и сердцу. Словно ржавые шестерни, тормозят они ход машины. Иной деятель годами сидит, пока поймут, что он бревно, а ведь за эти годы талантливый человек на его месте мог бы многое сделать, придумать и изобрести. А в армии — на фронте и в тылу — такой неспособный на важном посту может загубить многие жизни...

Он не думал тогда о смерти Мельника, потому что на войне не принято учитывать эту возможность.

Надо развязать наконец этот узел, он мешает ему жить, работать, командовать. Надо объяснить ей, что она заблуждается. Что он не виноват. Отговорить. Доказать, что ее, их общий подвиг — здесь. Поглядеть ее голову, обнять и глядеть, глядеть ей в глаза. Она поймет все. Не может не понять.

2

Комбриг отпустил ординарца сержанта Агафонова и вышел из штаба.

Необозримая снежная равнина, окованная с востока лесом, уходила, темнея, к потухшему горизонту, над которым, замерзая, сверкали яркие звезды. Лагерь спал тем крепким солдатским сном, когда ничего не снится. Люди набирались сил на завтра. А завтра снова начнется суровая жизнь в маршах и походах, наступлении и обороне, стрельбе и атаке. Лагерь, погрузившись во тьму, спал, и комбриг вдруг почувствовал себя единственным часовым, охраняющим сон и покой бригады. Это было, разумеется, не так, ибо в каждой роте не спал дневальный, но ему стало хорошо от одной этой мысли, и не хотелось расставаться с нею. Да, он часовой бригады, армии, страны. Часовой Победы в глубоком тылу, он тоже приблизил этот день Сталинграда.

Ему вдруг припомнился первый день... Легкий лагерь, маршевая рота, отправленная со станции домой, — и люди, люди, люди, множество людей, прошедших перед ним. Охотник Порошин и сталевар Руденко, Борский и Зайдер, Щербак и Аренский, и даже дерзкий Гавахин — все они и многие десятки других прошли перед его мысленным взором. Все повзрослели, окрепли, научились любить эту трудную, кропотливую работу в тылу во имя Победы, запламеневшей нынче над Сталинградом.

Вдали послышался знакомый перезвон бубенчиков. Приближались сани, вызванные предупредительным Агафоновым. Беляев подумал, что завтра нужно будет расчистить площадку перед штабом, убрать снег подальше. Не мешало бы коменданту самому замечать все это.

По снегу закрипели чьи-то шаги. Беляев вздрогнул. Рядом стоял Щербак.

— Что тебе?

— Вам, товарищ полковник. От Наташи.

Беляев взял из рук Щербака бумажный треугольник.

— Отбыла?

— Так точно. Молодец девка. В действующую. Приказ округа. А это просила передать лично.

— Спасибо.

Щербак исчез.

Беляеву почудилось, будто он и не появлялся.

Снова закрипели шаги. Подошел Агафонов.

— Товарищ полковник, лошади...

— Не надо.

Он развернул письмо.

«...Хоть и горько мне, но зла на вас не таю... Встретимся ли на этом свете?»

Яркие звезды тревожно мерцали в морозном небе. Зазвенели и растаяли, удаляясь, бубенчики. Все по-прежнему спало. И только он один, сжимая в руке письмо, зорко проглядывал темноту, словно готовился опять в дорогу.



ВИТЕЗСЛАВ НЕЗВАЛ

★

ИЗ СТИХОВ РАЗНЫХ ЛЕТ

ЭДИСОН

(Из поэмы)

Жизнь у нас веселая, как смех.
Как-то ночью я почувал снег,
Запах новостей я различил бессонно,
Мне явился образ Эдисона.
Было это полночь, зимой.
Разговор я вел с самим собой,
Говорил, как будто в опьяненье,
Со своей отсутствующей тенью.

Как рефрен, звучал во мне какой-то тон,
Я на дыпочках прокрался на балкон.
Преодо мной огни ночные трепетали,
Как на дне морском под ними люди спали.
Ночь вокруг дрожала, словно прерия,
Под ударом звездной артиллерии.
Башенных часов я различал гуденье,
А по набережной пробежали тени —
Тени городских самоубийц,
Тени старых уличных девиц,
Тени легковых авто, что с хода
С ног сбивают тени пешеходов,
Тени горбунов на улицах неясных,
Тени сифилитиков безгласных,
Тени сгубленных, убитых, окаянных
Вкруг теней бандитов покаянных,
Тени воинов, закутанных в шинели,
Тени пьяниц, заполняющих панели,
Тени мучеников и поэтов мрачных,
Тени всех влюбленных неудачных,
Тени горькие — бездомные повесы,
Тени легкие — безумные принцессы.

Что-то дивное я видел в их движении:
Грусть и радость, гибель и рожденье.
Будьте грустны и прекрасны! Доброй ночи
Метеоров огненные очи!
Вы ночами знойными летели
Без теней, как раскаленные метели,
И сводили нас с ума своим накалом.

До свиданья, придорожные сигналы,
 Вдаль манившие меня, как запах розы.
 До свиданья, звезды, чистые, как слезы,
 Открывавшие мне рощи и долины,
 Где в садах цветут немые бальзамины.
 До свиданья, крылья авионов
 И крутые страсти Эдисонов,
 Фейерверки, нефтеносные фонтаны.
 До свиданья, стародавние обманы.
 До свиданья, метеоры в небе чистом.
 До свиданья, тени в отдаленье мгlistом.
 Тени времени, которым нет возврата,
 Тени сладкие, что спились мне когда-то,
 Тень небес в глазах красавиц юных,
 Тень теней созвездий в струях лунных,
 Тени чувств, которым нет имен,
 Тени зыбкие, как полуночный звон,
 Тени бледные, как образы смертей,
 Тень дыханья неродившихся детей,
 Тени матерей, молящихся о сыне,
 Тени призраков, живущих на чужбине,
 Тени радости, что мучают вдову,
 Тени призраков, ютящихся в дому.

Будьте строги и прекрасны! В добрый час,
 Звездопады слез, и клятвы женских глаз,
 И любовь в горах, где сотни звезд
 Прямо в руки падают из гнезд!
 До свиданья! До свиданья! Так и быть!
 Снова буду я будильник заводить.
 Сколько здесь людей живет вокруг,
 Вот она, поэзия, мой друг!

Буду снова предаваться я мечтам,
 Снова в «Славии» пить кофе по утрам,
 Вновь глотать обычный кофе свой,
 Снова тосковать с поникшей головой,
 И опять не спать, себя не страховать,
 И опять сжигать, а не скрывать,
 И опять прислушиваться к плачу
 И играть в азарте наудачу.

Наши жизни словно дни и ночи.
 До свиданья, звезды, птицы, губы, очи,
 До свиданья, кладбища под глогом.
 До свиданья, с богом! До свиданья, с богом!
 Доброй ночи! Доброго сна!
 Доброй ночи!
 Доброго дня!

ДРАМА

Пришел туда, где больше не живет,
 Пьет по привычке свой стаканчик грога,
 И смотрит он на дымчатого дога,
 И счастлив дог и ласки прежней ждет.
 А рядом, здесь, за стенкою, жена,

Сидит и спину гнет за вышиваньем.
 Вот в полночь бьют часы о расставанье.
 Он пьет все так же грог. Все так же шьет она.

Пора идти, а шаг уже не прочси,
 И дог уже не трется у стола.
 Открыта дверь, в лицо — ночная мгла.
 Закрыта дверь за ним. Спокойной ночи!

1932 г.

БЕЗРАБОТНЫЙ

Я из дома уйду и спрячу подальше ключ,
 Чтобы бедность мою не увидели люди.
 Встречу солнца восход, встречу месяца луч.
 Все так было вчера. И сегодня будет.

Посмотрю я на чаек у берега Влтавы,
 Где им крошки и булки бросают для смеха.
 Не нырнуть ли, как птице, и мне для забавы?
 Черт возьми! Вот была бы потеха.

Как живут беззаботно и весело птицы,
 Не страдают они от обид и от холода...
 Снова ночь. Снова надо ложиться.
 Снова спать... Но засну я ведь только от голода.

1932 г.

ПРОСЬБА К ХУДОЖНИКУ

Мой заказ для тебя нетруден:
 Нарисуй мне карпа на блюде,
 Нарисуй изящно и ловко,
 Чтоб не ел я одну перловку.

Разрисуй и бокалы скорей
 Нищеты безнадежной моей,
 Чтоб не пил поутру я росу
 У цветов на поляне в лесу.

Нарисуй облака мне и тени,
 Женщину — на пустые колени,
 Ну, и бога (без бога нельзя),
 Чтоб хоть мог богохульствовать я.

Черта мне нарисуй у дверей,
 Пусть меня унесет поскорей.
 И еще об одном я молю:
 Нарисуй мне на стенке петлю.

1932 г.

Перевел с чешского В. Николаев.

**
*

С богом! И уж если не встретимся мы снова —
было все прекрасно, и довольно с нас.
С богом! И возможно, что гостя мы другого
встретим у порога в назначенный час.

Было все прекрасно, жаль — все не вечно в мире...
Смолкни, похоронный звон; эту скорбь я знал.
Поцелуй, платочек, улыбки три-четыре
и — один я снова. К отплытию сигнал.

С богом! И уж ежели поставлена точка,
пусть от нас хоть памятка будет до поры —
проще, чем открытка, воздушнее платочка
и слегка обманна, как запах мишуры.

Ну, а если видел я, что от прочих скрыто, —
что ж, тем лучше! Ласточка ищет кров родной,
юг ты показала мне, где гнездышко свито;
за тобой — полеты, а песни — за мной!

С богом! И уж если нам больше не встречаться —
что ж! Увы, надежды, мне вас не вернуть!
Коль хотим увидеться — лучше не прощаться.
С богом! И — платочек! Словом, будь что будь!

1933 г.

Перевел с чешского Леонид Мартынов.

ДОРОГА

Ушел я этот раз в осенний долгий ливень
Далеко от жилья, где тихо ты спала.
Я вдоль опушки брел над речкою бурливой,
Где взбухшая волна мутна и тяжела.

У моста под горой я встал перед трактиром,
И образ рождества возник передо мной.
Я возвращался вновь к забытым мной картинам.
И долго я следил за мутною волной.

За мостиком крутым я отыскал случайно
Тропу, где душегуб в тени таиться мог.
Местечко за леском шумело, как овчарня.
И вдруг увидел я знакомый мне порог.

И матушка моя (не снится ль?) вдаль глядела.
В отлучке был отец. Сестра уже спала.
Я в кухне за столом. За окнами темно.
Старинная квашня глядела из угла.

Я шел к себе домой, как будто шел к чужому,
И в комнате своей углов не узнавал.
Ты не смыкала глаз. А я, мечась по дому,
Как сказочный король, рыдая, ликовал.

1939 г.

В ЧЕСТЬ ВЕСНЫ

Небосвод над нами ясен и глубок.
 В парке — маргариток робкое цветенье.
 Сообщенья дятел ждет, и ждет жучок,
 Скоро ль праздновать великий день рожденья.

Будет праздник, будет праздник день за днем!
 В этот год недаром девочки родятся!
 Мир настанет, сад заплещет под окном,
 И с добычей в улей пчелы возвратятся.

Молодежь в луга субботние придет,
 Будет в танце весело кружиться.
 Поцелуи будут сладкими, как мед,
 И до самого рассвета будут длиться.

Пью лазурь, что так прохладна и светла,
 Полной ложкой, чтоб скорее встать с постели.
 Не всегда скитаться людям без угла,
 Пусть стократный урожай сберут артели!

Пусть сияет в окнах чистое стекло,
 Пусть колодцы строят с чижигом на срубе,
 Пусть ребятам будет сытно и тепло,
 Если холод ляжет инеем на шубе.

Пусть в почете будет честь и доброта,
 Маска грубая не станет портить лица.
 И любовь откроет мирные врата
 Всем, кто хочет просто жить и веселиться.

1955 г.

БРОДЯЧИЕ МУЗЫКАНТЫ

Уж совсем иными стали
 Пражские дворы!
 Там шарманку окружали
 Стайки детворы.

И тогда звучал органчик
 И хрипел слегка,
 И играл старик шарманщик
 Ради медяка.

А жена его, одета
 В бальное тряпье,
 Нагибалась за монетой
 И кляла житье.

Злые дни тогда мелькали
 В горькой маяте,
 И, казалось, привыкали
 Люди к нищете.

И не то чтобы жестоки
 Были или злы.
 Просто ждали — минут сроки,
 Свет блеснет из мглы.

И окончились страданья
 Той, иной поры.
 До свиданья, до свиданья,
 Старые дворы!

1955 г.

ВЗДОХ

Жалко леса
 На скверные книги,
 Жалко солнца
 Для высохшей ветки,
 Жалко судна, затонувшего на реках,
 Жаль слезы для злого человека.

1955 г.

Перевел с чешского Д. Самойлов.

СОНЕТ В ЧЕСТЬ «ТУ-104»

На десять тысяч метров и пятьсот,
 куда и жаворонок бы не взвился,
 я поднялся, и тут я научился
 боготворить свой век больших высот,

век быстроты, когда нам не в обузу
 от полюсов к оазисам полет,
 век телевиденья, век свитеров... И вот
 я шлю привет Советскому Союзу.

Совсем как дома — в кресле над крылом,
 над этим фантастическим веслом
 в озоне, где не слышно мух,

и мира всем хочу, и братства всем,
 и процветания. И вслед за тем...
 дремлю, как бог, над бездной мирозданья.

1957 г.

Перевел с чешского Леонид Мартынов.



МАКС-ЛУИ ГАЛЛО

★

ГОРЬКАЯ МОЛОДОСТЬ

(Фрагменты из романа)

ПРЕДИСЛОВИЕ

Прага... Будапешт... Берлин... Бухарест... Варшава... Теперь Москва. Шестой Всемирный фестиваль молодежи в столице нашей Родины!

Фестиваль — это не только праздник, но и деловая встреча молодежи всех стран, во время которой должны быть обсуждены вопросы, волнующие юношей и девушек всего мира. «Университет и общество» — такова, например, одна из тем, предусмотренных для обсуждения. Она широка и позволяет подойти к ней с разных точек зрения, но обсуждение ее будет, очевидно, сопряжено с практическими результатами только в том случае, если проблемы, встающие перед студенчеством, не будут изолированы от проблемы борьбы за мир.

Летом прошлого года автор этих строк побывал во Франции и беседовал с некоторыми студентами. Они рассказывали о тех больших жизненных трудностях, которые им приходится испытывать, о том, как им трудно добывать средства для того, чтобы продолжать занятия. Несомненно, если бы правящие круги Франции не вели в это время войны в Алжире, не говоились к своей бесславной авантуре в Египте, не затрачивали бы столько средств на военные расходы, не менее 35 процентов парижских студентов, для того чтобы учиться, не были бы вынуждены работать, а они в поисках заработка перебирают разные профессии: от классного наставника до официанта в ресторане, от продавца газет до наклейщика марок в экспедициях газетных и журнальных издательств (норма 2 500 марок за семь с половиной часов)...

— Крайне недостаточное количество стипендий и их мизерность приводят к тому, что дети рабочих составляют всего лишь 1,9 процента учащихся в высших школах (11,5 процента — в средних)...

— Недостаток общежитий заставляет студентов снимать маленькие комнаты и углы, на их оплату уходит свыше пятидесяти процентов стипендии...

— В специальном студенческом центре, занимающемся разысканием комнат для студентов, в 1955 году семь тысяч прошений остались неудовлетворенными...

Это цифры, но за ними стоят судьбы людей. Один из студентов Сорбонны, с которым мы познакомились в Марселе, где он проводил свои каникулы у родителей, рассказал, что его прожиточный минимум составляет около 19 тысяч франков в месяц (9 тысяч франков за комнату, 6 тысяч франков на питание в студенческом ресторане, тысяча франков — транспорт, 1 500 франков — учебники). Чтобы заработать эту сумму, он продает газеты (тысяча франков за восемь часов). Работа отнимает у него шесть часов в день. «Когда вы бываете на лекциях? Когда вы занимаетесь?» — вот вопросы, на которые он затруднился ответить.

Улучшилось ли в чем-нибудь за истекший год положение парижских студентов? Печать сообщает нам о фактах, свидетельствующих скорее об обратном. В середине мая во многих парижских газетах и журналах были опубликованы фотографии, на которых запечатлены сцены разгона массовой студенческой демонстрации в Латинском квартале. Тридцать восемь участников этой демонстрации были арестованы полицией.

Несколько человек ранено во время схватки студентов с полицейскими. Непосредственным поводом для демонстрации послужила забастовка служащих студенческих ресторанов, требовавших увеличения зарплаты. В течение нескольких дней все эти рестораны были закрыты. Студенты выступили в поддержку бастующих. Скандируя на мотив «Эй, ухнем!» слова «Ну завон фэн» («Мы хотим есть»), демонстранты шли по улице Суффло, которую украшает величественное здание Пантеона.

В резолюции, принятой студентами после полицейского разгрома демонстрации, говорится: «Мы вышли на улицу, разумеется, потому, что мы были голодны, но также и затем, чтобы протестовать против безразличия, с которым относится к нам правительство... Молодежи, которую с таким удовольствием используют в Алжире, отказывают в условиях для жизни и настоящих занятий, хотя мы готовимся стать завтра врачами, инженерами, учителями. У нас было ощущение того, что во имя этой войны в Алжире над нами насмеются, хотя мы первыми несем тяжесть ее расходов...»

Несомненно, ни статистические данные, ни короткие беседы во время поездок, ни газетные информации не могут дать полного представления о жизни молодежи и, в частности, студенчества той или иной страны. Здесь нужна книга, и даже не одна, а несколько книг, которые рассказали бы нам о судьбах разных молодых людей. К сожалению, если говорить о Франции, то мы располагаем очень немногими произведениями, правдиво рисующими жизнь современной французской молодежи. Одна из таких книг — роман молодого французского писателя Жана-Пьера Шаброля — готовится к изданию на русском языке. В ней рассказывается о рабочей молодежи одного из пригородов Парижа. Книга эта скоро выйдет в Издательстве иностранной литературы, и наши читатели смогут с ней познакомиться. Нам хотелось бы рассказать о другой книге и о другом молодом французском писателе — Максе-Луи Галло, с которым мы познакомимся летом прошлого года случайно в Ницце. Прогуливаясь с ним, мы вели оживленную беседу. Как вскоре выяснилось, Макс Галло и его жена только этим летом окончили Сорбонну. Макс — историк, Мориза — преподавательница французского языка. Оба они уроженцы Ниццы, собираются искать здесь работу.

Когда мы расставались со своими новыми друзьями, они пригласили нас прийти к ним на следующий день в гости. Мы с удовольствием приняли это любезное приглашение. В течение добрых трех часов мы горячо обсуждали и последний роман Шаброля «Бу-Гале», и новую книгу Веркора «Гневы», и «Смутную улыбку» Франсуазы Саган. Мы не во всем соглашались друг с другом, спорили.

— Обещайте, что развернете этот пакет, только когда придете к себе в гостиницу! — сказал на прощание Макс, протягивая сверток. — А понравится вам эта вещь или нет, вы мне скажете потом, в Москве... Если мне удастся приехать на фестиваль.

«Горькая молодость» — так называлась книга, которая была в пакете. Это собственная книга Макса Галло, она отпечатана на машинке, сброшюрована и вложена в толстый картонный переплет. Стало ясно, почему Макс Галло так интересовался во время нашей беседы жизнью начинающих писателей в Советском Союзе. Это был кровно волновавший его вопрос, о чем мы, к сожалению, и не подозревали. В противном случае мы, конечно, расспросили бы молодого писателя, какие шаги он предпринимал для того, чтобы его книга увидела свет. На следующий день мы ранним утром уехали из Ниццы и уже были лишены возможности поговорить с Максом Галло, подарившим нам на память свой первый, пока еще не опубликованный во Франции роман.

Книга Макса Галло читается с большим интересом, она открывает целый мир, новый и мало знакомый нам мир — французское студенчество. В романе есть и «недостатки первого опыта» и «слабости начинающего», как говорит о себе сам автор, но в нем есть также и достоинства первого опыта и достоинства начинающего — книга написана с отчетливо выраженным стремлением передать все богатство личных наблюдений, а в чем-то, может быть, и личной биографии автора.

Есть в романе такая сцена. Полиция разогнала студенческую демонстрацию, прохлывшую под лозунгом «Школы, а не пушки!». Один из героев книги, студент-историк Алан Ланглуа, член компартии, думает, остановившись на бульваре Сен-Жермен: «Через двадцать лет, может быть, станут читать фразу в учебнике: «В 1953 году во Фран-

ции происходили социальные волнения: крестьяне, служащие, студенты устраивали манифестации». Только те смогут по-настоящему понять эти строки, кто их пережил...»

Роман помогает читателю понять и пережить эту фразу из будущего учебника. Он помогает также понять и такую строчку из французской газетной хронике: «Наш знаменитый Парижский университет таит в себе немало нищеты, материальной и моральной. Поиски работы в половину рабочего времени составляют одно из главных занятий плохо обеспеченных молодых студентов».

Отраженными в человеческих судьбах предстают перед читателями и уже упомянутые мною семь тысяч ходатайств, оставшихся без ответа в бюро, занимающемся разысканием коммат для студентов. В этой цифре — источник драматической развязки любви Жана и Николь, одних из главных действующих лиц романа.

Макс Галло создал запоминающийся образ «папенькиного сынка» в лице Марка Дюфура, сына состоятельного парижского врача, выпускника коллежа святого Фомы Аквинского. Вместе с другими фашиствующими молодчиками он нападает на дворе Сорбонны на Алена Ланглуа, продающего «Юманите». В голове Дюфура прочно засели слова его отца о том, что если требования коммунистов будут удовлетворены, то семейный бюджет Дюфуров значительно пострадает. Подумайте только, увеличить социальное страхование, ввести бесплатное лечение! Доктор Дюфур и так уже «натерпелся» от коммунистов: один из них до сих пор еще не выплатил причитающегося за операцию гонорара...

Ален Ланглуа, для того чтобы иметь возможность учиться, вынужден работать классным наставником в католическом коллеже святого Фомы Аквинского. Здесь, в коллеже, ему приходится скрывать свои политические убеждения. Марк Дюфур доносит на него начальству, и Ален остается без работы.

Когда теперь, прочитав книгу Макса Галло, вспоминаешь о беседе с ним, некоторые моменты приобретают новый смысл. Книга как бы стала нашим третьим собеседником. Помню, что нам обомни понравилась напечатанная в парижском журнале «Ну-вель ну-вель ревию Франсез» статья французского критика Бернара де Фалуа, посвященная нашумевшему роману Франсуазы Саган «Смутная улыбка». Мы вспомнили об остроумном приеме, к которому прибегнул автор статьи, подсчитавший, на скольких страницах молодая героиня этой книги... скучает. Состояние скуки овладевает ею через каждые пять страниц. «Скука — роскошь, которую могут позволить себе немногие», — сказал тогда Макс, и его книга подтверждает эти слова.

Некогда «скучать» Жану Браке, который месяцами ищет себе угол в Париже, пытается совместить подготовку к экзамену с работой в мастерской у архитектора, а потом мучительно и тщетно старается исполнить свой долг мужа и отца.

Некогда «скучать» Алену Ланглуа — днем почти все время у него занято добыванием средств к жизни, по ночам он сидит над учебниками истории.

Некогда «скучать» Кристиане — мечтая стать актрисой и обеспечить себе будущее, она обивает пороги всевозможных театральных агентств до тех пор, пока не узнает, что сначала нужно продать себя, а потом уже надеяться вступить на сцену и по собственному разумению пользоваться радостями жизни.

Небольшие отрывки из романа Макса Галло, напечатанные в этом номере «Нового мира», будут, несомненно, способствовать знакомству советских читателей и с жизнью французской молодежи и с новым писателем, еще не известным на своей родине, во Франции.

Н. Разговор.

Коллеж святого Фомы Аквинского, с его начальными, средними и старшими классами, занимает чуть ли не весь квартал. Переходя из одного класса в другой, учащиеся расставались с преподавательницами, сопровождавшими послушные шеренги малышек, и попадали под надзор аббатов и классных наставников, которые строго следили за игрой и занятиями старших школьников.

Во вторник Марк Дюфур не пошел на занятия. Он с бешеной скоростью носился по западной автостраде на мотоцикле, а вернувшись

домой, заперся в своей комнате, чтобы обдумать план предстоящей разведки: ему надо было выяснить, действительно ли продавец «Юманите», с которым у него произошла накануне стычка, — классный наставник из их коллежа. Задача была не из легких, но это в его глазах делало ее еще более заманчивой.

Марк не раз убегал с уроков и хорошо знал расположение многочисленных дворов коллежа. Он знал также, что во время перемен классный наставник мог остаться в классе и выйти оттуда только тогда, когда прозвонит звонок. Но в этот момент Марк должен был бы покинуть свой наблюдательный пост.

Он набросал на клочке бумаги приблизительный план коллежа, затем разбил его на секторы, которые ему предстояло обследовать. Наблюдать придется в то время, когда ученики заняты играми. Если это не даст никаких результатов, придется продолжить поиски тогда, когда ученики будут строиться после окончания уроков. Он это сделает, даже если ему придется пропустить свои занятия. Марк твердо верил, что выполнит свою задачу. Он старательно приготовил уроки на завтрашний день и, словно накануне трудного похода, погрузился в размышления, которые долго не давали ему заснуть.

Утром он проснулся раньше обычного и успел решить еще одну задачу по математике. Потом пошел в гараж и запасся бензином за счет отцовского автомобиля, проверил зажигание: мотоцикл не должен подвести его в пути. Во время переходов по гористой местности он хорошо понял, как важно тщательно проверить машину.

Когда он подъехал к коллежу, ворота были еще закрыты. Марк выбрал тихую улицу, где можно было оставить свой мотоцикл. Если ему удастся проникнуть внутрь до начала занятий, он застанет учеников из интерната за утренним завтраком, а вместе с ними обычно находятся их классные наставники.

Марк принялся бродить вокруг коллежа; все двери были на замке, но можно было попытаться перелезть через стену. Со стороны улицы ему не удалось найти подходящего места, однако перед соседним домом, который походил скорее на крепость, Марк заметил фонарь: воспользовавшись им, можно было перемахнуть через ограду. Не обращая внимания на прохожих, Марк полез наверх.

В двадцать пять минут восьмого, когда ученики из интерната сидели за завтраком, он уже был на территории коллежа. Он добрался до цели, потому что у него были сильные руки. Марк оглянулся на препятствие, которое только что преодолел. «Надо всегда быть в форме, — подумал он. — Каждую минуту теперь приходится рассчитывать на свои мускулы и рефлексy».

Медленно обошел он столовые. Добравшись до зала, где завтракали ученики младших классов, он уже начал было терять надежду. Ученики-пансионеры, вставая из-за стола, тихо переговаривались между собой. В этот момент Марк вдруг увидел того, кого искал. Ален Ланглуа, видно, не заметил его.

Марк тут же ретировался. «Задача выполнена!» — подумал он. Ему нужно было только выяснить имя классного наставника и предупредить Эдмонда Ривуара.

Ученики еще оставались в столовой, и Марк снова осторожно подошел поближе. Ален сидел за высоким столом рядом с аббатом Мартэном и дружески с ним беседовал. Аббат улыбался. «Какой лицемер! — подумал Марк. — Он, пожалуй, даже читает молитвы и крестится. Какую цель он преследует? Но его заставят заговорить!» Марк хотел подойти к ним и крикнуть: «Это коммунист, который шпионит за нами!» Но он

решил действовать осмотрительно. Надо сперва получить все нужные сведения, а затем, как только откроют двери, можно будет легко ускользнуть из коллежа. Было без четверти восемь...

По дороге к Эдмонду Ривуару юноша все время твердил про себя: «Поручение выполнено».

Эдмонд сидел за книгами, когда к нему приехал его друг.

— В чем дело?

Марк принялся согревать у радиатора руки: они у него замерзли, несмотря на рукавицы. Гордый тем, что так быстро выполнил задание, он медлил с ответом. Затем громко сказал:

— Студент, продававший вчера утром «Юманите» около Сорбонны,— классный наставник Ален Ланглуа. Со второго октября он ведет первый класс в коллеже святого Фомы Аквинского.

Ответ был четким и ясным, как рапорт вернувшегося из разведки офицера.

— Ты в этом уверен?

— Абсолютно.

— Его надо выгнать из коллежа,— уверенно заявил Эдмонд.

— Каким образом?

Отношения Марка и Эдмонда исключали бесполезные слова.

— Надо донести на него начальнику коллежа.

Слово резнуло слух Марка.

— Донести на него?!

— Конечно. А как же иначе? Может, у тебя есть другое предложение?

Марк быстро сообразил, что сам он ничего умнее не придумает.

— Я мог бы пойти к нему и сказать, что он разоблачен. Можно заставить его уйти из коллежа, а затем набить ему морду.

— Это только осложнит дело. Если он находится в коллеже святого Фомы, значит он там по заданию. Надо как можно скорее убрать его оттуда, чтобы он не приносил больше вреда.

— Правильно.

Затем Эдмонд сказал:

— Сегодня же утром ты должен добиться встречи с Галларом, объяснить ему, в чем дело, и даже потребовать, чтобы этот классный наставник был уволен. Если он коммунист, то он не католик. Значит, он лжет на каждом шагу, а ты знаешь так же хорошо, как и я, на что способен человек без чести и совести. К Галлару я могу пойти вместе с тобой. Он по-прежнему директор коллежа?

— Да. Но тебе не следует идти со мной. Я пойду один.

В дверь постучала мать Ривуара. Она вошла в комнату, извинившись, что побеспокоила их, и предложила им перекусить. Они согласились.

Марк, как он это делал всякий раз, посещая Ривуара, с чувством глубокого почтения принялся рассматривать шкатулку, в которой лежали ордена отца Эдмонда: орден Почетного легиона и Боевой крест. Над шкатулкой помещалась фотография: капитан Ривуар в форме офицера флота. В глубине, на верхней части корабля, была видна надпись: «Честь и родина». Рядом, под стеклом, можно было прочитать:

«Выписка из приказа по флоту.

Капитан Жан-Луи Ривуар, образцовый офицер, вдохновляемый высокой воинской доблестью, выполнил трудное поручение и задержал наступление превосходящего по численности противника. Находясь впереди своего отряда морских стрелков, он пал смертью храбрых под Дюнкерком 20 мая 1940 года, героически выполнив свой долг до конца».

К погруженному в раздумье Марку молча подошел Эдмонд. Отцу он был обязан своим большим авторитетом. Марк принимал на веру рассуждения Эдмонда о разгроме в сороковом году. Во всем был виноват

прогнивший режим: республика и ее союзники — коммунисты, евреи и англичане...

Каноник Галлар руководил коллежем святого Фомы Аквинского в течение двадцати лет. Анекдоты, которые о нем рассказывали, если и не вполне соответствовали действительности, то, во всяком случае, способствовали созданию легенд вокруг этого человека. Рассказывали, будто каноник однажды простил ученика-пансионера, пытавшегося перелезть через стену, потому что ученик в свое оправдание сказал, что шел на свидание с женщиной.

Сидя в приемной, Марк обдумывал, каким образом он доложит о случившемся. Он будет говорить сдержанно и отчетливо. В записке, в которой он просил принять его, он написал: «По срочному частному делу». Приемная была пуста: в половине одиннадцатого все были за работой.

Дверь открылась, и улыбающийся каноник Галлар появился на пороге. Юноша подошел к нему.

— Здравствуйте, Марк, в чем дело? Вы выросли с тех пор, как я вас видел в последний раз.

Марк кивнул головой в знак согласия.

— Как поживают ваши родители? Я слышал, что доктор Дюфур открыл собственную клинику. Передайте ему мои поздравления и пожелания успехов.

Разговор перешел на главное.

— Итак, мой мальчик, чем я могу быть вам полезен?

— Отец мой, я должен поговорить с вами о весьма щекотливом деле.

— Говорите, Марк, говорите.

Это было сказано сердечным тоном.

Ален Ланглуа, закрыв дверь на задвижку, работал в своей комнате. В промежутке между двумя уроками он погружался в свои книги, и это давало ему ощущение свободы. Потускневшее оконное стекло напротив стола скрывало от него вид улицы; через открытую форточку, под самым потолком, можно было видеть ржавые прутья.

В дверь постучали. Чей-то незнакомый равнодушный голос крикнул:

— Господин Ланглуа, господин директор просит вас к себе!

— Хорошо.

Неизвестный удалился.

«Что ему от меня надо?»

Обычно каноник вызывал к себе классных наставников по понедельникам, чтобы выслушать их отчет о положении в классах. Ален привел в порядок волосы, надел галстук: Галлар требовал от своего персонала соблюдения определенных правил. В коридоре он встретил другого классного наставника и спросил у него:

— Ты тоже к Галлару?

— Нет, а что?

— Он вызвал меня к себе. Интересно, зачем я ему понадобился?

— Должно быть, чтобы изменить твое расписание. На прошлой неделе он вызывал меня по этому поводу.

Звонко стуча каблуками по цементным плитам, Ален пересек пустые дворы. Когда он проходил мимо каморки консьержа, тот приветливо помахал ему рукой. Ален весело ответил ему: он начинал привыкать к коллежу. У него установились добрые отношения с привратником, и по вечерам, когда надо было выйти в город, Ален проходил, не предъявляя разрешения. Он быстро сошелся с обслуживающим персоналом, с теми, кто работал в столовых, кто убирал классы. Он вызывал их на разговоры, с удовольствием слушая их бесхитростные речи, которые в стенах коллежа святого Фомы Аквинского казались крамольными.

Ален постучал в дверь кабинета. Его заставили ждать минут пять. Затем дверь открылась. Перед ним был тот, кто вчера утром напал на него.

Марк Дюфур не опустил глаза. За письменным столом сидел неподвижно каноник Галлар. У него был строгий вид.

«Влип»,— подумал Ален.

— Садитесь, мсье Ланглуа. Вы знаете, зачем я вас вызвал?

Вопрос был задан для того, чтобы испытать Алена.

— Да, мсье.

— В таком случае дело упрощается. Марк Дюфур видел, как во вторник утром, у входа в Сорбонну, вы продавали газету, о которой, не покрывив душой, можно сказать, что она не является христианской.

Последовало молчание. Затем каноник Галлар продолжал:

— На бланке, который вы заполнили при поступлении к нам, написано: «Верующий католик». Это верно?

— Нет, мсье.

— Таким образом, вы нам солгали. Это очень важно.

Марк Дюфур рассматривал портреты прежних руководителей коллежа.

— Вы попали в этот дом благодаря ходатайству мсье Анри Аннекена. Разве вы не знали, что поступаете на работу в католический коллеж? Как член его персонала вы тем самым являетесь и его представителем. Мне трудно поверить, что вы продавали «Юманите» в Латинском квартале в свободные от работы дни. Вы молоды, Ален Ланглуа, и вы порядочный человек. Я оценил вас, ибо я наблюдаю за всем моим персоналом. Я мог бы уволить вас без объяснения причин, но мне хотелось, чтобы вы не остались в неведении и могли извлечь урок из случившегося. Почему вы продавали эту газету?

Ален продолжал хранить молчание.

— Вы могли заметить, что я говорю с вами, как отец, а не как начальник или противник. Здесь у нас вы имели кров, были сыты, вам платили. Вы думаете, что ваши идеи верны, и теряете из-за этого свое место. Но не ошибаетесь ли вы? В двадцать лет человек слишком молод, чтобы брать себе философию и твердо решить, что идеи миллионов людей неверны и что человечество две тысячи лет идет по неправильному пути. Я отказываю вам от места, Ален Ланглуа. Вы не можете оставаться здесь. Я не могу допустить, чтобы ученики, узнав о вашем поведении, перестали вам повиноваться. И я вполне пойму их чувства.

Ален сухо спросил:

— Когда я должен покинуть коллеж?

— Я даю вам срок до первого февраля. Подумайте над тем, что с вами случилось, и не обвиняйте в своих неприятностях других людей. Это было бы несправедливо, потому что ответственность за происшедшее полностью лежит на вас.

Каноник поднялся. Ален и Марк последовали его примеру. Галлар по привычке взял Алена под руку.

— Считаю долгом сказать вам, что я вас прощаю. Ваша жизнь была нелегкой, и вы взбунтовались. Но улучшилось ли от этого ваше положение? Вы сделали его еще более невыносимым. — Он внимательно посмотрел на молодого человека. — Я верил в вашу честность и теперь не думаю, что я ошибался. Вы должны как следует поразмыслить. О деталях вашего отъезда вам сообщит эконом.

Галлар направился к двери и с важным видом пропустил вперед Алена.

Кончено! Он больше не классный наставник в коллеже святого Фомы. Что делать дальше?

Консьерж, ни о чем не подозревая, спросил из своей каморки:

— Все в порядке, мсье Ланглуа?

— Все в порядке.

Дело обошлось без шума. Его выбросили из коллежа, где еще долго будут обучаться хорошо одетые и хорошо вышколенные мальчики. На стенах коридора, который выходил во двор, висели списки окончивших коллеж начиная с 1850 года. В этих списках встречались громкие имена. Через две недели Ален окажется за воротами, а на его место возьмут другого, более послушного классного наставника, который вместо него будет вести занятия. Куда деваться в середине года? Как найти комнату? Где жить? Он дорого заплатил за то, чтобы совесть его была чиста...

На просторных дворах играли и резвились ученики. Марк Дюфур, не замечая Алена, прошел мимо него. Ален сделал несколько быстрых шагов и, нагнав Дюфура, слегка ударил его по плечу. Марк обернулся и застыл как вкопанный. Не повышая голоса, в котором слышалась глубокая убежденность, Ален произнес:

— Вчера я назвал тебя трусом. Сегодня я могу добавить к этому и другое: ты не только трус, но и негодяй. Я презираю тебя.

Сказав это, он хотел было пройти, но Марк преградил ему дорогу.

— Кто бы говорил! — крикнул он.

Ален толкнул его, чтобы тот пропустил его, но Марк остался стоять на месте.

— Из нас двоих,— сказал он,— негодяй — это вы. В течение трех месяцев вы торчали в католическом коллеже и дурачили верующих людей.

Ален решил молчать: он не собирался драться, так как не хотел быть выгнанным на две недели раньше. Марк по-прежнему загораживал проход, и Ален сказал ему:

— Если ты хочешь затеять драку, то ничего из этого не выйдет. Тумаки, которые ты заслужил, ты получишь первого февраля и не здесь.

— Почему же не сейчас?

— Ах, вот что! Вы, сударь, уже добились того, что мне отказали от места и что мои занятия сорваны. Но вам хочется еще, чтобы меня выгнали немедленно. Нет, сударь, не выйдет!

Думая, что Ален струсил, Марк дал ему пройти.

Но, размышляя над тем, что произошло, Марк стал сомневаться: этот Ланглуа смело сопротивлялся у дверей Сорбонны, не хныкал, узнав о том, что его выгоняют из коллежа, и по тону его голоса чувствовалось, что его нельзя поставить на колени.

Он вспомнил последнюю фразу Алена по поводу сорванных занятий, вспомнил слова Галлара, который считал этого коммуниста заблуждающимся бедняком. Марку не приходило раньше в голову, что его противник мог оказаться в коллеже только для того, чтобы заработать на кусок хлеба. Его донос, несомненно, сильно повлияет на судьбу этого парня. И опять это слово испугало его: он на кого-то донес! Вместо того чтобы действовать один на один, на свой страх и риск, он прибегнул к помощи махинаций, против которых Ален Ланглуа был бессилён, Марк был одним из тех, кто во время игр, требующих силы и ловкости, всегда борется честно: один на один или один против нескольких. Он презирал всякого рода нечестные приемы, и теперь ему стало казаться, что в течение двух последних дней он поступал неправильно: вчера они шестером напали на Алена, сегодня он донес на него.

Марка всегда беспокоило, как выглядят его поступки со стороны. Оскорбительные слова, сказанные этим Ланглуа, больно задели его: он начал понимать, что в них была доля истины. По всей вероятности, Эдмонд Ривуар будет говорить, что таковы законы войны: с противником надо бороться действительными методами. Против этого ничего нельзя возразить, но это не успокаивало совесть Марка. Он пытался утешиться тем,

что думал о драке, которую ему пообещал Ален на первое февраля: «Ведь драться мы будем один на один».

Марк даже по-рыцарски отказался от помощи своих приятелей, когда те предложили ему пойти вместе с ним и отколотить этого коммуниста Ланглуа. Так он снова обрел душевное равновесие.

* * *

Ален ложился спать, когда пришел Жан и рассказал ему подробности своего посещения Перро. Утром Ален еще раз просмотрел расписание своих занятий на понедельник: два часа французского языка, потом история и география. Он замещал преподавателя, который взял длительный отпуск по болезни. Новая работа нравилась Алену, и он даже радовался теперь, что покончил с коллежем святого Фомы Аквинского. Ученики были в большинстве детьми рабочих — простые, прямодушные, немного грубоватые на язык. С первых же уроков он стал им говорить «ты». После лицемерной вежливости, царившей в коллеже, было так приятно сказать: «Иди к доске», или по-отечески отвесить звонкий шлепок в качестве наказания. Директор предупредил его: «Наши ребята — из самых скромных и малообеспеченных семей. Дома им никто не может помочь. Они поступают к нам прежде всего затем, чтобы за три года приобрести специальность. Поэтому очень часто такие предметы, как история, их не интересуют. Вам придется трудно, особенно с выпускными классами. Вы еще очень молоды, и я опасюсь, удастся ли вам что-нибудь с ними сделать».

Несмотря на это скептическое предупреждение, Ален со всем жаром отдался своей новой работе. Что, учеников не интересуют французский и история? Ну, это мы еще посмотрим! Он подбирал тексты, фотографии, коротенькие рассказы. В программе было сказано: «Класс надо заинтересовать и заставить его думать». Ален был уверен, что он этого добьется. Он относился к делу, как к особому заданию: он должен стать учителем этих детей эксплуатируемых, сделать из них рабочих, сознающих свои права, свою роль и свои силы. Другие преподаватели говорили о нем: «Надо быть безумным, как он, чтобы во все это верить!» И с усмешкой добавляли: «Все скоро пройдет, его пыла надолго не хватит». Но это говорилось больше для красного словца: новые коллеги Алена были хорошими воспитателями, честно относились к своему делу, желали добиться хороших результатов. Они дружески встретили Алена, да и ему было с ними легко и свободно. В коллеже классный наставник был одинок, изолирован от других. Здесь же молодой человек чувствовал себя на равной ноге со всеми. Лесоль и Дениза Люка были всего лишь несколькими годами старше его. Нередко после занятий они шли втроем к станции Буа-Коломб, говорили о своих учениках, спорили о политике. Это было одной из новых радостей Алена: он мог свободно высказывать свои идеи, не опасаясь аббата Мартэна и его слежки. Быстро промелькнули две первые недели. Он уже знал многих учеников по имени и гордился, когда по утрам, подходя в четверть девятого к дверям училища, видел, как ребята расступаются перед ним, пряча в кулаки свои сигаретки, и звонко приветствуют его:

— Здравствуйте, мсье!

Значит, они привязались к нему. Для Алена их приветствия и улыбки были больше, чем простые знаки уважения, — он видел в них одобрение своих политических взглядов.

Начав работать в училище, Ален, однако, нисколько не замедлил темпа своих собственных занятий: шесть часов истории в день во что бы то ни стало! Он вкладывал в это энергию, которую считал обязательной для героя социалистической революции. Приходилось вставать в три

часа утра. Чтобы услышать будильник, Ален ставил его возле самого уха, и вечером, ложась спать, повторял себе несколько раз: «Ты встанешь в три часа. Так нужно». Временем приходилось дорожить больше всего, и он старался использовать каждую свободную минуту. В метро он читал «Юманите», планы предстоящих уроков просматривал в поезде, по дороге в училище еще раз заглядывал в газету, тетради проверял на переменах. Он был счастлив, когда, переступая порог училища, мог сказать себе: «Я уже работал четыре часа». Самое трудное время наступало в послеобеденные часы, когда в душных классах он мучительно боролся с рассеянностью учеников и со своим собственным смертельным желанием заснуть. Возвращаясь домой, он выпивал чашку очень крепкого кофе, съедал немного фруктов и потом читал до восьми часов. Укладываясь спать, он думал только об одном: завтра надо рано вставать. Он завел «график работы», где каждую неделю отмечал, сколько часов он занимался историей. Если прямая линия стремительно поднималась к сорока часам, он торжествовал — это была его победа. Он показывал график Жану, и тот говорил ему:

— Ты сошел с ума, так и ноги протянуть недолго. Вот и пропадут все твои труды даром!

— Ну нет, я крепкий парень. Я выстою, потому что так нужно. Привет! Я отправляюсь спать, завтра встаю в два...

Он старался, как русский стахановец, побить свой собственный рекорд, но иногда кривая на графике беспощадно пикировала вниз. Достаточно было два раза подряд не услышать будильника, как все оптимистические расчеты рушились. Ален встречал Жана с расстроенным видом и грустно признавался:

— Я отстаю, я не выполняю своего рабочего плана.

— Тем лучше, это значит, что ты отдыхаешь.

Ален сердился:

— «Отдыхаешь»?! Мне жаль, что приходится спать. Побеждает тот, кто упорно работает; труд — это секрет гения...

Что поделаешь — ведь действительно так мало времени. Из-за работы в училище он даже не смог пойти тридцать первого марта на большую студенческую демонстрацию, требовавшую увеличения бюджетов на народное образование. Товарищи рассказывали Алену, что демонстрация была весьма внушительной. Полиция не вмешивалась, и народу было так много, что на дворе Сорбонны все не могли уместиться. Алену пришлось довольствоваться лишь восторженными рассказами, и это задевало его за живое. Впервые после своего вступления в партию ему пришлось пропустить собрание ячейки. На этой неделе он присутствовал на собрании, но прения затянулись до полуночи, и до воскресенья он был выбит из своего рабочего графика. Вести общественную работу становилось все труднее, тем более что приближались экзамены...

..*

Они договорились встретиться в кафе «Капулад», которое находится на углу улицы Суффло и бульвара Сен-Мишель. Недавно начался новый учебный год, и студенты, заполнявшие кафе, оживленно болтали друг с другом. Все столики на застекленной террасе были заняты, и Кристиане пришлось подсесть к двум огромным африканцам. Те попытались завязать с ней знакомство, но она отвернулась, и они больше не решились заговорить с нею. Она терпеть не могла, когда ей приходилось ждать, потому что с нею всегда сейчас же начинали заговаривать, а это ей не нравилось: кто бы это ни был, она стояла большего, чем две-три фразы, произнесенные каким-нибудь незнакомцем. Поль обещал ей прогулку в машине, обед и театр. Программа была приятной, но он не должен был опаздывать.

Она стала рассматривать публику и решила, что из всех присутствующих в кафе женщин она самая красивая. Это привело ее в хорошее расположение духа, и, когда появился Поль, она встретила его улыбкой. На нем был синий костюм, и она нашла, что он выглядит очень элегантно.

— Извини меня, я не мог взять машину.

— Почему?

— В самый последний момент машина почадобилась отцу и... — Он замялся.

— И что?

— Сегодня вечером у нас ничего не выйдет. Отец пригласил крупного заказчика и хочет меня обязательно представить ему...

Это уже было слишком. Мало того, что он заставил ее дожидаться, он еще и не выполняет своих обещаний.

— Ты меня очень порадовал. Благодарю от души... — Она встала и сухо добавила: — Всего наилучшего. Сегодняшний вечер я проведу без тебя. Разрешаю тебе оплатить мой счет.

Когда она шла к выходу, следом за ней несло восхищенное пошвытывание. Она чувствовала, как смотрят на ее ноги, и инстинктивно изогнула талию. Хорошо, что Поль не пошел за ней. Ей в конце концов надоело, что он всегда, как маленький ребенок, слушается своего отца.

«Подумаешь, папочка сказал: оставайся ужинать! И вот все летит кувырком!»

Ее гордость была уязвлена. Поведение Поля казалось ей особенно возмутительным, потому что все кругом откровенно восхищались ею.

Кристиана знала, что она красива и соблазнительна, и терпеть не могла невнимания. Она шла по бульвару, и каждый ее шаг сопровождался пристальными взглядами мужчин. То же самое было и в Латинском квартале. Она остановилась перед витриной магазина мод: какие шикарные косынки были там выставлены!

Как ей провести сегодняшний вечер? И зачем она только согласилась на свидание с этим дуралеем? После каникул они встречались редко, и теперь он не скоро увидит ее снова. Тем более что в нем нет ничего особенного.

«Я слушаюсь папочку и мамочку, вот как!» — мысленно передразнила она Поля и невольно улыбнулась, хотя умела скрывать свои мысли.

Целое лето он морочил ей голову путешествиём в Италию, в автомобиле своего отца, потом стал оправдываться: папенька не соизволил дать согласие. Кристиане пришлось уехать в провинцию к матери и там во всем ее слушаться. Мадам Монтель не скрывала от своей дочери, что надеется вторично выйти замуж. При этом она намекала, что и Кристиане необходимо последовать ее примеру.

— Есть ли у тебя настоящий поклонник? Ну, более или менее серьезный и постоянный? — спрашивала она.

Кристиана отвечала уклончиво, но мать продолжала вести разговор в том же духе:

— Ты знаешь маленькую Шанталь? Ну, конечно, ты ее знаешь, ведь ты же играла с нею в детстве. Так вот, она вышла замуж за инженера. Я была приглашена. Как все было обставлено! — Затем она продолжала все в том же доверительном тоне: — Ее родители очень довольны. Знаешь, нелегко ведь иметь дочь на руках! Все время спрашиваешь себя: что же с нею будет?

Мадам Монтель добавила к этому, что одна студентка, вышедшая замуж за морского офицера из очень хорошей семьи, через два месяца после свадьбы овдовела. При этом мать Кристианы выразительно развела руками, словно гадалка, предсказывающая самое радужное будущее. Вре-

менами мадам Монтель была противна своей дочери. Девушка хорошо понимала те мысли, которые ее мать не смела высказать открыто: «В твоём возрасте я не хочу больше тебя содержать».

И Кристиана с горечью, молча выслушивала все эти лицемерные намеки — она не могла ответить так, как ей этого хотелось: «Держи свои деньги при себе, я выпутаюсь и без твоей помощи». Пока она ничего не зарабатывала, мать была ей нужна.

Когда девушка начинала размышлять о своем будущем, ей становилось совершенно ясно, что она никогда не согласится стать продавщицей или машинисткой. Но было также ясно, что маменькин сынок Поль не женится на ней.

Вернувшись в сентябре в Париж, Кристиана принялась самостоятельно устранивать свое будущее. Она аккуратно посещала занятия в драматической школе, полагая, что на этом пути у нее больше всего шансов преуспеть. Ей казалось, что она обладает капиталом, имеющим первостепенное значение: у нее хорошая фигура и она далеко не глупа для актрисы. Она не порывала с Полем, от которого был иногда кое-какой прок: с ним можно было пойти в ресторан или в театр. Но все чаще и чаще она замечала, что имеет дело с мальчишкой, который связан своей семьей и посещением лекций. Нет, он не был энергичным дельцом, в котором она так нуждалась. Сегодняшний испорченный вечер окончательно убедил Кристиану, что ее друг — тряпка.

Кристиана шла быстро, как бы желая наверстать время, которое она потеряла, ожидая Поля. Иногда ее охватывало тревожное чувство — ведь дорога каждая минута, а она уже три месяца как в Париже и, несмотря на твердое решение, до сих пор так и не смогла отказаться от помощи матери. Раз в неделю, начиная с сентября, мадам Монтель посылала ей пространные неуклюжие письма, наполненные рассуждениями о трудностях жизни и заверениями в материнской любви. Она надеялась выйти замуж весной. «Как бы мне хотелось, чтобы у тебя было твердое положение, и мсье Ваден такого же мнения», — писала мадам Монтель. «Это значит, — подумала Кристиана, — что мой будущий отчим и слышать обо мне не хочет». Она пришла в великое негодование и устроила сцену мадемуазель Легран — своей тетушке.

Кристиана перечитала письмо, и в ней вспыхнула решимость: она во что бы то ни стало добьется успеха и в один прекрасный день на глазах у матери порвет присланные ею деньги. Если она их просто вернет, мадам Монтель этому только обрадуется. Кристиана, забывая о действительности, заранее радовалась тому, какое растерянное выражение лица будет у матери. Но действительность оставалась действительностью, то есть жалкой комнатой, где спала Кристиана; костюмом, жакет которого уже вышел из моды; обувью, которая никак не отвечала ее вкусу; вечерним платьем, которое было только мечтой, и бестолковой иссохшей теткой, которая иногда отчитывала свою племянницу. Когда Кристиана начинала думать о своей жизни, ей становилось страшно — слишком велико было расстояние между тем, что ее окружало, и тем, к чему она стремилась.

Письма матери открыли ей глаза. До сих пор она жила, не думая о завтрашнем дне. У нее была крыша над головой, свободное время, чтобы встречаться с молодыми людьми, она посещала драматическую школу, и ее красота искупала недостатки ее туалета. Но не всегда же ей будет двадцать лет. «Что ждет меня впереди?» — думала она с ужасом. Неудачный роман с Аленом навел Кристиану на мысль, что добродетельные студенты — народ никчемный и что с ними только чувствуешь себя не в своей тарелке. Но она упрекала себя и за свои легкомысленные проделки. Конечно, после них оставались приятные воспоминания, но ника-

кой осязаемой выгоды. Когда Кристиана вспоминала грязную комнату Пьера, она думала о том, что комфорт может возместить очень многое. Теперь, размышляя о будущем, она злилась на себя за то, что ради красивого юноши понапрасну теряла столько времени и расточала зря столько улыбок. Даже с Полем она поддалась соблазну — правда, дело здесь решили скорее его манеры, его машина и перспектива разбогатеть.

Кристиана знала, что угрызения совести ей чужды и что она имеет право распоряжаться собственной судьбой. Однако, придя к таким выводам, она все же упорно продолжала искать работу. Найти ее вначале казалось делом нетрудным: в драматической школе нередко велись разговоры о блестящих успехах молодых дебютанток, на которых в свое время обратил внимание какой-нибудь известный режиссер. Рассказывали о баснословных гонорарах очаровательных актрис. Кристиана была убеждена, что стоит ей только захотеть, и она получит то, что ищет. Но прошел сентябрь, и мечты ее потускнели. Режиссеры сами не приходили в драматическую школу, а присылали вместо себя своих ассистентов. Ассистенты же имели дело с теми немногими девушками, на которых им указывал мэтр, что определялось количеством частных уроков, даваемых мэтром своим ученицам. Но где взять деньги на частные уроки, если ты их не зарабатываешь? Это одновременно было правдой и оправданием.

Кристиане необходимо было упорно работать над собой, но приятное безделье, которому она предавалась последние два года в Париже, не прошло даром и наложило на нее свой глубокий отпечаток. Вместо того чтобы учиться, она бродила по киностудиям в поисках небольшой роли. После длительных, но безуспешных скитаний она пришла к выводу, что сделала все от нее зависящее, забыв при этом о необходимости заниматься дикцией и часами читать вслух, запершись в своей комнате. Кристиана возлагала надежды на свой инстинкт и свою красоту: грустно, когда в двадцать лет приходится сидеть взаперти, заучивая наизусть нелепые стихи! Расхаживая по комнате с книгой в руке и перечитывая текст дватри раза подряд, Кристиана начинала задыхаться. Она бросала книгу, высовывалась из окна и погружалась в мечты о вечернем платье, в котором она будет появляться в обществе. Затем она усаживалась перед зеркалом, поправляла прическу и, вздохнув, принималась декламировать отдельные строки. Почему всегда выбирают самые глупые стихи? Кристиана перелистывала страницы, находила более интересные вещи, начинала их читать, потом резким движением закрывала книгу: хватит на сегодня.

Обретя вновь хорошее настроение, она начинала одеваться. Наконец-то пришло время для настоящей жизни. Кристиана никогда не выносила послушания, и с детства, после того как умер ее отец, она поступала, как ей заблагорассудится. Теперь она думала, что в ее возрасте смешно привыкать к трудностям и невозможной медлительности учебы. После отъезда из Нанси в Париж независимость полюбилась ей еще больше; она понимала ее прежде всего как удовлетворение всех своих желаний и прихотей. Кристиана встречалась с Полем, с Пьером или с Рене, после того как они, кончив свои дела, могли развлекаться в ее обществе. Она видела их только в обстановке праздника, на солнечных площадках открытых кафе, во время прогулок на автомобиле, на обедах и вечеринках. Так у нее сложилось мнение, что жизнь состоит из одних развлечений. Ален попытался раскрыть ей глаза на окружающую действительность, но было уже слишком поздно. Какая скука, когда говорят о бедности, когда без конца рассуждают о неприятных сторонах жизни и тычут вас носом в язвы большого города. До сих пор Кристиана ничего этого не видела; после знакомства с Аленом она поклялась никогда на это не смотреть. На что ей все это нужно?..

Хлопья падавшего сверху снега, прежде чем растаять, застревали в бороде старика, который лежал на решетке метро в Сен-Жерменском квартале, пытаясь обогреться в струе воздуха, несущего скудное тепло из подземного туннеля. Разве Кристиана была в этом виновата? Нищие были до ее рождения, они будут и после ее смерти. Просто глупо заниматься ими. Это делают только те, у кого нет никаких других интересов, то есть глупцы. И Алэн тоже глупец. Чем больше Кристиана познавала жизнь, тем больше источников радости и удовольствия она открывала в ней. Нужно только иметь деньги, чтобы добраться до этих источников. О, будь у нее богатство, она сумела бы им распорядиться! Кристиана мечтала о вилле на Лазурном берегу, где она смогла бы проводить зимние месяцы, нежась в шезлонге под лучами ласкового солнца, мечтала об открытом автомобиле, который за один час перенес бы ее к зимним пейзажам. В ее воображении рисовались танцы до рассвета в веселом кабаре, красивый поклонник и домик в горах, где стены увешаны медвежьими шкурами. Кристиана, размечтавшись, сладко потягивалась. Мадемуазель Легран, видя, что племянница зевает, спрашивала ее:

— Ты хочешь спать?

— Нет, — отвечала Кристиана, качая головой.

Когда она думала о роскоши, то чувствовала себя кошкой, подстерегающей добычу. Иногда в ее мечты врвался образ Алена. Сама того не желая, она думала о нем, как о смертельном враге. Мысленно она вступала с ним в споры, и ей доставляло удовольствие говорить ему неприятные вещи. Отложив в сторону книгу, она проводила так часы, предназначенные для работы. Перед ней вдруг возникал образ Алена, и она кричала ему:

— Да, когда я буду богатой и старой, я возьму на содержание студента...

После радужных картин, которые рисовались ее воображению, окружающая действительность казалась ей особенно жалкой, и она с тревогой думала о будущем. Она не верила больше в те басни, которые рассказывались в драматической школе, но все-таки ей хотелось верить, что милостивая судьба поможет ей добиться своего счастья. Мать Кристианы познакомила ее с другом господина Монтеля мсье Лефевром, и девушка возлагала на него большие надежды: он вел театральный раздел в одном еженедельнике. Теперь, отказавшись от одной иллюзии, она хваталась за другую, которая не давала ей отречься от надежды на легкий успех.

Однако, когда она в начале октября зашла к Лефевру, оказанный ей прием не был обнадеживающим. Лефевр много говорил об отце Кристианы, часто прерывая разговор, чтобы куда-то позвонить по телефону. Он занимался организацией театральных представлений, и показался Кристиане очень важной персоной. Особенное почтение внушало Кристиане то, что у него была секретарша, вводившая к нему в кабинет посетителей. Когда Кристиана заговорила наконец о цели своего прихода, Лефевр отрицательно покачал головой, как бы не советуя ей вступать на этот путь; потом, видимо, передумал, и его выразительная мимика, складки на лбу и сдвинутые брови дали ей понять, что он немедленно займется этим вопросом. Вытянув губы и склонив набок голову, он сказал, что здесь нет ничего особенно невозможного.

— А почему бы и нет? Я могу попросить Лемкина, он работает на телецентре. Да! Почему бы и нет? Позвоните мне — может быть, я сумею что-нибудь для вас подыскать.

Он положил ей руку на плечо и по-отечески стал подталкивать ее к двери.

— Передайте мой привет мадам Монтель.

Этот визит вселил в Кристиану большие надежды, и в своих мечтах она видела уже себя звездой телеэкрана. Но после свидания с Лефев-

ром никаких изменений в ее жизни не произошло. Когда Кристиана позвонила ему, он ей сказал:

— А, это вы! Лемкина я еще не повидал. Позвоните мне через неделю.

В следующий раз он объяснил ей:

— Лемкин сейчас занят.

Наконец, в конце ноября, когда Кристиана опять позвонила ему по телефону, секретарша, немного помолчав, ответила ей:

— Очень сожалею, но мсье Лефевра сегодня нет.

Кристиана ей не поверила. Первое, что пришло ей в голову, это никогда больше не иметь дела с этим господином, который, конечно, ни с кем не поговорил о ее делах. Но потом она изменила свое решение: чего может она добиться без поддержки? Поэтому Кристиана решила надоедать Лефевру до тех пор, пока он не замолвит за нее словечко, которое изменит ее жизнь. Так как ей опять сказали по телефону, что журналист в отъезде, Кристиана решила занести ему еще один визит. Печатавшая на машинке секретарша попросила посетительницу подождать, и Кристиане начало казаться, что она просто над ней смеется. Это была худая, высокая, широкогрудая девица с очками на носу; Кристиана отомстила ей тем, что начала бесцеремонно разглядывать ее: будучи красивой, она откровенно выражала свое презрение к этой уродливой канцелярской крысе.

После десяти — пятнадцати минут ожидания секретарша, которая несколько раз заходила в кабинет своего патрона, дерзко сказала Кристиане:

— Мсье Лефевра нет.

И на ее губах появилась отвратительная улыбка.

— Благодарю, — едва выдавила из себя Кристиана.

Сидя в приемной, она слышала телефонные звонки и голос Лефевра. Его поведение означало только одно: «Мадемуазель, вы мне надоели». Кристиана, словно почувствовав пощечину, сжала кулаки.

На улице за ней увязался какой-то молодой бездельник и пытался с ней заговорить.

— Мсье, вы когда-нибудь получали по физиономии? — сказала ему Кристиана.

Молодой человек сразу же от нее отстал. Кристиана остановилась, чтобы напудриться: от бешенства она вспотела.

Шли дни, а она не знала, что предпринять, и даже подумывала о том, чтобы все-таки попытаться женить на себе Поля. Но эти планы недолго занимали ее воображение: семейная жизнь, даже с богатым мужем, казалась ей не очень соблазнительной, а Поль к тому же, по мнению Кристианы, был «слишком буржуазен». Когда он назначил ей по телефону свидание в кафе «Капулад», она приняла его приглашение, но выходка Поля окончательно убедила ее в том, что муж с таким характером ей не подходит.

На следующий день она попросила нужные адреса у своего педагога, и он посоветовал ей обратиться к директорам театров. Целую неделю Кристиана следовала совету своего мэтра, но успеха не имела: ей повсюду отвечали, что распределение ролей уже окончено или что для нее нет подходящей роли. Подруга по драматической школе подсказала Кристиане, чтобы та обратилась в мюзик-холлы, которые часто ставят скетчи. В первом же мюзик-холле ее довольно любезно принял некий мсье Даллиде. Одет он был с большим вкусом, и если бы не свернутый нос и пожелтевшие зубы, то его можно было бы назвать довольно интересно мужчиной. Он держался весьма сдержанно и принялся расспрашивать Кристиану о ее жизни. Затем попросил девушку встать и показать свою фигуру. Его просьбу Кристиана выполнила изящно и непринужденно.

— Вы хотите работать, мадемуазель?..

— Монтель,— подсказала она.

— Хорошо. У меня нет ничего подходящего, но я могу, — он остановился и пристально посмотрел ей в глаза,— я могу устроить вас статисткой в кино...

Кристиана молчала. Сухая почтительность директора после этой фразы выглядела довольно двусмысленно. Кристиана чувствовала, что в наступившей тишине на нее бросают взгляды, значение которых ей было совершенно ясно: она привыкла к таким взглядам. Она небрежно положила ногу на ногу, слегка вздернув юбку.

Директор написал несколько слов на своей визитной карточке и протянул ее Кристиане.

— Попросите этого господина от моего имени: он мой друг. И приходите ко мне, я буду вас ждать. Это в ваших же интересах, — добавил он любезно.

Прошаясь, он задержал в своей руке руку Кристианы, и она подумала, что ладонь у него неприятно влажная.

На улице девушка улыбнулась. Она была довольна собой и тем, как распорядилась со своей юбкой. Вот что имеет значение для мужчин! От них можно получить все, давая взамен совсем немногое.

Мадам Монтель часто говорила, что все они глупы. И ее дочь только что смогла в этом лишний раз убедиться. Сцена, которую она разыграла в кабинете директора мюзик-холла, привела ее в веселое расположение духа, словно удавшаяся детская шалость. Определенно она должна быть благодарна матери за свою наружность: это стоило целого наследства. Ее карьера начиналась неплохо. Она будет работать в кино.

С визитной карточкой, игравшей роль рекомендательного письма, Кристиана явилась на киностудию в Булонь-Билланкур. Но все складывалось не так легко, как она предполагала. Ее ввели в кабинет режиссера, и когда тот взглянул на визитную карточку, то пожал плечами.

— Весьма любезно со стороны мсье Даллиде, — сказал этот еще довольно молодой человек.— Однако у меня есть определенный штат статисток. Жаль, что вы не пришли неделю тому назад. Видите ли, быть статисткой — это уже профессия. У меня есть списки, и по ним я рассылаю извещения.

Он повертел в руках визитную карточку, затем добавил:

— Оставьте мне ваш адрес. Если кто-нибудь не явится, я вызову вас. Впрочем, обещать мне твердо не могу.

Она поблагодарила и, обескураженная, вышла на улицу: приняли ее холодно и ничего ей не обещали. Кристиана подумала о том, чтобы еще раз зайти к мсье Даллиде, но, вспомнив о его пристальном взгляде, передумала. Ей хотелось поиграть с ним, подразнить его, а ее вторичный визит может быть им истолкован превратно.

«Что редко встречается, то дорого стоит», — подумала она.

Такие малопривлекательные приемы лучше сохранить для решающих моментов, тем более что Даллиде ей не нравился.

Кристиана решила выждать. Через три дня она получила по почте извещение киностудии; в нем было сказано, что ей надо явиться к двенадцати часам дня в кафе «Монмартр» одетой в вечерний туалет. Кристиана взяла напрокат платье и в десять часов утра была уже полностью готова. Затем она принялась вертеться перед зеркалом, вызывая восхищение тетушки — мадемуазель Легран. Племянница принимала это как должное: ведь она была красива. Черный атлас подчеркивал белизну кожи, платье хорошо обрисовывало высокую грудь и тонкую талию, спина и красивые плечи были обнажены. Мадемуазель Легран принималась несколько раз целовать свою племянницу. Подкрасив губы и напудрив лицо, Кристиана

вдруг решила, что она опаздывает, и заторопилась; мадемуазель Легран пришлось бежать за такси.

К месту съемок она приехала без десяти двенадцать, но застала там одних только электромонтеров, которые устанавливали прожекторы по четырем углам кабаре. После лихорадочных приготовлений девушка очутилась в пустом маленьком зале. Она спросила у рабочего в комбинезоне, когда начнутся съемки, и тот ей небрежно ответил:

— Мы должны быть готовы к часу, но чего стоит наше расписание!

Он сделал рукой жест, который выражал полную неуверенность. Кристиана присела к столику и принялась ждать. Как это было трудно! Она ругала себя за свое пылкое воображение, смеялась сама над собой: ей хотелось верить, что она уже кинозвезда, а на самом деле она только ничтожная статистка. Вокруг танцевальной площадки сверкали зеркала, украшенные амурами, которые направляли свои стрелы на танцующие пары. И все же она хороша собой, и это платье ей очень к лицу! Кристиана решила, что здесь не так уж плохо. Она сделала несколько шагов. Да! Она создана для того, чтобы носить это платье, чувствовать, как оно нежно облегает ее тело. Она разыграла сама перед собой небольшую сценку: закурила сигарету, закинула ногу на ногу. Неплохо когда-нибудь провести вечер за этим столиком, на котором будет стоять ледяное шампанское, а потом пройтись по залу, вызывая всеобщее восхищение. О, она знает, как этого достигнуть: достаточно ей зайти еще раз к Даллиде или сказать ему по телефону несколько ласковых слов...

— Фи! — сказала она, смеясь.

При ее данных не так уж трудно стать кинозвездой, не прилагая к этому особых усилий. Напрасно она волновалась. Кристиана еще раз взглянула на себя в зеркало: ее внешность — это волшебная палочка, которая может дать ей очень много.

— За вас надо дорого платить, мадемуазель, — сказала она вполголоса своему изображению, и от этих слов у нее закружилась голова. Она была смела и независима, у нее не было предрассудков, и она шла в ногу со своим временем. Нет! Она не кончит так, как ее тетка.

Постепенно собрались все: актеры, статистки, режиссер. Он отдал последние распоряжения, потом сказал:

— Предупреждаю: вы здесь для того, чтобы работать. Больше я повторять этого не буду. Те, кто плохо слышит, могут уйти отсюда.

Кристиана оказалась за одним столиком с лысым мужчиной лет шестидесяти, одетым в вечерний костюм. Она подумала: «Какой он старый!» Мужчина держался с достоинством, ассистент громко его окликнул:

— Эй, старый красавец, здесь веселятся! Так смейтесь же, черт возьми, смейтесь!

Партнер, изобразив на своем лице улыбку, устало сказал Кристиане:

— Чего только не приходится делать, чтобы заработать на жизнь.

Кто-то подошел к ней и, не спрашивая ее согласия, повернул ее голову в сторону:

— Оставайтесь в таком положении.

Затем оркестр заиграл, и им пришлось танцевать.

Во время танцев Кристиана заметила двух освещенных прожекторами актеров, разговаривающих друг с другом.

Ее партнер спросил:

— Вы снимаетесь первый раз?

— Да.

— Это тяжелая работа. Существовать можно, но на душе от нее тяжело. Из вас делают часть декорации, и все. Мы только маски. Выдвигаться трудно: я этим ремеслом занимаюсь тридцать лет. Впрочем, вы красивая девушка, может быть, вам повезет больше, чем мне.

Их заставили снова повторить то же самое. Было невыносимо жарко, шумно, свет резал глаза; так продолжалось до восьми часов вечера. Когда они уходили из кабаре, каждому из них вручили по конверту, где лежали две тысячи франков: ровно столько, чтобы заплатить за платье, взятое напрокат, и за такси!

То, что Кристиана предчувствовала, ожидая начала съемки, оказалось верным: роль статистки ее не устраивала. Влачить свою жизнь в тени, отбрасываемой кинозвездами, позволять ассистентам толкать тебя, как им вздумается, и получать за все это гроши — ну, нет! Она стояла большего. Кристиана ничего не сказала тетке о постигшем ее разочаровании, но на следующий день позвонила господину Даллиде. Разговаривая с ним по телефону, она вынуждена была пустить в ход кокетских, и это было ей неприятно. Ее фамилия не вызвала у директора никаких воспоминаний, и Кристиане пришлось напомнить ему о своем визите и о работе статистки, которую она получила благодаря его рекомендации.

— А, теперь я вспомнил!

Он извинился: у него слишком много всяких дел. Потом заботливо осведомился:

— Вы остались довольны?

— И да и нет, — отвечала Кристиана.

— Вы свободны сегодня вечером? Хорошо, зайдите за мной, может быть, мне удастся для вас что-нибудь сделать.

Она согласилась. Как все оказалось просто: стоило сказать только несколько слов! Кристиана готовилась к этой вечерней встрече, как к решающей схватке. Все-таки какой волнующей жизнью она живет! Ей предстоит встретиться лицом к лицу с этим человеком, перехитрить его, заманить в свои сети, внушить ему надежды и ничего при этом не дать. Она поставит его на колени, и он, покоренный, будет молить у нее любви и доставать для нее роли, а потом она бросит его и в обмен на один поцелуй и невыполненные обещания получит славу и богатство. Все кинозвезды начинали так, и не надо быть глупее других.

Ей не пришлось долго ждать. Господин Даллиде вышел из дверей с улыбкой на губах, обнажившей его желтые зубы. Кристиану поразил его фамильярный тон, который так отличался от его сухого обращения во время их первой встречи. Он сильно сжал ее руку выше локтя и увлек за собой.

— Итак, вы снимались в кино? Это уже дебют.

— Вы так думаете?

— Ну, конечно!

— Мюзик-холл, должно быть, гораздо интереснее, — сказала она.

Он погрозил ей пальцем.

— Вы хотите получить все сразу. Надо уметь ждать и уметь заслужить.

Он наклонился к ее уху и сказал то же, что говорил по телефону:

— Может быть, я смогу кое-что для вас сделать.

Ударение он сделал на «может быть».

Они шли по улице, и Кристиана чувствовала себя немного неловко в обществе человека, у которого, хоть он и не отличался уродливостью, было какое-то смешное лицо. «Какой у него ужасный нос!» — подумала она.

— Сегодня мы пообедаем вместе, да?

Кристиана изобразила удивление на лице, которое, впрочем, вполне соответствовало ее чувствам: она и не предполагала, что дело пойдет так быстро. В машине господин Даллиде заговорил о театральной постановке одного своего друга: для этой постановки потребуется много статисток.

— Статисток? — переспросила Кристиана.

— Видите ли, моя крошка, нельзя начинать с главной роли.

Даллиде произнес эту фразу в очень дружелюбном тоне. Когда машина остановилась, он положил руку на спинку сиденья, совсем близко от плеча Кристианы.

Аперитив они пили в большом кафе, и он рассказывал ей всякие смешные истории. Голос у него был твердый, и легко можно было понять, что он хорошо знает, чего хочет. Кристиана почувствовала страх: чем кончится сегодняшняя вечер? Ну что ж? Скоро она это увидит. К чувству страха примешивалось любопытство.

В итальянский ресторап, недалеко от театра «Опера», они прошли пешком. Им подали национальные кушанья; розовое вино искрилось в бокалах. Господин Даллиде очень удачно изображал итальянца, разговаривающего по-французски, рассказывал о Риме и Флоренции и каким-то неестественным тоном заказывал официанту новые блюда. Кристиана отметила про себя, что с ним произошла заметная перемена. Он хотел казаться простодушным, пытался подражать неиссякаемому веселью молодости, но все это выглядело жалкой карикатурой. Он чем-то напомнил ей Рене и Пьера, и она в душе пожалела, что их двадцатилетний возраст не наделил их ничем, кроме способности звонко смеяться. Несколько раз она мысленно назвала своего кавалера идиотом.

К счастью, обед был изысканным, и новизна блюд придавала еще большую живописность окружающей обстановке. Гитарист исполнял неаполитанские песни, и его музыка вызывала в памяти восхитительные летние сумерки. Вот перед ней и была та жизнь, которую она рисовала в своем воображении! Кристиана замечталась о чудесных путешествиях в далекие страны. Господин Даллиде оставил ее одну, и она принялась рассматривать людей, сидевших за соседними столиками; для них этот вечер был делом обычным: если бы они захотели, то смогли бы пойти и в русский, и в испанский, и в китайский рестораны. Напротив Кристианы сидели молодые женщины; их богатые туалеты и драгоценности скрашивали их уродливую внешность. Кристиану охватило негодование: почему и за что она должна влачить жалкое существование? Она на несколько голов выше всех этих болтающих за столиками женщин, но судьба несправедлива к ней и к ее красоте. Более, чем кто-либо другой, она создана для роскоши и богатства, которые должны принадлежать ей по праву!

— Не пора ли собираться?..

Кристиана вздрогнула. Положив руку ей на плечо, над нею склонился господин Даллиде. Она резким движением освободилась от его руки и встала. Он поджал губы, и его удивленные глаза говорили о том, что он недоволен. На улице он энергичным движением взял ее под руку. Кристиана не сопротивлялась, не зная, как с ним себя держать, и Даллиде, через пальто, несколько раз пожал ее локоть. Она слегка отстранилась от своего спутника, давая понять, что ему не следует питать особых надежд, во всяком случае так быстро. Если он думает, что ее можно купить за обед в ресторане, то она пропала. Украдкой она взглянула на своего спутника: нет, он совсем некрасивый! Идя рядом с нею, господин Даллиде, между тем, рассуждал о тех принципах, которыми он руководствуется в жизни.

— Хочешь получить — дай сам, — сказал он спокойно. — В делах только это и имеет значение.

Кристиана поняла тайный смысл его заявления, но предпочла о нем не размышлять. Садясь в его машину, она спросила:

— Вы довезете меня до дома, правда?

— Ничего подобного, — ответил он.

Улица была пустынной. Пытаясь засмеяться, Кристиана сказала:

— Будьте любезным кавалером и отвезите меня домой. Меня ждут.

— Ну и пусть ждут.

Он включил фары. Если только она уступит, ничего ей тогда от него не добиться. Встречный автомобиль осветил профиль господина Даллиде. Кристиана заявила:

— Я выхожу.

Он обернулся.

— Не говорите глупостей.

Затем его голос стал раздражающе мягким:

— Неужели вы так боитесь?

Что было делать? Он положил ей руку на колено, и она воскликнула:

— Вы сошли с ума! Оставьте меня в покое.

Этот искренний возглас остановил его, и он поджал губы, как это было в ресторане.

— Решайтесь. Не в моих привычках прибегать к насилию.

Голос его был неумолим. Кристиана окончательно растерялась.

— Отвезите меня домой, и останемся друзьями.

Она сказала так, думая, что этими словами ей удастся хоть немного его умилостивить. Он не шевелился, всем своим видом показывая, что это его не устраивает.

— Очень сожалею, но я признаю только один путь.

Кристиана, хлопнув дверцей, выскочила на тротуар. Господин Даллиде, высунувшись из машины, сказал ей:

— Счастливого возвращения и спокойной ночи.

В голосе его звучала ирония. Она хотела крикнуть ему: «Старая сова!», но удержалась — он был человеком со связями.

И вот, стоя посреди темной и узкой улицы, которая выходила на бульвар, Кристиана разрыдалась. Давно уже она не плакала — всякий раз, когда слезы готовы были брызнуть из глаз, гнев брал верх и желание плакать переходило в возмущение. Но сегодня вечером охватившая ее дрожь негодования оказалась слабее горьких сожалений и жестокого разочарования. Господин Даллиде без всякого смущения обращался с ней, как с проституткой; и сделка, которую он ей предлагал, была откровенно проста: либо да, либо нет. Кристиана чувствовала, как поколебалась ее вера в себя. Она думала, что за ней будут настойчиво и церемонно ухаживать, но повести ее один раз в ресторан казалось этому хаму вполне достаточным. Неужели это все, чего ей удалось добиться? Она не получит роли в мюзик-холле, и ей придется снова начать свои бесконечные поиски. Женщины, которых она видела в ресторане, мчались теперь в автомобиле, продолжая вести свою беззаботную жизнь. Какое счастье выпало на их долю!

Идущий мимо человек внимательно взглянул на Кристиану, и это отрезвило ее: она перестала плакать и провела пуховкой по лицу.

Весь следующий день просидела она, закрывшись на замок, в свей комнате, выходя из нее только в часы, когда надо было есть. Мадемуазель Легран не осмеливалась расспрашивать племянницу о прошедшем вечере: в молчании и резких движениях Кристианы была мрачная решимость, пугавшая старую деву. Кристиана не обращала внимания на тетку и старалась все спокойно обдумать, но ее воображение не давало ей предаться серьезным размышлениям. Она представила себе, что уступила домогательствам господина Даллиде, и вот за те мгновения, которые не доставили ей никакой радости, он снял для нее студию и обставил ее. Затем он постарается включить ее в список исполнительниц театрального реву. Она сделает карьеру, ее повсюду будут чествовать, она отправится в заграничное турне и будет купаться в шампанском. Кристиана так жаждала успеха, что призрачный мир, созданный ее воображением, казался ей реальной действительностью, а мучительные мгновения тонули в том, что было приятным и легким.

Вечером она уже думала, что поведение господина Даллиде, видимо, явилось следствием всепоглощающей страсти. Она хотела ему позвонить, потом передумала: первый шаг должен был сделать он сам. Ей надо уметь выжидать.

Кристиана опять получила письмо от матери, в котором еще больше, чем в прежних письмах, сквозило явное нетерпение. Она сухо ответила ей, что ничего не может поделать, раз господин Лефевр ей не помогает. Поэтому мать должна не жаловаться, а воздействовать на этого господина.

Наступило затишье. Кристиана снова стала встречаться с Полем, и так как его родители уехали на две недели в Англию, то она переселилась в его квартиру. По утрам она слушала пластинки и курила длинные, очень приятные на вкус сигареты из кожаной коробки. Поль катал ее в автомобиле, и это были чудесные часы. Она не знала забот, но дни, проведенные у Поля, таили в себе опасность: Кристиана еще больше пристрастилась к той легкой жизни, которая связана с богатством и роскошью. Приключение с господином Даллиде казалось ей теперь далеким воспоминанием. Он был смешон, этот господин, и наедине с собой Кристиана смеялась над ним. Она по натуре была беззаботна, и ее счастливые минуты озаряли радостным светом и прошлое, и будущее, и весь мир.

Кристиана несколько не удивилась, когда, вернувшись к тетке, она нашла записку от господина Лефевра. Видимо, мадам Монтель пожурила его, и теперь он извинялся за свое молчание, ссылаясь на то, что долго был в отъезде. Он приглашал Кристиану на коктейль, устраиваемый для журналистов в студии нового телецентра. Это приглашение вселило в Кристиану радостную уверенность: наконец-то наступил великий день! Придя к Лефевру, она бросила на секретаршу взгляд, в котором сквозило презрительное равнодушие. В машине Лефевр сказал ей, что надеется представить ее художественному руководителю телевизионных передач, господину Сержу Лемкину.

В студии элегантные мужчины и хорошенькие женщины, разбившись на группы, громко разговаривали. Когда Кристиана вошла в зал, разговоры на минуту утихли и каждый незаметно принялся ее изучать. Затем шум возобновился. Кристиана осталась довольна собой: взгляды, которые ей удалось перехватить, окончательно успокоили ее. Здесь, как и всюду, ее оценили по достоинству.

Завязывались знакомства, и глаза были красноречивее слов.

Господин Лемкин, мужчина лет пятидесяти, с седыми выющимися волосами, которые были тщательны напомажены, и с глубокими морщинами на лице, о чем-то рассуждал, стоя посреди зала. Лефевр представил ему Кристиану, но Лемкин мог уделить им только одну минуту.

— Зайдите ко мне завтра, мадемуазель, и мы с вами вместе подумаем об этом, — сказал он.

Кристиана вернулась домой, преисполненная надежд и счастья, и ей казалось, что она все еще вдыхает чудесный аромат дорогих сигарет, слышит звон бокалов и веселые голоса, видит голубоватый свет неоновых ламп.

Благодаря Лемкину она получила возможность выполнять небольшие поручения на телестудии и сниматься в короткометражных рекламных фильмах. Хотя для этого от нее требовалось только умыться, почистить зубы и причесаться, она считала, что близка к успеху. Господин Лемкин всегда любезно принимал ее в своем внушительном кабинете, и она окончательно забыла господина Даллиде, по протекции которого можно было получить только низкооплачиваемую работу статистки.

После первого же рекламного фильма Кристиана купила себе вечернее платье — предмет ее давнишних мечтаний. Если бы она была уверена, что будет получать регулярно работу, она написала бы матери то самое

письмо, которое было уже написано в ее воображении. Но она зависела от Лемкина, от его доброго к ней отношения. Кристиана полагала, что он обладает огромной властью: одного телефонного звонка было достаточно, чтобы с ней заключили контракт. Он мог бы сделать для нее очень многое, если бы захотел.

Помимо деловых визитов, она заходила к нему и просто так. В эти дни, не отдавая себе отчета в своем поведении, она особенно тщательно следила за своей внешностью и часами просиживала перед зеркалом: надо быть красивой, если хочешь получить роль. Лемкин стал относиться к Кристиане еще любезнее и однажды пригласил ее на аперитив в честь удачной телепередачи. Наконец он попросил девушку пойти с ним на просмотр нового фильма, а потом вместе поужинать. Он явно искал ее общества. Кристиана приняла его приглашение и выпросила у своей тетки колье, которое так шло к ее вечернему платью.

Она ждала, когда приедет автомобиль Лемкина, и, как только увидела его в окне, сказала мадемуазель Легран:

— Сегодня я не вернусь домой. Ты можешь не беспокоиться.

На лестнице Кристиана встретила соседку, мадам Лавинь, толстую торговку, которая, взглянув на нее, восхищенно покачала головой и сказала:

— Какая вы хорошенькая, мадемуазель Монтель! Это платье вам очень к лицу.

Она сделала еще несколько шагов и, обернувшись, добавила:

— Вы едете веселиться? К вам пришла удача — умейте же ею воспользоваться!

Кристиана улыбнулась и медленно стала спускаться по лестнице, слегка приподнимая юбку, чтобы та не касалась ступенек. Она очень дорожила этим платьем, купленным на собственные деньги — на деньги, которые она заработала, потому что была красивой девушкой.

Кристиана остановилась против застекленной входной двери и слегка взбила волосы. Ее отражение смутно вырисовывалось в глубине стекла, и Кристиана осталась вполне довольна собой: она себе нравилась, у нее исключительные внешние данные. Именно поэтому с ней заключали контракты и ждал сейчас в машине господин Лемкин. Почему же она не должна извлекать выгоду из своей внешности?

Она открыла дверь.

«Все люди так или иначе продают себя, — подумала она. — Так устроена жизнь. Одни продают свой ум, другие — физическую силу. Мадам Лавинь сказала правду: надо пользоваться молодостью и красотой».

**

Результаты первого экзамена должны были быть объявлены в понедельник тридцать первого мая; до этого времени надо было готовиться к следующему экзамену по рисунку углем. Жан вместе с Пьером ходил заниматься в студию, где один старый художник обучал секретам мастерства около тридцати человек, готовящихся поступить в Школу изящных искусств. Все они, как это бывало каждый год, знали заранее тему предстоящего экзамена: мэтр, не порвавший связи со школой, выпрашивал кого только мог и уже за месяц имел сведения о том, какую статую предложат рисовать экзаменуемым. Его ученики неоднократно срисовывали древнего египтянина, каждый день меняясь местами, чтобы схватить пропорции статуи под разными углами зрения. Жан показывал Алену и Николь свои наиболее удавшиеся наброски, и те приходили от них в восторг: сами они были неспособны провести даже одну прямую линию. Мэтр тоже казался вполне удовлетворенным и быстрым росчерком карандаша ставил высокий балл на работах Жана. А Жан старался

изо всех сил: ему посчастливилось на первом экзамене, надо было добиться успеха и на остальных испытаниях. Днем он рисовал, а по вечерам, когда соседи выключали радио, занимался геометрией. Николь укладывалась спать одна, Жан целовал ее на сон грядущий, плотнее укутывал одеялом и в своем углу, освещенном настольной лампой, погружался в работу. Он иногда бросал взгляд на жену, и она отзывалась:

— Я тебя вижу.

— Спи, дорогая, спи,— говорил он.

— Но я не могу при свете.

Жан пытался прикрыть лампочку листами бумаги, но свет по-прежнему подкрадывался к кровати, падая иногда прямо на подушку. Николь старалась заснуть, однако шелест страниц и скрип, издаваемый стулом, мешали ей; и, вопреки своему желанию, она все время прислушивалась к звукам, все время была настороже. Наконец она засыпала, Жан укладывался спать, но все его предосторожности были напрасными. Николь резко поворачивалась к нему лицом, охваченная внезапным гневом разбуженного человека, а когда он пытался ее приласкать, она грубо его от себя отталкивала. Жан не мог понять, что с ней происходит, и, лежа рядом в постели, они злились друг на друга.

Николь мечтала о двух отдельных комнатах, а Жан — о рабочем кабинете. Ночью они плохо отдыхали, днем мешали друг другу. Молодая женщина, которая только что избавилась от пронзительных криков своих учеников, нуждалась в тишине и покое, а Жан после шести часов рисования был раздражен тем, что приходится снова приниматься за работу. Он усаживался за стол и, когда Николь двигалась по комнате, поворачивался и говорил:

— Ну разве ты не видишь? Ведь я работаю.

Она ему возражала, и после молниеносного обмена колкостями они переставали разговаривать друг с другом. Когда Николь приходилось обходить вечную лужу возле крана, которым пользовался весь этаж, или когда, усевшись на единственной раскладной кровати, она чистила зубы, стараясь не залить пол, в эти минуты ей невольно приходило на ум благополучие, окружавшее ее до замужества. Слыша, как Николь, осторожно орудуя стаканом с водой, чистит зубы, Жан оборачивался в ее сторону и качал головой, как будто желая сказать: «И взбредет же в голову затевать по вечерам подобную процедуру!» Николь, и без того раздраженная всеми этими неудобствами, находила, что он несправедлив к ней.

— Это тебе тоже мешает? — спрашивала она.

— Конечно.

Выходило так, словно ей доставляло удовольствие чистить зубы в комнате, а не в том месте, где это положено делать.

— Значит, по-твоему, вообще не надо умываться? — говорила Николь.

— На мой взгляд, полоскать рот несколько раз в день глупо,— отвечал Жан, склонившись над своим рисунком.

— А на мой взгляд, нет.

— К сожалению, я это вижу.

Возмущенная его словами, которые в ее глазах не имели никакого оправдания, Николь вставала с кровати.

— Ты думаешь, мне не хотелось бы иметь ванную комнату?

Ее тут же охватывало сожаление, что она задела его самолюбие, но слова вырвались сами собой, и Жан, поджав губы, отвечал ей:

— Так я и знал: начинаются упреки.

Те несколько дней, что оставались до объявления результатов экзамена, Жан ходил заниматься к Алену, который, чтобы сделать ему приятное, ложился поздно спать.

В понедельник тридцать первого мая Жан вместе с Пьером и Мейером расхаживал по двору школы. Но так как ожидание было долгим и

мучительным, Жан и Пьер вышли на улицу, поручив своему товарищу проследить за тем, когда вывешат список выдержавших экзамен; Мейер мог проделать это, не испытывая никакого беспокойства: он не прошел по конкурсу. Молодые люди болтали о всяких пустяках, наблюдая за работой переплетчика, расположившегося в средневековой лавчонке, и прислушиваясь к пронзительным крикам торговца рыбой, который зазывал покупателей. Мимо них прошла группа белокурых и бесцветных скандинавов; в легких, лишенных изыска юбках и белых носках, они проявляли явный интерес к особнякам Сен-Жерменского квартала. Жан и Пьер уселись на скамью. В кафе они не пошли, экономя деньги. Пьер принялся разглядывать девушек, сопровождаемых дамой в очках. Весеннее солнце располагало к безделью.

— А в Ницце, должно быть, купаются,— сказал Жан.

— Да.

На улице Бонапарта появилась группа знакомых молодых людей, они тоже держали экзамены в Школу изящных искусств. Жан и Пьер подошли к ним.

— Результаты уже известны?

— Да.

— У вас все в порядке?

— Да. Из нашей студии выдержали четверо из восьми.

Оба приятеля заторопились. Подойдя к школе, они заметили Мейера, который заводил свой мотоцикл. Они его окликнули. Бросив мотоцикл, он подошел к ним.

— Ну как?

— Когда читали список, я не слышал ваших фамилий,— медленно произнес он.

Радостное, весеннее настроение Жана сразу же омрачилось, губы искривились. Пьер нервно спросил:

— Ты в этом уверен?

— Я не слышал; возможно, вас просто забыли... Это было бы странно.

— Пойдем посмотрим,— сказал Пьер Жану.

Жан последовал за ним, ни на что уже не надеясь. Но, завидев белый лист бумаги, заторопился и, пробравшись через толпу в первый ряд, сразу же нашел фамилии на «Б». Но между «Брайи» и «Бретелем» он так и не нашел те пять букв, которые искал: «Браке». Так же не было в списке фамилии Дальмассо.

Пьер сказал:

— И все-таки работа была выполнена хорошо. Если я провалился на такой теме, мне никогда не выдержать этого экзамена, и все это мне надоело.

Он громко выражал свое разочарование. Жан молчал. Его чувства, не находившие выхода в словах, были от этого еще тягостнее и мучительнее. Он смешался с толпой, чтобы не бросаться в глаза. Мейер подошел к нему и взял его за руку.

— Слушай, все ведь проваливаются в первый раз. Это не так серьезно, как ты думаешь.

— Для меня это очень серьезно.

— Почему?

Жан отошел от него, ничего ему не ответив. Затем, попрощавшись с товарищами, из которых одни были веселы, другие мрачны, вышел на улицу.

Пьер, окруженный такими же, как он, неудачниками, толковал о том, что все это безобразие, что работа его была выполнена хорошо и что экзаменатор при встрече с ним сказал ему: «На этот раз вы пройдете». И с Жаном Браке было то же самое.

Мейер нагнал Жана.

— Приходи завтра, когда будут выставлены рисунки. Это тебе принесет пользу.

Жан неуверенно сказал «да». К чему все это? Чтобы рассматривать на своей работе низкую оценку? Или для того, чтобы увидеть две черные линии, которые, пересекаясь на его рисунке, зачеркнули столько надежд и столько трудов, полосы, которые означают, что его работа не заслуживает даже оценки.

«Мейер говорит, что провал на экзамене в первый раз не имеет значения. Но для меня это не так: тема была легкой, и мне казалось, что я с ней справился. А какой она будет в октябре? Все лето мне придется работать у архитектора — когда же я смогу готовиться к конкурсу? А если я провалюсь опять?»

Жан пешком направился к бульвару Сен-Мишель. И так, все его усилия были напрасны. У него нет никакого будущего, а скоро он станет отцом. Что делать? Как жить? Архитектура, выходит, не для него. За ним все время гналась неудача, и теперь, когда он глава семейства, ему придется особенно трудно.

Шел он медленно. Куда торопиться? Чем раньше он вернется домой, тем скорее Николь узнает о его поражении. Пусть хоть лишние полчаса побудет она со своими иллюзиями. Его несчастье касалось не только его одного. С его будущим были связаны и бескорыстные и эгоистичные надежды других людей; и как ужасно, что он не оправдал этих надежд и ничего не в силах теперь сделать. Родители безропотно примут удар, и старый Браке напишет своему сыну, что не все еще потеряно и что Жан должен готовиться к октябрьскому конкурсу. Но по вечерам его мать и отец долго будут сидеть на кухне, погружившись в свои мысли и не произнося ни слова. Семья Николь тоже возлагала на него большие надежды; теперь теща Жана будет сокрушенно качать головой и говорить: «Когда человек женат, он должен зарабатывать на жизнь. Нельзя учиться до тридцати лет. Надо выбирать себе профессию, как это делают все люди». Возможно, она права. Некоторые его товарищи по классу, сдав экзамены на бакалавра, поступали на службу, причем их выбор определялся величиной заработной платы. Они не слишком задумывались над тем, нравится ли им их работа. Другие в течение нескольких месяцев пытались заниматься в студиях, но, столкнувшись с трудностями, покидали Париж. «Что поделаешь, — говорили они. — Хорошо стать архитектором, но надо зарабатывать на жизнь». А если посмотреть вокруг? Не сталкивался ли он каждую секунду на улице с мужчинами и женщинами разных профессий, которые делали свою работу без всякой любви к ней, томительно ожидая, когда кончится рабочий день. Так поступал и его отец, который ненавидел свою тесную контору, где он в течение двадцати пяти лет возился с чужими счетами, мечтая о деревенском домике и гектаре земли...

«Ну, а как обстоит дело со мной? Только потому, что в один прекрасный день я сказал себе, что люблю архитектуру, мне взбрело на ум уехать из дому, чтобы учиться шесть лет подряд. Я захотел выбрать ту профессию, которая мне нравится, а не какую-нибудь другую. Видите ли, господин Браке пожелал стать архитектором!»

Теперь Жан иронизировал над самим собой, над своими иллюзиями. Лицо его было искажено горькой гримасой, брови нахмурены, и ему стоило больших усилий не заплакать тут же на улице. Он наклонил голову, стараясь, чтобы прохожие не заметили охватившего его отчаяния. Пройдя бульвар Сен-Мишель, он облокотился на перила моста напротив Собора Парижской богородицы. Тоска разрывала его сердце...

«Рассуди сам, ведь ты же круглое ничтожество, неспособное набрать нужное количество очков на экзамене, где была такая легкая тема. Ни когда ты не станешь архитектором. Разве можно прожить на те восемь-

надцать тысяч франков, которые тебе посылают родители? Долго ли ты выдержишь в этой ужасной комнате, когда родится ребенок? Брось же думать о профессии, которой тебе не суждено заниматься. Ты же хорошо знаешь, что она не для тебя — у тебя нет ни денег, ни таланта...»

Жан заплакал. Он облокотился на парапет и, закрыв лицо руками, дал волю слезам. Под мостом тихо плескалась Сена, и заходящее солнце озаряло Собор Парижской богородицы.

«...Ты хочешь создавать и строить? Напрасные мечты! По утрам тебе придется ходить в контору, и там тебе будут давать чертежи, даже не объясняя их назначения. К чему? Все равно ты их не поймешь. Архитектор скажет тебе: «Это надо заштриховать», и ты будешь покрывать великолепными черными штрихами уже готовый проект. Вот так ты и будешь зарабатывать себе на жизнь, никогда не создавая ничего своего и не видя строительных площадок, где воплощаются твои замыслы.»

Плечи Жана затряслись от рыданий. Когда солнце зашло, он вытер лицо и побрел по набережной: надо было возвращаться домой.

Дома его ждали Николь и Ален. По лицу Жана они сразу поняли, что произошло. Все же Николь спросила его:

— Ну как?

— Провалился.

Он повесил пиджак на вешалку за дверь, потом опустился на стул.

— В чем же дело? — спросил Ален.

Жан, не говоря ни слова, махнул рукой. Николь поставила на стол три тарелки и сказала Алену:

— Ты останешься с нами?

— Нет, я буду вам мешать.

Николь стала его упрощать. Она не хотела оставаться наедине с Жаном: одной ей будет трудно побороть его тоску и уныние.

— Я не хочу есть, — заявил Жан.

Ален подсел к нему и мягко сказал:

— Ты обещаешь мне не падать духом? Ты же сам говорил, что редко бывает, когда экзамен удается выдержать с первого раза.

— Я знаю только одно: я провалился.

Жан замкнулся в своем страдании и не хотел, чтобы его утешали: он наказывал себя за свою неудачу. Николь, продолжая накрывать на стол, сказала:

— Ты не виноват: ты готовился только один год и потерял много времени из-за женитьбы.

— Это верно, — подтвердил Ален.

— Напрасно вы меня утешаете. Я отлично знаю, что не занимался так, как надо, — сказал Жан резко. — У меня нет никакого оправдания. Я ничтожество, полное ничтожество. Провалиться на такой теме! Оба вы говорите ерунду.

Николь стало обидно за то, что ее утешения были ему безразличны. На кого же он злится?

— Надо быть мужественным, — сказала она. — На тебя больно смотреть.

— Больно смотреть! Кто из нас двоих не получит образования? Я, а не ты. Что бы ты ни говорила, мне все равно.

Ален, которому было явно не по себе, поднялся.

— Мне надо идти, — объявил он.

Николь больше его не удерживала.

— До свидания, — сказал Ален.

— Прощай.

Жан не протянул ему руки; не двигаясь, он продолжал сидеть на своем месте. Николь разлила в тарелки суп, приготовленный из концентрата, затем принялась есть.

— Ты не будешь обедать? — спросила она.

— Нет.

Она подошла к нему и взяла его за руку.

— Иди к столу.

— Оставь меня в покое, я не голоден.

Николь вернулась на свое место. Почему он замыкается в своем горе, почему не хочет, чтобы она его утешила? Ему ведь стало бы легче, если бы он выплакался у нее на груди, если бы поделился с нею тем, что так его тяготит. Разве она в чем-нибудь перед ним виновата? Может быть, он упрекает ее теперь за потерянное на женитьбу время и за те шесть дней, которые они так хорошо провели, уехав после свадьбы из Парижа? Может быть, упрекает ее за те поцелуи, которые она дарила ему, мешая его работе? Кажется, он думает, что будь он один, с ним не случилось бы это несчастье и тогда он добился бы своего. Николь ела все медленнее и медленнее, и слезы капали в ее тарелку.

— Почему ты плачешь? Это в конце концов глупо, — сказал Жан.

Он даже не подошел к ней и не обнял ее. Нет! Он совсем ее больше не любит. Молчаливые слезы Николь перешли в рыдания, которые вызвали приступ кашля.

— Перестань, — сказал Жан.

Он принялся вздыхать, и вздохи эти означали для Николь только одно: «Мне твои слезы надоели. Из-за тебя я провалился, и теперь уже поздно распускать нюни». Нет, в душе его больше не осталось никакой нежности.

Жан наконец вышел из своего угла и уселся напротив жены.

— Ну вот видишь: я ем.

Он отлично знал, что не из-за этого она плакала. Николь еще несколько раз громко всхлипнула, потом снова закашлялась и вдруг почувствовала, что к ее горлу подступает ком: ее начало тошнить. Жан без толку суетился вокруг нее, а она твердила только одно:

— Это пустяки, это пустяки.

Он бросился открывать окно. Ей стало немного лучше, и когда Жан успокоил и приласкал ее, она сказала:

— Это потому, что я жду ребенка.

*Перевел с французского
М. КУДИНОВ.*



С О Р О К Л Е Т Н А З А Д

Август, 1917 год...

Расстрел мирной демонстрации петроградских рабочих и солдат 3—4 июля 1917 года, закрытие большевистских газет и разгром их редакций, разнузданная клеветническая кампания против большевистской партии, аресты и преследования большевиков и революционных рабочих — все это означало ликвидацию двоевластия, переход буржуазии в открытое наступление, на рабочий класс и его партию.

Контрреволюция, организатором и вдохновителем которой была партия кадетов, собирала силы для решительного удара по завоеваниям революции, подготавливала условия для военной диктатуры, для реставрации монархии в России.

Одним из шагов по пути консолидации всех сил контрреволюции был созыв Государственного совещания.

Это совещание под прикрытием эсеро-меньшевистских соглашателей должно было утвердить программу правительственных мероприятий по борьбе против революции, одобрить план похода против рабочего класса и крестьянства.

Государственное совещание открылось 12(25) августа в Москве, в помещении Большого театра. На нем присутствовали представители генералитета и офицерства, высшего духовенства, дворянско-помещичьих и торгово-промышленных кругов. Советы были представлены меньшевиками и эсерами.

Большинство выступавших на Совещании открыто требовало «упразднить Советы и Комитеты», призывало к контрреволюционному перевороту, к установлению диктатуры буржуазии. Был подобран и кандидат в диктаторы — генерал Корнилов.

Однако в дни Совещания произвести государственный переворот не удалось. Помешал московский пролетариат, организовавший в знак протеста против созыва Государственного совещания всеобщую стачку. Стачка проводилась по инициативе и под руководством большевиков. Двенадцатого августа в Москве и Подмоскovie бастовало более четырехсот тысяч рабочих. Попытки буржуазии спровоцировать какие-либо выступления рабочих провалились. Единению всех «живых сил демократии» было противопоставлено действительное единство и сплоченность московского пролетариата.

Осуществление заговора буржуазия вынуждена была несколько отсрочить, но она продолжала стягивать свои силы. Переворот готовился при полной поддержке и помощи со стороны англо-французского союзного капитала. Центр заговора переместился в ставку к Корнилову. Чтобы отвлечь внимание трудящихся масс, был пущен слух, что большевики в Петрограде готовят восстание ко дню полугодщины революции.

В. И. Ленин и партия большевиков предупреждали массы о готовящемся контрреволюционном заговоре. Владимир Ильич, скрывавшийся в те дни в глубоком подполье (после июльских событий он некоторое время находился на станции Разлив, а в конце августа нелегально переехал в Финляндию и жил сначала в деревне Ялкала, затем в г. Лахти, близ Гельсингфорса, и в самом Гельсингфорсе), поддерживая тесную связь с Петроградом, внимательно следил за развертыванием

событий. Он призывал рабочих и крестьян к выдержке, бдительности и мобилизационной готовности. Предостережения Ленина полностью оправдались.

Двадцать пятого августа Корнилов двинул на Петроград 3-й конный корпус под командованием генерала Крымова, в состав которого входила так называемая «дикая дивизия», и другие части, спешно подтягиваемые со всех сторон к Петрограду.

План его действий сводился к следующему: занять Петроград, разоружить Петроградский гарнизон, разогнать Советы рабочих и солдатских депутатов, арестовать Временное правительство, установить военную диктатуру. Керенский, будучи хорошо осведомлен о подготовке контрреволюционного выступления и действовавший заодно с Корниловым, в последний момент отмежевался от него.

Центральный Комитет большевистской партии призвал рабочих, солдат и матросов к защите завоеваний революции, к активному вооруженному отпору.

«Революция в опасности!» — с этим лозунгом встал на ее защиту весь рабочий Петроград. Повсюду создавались ревкомы и штабы по борьбе с корниловщиной, на фабриках и заводах организовывались многочисленные вооруженные отряды Красной гвардии. Были приведены в полную боевую готовность революционные части Петроградского гарнизона. Вокруг города возводились оборонительные укрепления. На помощь рабочим и солдатам Петрограда прибыло несколько тысяч кронштадтских матросов.

В «дикую дивизию» и другие части были направлены большевистские агитаторы, разъяснявшие солдатам-горцам смысл корниловского выступления. «Дикая дивизия» отказалась наступать на Петроград.

Большевики подняли массы на борьбу против Корнилова. В течение нескольких дней корниловский мятеж был разгромлен.

Возглавляя борьбу против Корнилова, большевистская партия ни на минуту не прекращала борьбы против Временного правительства Керенского, меньшевиков и эсеров, разоблачая их предательскую роль, показывая, что они всей своей политикой помогали заговорщикам.

Разгром корниловщины способствовал дальнейшему росту влияния большевистской партии в народных массах не только в городах, но и в деревне. Массы все более убеждались, что для осуществления их насущных требований необходимо свержение Временного правительства, необходима новая, социалистическая, революция.

Я. ЛЕБЕДЕВ,

член КПСС с 1917 года

МОСКВА ПРОТЕСТУЕТ

В Москве, в проезде Девичьего поля, высится красивое многоэтажное здание. В нем сейчас размещается Военная академия имени Фрунзе. Нам, старым большевикам, хорошо помнятся те далекие дни, когда на этом месте стоял, отгороженный от улицы развесистыми деревьями, небольшой домик — скромная студенческая столовая. В предоктябрьские месяцы тут находились районный комитет РСДРП(б), клуб, исполком района. Здесь мы готовились к решающей схватке с контрреволюцией.

В первых числах августа 1917 года в этом здании собрались большевики Хамовнического района, чтобы выслушать сообщения о работе VI съезда партии. Делегатами на съезд от нашей организации были посланы двое — Н. С. Ангарский и я.

Верховный орган партии, рассказывали докладчики, дал ясные, конкретные указания о дальнейшей работе. Смысл их можно коротко передать словами манифеста, выпущенного съездом: «Готовьтесь же к новым битвам, наши боевые товарищи! Стойко, мужественно и спокойно, не поддаваясь на провокацию, копите силы, стройтесь в боевые колонны! Под

знамя партии, пролетарии и солдаты! Под наше знамя, угнетенные деревни!»

Районное собрание большевиков единодушно, с большим подъемом одобрило резолюции и постановления VI съезда, отметив, что мирное развитие революции уже невозможно, так как вся полнота власти перешла в руки контрреволюционной буржуазии. Настала пора готовить вооруженное восстание.

Еще в июльские дни можно было воочию убедиться в том, что ни о каком общем единении «демократических сил» не может быть и речи. Июльская демонстрация показала, что классовая борьба все больше обостряется и, если трудящиеся хотят победить, они должны взять власть в свои руки. Дальнейшие события, развернувшиеся в августе, подтвердили, что тактика, выработанная партией на VI съезде, — единственно правильная.

Контрреволюция готовилась к разгрому Советов. Буржуазия прочила в военные диктаторы свежее испеченного главнокомандующего русской армией генерала Корнилова.

Вскоре после окончания VI съезда мы узнали, что в Москве Временным правительством созывается Государственное совещание. Его цель — сплочение сил буржуазии и помещиков против социалистической революции. Меньшевики и эсеры стремились всемерно поддержать авантюру буржуазии.

Большевистская партия развернула широкую кампанию протеста против Государственного совещания. Разгорелась жестокая борьба.

Помню такой случай. На оборонном заводе Второва, где работало около пяти тысяч человек, меньшевики провели собрание, на котором, не знаю по какой причине, никто из наших товарищей не был. Соглашателям удалось сагитировать рабочих, и собрание приняло резолюцию, приветствовавшую созыв Государственного совещания. Тогда несколько большевиков во главе с Ангарским поехали исправлять положение.

Рабочие собрались в тенистом саду при клубе у Калужской заставы. Выступления наших ораторов слушали молча. Но вот на трибуну поднялась работница завода Охапкина. Она не была еще в то время членом большевистской партии, однако классовое чутье пролетария подсказало ей, кто прав, и помогло найти нужные слова. Искренние мысли рабочего человека о тяжелой доле трудящихся, об антинародной политике Временного правительства, о том, как одна за другой рушились надежды на лучшую жизнь после Февральской революции, взбудоражили, всколыхнули собравшихся. Их симпатии были на стороне выступавшей.

Неприятно встретили рабочие речь студента-эсера, взобравшегося на трибуну вслед за работницей. Округлые книжные фразы, которыми он пытался убедить собрание, частое заглядывание в конспект, неестественная жестикация — все это было таким чуждым, далеким, неприемлемым, особенно после выступления Охапкиной. За гулом голосов уже было невозможно разобрать, что говорила потом какая-то барышня-меньшевичка.

Когда Ангарский предложил на голосование короткую, четкую резолюцию большевиков, толпа обросла лесом мозолистых рук.

Так к протесту против Государственного совещания присоединился и завод Второва.

Настроение масс было таково, что на пленуме районного Совета, несмотря на засилье меньшевиков и эсеров, прошло предложение большевиков о забастовке 12 августа, как раз в день открытия Государственного совещания. В нашем районе, где сосредоточились такие предприятия с сильными большевистскими организациями, как завод «Каучук», Уваровский (ныне Артамоновский) трамвайный парк, дело обстояло сравнительно просто. В других районах было значительно труднее, так как мень-

шевики и эсеры еще пользовались там сильным влиянием и стремились не допустить забастовку. К тому же и Московский Совет — правда, незначительным большинством голосов — высказался против стачки.

В то время я был вагоновожатым Уваровского трамвайного парка. Мне довелось участвовать в первой русской революции, работать в подполье. В 1917 году меня избрали в правление профсоюза городских рабочих и служащих.

Наступил день открытия Государственного совещания. Еще накануне мы узнали, что в забастовке будут участвовать все трамвайные парки Москвы. Естественно, что прекращение работы городского транспорта имело важное значение. Это событие было невозможно замолчать, скрыть от населения. Таким образом, о протесте рабочих должны были узнать все москвичи.

Рано утром в парк, кроме членов партии, пришло много беспартийных. Близилось время, когда вагоны должны были выйти на линию. Эсеры (их у нас было порядочно, окло сотни человек) собрались отдельной кучкой. По всему заметно, что они что-то затевают. Мы с тревогой наблюдали за их поведением: неужели сорвут забастовку? А тут, как на грех, в этот день дежурным по подвижному составу, отвечающим за своевременный выход вагонов, был мастер Лукин. Плохого мы, правда, про него ничего сказать не могли, рабочих он не обижал, но человек был мрачный, замкнутый.

Вот мастер вышел на территорию парка... Сейчас подаст команду к выезду вагонов... Подхожу к нему, вежливо, но твердо объясняю обстановку, говорю, что сегодня рабочие всех заводов должны бастовать. Вожатые, кондуктора, ремонтники придвинулись к нам, ждут, что произойдет дальше. Лукин хмурит брови, с минуту раздумывает. Потом, ни на кого не глядя, буркнул:

— Что ж, если рабочий класс решил... Ладно, выезжать на линию сегодня не будем. — И быстро ушел в контору.

После этого и эсерам ничего не оставалось делать, как разойтись в разные стороны. Ни один вагон из нашего парка не вышел.

Убедившись, что у нас все в порядке, я направился в правление профсоюза. Там стало известно, что Миусский парк срывает забастовку. Большевик Телешов, работник нашего парка, дежуривший в тот день по правлению, схватился было за телефонную трубку, но куда звонить? Ведь трамвай миусовцев уже выехали в город. Тут ему в голову пришла блестящая мысль. В то время Москва получала электроэнергию от небольшой ТЭЦ, которая называлась «Общество 1880 года» (ныне это МОГЭС). Телешов соединился с этой станцией, спросил, что там делается. Ему ответили, что все идет толково, рабочие бастуют, на станции остался только дежурный, следит за сохранностью имущества.

— Немедленно выключить ток! — грозно приказал Телешов.

— Ты что, с ума сошел? — послышалось в телефонной трубке.

— Нет, я-то в своем уме, а вот кое-кто из Миусского трамвайного парка оказались недотепами, работу не прекратили, штрейкбрехерами хотят быть.

— Ах, вот оно что! — И дежурный выключил рубильник.

В ту же минуту в Миусском районе все трамваи остановились. В глупое положение попали вагоновожатые. Они не решились бросить вагоны посреди города, в то же время не могли ехать дальше. Так и пришлось им под насмешливые возгласы прохожих простоять целый день около своих вагонов.

Двенадцатого августа в Москве по призыву большевиков бастовало свыше четырехсот тысяч рабочих. На следующий день мы с гордостью читали в газете «Пролетарий»: «Пусть узнает вся Россия, что есть еще на свете люди, готовые грудью отстаивать дело революции. Москва бастует. Да здравствует Москва!»

Контрреволюция крепко надеялась на своего «спасителя». Когда Корнилов приехал в Москву, его, как высокопоставленную особу, встречал почетный караул, толпы экзальтированных дам и господ с криками «ура» бросали перед ним цветы. Миллионерша Морозова упала перед генералом на колени. Офицеры подхватили Корнилова и на руках отнесли в автомобиль.

Большой театр, в котором проходило Государственное совещание, был оцеплен отрядами юнкеров. В Москву вызвали казачьи части.

Состав Совещания был заранее подтасован, что и определило его контрреволюционный характер. Сюда были приглашены депутаты Государственной думы, представители торгово-промышленных организаций и банков, помещиков, духовенства, генералитета, офицерства. Советы были представлены меньшевиками и эсерами. Соглашатели побоялись, что присутствие большевиков нарушит единение «живых сил страны». Лишь в число делегатов профсоюзных организаций вошла небольшая группа большевиков, в том числе и кое-кто из наших московских товарищей. Благодаря им и газетам мы были прекрасно информированы о том, что происходило тогда в здании Большого театра.

Министры Некрасов и Прокопович заверили Государственное совещание, что Временное правительство ни в коем случае не допустит рабочего контроля над предприятиями и аграрных реформ. Они прямо заявили, что «на конфискацию частной собственности правительство не пойдет». Меньшевики окончательно предали интересы рабочего класса. Их лидер Церетели с благоговением пожимал жирную руку капиталиста Бубликова. Этот жест единения буржуазии с социал-предателями был встречен собравшимися контрреволюционерами бурными аплодисментами. Премьер-министр эсер Керенский истошно вопил, что он «железом и кровью» подавит все попытки сопротивления буржуазному правительству, не допустит развития революционного движения, захвата крестьянами помещичьих земель.

Генерал Корнилов, угрожая сдачей Риги и Петрограда немцам, требовал восстановления железной дисциплины в армии и в тылу, он предлагал ввести смертную казнь не только на фронте, но и на всей территории России, военизировать железные дороги, фабрики, заводы. Он требовал полного невмешательства в его распоряжения, другими словами — введения военной диктатуры.

Атаман казачьих войск Каледин выступил с категорическим предложением поставить армию вне политики, разогнать Советы.

План передачи власти военному диктатору — генералу Корнилову — был выработан буржуазией еще до Государственного совещания, контрреволюция хотела в «спокойной» обстановке Москвы, вдали от революционного Петрограда, совершить свое черное дело. Но пролетариат Москвы массовой забастовкой протеста 12 августа показал, на чьей он стороне. Этот грозный ответ трудящихся помешал капиталистам и помещикам осуществить свои замыслы.

Государственное совещание прошло вхолостую. Больше того, оно открыло глаза многим колеблющимся пролетариям. Вот несколько цифр, которые наглядно показывают прояснение классового сознания масс. В августе в нашем Хамовническом районе Москвы в партию большевиков вступило 66 новых членов, а в сентябре число их достигло 186 человек. На выборах в районные думы в одиннадцати из семнадцати дум большинство голосов получили большевики.

Так ответил трудовой народ на августовские происки контрреволюции.

И. ГРОНСКИЙ,
член КПСС с 1918 года

У ФРОНТОВИКОВ

Август 1917 года на фронте был в политическом отношении очень тяжелым месяцем. Армейская верхушка, вдохновляемая монархически настроенным генералитетом и поддерживаемая буржуазным Временным правительством, повсеместно приступила к подготовке контрреволюционного переворота. Солдатские свободы, завоеванные в начале семнадцатого года, ликвидировались одна за другой, все солдатские организации находились под угрозой разгрома.

Контрреволюция подняла голову. Для большевиков на фронте наступили дни серьезнейшего испытания.

Пишут солдатам родные...

Солдат на фронте — как на острове. Что творится дома, в родных местах — как узнаешь? Большевистской печати закрыт доступ в армию, а в прочих газетах — солдаты уже знали — правду не найдешь.

Лето принесло на фронт тревогу. Широковещательные обещания «друзей народа» — меньшевиков и эсеров, — которым весной многие еще верили, растаяли, как утренний туман. Обещания кончились, начались репрессии.

Каждый день кто-нибудь из фронтовиков получал весточку от родных. Непрерывный поток бесхитростных писем рабочих и крестьян шел на фронт. Временное правительство и соглашательские партии, занятые политическими комбинациями, даже и не подозревали, какой страшной взрывной силой обладают эти миллионы бумажных клочков с нацарапанными на них каракулями. А в них, в этих простых письмах, была вся правда жизни, все думы и чаяния народа, так мудро разгаданные Лениным и выраженные им в политических лозунгах большевистской партии.

Получил солдат письмо — и сразу вокруг него кучка.

— Вслух читай!

И читает солдат, что дома все по-старому. Земля по-прежнему у помещиков.

Слушают солдаты, мрачнеют. Сердце распаляется гневом, когда узнают, что на попытки крестьян захватить помещичьи и монастырские земли буржуазное правительство ответило дикой и бессмысленной расправой. Пестрят письма сообщениями об арестах, о присылке в деревню войск для защиты помещиков. «Отца твоего посадили, и мужиков многих, а в соседской деревне тоже. Да хаты заняли потом каратели». Так за спиной министров-«социалистов» вырисовывалась мрачная тень Столыпина-вешателя. Так разоблачали себя соглашатели, открыто демонстрируя перед всем народом свое контрреволюционное существо.

Правительство преследовало большевистских агитаторов в городе, в деревне, в армии, сажало их в тюрьмы. Но не заметило правительство, как само, своими действиями, создало повсюду миллионы активных и неуловимых распространителей большевистских идей.

Массовые митинги и собрания в армии были запрещены. Реакция торжествовала. Но торжество это было преждевременным. Вместо митингов родилась новая, на первый взгляд совершенно безобидная, форма агитации — повсеместная читка писем, получаемых солдатами от своих родственников.

— А что, если наиболее характерные письма перепечатывать на шапирографе? — предложил как-то у нас, в комитете 70-й пехотной дивизии, Наум Каляпин, бывший екатеринославский рабочий.

Предложение одобрили. Потом разведчик шестой роты 279-го пехотного Лохвицкого полка Кузнецов использовал некоторые письма для сатирических стихотворений. Этот малограмотный, но исключительно талантливый крестьянский парень из Тверской губернии, когда Керенский пообещал «железом и кровью» расправиться с народом, ответил гневным стихотворением «Попробуй!». Его стихотворение сперва было распространено в нашей дивизии, а затем, спрятанное в аккуратные треугольнички солдатских писем, оно, как и остальные стихи Кузнецова, пошло по России. Фронтовики ведь тоже писали домой.

В офицерской среде

На фронте готовилось наступление. В Молодечно приехал «сам» Керенский. На совещании дивизионных, корпусных и армейских комитетов он произнес одну из своих обычных трескучих речей, полную угроз по адресу революционных солдат и расшаркиваний в сторону реакционного офицерства. В солдатские комитеты все чаще и чаще стали навещаться представители различных штабов. Особенно большой нажим со стороны командования был произведен на наш дивизионный комитет, открыто заявивший о своей безоговорочной солидарности с большевиками по вопросу о войне.

Следует заметить, что в оценке предстоящего наступления не было единодушия и в самой офицерской среде.

Припоминаю такие эпизоды.

Однажды мне передали, что командир 14-го армейского корпуса генерал-лейтенант барон Будберг хотел бы поговорить с руководством комитета и, если у нас нет возражений, «просит пожаловать к командиру дивизии». Вместе с моим заместителем, штабс-капитаном Шиманским, отправилась на эту беседу. До этого мне не раз приходилось встречаться с генералом Будбергом, кадетом по убеждениям, на заседаниях корпусного комитета и основательно спорить с ним по разным политическим вопросам.

В кабинете командира 70-й пехотной дивизии генерал-майора Беляева, кроме хозяина и генерала Будберга, находились начальник штаба дивизии полковник Овчинников и какой-то генерал-лейтенант из штаба фронта. Командир корпуса довольно подробно и весьма откровенно информировал нас о предстоящем наступлении, о наших силах, сосредоточенных на участке корпуса, о том, что удар будет нанесен частями 70-й пехотной дивизии, точнее — силами 279-го пехотного Лохвицкого полка.

— У противника на этом участке имеется всего лишь одна дивизия и больше никаких резервов нет. Таким образом, — заключил генерал, — успех нам обеспечен. Весь вопрос в том, как будут вести себя солдаты: пойдут они в наступление или не пойдут.

Командир дивизии высказал сомнение в боеспособности Лохвицкого полка.

— Этот полк, — заявил Беляев, — целиком в руках большевиков. Даже некоторые офицеры, в том числе командир полка полковник Кохановский, перешли на их сторону.

Представитель штаба фронта предложил немедленно сменить командование полка, назначив вместо полковника Кохановского одного из командиров батальонов. И он тут же выдвинул кандидатуру петербургского капиталиста, на заводе которого мне в свое время пришлось работать, капитана Зиверта, настроенного весьма реакционно.

Мы с Шиманским решительно заявили, что если будет сменено командование Лохвицкого полка, то наши солдаты в наступление не пойдут. После жаркого спора вопрос о командовании Лохвицкого полка был снят.

Через несколько дней меня пригласил командир Лохвицкого полка полковник Кохановский. У него я встретил командира бригады генерал-майора Пашковского и адъютанта полка штабс-капитана Климова. Эти боевые командиры, не в пример высшим штабным офицерам, были настроены совсем по-другому. Они резко критиковали Временное правительство, ставку фронта и армии, которые, по их мнению, ведут страну к гибели.

Горячий, прямой и немного грубоватый генерал-майор Пашковский, награжденный за подвиги офицерским георгиевским крестом и георгиевским оружием, несколько неожиданно для меня заявил:

— Россия либо бесславно погибнет под руководством этих бездарных правителей, либо будет в руках большевиков.

— А в этом последнем случае, как по-вашему, она устоит? — спросил я.

— Не знаю, я не политик, я военный. Но другой силы, которая могла бы вывести страну из тупика, я, откровенно говоря, не вижу.

Климов выразился более определенно:

— Сейчас все решает народ, рабочие и крестьяне, а они идут за большевиками.

Расставаясь, Пашковский советовал мне вести себя осторожно:

— Командование армии, по-видимому в согласии правительства, затевает какую-то большую провокацию против комитетов. Не исключена возможность ареста руководящих работников солдатских организаций, чтобы вместо них проташить сторонников правительства. Повторяю, я не политик, но и слепому видно... — И, не закончив, он круто повернулся к выходу.

В наступлении

Ночью части дивизии выступили на передовые позиции. Резкий ветер обдавал лица мелкой водяной пылью. По грязи, не придерживаясь строя, шагали солдаты. Ни разговоров, ни шуток.

Наутро началась артиллерийская подготовка.

Всю империалистическую войну я провел на фронте, перебивал во многих частях, участвовал в большом количестве сражений, но такого мощного артиллерийского огня мне еще не приходилось наблюдать. Немецкая артиллерия отвечала слабо и была невпопад. Трое суток гремела канонада, трое суток позиции были укутаны в облака дыма.

Утром полковая команда разведчиков ворвалась в первую линию немецких окопов. И вдруг наши орудия, вместо того чтобы перенести огонь дальше, замолчали. Короткая ружейная перестрелка, несколько взрывов гранат — и от славной команды разведчиков осталось в живых лишь семь человек.

В цепях кто-то тихо произнес короткое слово: «Измена!» И вот оно громче и громче катится по окопам. Измена!..

Да, это была измена. Тупой и трусливый командир 70-й пехотной дивизии генерал-майор Беляев отдал преступный приказ о полном прекращении огня. Дело в том, что команда разведчиков состояла в основном из петроградских рабочих и передовых крестьян, членов большевистской партии.

На командном пункте полка, куда я пришел после перевязки, Беляев, бледный и трясущийся, что-то бестолково пытался объяснить. Высокий и широкоплечий богатырь штабс-капитан Климов, забыв чинопочитание, резко бросил:

— Предатель! Баба! — и отвернулся, сдерживаясь, чтобы не ударить генерала.

Снова заработала артиллерия. Под прикрытием ураганного огня двинулись в наступление пехотные цепи. Занята первая линия окопов... Бой идет за ход сообщения «Людендорф», соединяющий укрепленные линии немцев.

Вот взята вторая, третья линия окопов, уже в наших руках батареи полевых орудий... В тыл группами идут пленные немцы. Линия фронта прорвана!

Но что это такое? Лохвицкий полк дерется один, он истекает кровью. Где резервы? Контуженный, иду на командный пункт полка. В голове муторно. Полковник Кохановский протягивает фляжку с коньяком. Он ничего не знает.

Наступает вечер. Полк, потерявший до восьмидесяти процентов личного состава, все еще держится.

Передают приказ: отойти в исходное положение. Отбросив в сторону телефонную трубку, Кохановский падает на табурет.

— Я старик,— его душат рыдания,— две войны за плечами. За что, во имя чего лег костями мой полк?..

Вскоре в одном из приказов о награждении мы прочли имя «доблестного командира 70-й пехотной дивизии генерал-майора Беляева». «Доблестный» Беляев заслужил свою награду. Он уничтожил большевистский полк!

Начало заговора

«Полосой провокаций» назвала партия первую половину августа.

Провокационную, предательскую роль сыграл генерал Беляев в наступлении Лохвицкого полка. На Юго-Западном фронте наступление шло под тем же знаком провокации.

Эта же полоса провокаций захватила и тыл. Одиннадцатого августа на Малой Охте в Петрограде за три часа сгорело четыре завода со снарядами.

Четырнадцатого августа в Казани сгорели пороховой завод и склады, взорвалось около миллиона снарядов и погибло двенадцать тысяч пулеметов.

Шестнадцатого августа в Петрограде выведен из строя завод «Вестингаузен», производивший шrapнели и тормоза.

Восемнадцатого августа в Москве горит Прохоровская мануфактура, работавшая на армию...

Все это были звенья одной цепи. Какой? Мы еще не знали. Но уже начали показываться на свет щупальца корниловского заговора.

Генерал Беляев ходил именинником. В его руках — газета, в которой опубликована телеграмма Корнилова Временному правительству с требованием немедленного «введения смертной казни и полевых судов на театре военных действий». И тут же приписка комиссара Юго-Западного фронта Бориса Савинкова: «Я, со своей стороны, вполне разделяю заявления генерала Корнилова и поддерживаю высказанное им». Вся фронтальная реакция восторженно приветствовала трогательные объятия махрового контрреволюционера Корнилова с одним из главарей эсеровской партии, Савинковым.

Помню совещание корпусного комитета. Генерал-лейтенант Будберг бормотал что-то о становлении русской революции. процитировав этот постыдный корнилово-савинковский документ, он назвал его «высшим проявлением братства лучшей части русской демократии с лучшей частью армии».

— А не находите ли вы, барон,— не вытерпев, спросил кто-то,— что этот документ не проявление братства, а выражение союза двух лагерей контрреволюции, за спинами которых нет ни демократии, ни армии?

Генерал, вспыхнув, пригрозил смельчаку расправой. Тогда встал председатель комитета 18-й пехотной дивизии.

— Виселицей пугаете, господа Треповы? Смотрите, как бы вам не пришлось на ней болтаться.

В зале поднялся невообразимый шум.

— Тише,— послышалось сзади, и к столу подошел старший унтер-офицер. Четыре георгиевских креста украшали его грудь. Глядя прямо в глаза Будбергу, он заявил:

— Вы и те, кто с вами, грозите нам виселицами и расстрелами. Вы хотите потопить революцию в крови, восстановить монархию и вновь надеть на народ ярмо рабства. Не выйдет это! Оружие не в ваших, а в наших руках, и мы его из рук не выпустим. Знайте, что за кровь солдат вы будете платить своей кровью.

Это был голос солдатских масс, и Будберг стусевался. Он не ушел, но и не выступал больше.

Примерно через неделю после этого совещания меня вызвал к себе Беляев. У него в кабинете был и Будберг. Не ответив на мое приветствие, не подав руки, хотя раньше всегда протягивал ее первым, командир дивизии высокомерно спросил:

— Известно ли комитету постановление правительства о введении смертной казни и полевых судов? Каково отношение комитета к этому?

Меня возмутил его наглый тон.

— Комитет не находится в вашем подчинении, генерал, и отчитываться перед вами не собирается.

— Что такое? Вы рядовой солдат вверенной мне дивизии, и я заставляю вас подчиниться.

— Я председатель дивизионного комитета, избранный всем личным составом дивизии, и не подчинен командиру дивизии — это вы должны знать.

— Плевал я на ваши комитеты!..

Молчавший до сих пор Будберг оборвал разговор.

«Ну что ж, — думал я, возвращаясь от Беляева, — все ясно. Эти генералы — верный барометр контрреволюции, стрелка явно клонится на «пасмурно».

В армии уже давно ходили слухи о подготовляемом правительством и ставкой решении распустить солдатские комитеты.

Конфиденциальная встреча

Вскоре в комитет позвонил генерал Будберг, он просил о встрече. Я откровенно заявил командиру корпуса, что считаю совершенно излишним какие-либо беседы частного характера и что будет лучше, если интересующие его вопросы он вынесет на обсуждение либо дивизионного, либо корпусного комитета. Будберг, однако, настаивал на свидании со мной, мотивируя просьбу необходимостью важной консультации.

В штабе корпуса Будберг принял меня очень любезно, даже извинился за грубую выходку Беляева. Было видно, что он чем-то расстроен. Генерал много говорил о тяжелом положении немцев, о том, что на нашем фронте у них нет резервов, что осень и особенно зима будут для них роковыми. Я отвечал осторожно, стремясь понять, к чему клонит Будберг. И, как бы невзначай, он обронил:

— Вы, конечно, приветствовали бы поражение России, не так ли?

На мое замечание о том, что он слишком упрощенно понимает нашу позицию, Будберг заметил:

— Но ведь вы стоите за поражение.

— Мы стоим за прекращение войны, ибо она является грабительской и, следовательно, антинародной как с той, так и с другой стороны; мы стоим за мир между всеми народами. Но мы одинаково ненавидим и русский и немецкий империализм, и, разумеется, никто из нас не намерен помогать ни тому, ни другому. Поэтому вы совершенно зря хотите изобразить нас сторонниками победы Германии.

Наступила короткая пауза. Потом генерал, испытующе взглянув на меня, спросил:

— Ну, а как бы вы отнеслись, к примеру, к сдаче Двинска?

— А зачем его сдавать? Вы же сами только что говорили, что у немцев на нашем фронте нет достаточных сил для крупной военной операции. Я лично считаю, что Двинск нужно держать любыми средствами, ибо сдача этого города создает прямую и самую непосредственную угрозу революционному Петрограду.

— Так вот,— только прошу этот разговор сохранить в тайне — получено приказание отвести наш корпус за Двину, что означает сдачу Двинска и всего Двинского укрепленного района.

— Но это же, генерал, прямое и явное предательство!

— Так и я расцениваю этот приказ, но я военный и, следовательно, обязан выполнять приказы вышестоящего начальства.

— А если вы откажетесь выполнить этот приказ, тем более что вы сами же квалифицируете его как предательский?

— В этом случае я буду отдан под суд.

— Но вы можете, более того — вы обязаны апеллировать к ставке, наконец к правительству.

— Это приказ ставки, и, надо полагать, правительство о нем знает.

— Что же тогда делать?

— Я знаю, что вы относитесь ко мне плохо, — я генерал, да к тому же еще барон... Вы, разумеется, понимаете, что мы стоим на разных позициях. Я считаю, что Россия еще не доросла до революции и наиболее подходящей формой правления была бы для нас конституционная монархия... Но я русский офицер и предателем России быть не хочу и не буду. Воинскую честь я понимаю, видимо, иначе, чем Корнилов. Приказа об отводе корпуса за Двину я не выполню. Надеюсь, что комитеты меня поддержат... Могу я на это рассчитывать?

— Да, генерал, за Двину мы не пойдем, хотя бы вы и отдали приказ об этом. Но мы рады, что вы не желаете быть предателем. Все комитеты вас поддержат. На это вы можете твердо рассчитывать.

— Учтите одно: вынести приказ на открытое обсуждение комитетов я не могу. Мне придется беседовать с председателями комитетов, с каждым в отдельности, и строго конфиденциально.

Содержание этого разговора я передал партийному комитету. Один из его членов, солдат-большевик, покрутил головой:

— Ну, гады, вот гады! До чего ж Россию довели, предают и продают!

Мы решили, что будет правильным, если все председатели комитетов, с кем Будберг будет говорить, заявят ему, что армия за Двину не пойдет, что приказ ставки выполнен не будет.

Четырнадцатый армейский корпус остался на месте.

Сдача Риги

На московском Государственном совещании верховный главнокомандующий генерал Корнилов выступил с продуманной до деталей программой душения революции.

Первым шагом в реализации своего замысла Корнилов считал сдачу противнику Двинска, чтобы открыть немцам дорогу на Петроград. Однако карта его была бита. Но у него в запасе был еще один «козырь» — сдача Риги, и этот «козырь» он и открыл на Московском совещании. Корнилов угрожал падением Риги, если не будут «упразднены Комитеты и Советы», если не будет восстановлена в армии ничем не ограниченная и никем не контролируемая власть реакционного офицерства.

К нам приходили буржуазные и «социалистические» газеты, и буквально в каждом номере мы наталкивались на нецензурную брань. «Разгулявшаяся сволочь», «смрадная рвань», «трусы» — так писали о русских солдатах те, кто прятался за их штыками, кто на их крови строил свое благополучие. Читая газеты и наблюдая возню обнаглевшего военного командования, мы отчетливо понимали, что и в армии и в тылу лихорадочными темпами идет подготовка к контрреволюционному перевороту. В какие формы он выльется, мы еще не знали, но, в свою очередь, тоже готовились к единоборству с реакцией.

В дивизии наряду с легальными была создана нелегальная большевистская организация. В самом штабе дивизии мы надежно спрятали оружие, установили круглосуточное дежурство членов комитета.

Но генералы тоже не дремали. Тайно вынашивались в ставке планы чудовищной авантюры. Вот два коротких сообщения из газет тех дней:

«Враг уже стучится в ворота Риги,— говорил Корнилов на Государственном совещании,— и, если только неустойчивость нашей армии не даст нам возможности удержаться на побережье Рижского залива, дорога к Петрограду будет открыта».

И через два дня официальное сообщение ставки с Западного фронта: «Дезорганизованные массы солдат неудержимым потоком устремляются по Псковскому шоссе и по дороге на Видер — Лембург». Это была ложь. Дезорганизацию, предательство и трусость можно было наблюдать только среди офицерства.

Солдаты дрались за Ригу так.

Немцы подтянули на Рижский фронт большое количество артиллерии. Смертоносный шквал наносил нашим частям довольно серьезный урон, но никто не дрогнул, не повернулся, не побежал. Внезапно противник перенес огонь вглубь, в расположение наших батарей. И тут случилось то, чего никто не мог ожидать. Огонь нашей артиллерии был подавлен, а батареи выведены из строя. Это можно было сделать, только будучи хорошо осведомленным о расположении всех наших огневых точек. В результате немцы быстро форсировали Двину.

У наших солдат не осталось ничего, кроме штыков. Русские войска были преданы своим же собственным командованием, оставлены без артиллерийского прикрытия. И все же наши солдаты упорно отбивали атаки немцев, шли навстречу верной смерти. Но пулеметным и ружейным огнем и штыковыми контратаками удержать Ригу было нельзя, несмотря на весь героизм солдат.

В борьбе за Ригу со всей ясностью вскрылось, до какой низости докатился называющий себя русским реакционный генералитет! Гибли полки, дивизии — контрреволюции это было на руку. Корнилов по трупам убитых шагал к диктатуре.

Двадцать первого августа Корнилов сдал немцам Ригу.

Двадцать пятого августа пошли с фронта к Петрограду эшелоны 3-го конного корпуса генерала Крымова.

Всколыхнулся, взволновался
Православный тихий Дон,
И послушно отозвался
На призыв монарха он.

Казачья песня царских времен залихватски, с присвистом, гремела из теплушек. Мятеж генерала Корнилова начался.

Центральный Комитет партии большевиков обратился к рабочим и солдатам с призывом дать вооруженный отпор контрреволюции.

В тот же день мы переговорили со всеми солдатскими комитетами. Все средства связи — радио, телеграф, телефон — с помощью сочувствовавших большевикам солдат были взяты под наблюдение. Дивизия ждала в полной боевой готовности. В любую минуту она готова была стать под ружье и двинуться, если потребуется, на помощь революционному Петрограду.

В Двинске, на железной дороге, в городах и местечках прифронтовой полосы рабочие начали вооружаться, создавались тщательно законспирированные боевые рабочие дружины, которые потом послужили костяком Красной гвардии. Из Кронштадта на защиту Петрограда прибыли тысячи моряков с оружием в руках.

Авантюра Корнилова лопнула через пять дней после начала восстания, раздавленная большевиками. Вместе с ней вдребезги разлетелись и планы наших доморощенных корниловцев, готовивших выступление на день победы генерала Корнилова.

**

Тяжелые августовские события были хорошей проверкой для многих шедших за большевиками солдат и особенно офицеров. Кое-кто, боясь репрессий, отошел от нас, но таких дезертиров оказалось ничтожное количество. Зато сплошным потоком шел другой процесс. Разуверившиеся в эсерах и меньшевиках солдаты и офицеры вступали в ряды большевиков или заявляли о своей поддержке партии.

Выполняя указание партии о завоевании на сторону большевиков целых воинских частей, мы усилили агитационную работу в Лохвицком и Кромском полках и в 70-м артиллерийском дивизионе. Солдаты в этих частях шли за нами. В эти дни окончательно связал свою судьбу с большевистской партией полковник Кохановский, пришли к партии и некоторые другие офицеры, весь унтер-офицерский состав Лохвицкого полка, сплошь георгиевские кавалеры. К красным частям, как их тогда называли, подтягивались Переяславльский и Сурский полки и отдельные команды.

Некоторые металлы, чтобы узнать их крепость, испытывают огнем. Свинец не выдержит той температуры, какую выдерживает сталь. Корниловский мятеж явился для революции таким испытанием. Расплавившись, выгорели непрочные элементы — соглашатели; выдержал, закалился, стал еще тверже благородный сплав — большевистская партия, показавшая свою способность разгромить контрреволюцию, стать правящей партией.

Силы пролетарской революции окрепли и умножились.

Армия выстраивалась под знамена Ленина для новых классовых битв

М. ЩЕДРИН,
член КПСС с 1919 года

В „ДИКОЙ ДИВИЗИИ“

В двадцатых числах августа Корнилов снял с фронта 3-й конный корпус генерала Крымова в составе казачьих полков и «дикой дивизии» и бросил его к Царскому Селу, чтобы отсюда начать наступление на Петроград. Большевистская партия призвала рабочих и солдат дать вооруженный отпор контрреволюции.

Начались напряженные дни. У нас, лейб-гвардейцев, тревожное настроение. Офицеры ходят растерянные, не знают, чем заняться. Солдаты в большинстве своем заявляют, что будут верить только ЦК партии большевиков и его уполномоченным. Царскосельский гарнизон в составе 1-го, 2-го, 3-го, 4-го стрелковых полков лейб-гвардии и полка артиллерии вынес решение: по первому требованию выступить против мятежников. К Царскому Селу направлялись рабочие и солдаты Петрограда, матросы Кронштадта.

Ночами не спали. Лежали на нарах, винтовка рядом, на левой руке, курок на предохранительном взводе.

И вот прибыл большевик из партийного комитета гарнизона. Поздний вечер. Солдаты стоят, винтовка к ноге, на многих скатки шинелей через плечо — полная боевая готовность. Слушаем, что говорит приехавший товарищ.

— Авантюра Корнилова опасна для революции, — гулко разносится в тишине. — Направление главного удара генеральского заговора — Питер. Потеря революционного Петрограда грозит потерей всех завоеваний революции...

Закончил он. Молчат в казарме. Думают солдаты.

— А вот скажи, — выступил вперед бородач, — объясни нам касательно патронов. У нас у каждого всего-навсего по одной обойме.

— Правильно, — ответил большевик, — боевых патронов не хватает. Керенский предусмотрел возможные здесь события и поспешил «облегчить» вас. Но существует еще одно оружие, товарищи, самое мощное оружие нашей партии — революционное слово правды.

На следующий день вечером в сторону Павловска, к реке Ижоре, и на северо-западную опушку Красного бора были направлены агитаторы. С ними в «дикую дивизию» шла и мусульманская делегация. Это было сделано по инициативе С. М. Кирова. Киров в то время находился в Москве. Узнав о корниловском заговоре, он договорился с Центральным Комитетом горских народов о посылке делегаций.

Сутки работали агитаторы в «дикой дивизии», в казачьих частях. В эту группу я был назначен связным от комитета солдат лейб-гвардии. Вспоминаю такие сценки.

Наш солдат стоит на большом пне. Вокруг толпа казаков. Оратор спокоен, объясняет словно малым ребятишкам:

— Вы поймите, годки, кому нужна драка между нами? Она нужна только буржуям и прочей контрреволюции. Судите сами: старого режима мы не хотим, и вы не желаете. Вам нужен мир, земля и свобода, и нам все это необходимо. Вроде мы с вами во всех вопросах и сходимся. А получается что? Вас обманули и хотят натравить на солдат и рабочих, устроить резню...

Гудят казаки, пережевывают брошенные им мысли.

В другом месте сразу завязалась беседа по душам. Жалуются казаки: неважно родным дома живется. У некоторых, пишут, так прямо кровь пьют односельчане-кулаки и сотенные.

Сутки прсвели наши агитаторы среди казаков. В казармах эти сутки никто не спал, никто не знал, как повернется дело, с минуты на минуту можно было ждать команду: «В ружье!»

И вдруг видим: мимо казарм идут пешие казаки в бурках. Свернули к воротам.

— В ружье!

А казаки уже в вестибюле. Кто их впустил? Навстречу, сжимая в руках винтовки, наши солдаты. Но что это? Казаки приветливо улыбаются, между ними наши же ребята. Как гора с плеч! Все стало ясно.

— Товарищи, прощу в столовую,— пригласил гостей дежурный по роте.

После ужина пошли все вместе в кинематограф «Казино». Передние ряды предоставили казакам.

На следующий день конный корпус повернул обратно на фронт. Его командир застрелился.

А тридцать первого августа, на шестой день корниловского мятежа, Петроградский Совет стал на большевистскую позицию. Меншевистско-эсеровский президиум во главе с Чхеидзе освободил места для большевиков.

Начинался подъем революции. Влияние большевиков в массах возросло как никогда.

ИЗ ДОКУМЕНТОВ ТЕХ ДНЕЙ

„Резолюция Ц.К. Р.С.-Д.Р.П. (больш.) о Московском совещании 12 августа.

Государственная власть в России целиком переходит в настоящий момент в руки контрреволюционной империалистической буржуазии при явной поддержке мелкобуржуазными партиями эсеров и меньшевиков. Политика разжигания и затягивания войны, отказ дать землю крестьянам, отобрание прав у солдата, восстановление смертной казни, насилие над Финляндией и Украиной, наконец яростный поход против наиболее революционной части пролетариата — с[оциал]-д[емократов] — интернационалистов — таковы наиболее яркие проявления господства контрреволюционной политики. Для закрепления своего влияния и своих позиций контрреволюционная буржуазия стремится создать сильный общероссийский центр, объединить свои силы и выступить во всеоружии против пролетариата, против демократии. Этой цели и призвано служить созываемое на 12 августа Московское [государственное] совещание.

Московское совещание, составленное в преобладающем большинстве из представителей таких учреждений свергнутого революцией строя, как царская Государственная дума, являющаяся гнездом контрреволюции, и из представителей многочисленных организаций крупнейшей буржуазии,— имеет своей задачей подделывать общенародное мнение и ввести тем самым широкие народные массы в обман.

...Московское совещание имеет своей задачей санкционировать контрреволюционную политику, поддержать затягивание империалистической войны, встать на защиту интересов буржуазии и помещиков, подкрепить своим авторитетом преследование революционных рабочих и крестьян. Таким образом Московское совещание, прикрываемое и поддерживаемое мелкобуржуазными партиями, эсерами и меньшевиками, на деле является заговором против революции, против народа.

Исходя из сказанного, Ц.К. Р.С.-Д.Р.П.(б) предлагает партийным организациям: 1) разоблачать созываемое в Москве совещание, орган заговора контрреволюционной буржуазии против революции; 2) разоблачать контрреволюционную политику эсеров

и меньшевиков, поддерживающих это совещание; 3) организовать массовые протесты рабочих, крестьян и солдат против совещания».

(«Рабочий и солдат» № 14 от 8 (21) августа 1917 года).

„Пролетариат Петрограда заговорил.

Пролетариат Петрограда заговорил устами своих представителей в Рабочей секции Петроградского Совета Рабочих и Солдатских Депутатов. Он на последнем заседании этой секции — 1 августа — громко и решительно запротестовал против тех заявлений, которые в последнее время позорят революционную Россию, — против преследования революционных солдат и рабочих и против введения смертной казни. Больше месяца собиралась Рабочая секция; больше месяца не имел петроградский пролетариат возможности высказать то, что его волнует, выяснить свое отношение к переживаемой нами вакханалии репрессий и преследований, разгулу контрреволюции, к чрезмерным уступкам, делаемым контрреволюционерам «ответственными» вождями революционной демократии.

Больше месяца питерский пролетариат молчал; больше месяца таил он в себе накопившееся у него недовольство и негодование. И когда, наконец, собрались его представители, когда, наконец, после долгих отяжек собралась Рабочая секция, заседание ее превратилось в суд, суд пролетариата над теми, кто до сих пор мнил себя выразителем его мнений, кто до сих пор позволял себе говорить от его имени.

Прежде всего секция... поставила в порядок дня два жгучих вопроса момента: вопрос о преследованиях и вопрос о смертной казни.

И полились жгучие, страстные и бичующие речи. Вылилась в них вся накопившаяся досада, все накопившееся недовольство и негодование. Из всех уст стоном вырвалось одно слово: «Позор». Позор тем, кто вводит смертную казнь, кто сажает в тюрьмы солдат и рабочих, кто преследует печать и громит рабочие организации. Позор и тем, кто явно или тайно попустительствует этому, у кого не хватает смелости громко протестовать против этих безобразий, кто предпочитает трусливо отмалчиваться.

Напрасно пытались Даны и Гоцы смягчить резкость этих суждений. Напрасно пытались они уговорить рабочих, что их осуждение действий Центральн. Исполн. Комит. повредит делу революционной демократии.

«Нет, — заявили революционные рабочие, — прикрывать ошибки наших руководящих органов мы не намерены. Если они ошибаются, мы обязаны призвать их к порядку, наш долг открыто и прямо заявить о том, что они разошлись с массами, что они идут не по тому пути, по которому должна идти истинно-революционная демократия».

И Рабочая секция постановила «выразить недоумение и протест рабочего класса против того, что Всероссийский Исполнительный К-т до сих пор не нашел в себе решимости поднять вопрос о смертной казни»..

И так же решительно и смело осудила секция и другое позорное явление наших дней: аресты и преследования, разгромы и запрещения. Осудила — и потребовала права привлечения к суду всех виновников этих безобразий.

Больше месяца молчал пролетариат Петрограда... Больше месяца не давали ему возможности резко осудить всех тех, кто своей нерешительностью и колебанием, своей уступчивостью и мягкотелостью губит дело революции. Теперь он заговорил. И в его голосе исчезли последние фальшивые оборонческие и социал-шовинистические нотки. Пролетариат Петрограда заговорил языком, приличествующим передовому авангарду революции.

Пусть же прислушивается к этому голосу пролетариат и истинно-революционная демократия всей России. Пусть послужит им примером путь от оборончества к интернационализму, пройденный питерским пролетариатом, его Рабочей секцией в Совете Рабочих и Солдатских Депутатов.

Пролетариат Петрограда заговорил.

Очередь за пролетариатом всей России.

В. Володарский».

(«Рабочий и солдат» № 15 от 9 (22) августа 1917 года).

„12 августа.

На парад контрреволюции, назначенный 12 августа в Большом театре, со всех сторон стягиваются черные силы. «Бывшие министры, бывшие властители русской торговли и промышленности, бывшие военачальники, бывшие земские деятели, оттесненные демократизацией земства» («Рус[ское] Сл[ово]»), казачья делегация, требующая контрреволюционного переворота, профессора (Струве, Бердяев), услужавшие империализму и при старом порядке и ныне находящиеся не у дел,— все смещались в одну злобную, наглую толпу.

Все эта стая шакалов контрреволюции шелкает зубами и уже заранее поднимает голодный вой. На предварительном совещании г.г. контрреволюционеров председателем «с овацией, с восторгом и надеждой избран М. В. Родзянко», тот самый, который только дожидается «психологического момента» для разгона Советской власти и захвата власти Думой.

Все [государственное] совещание проходит под знаменем злобной травли революции...

Замысел контрреволюции обнажается во весь рост... она желает взять власть в свои руки и править железной рукой. Она объявляет сказками разговоры о земле, она желает заковать в цепи каторжной дисциплины «ленивых и преступных» солдат, она хочет обуздать «распушенных» рабочих. Для того, чтобы повернуть дело в эту сторону, она организуется под флагом Московского [государственного] совещания и если не на нем самом, то в ближайшем будущем при поддержке казаков, георгиевских кавалеров, доблестных генералов хочет произвести государственный переворот.

12 августа — день репетиции этого государственного переворота.

Но слишком рано торжествует наша контрреволюция. Ни конечной победы не быть в ее руках, ни даже этой временной, предварительной. Есть еще силы у пролетариата и революционных солдат. Не запугать их больше фальшивыми криками о том, что они насаждают контрреволюцию своей борьбой с черными силами.

12 августа никто не сможет зажать рот революционному пролетариату, который сумеет дать острастку зарвавшимся контрреволюционерам. Право стачек, право выражать политический протест еще не отнято у нас, и если кто-нибудь попытается, прикрываясь «волей народа», его отнять, пролетариат сумеет взять его обратно.

На 12 августа, согласно решению руководящих органов организованного пролетариата, назначена всеобщая стачка в знак протеста против контрреволюционных понятий устроителей Московского [государственного] совещания.

Мы призываем товарищей воздержаться в этот день от уличных демонстраций и митингов. Эти формы протеста были хороши во времена, когда массы были свободны, когда правительства назначались их организациями, когда воля народа, выраженная открыто и сильно, безболезненно торжествовала.

Другие приемы борьбы нужны теперь.

Никаких манифестаций, никаких поводов к тому, чтобы г.г. участники совещания могли преждевременно, по частям пустить кровь нашим силам. Не этим приведем мы их к молчанию.

Да здравствует всеобщая стачка, наше первое грозное предостережение, предостережение г.г. контрреволюционерам и их пособникам!»

(«Социал-демократ» № 131 от 11 (24) августа 1917 года).

„Москва бастует!»

Московский пролетариат со стоическим спокойствием проводит свою забастовку — протест против Московского [государственного] совещания.

Эту черту непреклонной решимости провести свой мирный протест вынуждена признать даже буржуазная печать, как всегда, однако, умаляющая размеры возникшего движения.

Так, во вчерашнем вечернем выпуске «Виржевки» сообщается: «С утра в городе началась забастовка. Попытки большевиков сделать ее всеобщей не совсем достигли успеха. Тем не менее забастовка охватила весьма значительные районы и крупные производства.

С раннего утра в город вышло незначительное количество трамваев. Около 10 часов трамвайное движение совсем прекратилось. Трамвайные вагоны стоят на улицах.

Забастовка организована исключительно большевиками и правлением профессиональных союзов.

Поздно ночью состоялось соединенное заседание правлений 23 профессиональных союзов. На заседании была вынесена резолюция, подтверждающая принятое уже решение объявить в знак протеста против Московского совещания всеобщую забастовку в Москве.

Около [Большого] театра царит большое оживление. Театр оцеплен конными отрядами. Вся площадь залита народом. Внешне все спокойно. Забастовка охватила все рестораны и гостиницы. Трамвай стоит. На некоторых улицах можно видеть целый ряд вагонов, вышедших утром из парка и затем остановленных по требованию рабочих».

Спокойствие и выдержка питерского пролетариата лучшее подтверждение мощи и силы единого пролетарского фронта.

(«Пролетарий» № 1 от 13 (26) августа 1917 года).

„Нашим друзьям.

Товарищи рабочие! Наша партия переживает финансовый кризис. Разгром «Правды» и ее типографии до сих пор еще сказывается.

Поломка типографских машин и порча вспомогательных материалов, потеря свыше 70 пудов шрифта и невозможность работы в типографии в продолжение месяца, ремонт и новые расходы взяло у партии более 100 тысяч рублей.

После известного перерыва Центральный орган партии восстановлен. Но постановка органа повела к новым одновременным затратам. Между тем, газета еще не успела окрепнуть и пока не окупает себя.

После вынужденного месячного молчания необходимо удвоить работу по агитации и пропаганде, по изданию брошюр, листовок и пр. Это особенно необходимо теперь, перед выборами в Учредительное собрание, когда стоустая буржуазная печать забрасывает города и деревни клеветой и ложью. Но на это нужны средства, а их нет.

Партия, израсходовав все наличные средства, живет на долги, они растут изо дня в день.

Мы стоим перед вопросом: либо сократить и ликвидировать некоторые очень важные партийные предприятия, либо достать на одну неделю 100 тысяч рублей на неотложные нужды, на укрепление и расширение печатного дела.

Мы глубоко убеждены, что вы не допустите ликвидации некоторых наших партийных предприятий на радость заклятым врагам партии и пролетариата.

Поэтому мы обращаемся к вам с призывом:

Д о с т а н ь т е н а о д н у н е д е л ю 1 0 0 т ы с я ч р у б . н а н у ж д ы « П р о л е т а р и я » !

Товарищи! Три месяца назад, когда мы обратились к вам за поддержкой для приобретения типографии, вы сумели в несколько дней собрать более 100 тысяч. Сумейте же и теперь в одну неделю собрать 100 тысяч!

Покажите врагам, что в момент, когда буржуазные гены стараются оболгать и оклеветать вашу партию, а вождей ваших преследуют и арестуют, — вы умеете поддержать вашу пролетарскую партию!

Последуйте примеру товарищей путиловцев и устраивайте однодневные сборы.

Пусть каждый член партии, пусть каждая партийная ячейка возьмется немедленно за организацию сборов. На каждом заводе, на каждой фабрике должны быть устроены сборы!

Сто тысяч в одну неделю на нужды «Пролетария»!
За дело же, товарищи!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ К-Т Р.С.-Д.Р.П.
РЕДАКЦИЯ «ПРОЛЕТАРИЯ».
БОЛЬШЕВИСТСКАЯ ФРАКЦИЯ СОВЕТА РАБ. И СОЛД.
ДЕПУТАТОВ».

(«Пролетарий» № 8 от 22 августа (4 сентября) 1917 года).

„Странное совпадение.

Мы хотим отметить одно странное совпадение.

Каждый раз наши газеты закрываются в одном определенном случае: когда они призывают рабочих не поддаваться на провокацию.

«Правда» была закрыта, когда она, после июльских дней, призвала рабочих и солдат к прекращению демонстрации.

«Рабочий и Солдат» был закрыт, когда в статье «Что будут делать питерские рабочие в день 12 августа» призвал не устраивать в этот день уличных выступлений.

И, наконец, «Пролетарий» закрыт на другой день после того, как, в связи с прорывом Рижского фронта, он призвал рабочих и солдат к выдержке и спокойствию!

Что же это значит? Чья рука так заботливо не дает рабочим знать, что партия предостерегает их от провокации?

Чья же это провокаторская рука?

Или, точно безумцы, они играют с огнем».

(«Рабочий» № 2 от 26 августа (8 сентября) 1917 года).

„Резолюция большевистской фракции о политическом моменте, оглашенная на заседании Ц.И.К., ночью, 27 августа.

По поводу создавшегося политического положения фракция считает нужным заявить следующее:

Контрреволюция началась не сегодня и не в связи с заговором Корнилова, а, по крайней мере, в июне, когда правительство, перейдя в наступление на фронте, стало проводить политику репрессий; когда контрреволюционные силы организовали сабжу Тарнополя и Черновиц, взвалив потом вину на солдат; когда кадеты, саботируя правительство, вышли из министерства; когда вожди Ц.И.К., вместо того, чтобы порвать с кадетами и, взяв власть в свои руки, протянуть руку июльским демонстрантам, обратили свое оружие против рабочих и солдат.

Фракция заявляет, что происходящая ныне борьба между коалиционным правительством и партией Корнилова есть борьба двух методов ликвидации революционных завоеваний, причем партия Корнилова, самый злейший враг революции, не остановится перед тем, чтобы, сдав Ригу, обратить свое оружие против Петрограда для того, чтобы создать условия для восстановления старого режима.

Фракция считает нужным подчеркнуть, что партия кадетов второй раз (после июля) оказывается в одном лагере с предателями на фронте и злейшими контрреволюционерами в тылу.

Все это, в связи с возрастающей разрухой в стране, делает положение угрожающим.

Ввиду этого фракция выставляет следующую программу, немедленное осуществление которой считает она необходимым условием спасения революции.

Фракция требует немедленного удаления всех без изъятия контрреволюционных генералов в тылу и на фронте, заменив их выборными от революционных солдат и офицеров, и проведения снизу доверху полной демократизации армий.

Восстановления всех солдатских организаций, единственно способных установить в армии действительную демократическую дисциплину.

Отмены всех и всяких репрессий против солдат, рабочих и крестьян и в первую голову смертной казни.

Немедленной передачи всех помещичьих земель в распоряжение крестьянских комитетов с обеспечением непмущих крестьян инвентарем.

Законодательного установления 8-час. раб. дня и организации демократического контроля над фабриками, заводами и банками с преобладанием представителей от рабочих.

Организации правильного обмена между городом и деревней при посредстве демократических органов снабжения, распределения и пр. в целях доведения до минимума продовольственного кризиса.

Полной демократизации финансового хозяйства и в первую голову беспощадного обложения капиталов и имущества и конфискации военных прибылей.

Восстановления свобод, декретирования демократической республики и немедленного созыва Учредительного собрания.

Немедленной отмены тайных договоров и предложения условий всеобщего демократического мира.

Фракция заявляет, что без осуществления этих требований невысказано спасение страны от разрухи в тылу и на фронте, невысказано спасение революции.

Фракция считает своим долгом заявить, что единственным путем для осуществления этих требований является переход всей власти в руки революционных рабочих, крестьян и солдат».

(«Рабочий» № 4 от 26 августа (10 сентября) 1917 года).

„Резолюция, вынесенная на общем собрании завода „Л. Нобель“ (от 28 августа).

1) Мы, рабочие завода «Л. Нобель», видим единственный выход из создавшегося положения в переходе власти к пролетариату и беднейшему крестьянству.

2) Мы протестуем против введения смертной казни на фронте и требуем отмены ее, а также восстановления всех гражданских демократических прав для солдата.

3) Мы требуем немедленного освобождения из республиканских тюрем вождей рабочего класса, революционных рабочих, солдат, матросов, томившихся в застенках нового режима, в то время как слуги царизма — контрреволюционеры — освобождаются из тюрем и пропускаются за границу.

4) Мы протестуем против гонений на рабочую печать, против закрытия «Пролетария», «Уральской Правды», «Звезды» и проч.

5) Мы протестуем против наглой клеветы на вождей рабочего класса и против травли, поднятой против солдат, и бросаемых им обвинений в измене, им, потерявшим большую часть своего состава при сдаче Риги.

6) На борьбу с контрреволюцией, на борьбу за власть пролетариата и беднейшего крестьянства мы выступим по призыву Рабочей секции Сов[ета] Р[абочих] и С[олдатских] Д[епутатов].

(«Рабочий» № 6 от 29 августа (11 сентября) 1917 года).

„Резолюция путиловцев.

29 августа на общем собрании II округа Путиловского завода в количестве 4.000 чел. вынесена следующая резолюция.

1) Правительство революционной страны должно быть составлено только из представителей революционного класса, а таковым является только пролетариат и поддерживающие его слои беднейшего крестьянства.

Всякие переговоры о коалиционной власти в условиях борьбы буржуазии и ее ставленника Корнилова с народом мы будем отныне считать изменой делу свободы.

2) Немедленно должен быть прекращен торг правительственных мелкобуржуазных партий с генералами о передаче в руки этих изменников верховного командования.

3) Немедленно должны быть осуществлены все требования революционного народа о наделении крестьян землей, об установлении рабочего контроля над производством, об осуществлении гражданской свободы, о созыве Учредительного собрания и об окончании этой гнусной бойни.

4) Немедленный арест всех заговорщиков и кадетов с их штабом — Ц.К. их партии, а также роспуск Государственной думы и арест ее контрреволюционных сил.

5) Немедленное освобождение всех политических заключенных за выступление 3—5 июля и немедленное прекращение травли пролетарских вождей, которые должны быть в эти грозные дни впереди наших рядов.

6) Введение смертной казни для тех контрреволюционных сил, которые ее объявили.

7) Немедленное перемирие на всех фронтах для предложения почетного мира для всех народов».

(«Рабочий» № 8 от 30 августа (12 сентября) 1917 года).

„Ко всем трудящимся, ко всем рабочим и солдатам Петрограда.

Контрреволюция надвигается на Петроград. Предатель революции, враг народа, Корнилов ведет на Петроград войска, обманутые им. Вся буржуазия во главе с партией кадетов, которая непрестанно сеяла клевету на рабочих и солдат, теперь приветствует изменника и предателя и готова от всего сердца аплодировать тому, как Корнилов обагрит улицы Петрограда кровью рабочих и революционных солдат, как он руками темных, обманутых им людей задавит пролетарскую, крестьянскую и солдатскую революцию.

Чтобы облегчить Корнилову расстрел пролетариата, буржуазия выдумала, что в Питере будто бы восторжествовал мятеж рабочих. Теперь вы видите, что мятеж поднят не рабочими, а буржуазией и генералами, во главе с Корниловым. Торжество Корнилова — гибель воли, потеря земли, торжество и всевластие помещика над крестьянином, капиталиста — над рабочим, генерала — над солдатом.

Временное правительство распалось при первом же движении корниловской контрреволюции. Это правительство, которому часть демократии неоднократно выражала свое доверие, которому она вручила всю полноту власти, — это правительство оказалось не в состоянии исполнить свою первую и прямую задачу: задавить в корне генеральско-буржуазную контрреволюцию. Поиски соглашения с буржуазией ослабили демократию, разожгли аппетиты буржуазии, дали ей смелость решиться на открытое восстание против революции, против народа.

Спасение народа, спасение революции — в революционной энергии самих пролетарских и солдатских масс. Только своим силам, своей дисциплинированности, своей организованности можем мы доверять. Мы доверяем руководству решительной борьбой за спасение всей революции, ее завоеваний и ее будущего той власти, которая безоговорочно, беззаветно, всецело возьмет на себя проведение в жизнь требований пролетарской и солдатско-крестьянской массы. Только эта власть спасет революцию, спасет от наступления контрреволюции, спасет ее, несмотря на колебания, шаткость, бесхарактерность колеблющейся части демократии.

Население Петрограда! На самую решительную борьбу с контрреволюцией зовем мы вас! За Петроградом стоит вся революционная Россия!

С о л д а т ы! Во имя революции — вперед против генерала Корнилова!

Рабочие! Дружными рядами оградите город революции от нападения буржуазной контрреволюции!

Солдаты и рабочие! В братском союзе, спаянные кровью февральских дней, покажите Корниловым, что не Корниловы задавят революцию, а революция сломит и сметет с земли попытки буржуазной контрреволюции.

Во имя интересов революции, во имя власти пролетариата и крестьянства в освобожденной России и во всем мире — дружной семьей, сплоченными рядами, рука об руку, все, как один человек, встретьте врага народа, предателя революции, убийцу свободы.

Вы смогли свергнуть царизм, — докажите, что вы не потерпите господства ставленника помещиков и буржуазии — Корнилова.

Ц.К. Р.С.-Д.Р.П. (большевиков).

П.К. Р.С.-Д.Р.П. (большевиков).

Военная организация при Ц.К.Р.С.-Д.Р.П.

Центральный Совет фабрично-заводских комитетов.

Большевистская фракция Петроградского и Центрального Советов Р. и С. Депутатов».

(«Рабочий» № 8 от 30 августа (12 сентября) 1917 года).



КЛАРА ЦЕТКИН

★

ИСКУССТВО И ПРОЛЕТАРИАТ

Соратница Энгельса и друг В. И. Ленина, Клара Цеткин участвовала в первых боях пролетариата за социализм и была свидетелем победы социалистической революции на одной шестой части земного шара. Клара Цеткин была человеком огромных знаний и редкой широты интересов. Блестящий публицист, знаток международной политики, экономики, историк революционного движения, исследователь и пропагандист учения Маркса—Ленина, она в течение многих лет выступала и как литературный критик.

Ее перу принадлежат статьи о немецких пролетарских поэтах конца XIX — начала XX столетия, статьи о Шиллере, Ибсене, Фрейлиграте и других писателях. Наиболее полно ее взгляды на искусство выражены в докладе «Искусство и пролетариат», прочитанном впервые на рабочем собрании в Штутгарте (1911 год) и, как показывают публикации, повторенном в Вене (1921 год).

В начале десятых годов в социал-демократической прессе Германии шла острая дискуссия об искусстве. Ревизионисты утверждали, что искусство, в отличие от политики, призвано не изменять, а только пассивно отражать мир. Они рассматривали искусство как частное дело художника и читателя, отделяли в художнике «поэта» от «борца», полностью капитулировали перед буржуазной эстетикой.

Клара Цеткин вместе с Францем Мерингом, Розой Люксембург, Карлом Либкнехтом противопоставила реформистско-буржуазным взглядам на искусство революционную эстетическую теорию марксизма.

Основные положения ее доклада «Искусство и пролетариат» развивают мысли Маркса и Энгельса об искусстве и именно потому близки эстетическим взглядам В. И. Ленина.

Защищая «тенденциозное» искусство, открыто поставившее себя на службу революционному классу, веря в расцвет пролетарского искусства, Клара Цеткин по-ленински ставила вопрос об усвоении классического наследства, по-ленински боролась за искусство партийное и народное.

Публикацией доклада «Искусство и пролетариат» журнал отмечает столетие со дня рождения Клары Цеткин. Доклад ее был напечатан на русском языке в 1925 году в журнале «Звезда», а в 1927 году выпущен издательством «Московский рабочий». Однако значительные купюры в тексте и небольшой тираж издания, давно исчезнувшего с книжного рынка, делают, как нам думается, целесообразным новый перевод и публикацию его в журнале.

Искусство и пролетариат — это сопоставление может показаться насмешкой. Условия существования, которые капиталистический строй создает своим наемным рабам, враждебны искусству, более того — убийственны для него. Чтобы наслаждаться искусством и, тем более, творить его, необходим простор для экономического и культурного развития, избыток материальных благ, физических, духовных и нравственных сил. Но с тех пор как классовые противоречия раскололи общество, уделом всех эксплуатируемых и поработанных стала материальная нужда и связанная с нею нищета культуры. Потому неоднократно возникал вопрос, имеет ли вообще искусство нравственное и общественное оправдание, способствует ли оно развитию человечества или задерживает его.

В середине XVIII столетия великий апостол философии возврата к природе Жан-Жак Руссо в своем знаменитом трактате, представленном Дижонской академии, доказывал, что искусство — роскошь, что оно ведет человечество к нравственному упадку.

В семидесятых годах прошлого столетия одним из сторонников философского нигилизма в России была брошена громкая фраза, гласящая, что сапожник имеет большую ценность, чем Рафаэль, ибо он выполняет общественно полезную, необходимую работу, в то время как Рафаэль писал мадони, без изображения которых можно было бы обойтись. На рубеже XIX и XX столетий аналогичные, но социально более заостренные, чем у Руссо, раздумья привели величайшего художника Льва Толстого к суровой оценке искусства. С отличающей его неумолимой логикой Толстой осуждает не только современное искусство, но и всякое искусство вообще, если оно является привилегией имущих классов, служит их наслаждению и становится самоцелью. Подобно юноше Шиллеру, полагавшему, что сцена, театр — «учреждение нравственное», старец Толстой в конце своего пути также приходит к убеждению, что искусство только тогда может быть оправдано, когда оно сознательно преследует цель — поднять весь народ на более высокую ступень нравственности.

Последовательно развивая эти взгляды, Толстой и свое собственное бессмертное искусство рассматривает лишь как средство для достижения цели, как возможность нести свои идеи широчайшим кругам народа и тем самым воспитывать его в своем духе.

Приведенным выше ложным, парадоксальным представлениям присуще нечто общее. Они возникают в те переходные эпохи, когда старый общественный порядок агонизирует и новые социальные силы вступают в борьбу. В такие эпохи искусство явственно отмечено печатью рабства или даже клеймом продажной девки. Оно является роскошью и забавой для имущего и господствующего меньшинства и своим содержанием, всей сутью своей, вступает в резкое противоречие с потребностями и воззрениями поднимающегося класса. Это относится и к тому времени, когда написал свой трактат Руссо, и к тому, когда созрел философский нигилизм в России; это относится и к нашим дням, когда Толстой обрушивает на искусство весь свой талант великого художника и фанатизм стремящегося обновить мир могучего проповедника. В такие эпохи из-за бросающихся в глаза симптомов упадка на одном социальном берегу легко проглядеть на противоположном признаки новой, расцветающей жизни — жизни, которая спасает искусство от разложения, открывает перед ним новые возможности для развития, наполняет его новым, здоровым, более высоким содержанием.

Отмирание и расцвет в бытии народов и человечества совершаются одновременно. Когда гибнут старые формы хозяйства и связанные с ними политика, право, искусство, тогда же бьет час рождения новых форм.

Когда Жан-Жак Руссо произносил свой обвинительный приговор искусству, губящему нравы, французская философия — отражение изменившихся экономических и социальных условий — уже обрела смелый полет мысли. Правда, высшей точки своего развития она достигла не в золотом веке классического искусства, а в классическом акте политики — Великой французской революции. Однако социальные битвы этой эпохи решительным образом повлияли и на дальнейшее развитие искусства как в самой Франции, так — и не в меньшей мере — в Германии. В последней сходное экономическое развитие — прогресс капиталистического производства — привело не к политическому господству буржуазии, а к сражению за свободу в области философии и искусства, которые достигли поэтому классического расцвета.

Взгляды Руссо и Толстого должны быть отвергнуты не только в связи с приведенными выше историческими причинами. Нельзя отрицать тот факт, что искусство является древнейшим проявлением духовной жизни человечества. Как и мышление, — а может быть, еще раньше, чем абстрактное мышление, — стремление к художественному творчеству развилось в связи с деятельностью, с трудом примитивного человека, точнее, в связи с его коллективным трудом. Едва человек перестает быть животным, едва в нем начинает зарождаться духовная жизнь — в нем пробуждается стремление к художественному творчеству, порождающее примитивное искусство. Об этом рассказывают археологические находки, знакомящие нас со сделанными в каменном веке рисунками в пещерах, на которых изображены охотники за слонами и оленями. Это доказывает этнография, изучающая танец, музыку, поэзию, изобразительные искусства как образное воплощение первобытного художественного чувства. Бушмены и другие дикие племена также имеют свое примитивное искусство. Прежде чем развилась их способность

к абстрактному мышлению, они уже нашли изобразительные средства для чувственного воплощения всего увиденного и пережитого.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что страстное влечение к наслаждению искусством и художественному творчеству во все времена жило в угнетенных и поработанных слоях общества. Поэтому снова и снова из широчайших народных масс выходят одаренные приверженцы искусства и творцы, умножающие его сокровища.

Но одно мы должны твердо помнить. Пока поработанные ясно не осознали своей противоположности господствующим, пока они не начали добиваться уничтожения этой противоположности, они не могут раскрыть перед искусством новые социальные перспективы развития, не могут наполнить его новым, богатым содержанием. До этого момента их тоска по собственному искусству утоляется искусством их господ, и, наоборот, искусство господ обогащается их страстным стремлением к художественному творчеству. Лишь тогда, когда угнетенные превращаются в революционный, восставший класс и их духовная жизнь приобретает собственное содержание, когда они вступают в борьбу, чтобы порвать тяжкие цепи социального, политического и духовного гнета, — лишь тогда их вклад в художественное наследие человеческой культуры становится самостоятельным, а потому действительно плодотворным и решающим. Именно тогда их влияние на искусство растет не только вширь, но и вглубь, и только тогда перед искусством раскрываются новые, более широкие горизонты.

Всегда массы, и только массы, рвущиеся из рабства к свободе, увлекают искусство вперед и выше и сказываются источником той силы, которая помогает ему преодолеть периоды застоя и упадка.

Это общее положение определяет и отношение пролетариата к искусству. Ошибаются те, кто видит в классовой борьбе пролетариата лишь стремление наполнить желудок. Всемирно-историческая схватка идет за все культурное наследие человечества, за право всестороннего развития и утверждения каждой человеческой личности. Пролетариат как класс не может вести осаду капиталистической крепости, не может пробиться к свету из фабричного мрака и нужды, пока он не противопоставит свои собственные эстетические идеалы искусству наших дней.

Как же оценивает пролетариат современное искусство? Обладает ли оно свободой — необходимым условием его созревания и расцвета? Иногда мы слышим: да, обладает. Нет, утверждаем мы. Сражение художников за свою свободу и свободу искусства началось одновременно с зарождением буржуазного общества в недрах феодального строя. История показывает, с каким упорством сражались художники, чтобы разбить оковы цехового ремесла, порвать цепи рабства, приковывавшие их к дворянству, к светским и духовным князьям и низводившие их творчества до уровня услуг придворного лакея. Художники победили. Их успех был частичей торжества всей буржуазии, утверждавшей тем самым свои принципы. Искусство стало так называемой «свободной профессией».

Что же означает это в условиях товарного производства, являющегося экономической основой буржуазного строя?

Только то, что искусство также подчиняется железным законам товарного производства. Поработанный человеческий труд — вот основа капиталистического товарного производства. Пока не обрел свободу человеческий труд вообще, пока остаются поработанными и физический труд и умственный, ни наука, ни искусство свободными быть не могут. Ядро капиталистического строя несут на себе и рабочий с мозолистыми руками, и ученый-исследователь, и художник-творец.

Искусство продается за кусок хлеба, не может не продаваться, ибо художник хочет жить. Для того чтобы жить, он вынужден продавать плоды собственного гения. Поскольку капиталистическая система знает только товар, который покупается и продается, она превращает в товар и творения искусства. Как ткани и кофе, так и художественный товар должен завоевать себе рынок. Кто же господствует на нем? Не маленький кружок знатоков и любителей искусства, нет. Рынок находится во власти некультурной или полукультурной, жаждущей роскоши и отупляющих развлечений «платежеспособной черни» — позволим себе это грубое выражение.

Жестокость действительности разрушает благородные идеалы многих художников; пытающихся в фаустовском порыве воплотить небо и землю в своих творениях. Сначала

они жадно ищут драгоценные клады искусства, а в конце концов удовлетворяются тем, что выкапывают дождевых червей: приличное и сытое местечко в обществе¹.

Жизнь растаптывает бесконечное множество тех, для кого искусство остается «высокой, небесной богиней» и кто не превращает его в «дойную корову»², обеспечивающую их маслом.

Только самые сильные, способные ждать, отстаивают свою свободу выражать в художественной форме то, что бог дал им поведать³.

Какова же участь тех, кто, склонившись перед требованиями рынка, завоевал мимолетный успех? Они становятся жертвой ремесленного шаблона или рабами конъюнктуры. Капризные законы ярмарки буржуазного искусства все время гонят их вперед. Язва конкуренции уничтожает внешние и внутренние предпосылки для вынашивания значительных произведений. В лихорадочной спешке выпускают свою продукцию художники — лишь бы не опоздать на рынок искусства, называемый выставкой; с той же поспешностью создает композитор «гвоздь» нового сезона; писатель работает до изнеможения, чтобы не опоздать к рождественскому базару. Превращаясь в предприимчивого дельца и торговца художественным товаром, творец гибнет, а сокровищница его искусства скоро иссякает: создатель культуры становится ее фальсификатором.

В этом надо искать причины, почему в современном искусстве так быстро сменяют друг друга течения и школы, почему так быстро изнашиваются великие художественные «знаменитости»-однодневки. То, что сегодня возносится до небес как высшее откровение гениального художника, через десяток лет уже забыто и вызывает лишь исторический интерес.

Распространяется и другое характерное явление. Те же самые причины порождают лжеискусство. Капитализм создает как эксплуатирующих лжеискусство предпринимателей, так и эксплуатируемых ими тружеников. Последние частично поставляются художественным люмпен-пролетариатом — естественным порождением современного социального строя. Капитализм создает и спрос на лжеискусство во всех слоях общества. К псевдохудожественным явлениям относятся кафешантаны, многочисленные варьете, произведения порнографической литературы и графики, династические и патриотические памятники, поставленные на средства буржуазии, и многое другое.

Напрашивается вопрос: не сможет ли современное капиталистическое государство как крупнейший заказчик вывести искусство из его бедственного положения? Нет, не сможет, ибо оно остается государством имущего и господствующего меньшинства, а не выражением единства и воли всего народа. Оно подчиняется тем же законам капиталистической системы, созданием которых является. Это обстоятельство резко определяет его отношение к искусству, чем прихоти и меценатство любого монарха.

У нас в Германии этот факт затемняется самодержавной политикой в области искусства, проводимой Вильгельмом II. Ему мы обязаны драмами Лауффа⁴, памятниками Гогенцоллернам на аллее, где вместо тополей — каменные истуканы⁵, и прочими столь же художественными мерзостями. В конечном счете появление этой продукции

¹ Клара Цеткин использует образ из «Фауста» Гёте. Фауст говорит о Вагнере:

Сокровищ ищет он рукою жадной —
И рад, когда червей находит дождевых.

² Здесь имеется в виду двустихие Фр. Шиллера «Наука»:

Кажешься ты одному небесной богиней, другому —
Жирной коровой, всегда масло дающей ему.

³ См. Гёте «Торквато Тассо»:

И если человек в страданиях нем,
Мне бог дает поведать, как я стражду.

⁴ И. Лауфф (1855—1933) — драматург и исторический писатель, прославлявший в своих произведениях Гогенцоллернов и пользовавшийся покровительством Вильгельма II.

⁵ К. Цеткин имеет в виду Аллею победы в Тиргартене (Берлин), на которой по повелению Вильгельма II в честь победы над Францией в 1870 году и двадцатипятилетия со времени объединения Германии были установлены статуи маркграфов, курфюрстов и королей, правивших Пруссией с момента его образования. Лишенные какой бы то ни было художественности, статуи поражают своей безвкусицей.

говорит не о могучем и все подавляющем влиянии монарха, а о том, что немецкая буржуазия пасует перед самодержавием также и в области искусства.

Лишь тогда, когда труд сбросит ярмо капитализма и тем самым будут ликвидированы классовые противоречия в обществе, лишь тогда мечта о свободе искусства обретет реальность и гений художника сумеет свободно совершать свой полет ввысь. Это давно понял и возвестил миру один избранник искусства — Рихард Вагнер¹. Его статья «Искусство и революция» до сих пор остается классическим выражением этой мысли. В статье сказано: «Подыдемся из рабских низин ремесленничества, где господствует серый меркантильный дух, на высоту свободного артистического человечества, где царит сияющая душа мира; из подавленных работой поденщиков индустрии мы должны стать прекрасными сильными людьми, которым принадлежит весь мир как источник высшего художественного наслаждения». Вагнер ясно указывает на корень, из которого вырастает «бедствие ремесленничества». Это «поденщина на службе индустрии». Послушаем Вагнера дальше: «Пока весь народ, все люди не могут быть одинаково свободными и счастливыми, они все одинаково обречены на горе и рабство». Недумственно ответил композитор и на вопрос, как может быть преодолено всеобщее рабство и как может расцвести свободное артистическое человечество. Он говорит: «Цель исторического развития — сильный, прекрасный человек: революция должна дать ему силу, искусство — красоту».

Из этого высказывания, между прочим, следует, что прекрасный и сильный человек, о котором мечтал Вагнер, — это не пресловутый сверхчеловек индивидуализма, не белокурая бестия, а гармонически развитая личность, чувствующая себя неотделимой от целого, слитой с ним. Революция — это дело масс, и самое высокое искусство всегда будет выражением именно их духовной жизни.

Мы знаем, что социальная революция, которая освободит и труд и искусство, должна быть делом вступившего в борьбу пролетариата. Но борющийся пролетариат дает искусству не только надежду на будущее. Его борьба, пробивающая брешь за брешью в крепости буржуазного строя, прокладывает новые пути искусству, обновляет его, обогащает его новым идейным содержанием. Предвосхищая грядущую жизнь человечества, пролетариат выходит за пределы духовной жизни буржуазного общества и открывает тем самым искусству новые возможности для развития.

Содержание классовой борьбы пролетариата ни в коем случае не исчерпывается экономическими и политическими требованиями. Пролетариат является носителем нового, завершенного в своей целостности, единого мировоззрения. Построенное на достижениях естественных и общественных наук, связанных с именами Дарвина и Маркса, философски обобщенное, оно стало мировоззрением социализма. Оно развивается и зреет в бурях и пламени классовых битв современности. Оно растет по мере того, как капитализм, преобразуя экономику, все сильнее толкает общество навстречу коммунистическому строю свободно трудящихся людей, по мере того, как изменяются социальные установления и революционируются чувства, мысли, желания человека.

Самые коренные изменения, естественно, должны произойти в душе и сознании пролетариата — класса, самыми условиями жизни поставленного в непримиримую, постоянную оппозицию к существующему экономическому базису и его идеологической надстройке.

Пролетарская мысль, в отличие от буржуазной, не отступает в страхе назад, когда доходит до пределов буржуазного общества. Наоборот, рабочий класс стремится выйти за эти пределы. Он знает, что должен разрушить стоящие перед ним преграды. В этом причина смелости и непредубежденности, с которыми он принимает результаты и выводы всех исследований.

Чем сознательнее и напряженнее становится его борьба против капиталистического строя, тем острее проявляется противоположность между его духовной жизнью и духовным миром буржуазии. Его классовая борьба порождает новые духовные и нрав-

¹ Рихард Вагнер (1813—1883)—знаменитый немецкий композитор. Статья «Искусство и революция» была написана Вагнером в 1849 году, в период еще не остывшего революционного подъема. В то время Вагнер — последователь Фейербаха и Бакунина — выступал против буржуазного строя и считал, что только революция спасет искусство. О социалистическом духе этой статьи писали А. Бебель, А. Луначарский.

ственные идеалы; у поработанных расцветает собственная культура. Пробуждение новой, полнокровной жизни вызывает стремление наслаждаться искусством и создавать его. В своем художественном творчестве пролетариат чувствует потребность выразить стоящую перед ним как классом высшую историческую задачу.

Пролетариат жаждет произведений искусства, вдохновленных социалистическим мировоззрением. И поэтому он борется с современным буржуазным искусством, в котором нет здоровья и жизнерадостности, нет молодости класса, сражающегося за свободу и сознающего себя защитником высших идеалов человечества.

Современное буржуазное искусство — это искусство господствующего класса, историческое развитие которого идет уже по нисходящей линии, класса, который чувствует, как вулканические силы истории колеблют почву его власти.

Сумерки богов — вот настроение, породившее это искусство. Натурализм, стремившийся вернуть его к вечным истокам, к природе, и создавший благодаря этому много ценного в области социальной критики, выродился теперь в плоское, пустое копирование действительности. Он передает факты, не раскрывая их связи и смысла, он передает действительность без идеи.

С другой стороны, современный идеализм ищет свое духовное содержание в мелкобуржуазных идеях «областного искусства»¹, а там, где горизонты его шире, он отстраняется от социальных вопросов и современности. Его влечет или прошлое, или потусторонний мир, он впадает в религиозный, часто ханжеский неомистицизм, в неоромантизм — короче, передает идеи без действительности. Да и как может буржуазное искусство достичь синтеза идеи и действительности? Они отделены друг от друга в мире исторического бытия буржуазных классов. Поэтому так пессимистичны взгляды и настроения этого класса. Грубый, плоский материализм одних, мистика и бегство от жизни других — таково знамение эпохи и ее искусства.

Может ли искусство подобного содержания удовлетворить пролетариат? В силу своей исторической роли он чувствует и мыслит оптимистически. Законы, управляющие экономикой, дают ему радостную надежду на приближение новой эпохи, на то, что пробьет час свободы. Горячей верой в свободу проникнута вся его духовная жизнь. Такой синтез идей и действительности может быть достигнут в наше время только в идеологии масс, поставивших перед собой высшие цели. Идея: социализм — самый возвышенный идеал свободы, который когда-либо вдохновлял человечество. Действительность: класс со стальной волей и зрелой мыслью, готовый к величайшему подвигу, который когда-либо знала история, — изменить мир, вместо того чтобы его объяснять, как говорил Маркс.

Именно поэтому растет у пролетариата страстная потребность в искусстве, содержание которого явилось бы плотью от плоти социализма. «Итак, тенденциозное искусство», — возразят нам. Может быть, даже «политическое искусство». «Политическая песня — дрянная песня!»² Пролетариату нечего бояться этой болтовни. В конце концов она меньше всего порождена желанием воспитать в поработанных массах способность наслаждаться искусством. Напротив, она происходит из стремления сохранить над массами духовную власть, удержать их в кругу буржуазных идей.

Где терпит банкротство религия, должно помогать искусство. Поэтому во имя искусства проклинается не «тенденция» вообще, а только тенденция, которая противоречит «тенденции» господствующих классов. Впрочем, достаточно обратиться к истории, чтобы опровергнуть приговор, объявляющий «тенденцию» в искусстве вне закона. Могучие, величественные творения всех времен пламенно тенденциозны. Разве тенденция чем-нибудь отлична от идеи? Искусство, лишенное идеи, становится искусственным и формалистичным. Не идея позорит художественное произведение, не тенденция

¹ Heimatkunst — возникшее в середине XIX века течение в немецкой литературе, имевшее буржуазно-патриархальный характер. В конце XIX — начале XX века к этому течению примыкали писатели, отличавшиеся воинствующим национализмом, религиозностью и консерватизмом. Теоретиком этого направления был известный «основоположник» фашистского литературоведения Адольф Бартельс (1862—1945), наиболее крупной фигурой — Фридрих Лингард (1865—1929).

² Клара Цеткин цитирует реплику Брандлера: «Дрянная песня, тьфу, политикой звучит!» См. «Фауст», ч. I, сцена 5.

оскверняет его. Наоборот, они должны и могут создавать и повышать художественную ценность произведения.

Тенденциозность губит искусство только тогда, когда она грубо навязана извне, когда она выражена художественно неполноценными средствами. Там, где изобразительные средства идеи художественно совершенны, где она проступает из самой глубины произведения, она становится творческой и создает бессмертное. Поэтому пролетариат не только может, но и должен идти своим собственным путем, выводя современное искусство из состояния упадка и обогащая его новым, более высоким содержанием. Ему незачем подражать каждому крику моды буржуазного искусства.

Время дает все больше доказательств, что рабочий класс хочет не только наслаждаться искусством, но и создавать его. Это подтверждается прежде всего появлением пролетарских певцов и поэтов. Буржуазные поклонники и ценители искусства приходят в экстаз от примитивной художественной продукции седой древности и диких народов. Они видят в ней откровение, высшую гениальность. Но для того, что создано пролетарской, часто неопытной рукой, что создано взволнованным сердцем рабочего, — для этого они находят только насмешку или оскорбительную жалость. У этих поклонников «примитива» отсутствуют органы для верного восприятия и сценки того «примитивного» искусства, творения которого являются симптомами грядущего всемирного переворота и последующей за ним эпохи нового Ренессанса.

Разумеется, в искусстве, так же как и в социальном мире, Ренессанс не может возникнуть из ничего. Его корни — в прошлом, он связан с тем, что уже существует. И все же искусство класса, поднимающегося к свету культуры, не может иметь своим исходным пунктом и рассматривать как идеал то искусство, которое создано разлагающимся классом, уже сыгравшим свою историческую роль. Это подтверждает история искусств. Каждый восходящий класс ищет для себя образцы в высших художественных достижениях предшествующего развития. Ренессанс подражал искусству Греции и Рима, немецкое классическое искусство подражало античности и Ренессансу.

Несмотря на то, что современные течения в искусстве обогатили классическое наследие новыми художественными мотивами и формами их выражения, искусство будущего обратится в поисках нормы к буржуазной классике, минуя современность.

Разве не одаряет нас истиной жизни и богатством поэзии «Пасхальная прогулка» Гёте, в которой жажда вырваться за пределы феодального общества нашла художественно совершенное выражение? Или восторженный призыв Шиллера ко всемирному братству: «Обнимитесь, миллионы, слейтесь в радости одной!» Или бурное ликование освобожденного человечества в «Девятой симфонии» Бетховена, прорывающееся в величественном хоре: «Радость, пламя неземное!»

Фридриху Энгельсу принадлежат гордые слова, что немецкий рабочий класс является наследником классической философии. В этом смысле немецкий пролетариат будет и наследником классического искусства своей страны. Но ему предстоит пройти еще долгий путь, прежде чем он станет достойным своей исторической миссии.

Поясним это примером: помещения, в которых проходит значительная часть общественной жизни пролетариата, которые служат целям его организации, в которых происходят его собрания и которые должны стать его родным домом, отнюдь не стали художественным воплощением его социалистического мировоззрения. Наши народные дома, профсоюзные и общественные здания по своему стилю — если понимать стиль как внешнюю форму внутренней сути — ничем не отличаются от каких-нибудь торговых домов или административных зданий буржуазии.

Внутреннее отношение художественной формы к жизненному содержанию, которое в ней пульсирует, несомненно, не может быть выражено тем, что одно или другое здание украшается безжизненной аллегорической фигурой Свободы или чем-нибудь вроде этого. Короче говоря, духовная жизнь рабочего класса до сих пор не получила еще ни малейшего выражения в архитектурных формах. Правда, пролетариат еще сам не осознал и не почувствовал противоречия, разлада между этими формами и своей собственной внутренней жизнью настолько ясно, чтобы его художественные потребности начали оказывать определенное влияние на архитектуру. Несомненно, архитектура — высший и самый трудный, но зато и самый социальный из всех видов искусства. Она наиболее полно выражает общественную жизнь. Достаточно вспомнить готические

соборы, в которых нашел свое художественное воплощение эстетический идеал раздельного на цехи населения феодального города.

Вернемся, однако, к нашей теме. Именно потому, что далек путь, который пролетариат должен пройти, чтобы стать достойным наследником классического искусства, именно потому, что влияние разлагающегося буржуазного общества делает этот путь особенно трудным, необходимо эстетически вооружить пролетариат для этой исторической миссии. Разумеется, и речи быть не может о рабском подражании и слепом преклонении перед буржуазным искусством. Дело идет о пробуждении и воспитании художественного вкуса и эстетического сознания, прочным фундаментом которых было бы социалистическое мировоззрение, могучая идеология борющегося пролетариата, а в один прекрасный день — и всего освобожденного человечества.

В тюрьме буржуазного строя такой художественный вкус и такое эстетическое сознание вряд ли смогут найти свое зрелое творческое воплощение. Как мне кажется, страстно ожидаемый Ренессанс возможен лишь на острове блаженных — в социалистическом обществе. Искусству принесет свободу только молот революции, который сокрушит тюрьму капитализма.

Уже у Аристотеля можно найти известную мысль о том, что рабство стало бы ненужным как основа лучшей жизни свободных людей, если бы ткацкий челнок и мельничный жернов двигались сами¹. Сегодня это предварительное условие выполнено. Машинный век создал послушных рабов из железа и стали. Добьемся же, чтобы эти рабы, умножающие сегодня богатства и культуру меньшинства, перешли из частных рук в собственность всего общества. Когда богатство и культура станут его достоянием, тогда и искусство будет не привилегией меньшинства, а достоянием масс. Тогда нельзя будет оскорблять его, превращая то в средство для возбуждения чувств любителей грубых наслаждений, то в забаву для скучающих бездельников, то в наркотик для слабых духом, ищущих забвения от жизни. Тогда оно станет высшим выражением творческого стремления народа, щедрым родником чистой радости и высоких чувств, могучей воспитательной силой, облагораживающей каждого человека и все общество.

Это не значит, что все станут творцами художественных произведений, но это значит, что массы смогут ценить искусство и наслаждаться им.

Народ, который добьется свободного труда, будет обладать свободным искусством. Он не оскудеет великими творческими личностями, способными индивидуально и поэтично постигнуть и выразить мысли, чувства и волю всего общества. Источник величия всякого искусства — в духовном величии народа.

¹ Об этой же мысли Аристотеля говорит К. Маркс, цитируя книгу Ф. Бизе о философии Аристотеля. См. «Капитал», т. I, гл. XIII, 3, в.



Е. БРОДСКИЙ

Кандидат исторических наук

★

Б С В

КАК ЭТО СТАЛО ИЗВЕСТНО

Когда шла восьмая неделя судебного процесса над главными военными преступниками фашистской Германии, в Нюрнбергский дворец юстиции, где заседал Международный военный трибунал, ввели очередного свидетеля обвинения. Это был начальник госпиталя в Праге доктор Франц Блаха. С 1939 года по апрель 1945 года он был чехословацким заложником гестапо и последние несколько лет провел в концентрационном лагере Дахау.

Свидетель рассказал, что в 1944 году в Дахау привезли большую группу советских военнопленных. После допросов их доставляли в лагерный лазарет в совершенно истерзанном состоянии.

— Это были люди, — говорил доктор Блаха, — которые неделями могли лежать только на животе, и мы должны были удалять стмиравшие части тела и мускулов оперативным путем.

Некоторые из них не выдержали подобных методов допроса, остальные в начале сентября 1944 года были увезены из лазарета и убиты. Это все, что мог знать тогда доктор Блаха.

По случайному стечению обстоятельств примерно в то же время, когда Франц Блаха давал свои показания, в Мюнхене произошла встреча группы немецких антифашистов с представителем Управления по репатриации советских граждан подполковником Орешкиным. Они передали найденное ими гестаповское донесение о разгроме весной 1944 года крупной подпольной патриотической организации советских военнопленных, а также два красных знамени этой организации.

Донесение было подписано начальником мюнхенского гестапо хауптштурмфюрером СС Шефером и озаглавлено «Раскрытие БСВ» (Братское сотрудничество военнопленных). В нем подчеркивалось, что БСВ «наверняка приняло бы в ближайшем будущем опасные для Германской империи размеры». Далее говорилось: «Поскольку почти все активисты организации имели псевдонимы, а бежавшие из лагерей военнопленные и не желающие работать восточные рабочие имели фальшивые документы, а также потому, что многие члены БСВ были прежде членами Коммунистической партии или комсомола, обнаружение и раскрытие организации уже само по себе было в высокой степени трудной задачей».

Прошло немало времени, прежде чем удалось установить, что между показаниями доктора Блаха Международному военному трибуналу в Нюрнберге и тем, что передали подполковнику Орешкину немецкие антифашисты, существует самая непосредственная связь.

С копией пространного донесения Шефера автору этих строк довелось познакомиться в Берлинском комитете жертв фашизма. Там же мне показали материалы гестаповского расследования по делу БСВ, протоколы допросов его участников, а также выдержки из приказов ставки гитлеровского верховного командования и начальника

штаба внутреннего военно-воздушного флота «Reich», требовавших принятия экстренных мер для разгрома организаций и ячеек БСВ.

Многое нам еще не известно о делах участников БСВ. История их мужественной, славной борьбы еще ждет своих исследователей.

Большая часть документов гестаповского следствия сгорела во время авиационного налета на Мюнхен 25 апреля 1944 года. Только отрывочные полицейские донесения, а также рассказы людей, примыкавших к этому подполью и спасенных советскими войсками и войсками союзников от казни, повествуют о героической совместной борьбе советских, немецких, чехословацких, югославских, польских и французских патриотов в гитлеровской Германии. Это была борьба, завершившаяся гибелью абсолютного большинства активных ее участников. Мало кто из них остался в живых.

С глубоким волнением читал я эти официальные документы, стараясь представить себе людей и события, о которых говорилось в них. Нужно было прежде всего отыскать спасенных от гибели участников южногерманского подпольного движения, чтобы с их помощью получить дополнительные сведения о БСВ, подробнее разузнать о том, кто именно был в числе девяноста трех русских, зверски замученных гитлеровцами в Дахау, о трагедии которых поведal доктор Франц Блах.

В решении этой сложной задачи мне очень помогли немецкие товарищи, участвовавшие в движении внутреннего сопротивления фашизму, в первую очередь потомственный мюнхенский пролетарий Карл Циммет, тот самый, кто вместе с другими принес донесение Шефера.

С Карлом Цимметом я познакомился в Берлине в марте 1947 года. Этот худой, чуть скорбившийся человек с седой головой и глубоко запавшими глазами рассказал мне о деятельности подпольной организации, одним из руководителей которой он был, о том, как летом 1943 года с нею связались советские военнопленные. Циммет показал мне некоторые воззвания и листовки, а также «памятное свидетельство» о совместной антифашистской борьбе и гибели советских и немецких патриотов.

В гестаповском донесении «Раскрытие БСВ» излагалась история возникновения и развития подпольной организации, а также перечислялись имена и фамилии десятков ее участников. Внимательное изучение этого документа привело меня к выводу, что некоторые из них, по-видимому, погибли неопознанные гитлеровцами. В донесении были указаны не их действительные фамилии, а конспиративные клички.

Тогда я решил попытаться найти родных и близких деятелей БСВ. Эта работа потребовала значительно больше времени, чем могло казаться первоначально. Удалось разыскать в деревне Вигурина Поляна, где, как говорилось в гестаповском донесении, 1 ноября 1918 года родился один из активнейших членов БСВ Иван Корбуков, его мать Марию Николаевну Корбукову. Она передала мне письмо, полученное ею из советского посольства в Гааге. В этом письме сообщалось, что 28 ноября 1945 года в посольство пришел нидерландский гражданин Д. Ахтерхамс и передал на имя посла заявление следующего содержания: «...Исполняю последнюю просьбу русского лейтенанта Ивана Корбукова, который вместе со мной провел последние дни в камере № 17 тюрьмы гестапо на Бруннерштрассе в Мюнхене. Иван Корбуков так же, как и я, был обвинен в шпионаже. Гестаповцы и СД тяжело истязали его резиновыми палками. За два дня до казни он просил меня сообщить его семье, его матери, что он умер за Россию. Он не проронил ни одного слова о своей работе... Иван был обезглавлен в Штадельгейме, около Мюнхена, 8 марта 1944 года. Так как я не умею писать по-русски, я обращаюсь к Вам, Ваше превосходительство, в надежде, что Вы исполните его последнюю просьбу. Прилагаю то последнее, что написал Иван. С уважением Д. Ахтерхамс». К заявлению был приложен маленький кусочек бумаги, на котором рукой Ивана Корбукова была написан адрес матери. Впоследствии удалось выяснить, что в письме Ахтерхамса была одна неточность: 8 марта 1944 года — не последний день жизни Ивана Корбукова, а лишь начало новых пыток его в концлагере Дахау.

Удалось отыскать не только родственников ряда трагически погибших членов БСВ, но и некоторых оставшихся в живых деятелей этого братства.

После длительных поисков мне посчастливилось разыскать Марию Петровну Заброду, Валентину Петровну Бондаренко, Валентину Иосифовну Гоцак, Ольгу Игнатьевну Осачеву. Советская Армия вызволила их из освенцимского плена.

В настоящее время Мария Петровна Заброда работает в донецком городе Красный Луч. Валентина Петровна Бондаренко — бухгалтер Петровеньковского шахтоуправления в Донбассе. В Ворошиловградской области, в Свердловском районе, в поселке шахты № 9 живет и растит двух сыновей Валентина Иосифовна Гоцак. В Ростове-на-Дону живет Ольга Игнатьевна Осачева.

И вот что я узнал от них, а также из сохранившихся документов гитлеровского гестапо.

В МЮНХЕН-ПЕРЛАХЕ

В сорока пяти километрах от концентрационного лагеря Дахау, на левом берегу Изара, близ города Моосбурга, был создан главный лагерь военнопленных VII военного округа — Шталаг VII-А. В этом огромном невольничьем центре Верхней Баварии содержалось несколько десятков тысяч узников. Здесь были советские люди, поляки и югославы, американцы и англичане, французы, индийцы и южноафриканцы; со второй половины 1943 года в лагерь начали поступать пленные итальянцы.

Моосбургский шталаг был разделен на несколько секторов, в каждом из которых находились военнопленные одной национальности. Колочая проволока, протянутая в несколько рядов, отделяла один сектор от другого. Взаимное общение военнопленных различных наций строго воспрещалось. Но когда в одном конце лагеря десятки голосов дружно запевали «Катюшу» или «Идет война народная, священная война», все узники хорошо знали, кто поет, там и здесь подхватывали ставший знакомым мотив. И долго еще после того, как разъяренные охранники с бранью и криками прерывали пение «запрещенных русских песен», заключенные в огромном лагере люди оставались во власти навеянных ими дум. Все чаще военнопленные обменивались дружескими приветствиями через ограду, ухитрялись передавать из сектора в сектор сигареты, спички, записки, а то и карты Баварии из школьного учебника географии. Удобным и надежным местом общения оказался также лагерьный лазарет, начальником которого был немецкий врач, снискавший в лагере всеобщее уважение своим отношением к заключенным.

Шталаг VII-А имел множество отделений, разбросанных по всей территории Верхней Баварии. Это были так называемые рабочие и штрафные команды шталага. Под угрозой расстрела на месте людей заставляли добывать камень в карьерах Нойенбурга и в глубоких каменных колодцах Фильсхофена, сооружать в долине Фильса отводящий канал, заступами и лопатами рыть в Баварском лесу гигантскую нору для подземного авиационного завода Мессершмитта, обрабатывать графит на Мейтингенском заводе. На смену умершим от голода и туберкулеза, расстрелянным «при попытке к бегству» Моосбургский лагерь направлял в рабочие и штрафные команды новых невольников.

Одно из главных отделений Шталага VII-А находилось в Мюнхен-Перлахе, в конце Шванзеештрассе, между Гисингским вокзалом и огромной Штадельсгеймской тюрьмой. Лагерь этот создали специально для военнопленных советских офицеров. Он был надежно изолирован проволочным ограждением, на сторожевых вышках стояли пулеметы. Мощные прожекторы ярко освещали всю территорию, и любое, даже самое незначительное движение в лагере, казалось, не могло ускользнуть от пристальных взоров часовых. Охране была придана дюжина специально натасканных псов-волкодавов, которые набрасывались на заключенных при одном только восклицании «большевик!». Каждый узник носил нагрудную металлическую бляху. На бляхе был выдавлен личный номер заключенного, заменявший человеку имя и фамилию. На спине были пришиты две большие буквы, обозначающие государственную принадлежность военнопленных.

По утрам узникам лагеря выдавали по двести граммов черного хлеба. Муки в нем было ровно столько, сколько требовалось для склейки суррогатной массы, из которой он был выпечен. Всю порцию хлеба заключенные съедали тотчас же, поэтому единственной пищей в течение дня оставался литр жидкого брюквенного супу. Продолжительный голод заставлял военнопленных грызть уголь.

Измученных и физически ослабевших людей в изорванной одежде в крытых грузовиках под усиленным конвоем ежедневно привозили на Людвигштрассе и в район главного вокзала. Здесь их заставляли разбирать руины зданий, сгоревших во время

воздушных налетов на город, и укладывать в штабеля огромные бесформенные куски бетона и металла.

Стремясь внести разложение в ряды военнопленных, гитлеровцы подсылали в лагерь грабителей и предателей, насильно насаждали среди заключенных низменные инстинкты и дух звериного эгоизма. Но гитлеровцам не удалось отравить душу советских военнопленных. Многолетняя воспитательная работа Коммунистической партии принесла в этот час сурового испытания свои чудесные плоды.

В действительности здесь произошло нечто прямо противоположное тому, на что рассчитывали создатели застенка на Шванзештрассе. События, разыгравшиеся в этом лагере, на улице с романтическим названием Шванзештрассе (что значит улица Лебединого озера), прозвучали грозным набатом, поднимавшим на борьбу многие тысячи узников преступного рейха.

Невзирая на непрерывную тайную и явную слежку, в условиях, когда за хранение огрызка карандаша наказывали строгим карцером, в обстановке непрерывающихся провокаций гестапо в Перлахском лагере было положено начало подпольной организации, ставшей вскоре самой сильной и крупной из всех патриотических организаций, созданных военнопленными в гитлеровской Германии. Ее ядром были люди, отличные из твердого и благородного сплава, они не пали духом в связи с тяжелыми неудачами первого периода войны, сыгравшими столь трагическую роль в их личной судьбе.

ОРГАНИЗАТОРЫ БСВ

О катастрофе, постигшей гитлеровскую армию под Сталинградом, советские военнопленные, находившиеся в Верхней Баварии, узнали по трехдневному трауру, объявленному в Германии. Характерным был тот факт, что немецкие солдаты старших возрастов, охранявшие рабочую команду военнопленных в Байербруке, перед отправкой на Восточный фронт стали просить у советских офицеров письменные характеристики о хорошем к ним отношении. В конце февраля 1943 года во многих лагерях и рабочих командах Верхней Баварии распространился слух о серьезных антифашистских выступлениях студентов Мюнхенского университета. Говорили, что в подавлении их участвуют войска и что на улицах Мюнхена появились танки. В те дни напряженного ожидания, когда, казалось, вспышка молний вот-вот прорежет мглу, окутывавшую гитлеровскую Германию, в Мюнхене окончательно сложилась тайная повстанческая организация советских военнопленных.

Как удалось выяснить, важную роль в создании этой организации сыграли полковник Тарасов, подполковник Шелест, подполковник Шихерт, майор Макаров, интендант III ранга Зингер. К сожалению, остаются все еще невыясненными подробности подпольной деятельности этих людей.

В тридцатых годах полковник Михаил Тарасов руководил Тбилиским артиллерийским училищем, потом был в числе первых советских воинов, ворвавшихся с боем в Выборг. В плен он попал в тот момент, когда его часть прикрывала эвакуацию наших войск из Севастополя. Спокойствие, хладнокровие и достоинство, с каким держал себя в неволе этот коренастый человек с большой черной бородой, вызывали всеобщее уважение военнопленных. Издевательства и оскорбления, которыми осыпали полковника гитлеровцы, казалось, неспособны были даже задеть его.

Подполковник Дмитрий Шелест прошел славный путь от красноармейца до крупного военного инженера. Двадцатилетним юношей он сражался с бандами Махно, потом учился в Военно-инженерной академии. В дни битвы за Севастополь он руководил строительством оборонительных рубежей, защищавших город.

Тяжелораненым попал в плен ветеран гражданской войны подполковник Михаил Шихерт. Жизнью своей он был обязан боевым друзьям, которые до самого Бахчисарайского транзитного лагеря несли его на руках.

Майору Макарову, начальнику штаба Богдановского артиллерийского гвардейского полка, в дни третьего вражеского штурма Севастополя осколком мины рассекло живот. Превозмогая страшную боль, он обеими руками сжимал свою рану до тех пор, пока одна из севастопольских женщин не наложила ему повязку, использовав для этого солдатскую рубаху.

Боевой друг и однополчанин майора Макарова, помощник командира полка по материальному обеспечению интендант III ранга Михаил Зингер, был в последней горстке храбрецов, расстреливавших прямой наводкой прорвавшихся в Севастополь гитлеровцев.

Активнейшими деятелями БСВ стали бывший командир полка морской пехоты, оборонявшей Севастополь, подполковник Николай Баранов, майор авиации Иван Петров, ветеран гражданской войны майор Михаил Красицкий, а также военврач III ранга Георгий Старовойтов, попавший в плен под Керчью спустя десять дней после падения города.

Среди признанных руководителей движения были майор Озолин и майор Конденко. Карл Озолин родился в городе Цесисе, в семье латышского рабочего. В 1918 году он вступил в Союз рабочей молодежи, потом добровольно ушел на фронт защищать родную Латвию от германских полчищ барона фон дер Гольца, стал коммунистом. Вся его жизнь была связана с развитием и укреплением Советских Военно-Воздушных Сил. Он участвовал в традиционных московских авиационных парадах, пользовался популярностью как один из лучших летчиков Тихоокеанского флота. Майор Озолин был в первой шеренге советских летчиков, принявших на себя тяжелые удары превосходящих сил гитлеровцев. Двадцатого августа 1941 года его боевая машина не вернулась с задания. Во время штурмовки вражеских колонн, рвавшихся к Перекопу, самолет Озолина был подбит, а сам он ранен в голову и руку. Так он попал в плен и был брошен в «черный» Лодзинский лагерь для летного состава.

Майор Михаил Конденко был кадровым офицером Красной Армии. Во всех армейских конноспортивных соревнованиях он всегда занимал одно из первых мест. На Всеармейской спартакиаде 1938 года Конденко добился выдающегося спортивного успеха, и главный судья спартакиады Маршал Советского Союза Буденный присвоил ему звание чемпиона Красной Армии. Нападение гитлеровской армии на СССР застало Михаила Конденко в Симферополе. Он был в числе тех, кто в июле 1942 года прикрывал эвакуацию частей Приморской армии из осажденного Севастополя. На следующий день после того, как наши войска оставили город, он был захвачен в плен.

В начале марта 1943 года в тесном боксе 10-го барака Перлахского лагеря собралась группа военнопленных. Озолин ознакомил их с планом создания конспиративной повстанческой организации. Конденко внес предложение, чтобы подполье объединяло в своих рядах не только военнопленных, но и всех людей, угнанных фашистами в Германию.

На этом совещании решено было выработать программу подпольной организации, ее учредительное воззвание, а также положение об органах подполья. Все это поручили сделать красноармейцу Роману Петрушелю, до войны работавшему бухгалтером завода. Перед тем как разойтись, Конденко сообщил собравшимся, что 9 марта — день рождения Петрушеля, под этим предлогом будет удобно всем собраться в его боксе.

Так 9 марта 1943 года стало днем основания подпольной организации. На «перлахских именинах» Петрушеля был образован Объединенный совет тайной патриотической организации, которую называли Братским сотрудничеством военнопленных.

В целях конспирации решено было во всех листовках и воззваниях Объединенного совета указывать, что центр БСВ находится не в Мюнхене, а в Берлине и что все эти документы рассылаются из столицы Германии. Установили также, что активистов подполья должен знать лишь очень узкий, строго ограниченный круг надежных людей, которые обязаны в подпольной работе пользоваться нелегальными именами и кличками. Нарушение законов конспирации было объявлено тяжким преступлением.

Задачей движения, говорилось в программе БСВ, «является руководство борьбой всех военнопленных внутри Германии и ее союзников в целях подрыва военно-хозяйственной мощи стран «оси» и оказание помощи трудящимся Германии в деле вооруженного восстания для уничтожения гитлеризма...»¹

Программа БСВ призывала всех плененных гитлеровцами «вместо производительного труда на военных предприятиях и в рабочих командах — осуществлять саботаж,

¹ Здесь и дальше я цитирую из документов следственного дела мюнхенского гестапо.

который ведет к ослаблению военно-хозяйственной мощи Германии»; требовала «установления тесных связей между военнопленными всех национальностей, укрепления чувства товарищества и взаимного доверия в целях организации борьбы против кровавого Гитлера, который вверг в войну народы Европы». БСВ, указывалось в программе, стремится «всеми средствами оказывать поддержку раненым, больным, подготовляющим побег из тюрем и лагерей, отказывающимся работать, осуществляющим акты саботажа и иные действия, которые полезны нашим странам и БСВ». С теми же, кто ронял достоинство антифашистского борца, «нужно бороться всеми средствами, вплоть до уничтожения их по приговору судов военнопленных. Суды организовывать самим военнопленным».

Воззвание Объединенного совета БСВ, принятое на конспиративном совещании 9 марта, гласило: «Все мы полны ненависти к фашистам и к кровавой гадине Гитлеру. Все ужасы, которые мы перенесли в гитлеровском плену, этой гадине, варвару и губителю людей кажутся недостаточными. Он отдал своим солдатам тайный приказ: в случае отступления его армии уничтожить всех военнопленных, так как они слишком опасны в оккупированных областях и при перенесении войны на территорию Германии будут представлять собой огромную военную силу». Воззвание подчеркивало, что от победы СССР и союзных ему стран «зависит сохранение самостоятельности каждого государства и каждого народа, от этой победы зависит жизнь или смерть пленных. От единства демократических государств и народов зависит победа над врагом. Нам, пленным, это особенно ясно, и поэтому мы обязаны помогать Советскому Союзу одержать победу над фашизмом».

В Положении о совете БСВ подробно излагались задачи местных групп и ячеек подпольной организации.

ДЕВУШКИ ИЗ ДОНБАССА

Ряды БСВ быстро росли, деятельность его достигла значительного размаха. Родившись за колючей проволокой Перлаха, движение распространилось на другие лагеря военнопленных, а также на лагеря так называемых «восточных рабочих», то есть людей, принудительно вывезенных с оккупированной территории СССР. В одном только Мюнхене таких лагерей было несколько десятков. Все «восточные рабочие» обязаны были носить нагрудный знак с надписью «Ost». На работу и с работы их водили под конвоем и только по воскресеньям по особым пропускам на два или три часа выпускали из лагеря. Жестокая эксплуатация советских людей на немецких фабриках и заводах дополнялась издевательствами и грубым произволом лагерных надсмотрщиков. Подзатыльники, зуботычины и окатывание холодной водой из брандспойта во время проверок были обычным явлением в этих рабочих лагерях.

Среди тех заключенных лагерей «восточных рабочих», кто, ни минуты не колеблясь, активно включился в работу БСВ, были Мария Кузькина, Мария Сун Ю-по, Валентина Гоцак, Ольга Осачева и другие.

Мария Кузькина родилась в Краснодаре в семье коренного донецкого шахтера. Накануне войны Мария училась в восьмом классе вечерней школы рабочей молодежи. Ее сердечной подругой была Мария Сун Ю-по, дочь горняка-китайца, для которого Советский Союз стал второй родиной. Две краснодонские комсомолки как бы дополняли одна другую. Мария Кузькина росла очень скромной, застенчивой, тихой девушкой, а Мария Сун Ю-по с детства была живой, быстрой, смелой, отлично училась, принимала участие в школьной самодеятельности. Отечественная война и борьба с поработителями преобразили школьных подруг. Застенчивая мечтательность Марии Кузькиной и бурная жизнерадостность Марии Сун Ю-по уступили место не по-девичьи суровой требовательности к себе, мужеству, решительности.

Вместе с сотнями и тысячами других советских девушек их насильно погрузили в товарные вагоны и отправили в Германию. Фашистские работоторговцы разлучили подруг. Кузькину отдали в прислуги нацистской барыне, а Сун Ю-по отправили на Мюнхенский конденсаторный завод Сименса. Патриотическое подполье соединило их вновь. Мария Кузькина проявила незаурядные организаторские способности, и ее избрали руководителем женской группы БСВ.

Однажды Мария поручила переписать воззвание Объединенного совета только что принятым в ряды организации девушкам. Это было рискованным делом. Кузькина сказала:

— А теперь вы можете идти и доложить обо мне гестапо, но знайте, что вы выдадите только меня, а я уж ничего не скажу этим гадам.

Этим испытанием она хотела проверить своих подруг.

«Я уж не помню цвета ее глаз и смутно представляю себе черты ее лица, — пишет одна из свидетельниц этой сцены, — но как она произносила эти слова, никогда не забуду. Ее глаза смотрели на нас с такой решимостью и столько в них было силы и уверенности в правоте своего дела, что мы долго вспоминали Марию той минуты».

В свободное от работы время Мария Кузькина вместе с друзьями по подпольному братству ездила на Шванзеештрассе. Там она старалась задержаться близ лагерной ограды. Как только ее появление замечал Роман Петрушель, он через колючую проволоку незаметно перебрасывал осколок черепицы, к которому был привязан клочок бумаги. Эзоповским языком на нем было написано очередное задание Совета БСВ. Для конспирации «черепичным запискам» придавалась форма интимной переписки. Таким образом 1 мая 1943 года Мария Кузькина и ее товарищи Саша Тюрин и Ваня Пантелеев получили программу братства и воззвание Объединенного совета. Спустя несколько дней «типография» БСВ уже работала на полную мощность. В каморках, где жили советские девушки, до поздней ночи не гасился свет, под копирку, во многих экземплярах, переписывались документы БСВ. Рано утром смелые патриотки осторожно подкладывали мелко исписанные листки бумаги под развалины, на расчистку которых приводили протом военнопленных.

Стремительному развитию БСВ способствовали побеги активистов из лагерей, а также бесконечные переброски военнопленных с места на место. В те дни по решению Объединенного совета БСВ из Перлахского лагеря бежали камиган Яров и молодой красноармеец Кононенко. Вслед за ними «пропали» военнопленные офицеры Басков и Гладков. Побег совершался или во время воздушных налетов на Мюнхен или же в тот момент, когда товарищи преднамеренно отвлекали охранников. В условленных местах беглецов ждали надежные друзья. Они снабжали их штатской одеждой и сопровождали в пересыльный «гражданский лагерь», где все уже было подготовлено для включения беглых военнопленных в партии советских людей, только что доставленных в Германию для принудительного труда.

Передо мной письмо, полученное от Марии Петровны Заброды. Это она по заданию БСВ обеспечивала побег Баскова и Гладкова из Перлаха.

Тяжелый путь, который выпал на долю многих советских людей, привел Марию Петровну в гитлеровскую Германию. Ее муж, летчик-истребитель, погиб в одном из воздушных сражений 1941 года, а сама она была угнана в Баварию и превращена в кухарку владельца крупной мюнхенской фирмы, широко применявшего на своих предприятиях труд военнопленных.

Передаю содержание письма М. П. Заброды.

Пережито очень много, пишет она, и мысли путаются. Организация была очень большая, лиц много, и воспоминания о них как во сне... Участвовать в БСВ предложил мне «дядя Вася». Сам он бежал из лагеря военнопленных и находился в 25-м лагере «восточных рабочих» на Гофманштрассе. Этому решительному и смелому человеку среднего роста, с черными кудрявыми волосами, было примерно лет пятьдесят. На предложение «дяди Васи» я ответила согласием. Позже, когда он узнал, что у моего «хозяина» работают наши пленные, то поручил передать им программу братства. Я получила много листков, исписанных химическим карандашом, и передала их военнопленному Виктору Баскову, который до войны учительствовал в Ярославле. Так был установлен первый подпольный контакт. Вскоре наши конспиративные связи окрепли, и в условленном месте я стала регулярно передавать Баскову аккуратно запечатанные пакеты от «дяди Васи» и получать от Виктора ответные передачи, адресованные товарищам из лагеря на Гофманштрассе. Не помню точно, в каком это было месяце, когда «дядя Вася» поручил мне вывести из мастерских, находившихся во дворе дома, где я жила, Виктора Баскова и Павла Гладкова и привести их в 25-й лагерь «восточных рабочих». На мои слова, что это невозможно сделать, так как кругом охрана и все военнопленные

работают под конвоем, я получила ответ: «Как это сделать, подумайте сами, но эти люди нам нужны, и они должны быть на Гофманштрассе». Потом мне дали два мужских штатских костюма и две пары мужских ботинок.

Долго я выбирала подходящий момент. Наконец он представился. Во время обеда перерыва я вывела Гладкова и Баскова со двора, через черный ход провела в свою каморку, там они переоделись в штатские костюмы и вышли со мной к трамвайной остановке. Вскоре мы уже были в 25-м лагере. Здесь привезенные мною подпольщики получили документы, выданные на имя «восточных рабочих» Ищука и Залигалина, и я немедленно возвратилась к себе «Дома» творилось уже что-то невообразимое. Весь двор был полон офицерами и охранниками с собаками. Меня вывели к ним. Сначала я испугалась, думала, что собаки вот-вот бросятся на меня, но произошло другое. Я оказалась перед строем военнопленных, и один из полицейских офицеров приказал мне сказать, кого из военнопленных нет в строю. Я ответила, что нет Виктора и Павла. «Вы их знали?» — «Да, знала». — «Вы с ними разговаривали?» — «Да, когда выходила во двор чистить ковры». — «О чем говорили с ними?» — «Не помню. Серьезных разговоров не было». — «Они говорили вам о побеге?» — «Нет, никогда не говорили». После этого краткого допроса тут же, во дворе, гитлеровский офицер начал бить меня по лицу. Потом меня увели. Вечером того же дня мне удалось сообщить моим друзьям на Гофманштрассе обо всем, что произошло, и передать, что нахожусь под строгим полицейским надзором.

Но установленная связь с военнопленными не должна была прерываться. И я по-прежнему должна была передавать им почту. Нужно было найти выход из создавшегося положения.

Исполницей в мастерских фирмы работала немецкая работница фрау Герман. Я к ней часто заходила; это была умная, политически развитая женщина лет пятидесяти. Мои наблюдения говорили о том, что ей можно верить. Я рассказала ей, что за мной следят, и попросила передавать военнопленному подполковнику Михаилу Шихерту «почту из Берлина». Фрау Герман охотно согласилась, и я по утрам стала бросать в ее почтовый ящик письма, которые она затем вручала адресату.

БРАТСТВО, РОЖДЕННОЕ В БОРЬБЕ

К началу лета 1943 года группы БСВ возникли уже во многих мюнхенских лагерях принудительного труда. Но особенно значительными являлись группы в лагерях завода электроприборов в Мюнхен-Риме, завода БМВ в Мюнхен-Аллахе, завода «Дорнье», в лагерях фирм «Клюбер» и «Луц и сыновья», железнодорожных мастерских во Фреймане, в 4-м лагере на Циммерштрассе, в 6-м лагере в Мюнхен-Лейме и в 25-м лагере на Гофманштрассе.

Для руководства разросшимся подпольем в лагерях «восточных рабочих» Объединенный совет БСВ решил образовать Мюнхенский совет братства; осуществление этого решения было возложено на инженера Ярова, красноармейца Кононенко и других военнопленных, бежавших из Перлаха. После необходимой подготовки в комнатке садовника Старого ботанического сада собралось несколько деятелей подполья. На этом конспиративном совещании и был создан Мюнхенский совет БСВ. Его председателем вскоре был избран Корбуков.

Техник-интендант I ранга Иван Корбуков принадлежал к тому поколению советских людей, которое мужало на лесах Магнитостроя, знало на память цифры суточной выплавки металла в стране и с волнением следило за тем, как летчик Каманин и его товарищи сквозь ночь и пургу пробивались к ледовому лагерю челюскинцев.

Иван Корбуков родился в крестьянской семье в деревне Вигурица Поляна, Шумяцкого района, Смоленской области. Учился он в Петровской семилетней школе, там же вступил в комсомол. Потом уехал в Ленинград и поступил в ФЗУ. В 1934 году по мобилизации комсомольской организации Корбуков поехал на строительство города Комсомольска-на-Амуре, а два года спустя стал курсантом Ярославского военного училища.

Двадцать второе июня 1941 года застало Корбукова в Черновцах. Воинская часть, в которой он служил, в числе первых приняла на себя удар вторгшегося врага. Со шмящей болью в сердце Корбуков оставлял родные города и деревни. Он прошел наиболее трудной дорогой войны, совершив переход от предгорий Карпат до предгорий Кавказа. В одном из ожесточенных сражений Корбуков был захвачен в плен.

Мучительная жизнь в полевом лагере военнопленных продолжалась недолго. Воспользовавшись первым удобным случаем, Корбуков бежал и несколько недель скрывался в Черкесске. Предатель донес в гестапо, что рабочий Чиргин прячет на чердаке своего дома советского офицера. Корбуков был снова брошен за колючую проволоку. Через короткое время он опять бежал, но и на этот раз его постигла неудача. Вместе с тысячами других советских граждан его отправили в Баварию.

Узнав в Мюнхене о существовании БСВ, Корбуков становится его деятельнейшим членом. Пользуясь в качестве «гражданского пленного» некоторой свободой передвижения в пределах города, он устанавливает личный контакт с Романом Петрушелем; по инициативе Корбукова Мюнхенский совет БСВ предпринял энергичные меры для установления братских связей с иностранными рабочими различных наций, находившимися тогда в Мюнхене. Прежде всего удалось связаться с чехословаками. В этом очень помог Карел Мерварт.

Карел Сватоплук Мерварт был сыном офицера чешского полка, сражавшегося в годы первой мировой войны на стороне русской армии. Накануне второй мировой войны Мерварт был студентом химического факультета Высшей технической школы в Праге. В черные дни гитлеровской оккупации он примкнул к патриотическому подполью. Молодой чехословацкий антифашист был арестован, заключен в гестаповскую тюрьму в Брегенце и вывезен в гитлеровскую Германию. В Баварии он узнал о БСВ и все силы свои отдал этому движению. Карел Мерварт создал чешские группы подпольной организации в рабочих лагерях Мюнхена и Эрбатсхофена. В сентябре 1943 года он был введен в состав Мюнхенского совета БСВ, несколько раз ему удавалось ездить в Вену, встречаться там с советскими людьми, завязать связи с патриотической организацией, созданной ими и именовавшейся «Антигитлеровское движение». Несколько позже через Вену был налажен контакт БСВ с северными районами Югославии.

Летом 1943 года начали создаваться первые ячейки братства в лагерях французских военнопленных и среди рабочих-поляков, находившихся в Верхней Баварии. Но особенно настойчиво Мюнхенский совет БСВ стремился к сближению с организациями немецкого антифашистского подполья; в свою очередь антифашисты Мюнхена добивались той же цели. Однако установление контакта и желаемого единства действий произошло не сразу. Необходимость соблюдения глубокой конспирации задержала осуществление этого замысла. Нужно было идти ощупью, не зная, столкнешься ли с другом или попадешь в западню гестапо.

Все же БСВ удалось связаться с одной из мюнхенских групп движения сопротивления. Это произошло весной 1943 года. Благодаря немецким друзьям советские люди получили возможность слушать по радио голос Родины, страшная и мучительная изоляция была прорвана. Сводки Советского информбюро стали передаваться в лагеря военнопленных и «восточных рабочих». Однако полицейская облава и последовавшие за ней аресты нарушили с трудом установленную связь. Теперь нужно было все начинать сначала.

Однажды член БСВ Василий Козлов, работавший на маслозаводе Заумвебера, решил попросить у бухгалтера того же завода Эммы Гутцельман разрешения послушать радио. Этот выбор он сделал не случайно: Эмма Гутцельман не скрывала своих антивоенных взглядов и была известна на заводе симпатией к «восточным рабочим». В 1931 году в составе немецкой рабочей делегации она побывала в СССР и с тех пор жила надеждой, что социальная справедливость, восторжествовавшая в России, будет и в Германии. Вот почему эта благородная и мужественная женщина не только охотно согласилась выполнить просьбу Козлова, но и предложила ему для слушания радио привезти с собой друзей.

При первом посещении квартиры Гутцельман на Маргеретенштрассе № 18/1 Василий Козлов и его товарищи познакомились с мужем Эммы — механиком Гансом Гутцельманом, который вместе с Карлом Цимметом и Георгом Яресом руководил подполь-

ной организацией «Мюнхенский немецкий антинацистский народный фронт» (АНФ) — одной из значительных немецких организаций внутреннего сопротивления, распространившей свое влияние на всю Южную Германию. АНФ был связан с крупнейшими предприятиями Мюнхена, частями военного гарнизона, имел своих доверенных лиц среди рядового состава полиции. Сближение советских и немецких патриотов переросло в сердечную дружбу. Квартира Гугцельманов стала главной явкой БСВ и АНФ. Здесь устраивались совместные совещания, на которых обсуждались дела подполья.

Немецкие товарищи имели свою подпольную типографию. Участникам АНФ выдавалась членская карточка — маленькая книжечка из двух листов плотной бумаги серого цвета. В верхнем правом углу внутренней стороны первого листа указывались номер карточки и условная буква латинского алфавита. Порядковая нумерация начиналась с цифры 100. Так, например, номер карточки члена подпольной организации, связанного с Цимметом, выглядел следующим образом: «А 108». Буква А означала линию подпольной связи, которую вел Циммет, а цифра 108 свидетельствовала о том, что владелец карточки был восьмым лицом в цепи. Под номером указывалась дата вступления в АНФ, причем читать ее нужно было справа налево. К примеру, число «342152» означало, что владелец карточки был принят в члены подпольной организации 25 декабря 1943 года. У левого обреза внутренней стороны первого листа сверху вниз римскими цифрами были отмечены I, II, III и IV местные группы мюнхенской организации АНФ, а у нижнего обреза той же страницы арабскими цифрами обозначались номера конспиративных ячеек. Внутренняя сторона второго листа разделена на девять клеток, предназначенных для особых пометок. Уплативший членский взнос в кассу АНФ получал пронумерованную марку, на которой было написано: «Взнос в дело борьбы за Германию».

Циммет, Ярес и Гугцельман ознакомили советских товарищей с «Руководящими принципами и памятными указаниями для активных друзей АНФ». Этот программный документ заканчивался словами В. И. Ленина: «Нетрудно быть революционером тогда, когда революция уже вспыхнула и разгорелась, когда примыкают к революции все и всякие, из простого увлечения, из моды, даже иногда из интересов личной карьеры. «Освобождение» от таких горе-революционеров стоит пролетариату потом, после его победы, трудов самых тяжких, муки, можно сказать, мученской. Гораздо труднее — и гораздо ценнее — уметь быть революционером, когда еще нет условий для прямой, открытой, действительно массовой, действительно революционной борьбы...»

Для АНФ было очень важно установить подпольную связь с немецкими политзаключенными в Дахау. Мюнхенский совет БСВ помог решить эту трудную задачу. «Восточные рабочие» из Дахауского пересыльного лагеря, работавшие вместе с узниками концлагеря, передали немецким политзаключенным письмо Циммета, Яреса и Гугцельмана. В нем говорилось: «...Будьте уверены, что наше движение живет. Будьте уверены так же, как и мы, что победа в недалеком будущем будет за нами. Придет время, и мы снова будем работать вместе, а пока мужайтесь и будьте осторожны».

В то же время комитет АНФ организовал среди своих членов сбор мужской штатской одежды, которая передавалась Совету БСВ. Одежда эта предназначалась для военнопленных, готовившихся к побегу.

Единство действий советских и немецких патриотов в баварском подполье содействовало дальнейшему сплочению его рядов.

ПОДГОТОВКА АНТИФАШИСТСКОГО ВОССТАНИЯ

Деятого июля 1943 года Мюнхенский совет братства получил письмо Объединенного совета БСВ, в котором говорилось: «Все мы должны знать, что палач народов кровавая гадина Гитлер начал свой подлый путь в Мюнхене, в городе, который был и остается еажным жизненным и политическим центром Германии. Врага нужно задумать там, где он родился... В Мюнхене родилась национал-социалистская партия, отсюда повел Гитлер свою коричневую гвардию на свержение правительства... отсюда должно начаться уничтожение фашизма... Задача состоит в том, чтобы овладеть Мюнхеном, захватить в свои руки Берлин, Гамбург и другие города страны... Наша задача — парализовать врага».

Осуществлению этой программной цели была посвящена вся деятельность братства с момента его возникновения. Еще в начале 1943 года Объединенный совет БСВ узнал через своих немецких друзей, что в связи с катастрофой гитлеровских войск под Сталинградом в Мюнхене возможно антифашистское выступление. БСВ решило не только поддержать это выступление, но и проявить свою инициативу.

В бараках Перлахского лагеря стали создаваться боевые группы БСВ. По установленному сигналу они должны были напасть на лагерную охрану, разоружить ее, овладеть зенитной батареей, находившейся поблизости, и превратить эту батарею в опорный пункт мюнхенского восстания. После этого предполагалось освободить узников Штадельгеймской тюрьмы и военнопленных в Мюнхен-Риме, Шлейсгейме и Моосбурге. Следующим шагом должно было быть вовлечение в борьбу иностранных рабочих и освобождение узников Дахау. Военным руководителем этого восстания был назначен майор Озолин. БСВ сообщил своим немецким друзьям о готовности поддержать их антифашистское выступление. Но осуществить этот смелый замысел не пришлось. Гестапо напало на следы немецкого подполья в Мюнхене и обезглавило его.

Летом и осенью 1943 года БСВ сплачивало свои силы и готовило их к вооруженной борьбе. С помощью немецких и чехословацких рабочих из мюнхенского арсенала создавали запасы оружия. В чердачном помещении дома № 9 по Швеперманштрассе и на нелегальной квартире Ивана Корбукова были смонтированы две подпольные приемно-передающие коротковолновые радиоустановки; одна из них должна была стать свободным антифашистским радиопередатчиком, а другая предназначалась для установления связи с СССР.

В лагере военнопленных, находившихся близ Карлсруэ, тайно формировался ударный батальон БСВ. Бойцы батальона были уже частично вооружены. Члены женской группы братства собирали перевязочные средства, медикаменты и простейшие медицинские инструменты. При переходе БСВ к открытой повстанческой борьбе группе Марии Кузькиной предстояло превратиться в санитарный отряд.

В Иннсбруке руководителем повстанческой организации назначили красноармейца Петра Конева. Возглавляемая им боевая группа должна была захватить зенитные батареи, охранявшие Бреннерскую Альпийскую магистраль, и установить связь с партизанами Северной Италии. Во главе подпольной организации в Моосбурге стоял переведенный из Перлаха в Шталаг VII-A подполковник Николай Баранов. Моосбургской организации БСВ предстояло поднять на борьбу узников огромного центрального лагеря и сыграть решающую роль в освобождении десятков тысяч заключенных в Дахау.

Руководителем патриотического подполья в Раштаттском лагере военнопленных был старший лейтенант Григорий Тёрушкин, комсомолец, до войны студент третьего курса Московского института стали.

Даже перед своим начальством гестаповцы всячески замалчивали интернациональный характер БСВ, поэтому в их документах мы находим крайне скудные сведения о деятельности французской, югославской и польской организаций братства. По свидетельству Василия Шахова, одного из деятелей БСВ, с которым мне довелось недавно встретиться, значительную работу развернул тогда в Моосбургском шталаге югославский комитет БСВ, во главе которого стояли сербский коммунист Обрад Бранко из Баната и доктор Кичич.

Руководители БСВ рассчитывали, что англо-американское военное командование воспользуется наступившим переломом в ходе войны и начнет комбинированные десантные операции в Европе на широком фронте. В этом случае Юго-Западная Германия станет ближайшим тылом гитлеровского Западного фронта. Но союзнического вторжения в фашистскую империю, с началом которого связывался переход к повстанческой борьбе, все не было. Поэтому БСВ решило ждать приближения Советской Армии к границам Германии.

В те дни Мюнхенский совет БСВ обратился со специальным воззванием «Ко всем рабочим Ост'а». Оно было отпечатано на гектографе и распространялось не только в Баварии, но достигло и невольничьих лагерей Центральной Германии.

«Товарищи рабочие, работницы и молодежь СССР в Германии! — говорилось в этом воззвании. — Вот уже третий год, как Красная Армия, истекая кровью, бьется на

полях сражения, защищая родную землю, честь и свободу СССР. Тысячи ее лучших сынов, не щадя своей жизни, погибли смертью храбрых, освобождая родных женщин и детей от смерти и голода в этой жестокой и кровавой борьбе с врагом.

Сотни тысяч мужчин, женщин и молодежи организовались в партизанские отряды и громят врага в тылу, защищая свою жизнь и свободу, помогая Красной Армии скорее изгнать врага из временно занятых областей нашей Родины.

В партизанских отрядах сражаются и дети. Так велика ненависть советского народа к его поработителям. Так мстит народ за истерзанную Родину.

Далее воззвание призывало: «Каждое сопротивление в исполнении распоряжений и заданий немецкой администрации, каждый винт или деталь, сделанные с браком, неправильно собранная машина или оружие, несвоевременная погрузка или доставка изделий — помогает Красной Армии...»

Прекращайте работу группами, цехами и целыми заводами. Организуйте отряды и по первому зову выступайте на борьбу с фашизмом!

Красная Армия освободит вас! Помогите и вы ей!

Не бойтесь жертв, они неизбежны в борьбе за свободу!

Вперед, к победе и свободе!..»

Подчеркивая единство интересов советских патриотов и борцов немецкого антифашистского подполья, воззвание заканчивалось словами: «Да здравствует союз народов СССР и Германии!»

В воскресенье 24 октября 1943 года в мюнхенской пригородной роще, близ Фрейдманских железнодорожных мастерских, собралось около пятидесяти подпольщиков. Здесь было назначено конспиративное собрание актива БСВ, посвященное 26-й годовщине Октябрьской социалистической революции.

Под радостные возгласы Иван Кононенко вынул из-за пазухи два красных полотнища и прикрепил их к заранее приготовленным древкам. Самодельные знамена были привязаны к стволу развесистого платана. Собрание открыл председатель Мюнхенского совета БСВ Иван Корбуков. В своей вступительной речи он сказал, что празднование дня Октябрьской революции 24 октября имеет для БСВ двойной смысл: во-первых, это спутает расчеты гестапо, которое будет искать подобные собрания 7 ноября; во-вторых, именно в этот день по старому стилю, двадцать шесть лет назад, в Петрограде началось вооруженное восстание под руководством большевиков. Затем выступили Виктор Басков и Карел Мерварт, заверивший БСВ в том, что чехословацкие узники в гитлеровской Германии будут до конца поддерживать антифашистскую борьбу советских людей.

Перед закрытием собрания Корбуков сообщил, что накануне он слышал по радио последние известия из Москвы. Советская Армия продолжает мощное наступление и скоро уже вступит в пределы Польши. Поэтому главной задачей братства является создание ударных боевых групп, способных по первому сигналу начать вооруженную борьбу с врагом, вовлекая в нее тысячи военнопленных и иностранных рабочих всех наций.

ГИБЕЛЬ И БЕССМЕРТИЕ

Советские люди продолжали бороться с фашистами в их собственной стране. 18 мая 1943 года в Перлахском лагере была арестована большая группа военнопленных за то, что они сорвали здесь вербовочную кампанию в антисоветскую власовскую армию. Арестованных отправили в Моосбург и заключили в штрафной барак № 1, полностью изолированный от всего лагеря. Нар в этом бараке не было, и заключенные лежали на цементном полу. Хлеба и брюквенного супа им выдавали вдвое меньше, чем в Перлахе. В числе привезенных были Озолин, Конденко, Моисеев (Гроссман), Зингер, Баранов, Шихерт и другие деятели подпольной организации.

Бывший узник Моосбурга инженер-геолог из города Владимира Николай Крутин, находившийся в те дни в бараке № 1, рассказывает, что группа «перлахцев» выделялась среди всех двухсот заключенных своей сплоченностью и боевым духом. Поведение этой группы советских военнопленных на следствии достаточно определенно охарактеризовано в донесении начальника мюнхенского гестапо Шефера. «Все русские

офицеры, — говорилось в нем, — в соответствии с заранее принятым решением, отказались сообщить что-либо о подпольной организации».

Вскоре после прибытия в изолятор Озолин и его товарищи организовали здесь импровизированный вечер самодеятельности. Инженер-черноморец Константин Берегов прочитал свою поэму «Мечты и воспоминания военнопленного». Очевидно, эта поэма далеко не безупречна с точки зрения законов стихосложения, но волнение, с каким она была написана и прочтена, произвело неизгладимое впечатление на всех, кто находился тогда в зловещем бараке.

Вот отрывки из этой поэмы:

Здесь черная свастика, миром проклятая,
Соки и кровь из народов сосет,
Здесь голод царит и нужда непроглядная,
Здесь стонет под гнетом фашизма народ.

• • • • •

За вольные мысли здесь пуля и плаха,
Здесь мучат, пытаются и казнят людей,
И родина Шиллера, родина Баха
Теперь превратилась в обитель смертей.

• • • • •

Скоро услышим мы вести чудесные,
Бурей с востока к нам движется шквал,
С окон сорвем мы решетки железные
И запоем «Интернационал»!

Потом один из военнопленных прочитал стихи, заканчивавшиеся словами:

Ожиданья час тосклив и скучен...
Ну, а если ты не дождешься меня,—
Знай, что я в плену замучен,
Верность Родине своей храня!

Вечер самодеятельности еще сильнее сплотил узников следственного барака. Попытки гестаповцев «расколоть» заключенных и добиться выдачи организаторов сопротивления закончились провалом. В наказание большинство находившихся под следствием было отправлено в Дорнахскую и Фильсхофенскую штрафные команды. «Перлахцы» попали в Дорнах.

Прошло несколько дней, и в Дорнахе неожиданно была объявлена тревога. Обезумевшие от ярости охранники поспешно выгоняли заключенных из барака на плац для внеочередной проверки. Оказалось, что из лагеря бежали «перлахцы».

Но истощенным, физически ослабленным людям не удалось далеко уйти. Гитлеровцы обнаружили их в лесу, в нескольких километрах от Дорнаха. Озолина и его товарищей отвезли в Моосбург и вновь заключили в следственный барак. Опять начались допросы и жестокие истязания. В августе 1943 года их перевели в Вильдпольсридскую команду «3370», которая находилась в «особых условиях». Только немногие могли выдержать ужасающие условия Вильдпольсридской каторги.

Нам представилась возможность узнать еще об одном герое БСВ.

Четвертого июня 1943 года в Мюнхене была арестована одна из подруг Марии Кузькиной — Валентина Бондаренко. При обыске у нее были найдены документы БСВ. В гестапо Бондаренко подвергли «крайним методам допроса», но она отказалась сообщить что-либо о подполье. Начальник мюнхенского гестапо доносил позже в Берлин: «Ее не удалось склонить к показаниям, которые хотя бы в какой-либо степени соответствовали действительности. Поэтому нужно было иным путем попытаться найти доступ к этой подпольной организации». Гибель Валентины Бондаренко казалась неотвратимой. Советские войска спасли эту благородную советскую девушку от уничтожения в Освенциме.

Для борьбы с БСВ в гестапо создали специальный отдел. Все лагеря военнопленных и «восточных рабочих» в Южной Германии были наводнены провокаторами. Шесть месяцев ни одному из них не удавалось проникнуть в БСВ или хотя бы обнаружить его

членов. Только в конце ноября 1943 года гестаповцы сумели выследить явку братства в 25-м рабочем лагере на Гофманштрассе. Начались массовые аресты. Чтобы найти одного из членов женской группы БСВ — Таню Ахряпову, мюнхенское гестапо арестовало в городе всех советских девушек по имени Татьяна.

Вскоре в Штадельгеймскую тюрьму была брошена и Мария Кузькина. Ей устроили очные ставки с Корбуковым, Кононенко и другими руководителями движения, но она заявила, что не знает их. Позже Мария говорила одной из подруг, что лица товарищей до неузнаваемости были изуродованы пыткой. На каторжных работах Мария Кузькина получила тяжелое увечье. На этапе в Освенцим подруги несли ее на руках к эшелону, а потом с железнодорожной станции в концентрационный лагерь.

Расправа над борцами антифашистского подполья в Южной Германии завершилась трагедией в концентрационном лагере Дахау, о которой стало известно в дни международного суда над главными преступниками гитлеровского государства.

В своей книге «К истории новейшего времени», изданной в Берлине в 1955 году, Первый секретарь Центрального Комитета СЕПГ Вальтер Ульбрихт пишет: «Антифашистский немецкий народный фронт (АНФ) был крупнейшей немецкой группой сопротивления, которая из Мюнхена распространила свою деятельность на всю Южную Германию...» Это движение «тесно сотрудничало с БСВ (Братское сотрудничество военнопленных), тайной организацией, образованной военнопленными советскими офицерами, которая в короткое время была создана почти во всех южногерманских лагерях военнопленных и свыше чем в 20 лагерях восточных рабочих... К концу 1943 года, когда деятельность АНФ и БСВ достигла своей высшей точки, советские офицеры имели организацию сопротивления, распространившуюся на всю Южную Германию, от Карлсруэ до Вены, к которой примыкало несколько тысяч по-военному организованных и частично вооруженных приверженцев. Однако их мужественные приготовления потерпели неудачу, так как полиции удалось проникнуть в обе организации».

После разгрома гитлеровской тирании мюнхенские антифашисты различных политических убеждений издали специальное мемориальное свидетельство в честь БСВ и АНФ. На его титульном листе цвета пепла, вклеенном в тисненную золотом красную обложку, написаны слова, звучащие как клятва. Они обращены к «многочисленным неизвестным из БСВ и АНФ»: «Вы, наши мертвые! Незабвенные боевые товарищи, стойкие борцы за правду, свободу, человеческие права, бессмертные герои антифашистского сопротивления! Мы чтим Вас! Ваша борьба и смерть навсегда останутся напоминанием и обязательством».



ПУБЛИЦИСТИКА

Инженер Г. РОВИНСКИЙ

★

МЫСЛИ ОБ АВТОМОБИЛЕ

Уастенько в беседах, как говорится, по душам нам, работникам автомобильных заводов, приходится слышать:

— Скажите, почему вы так медленно осваиваете новые модели легковых автомашин? Почему ваши машины не всегда отвечают тем требованиям, которые вправе предъявлять потребитель?

Советские люди любят автомобиль и хорошо разбираются в автомобильных конструкциях. Прошло то время, когда владельцы собственных автомашин насчитывались у нас единицами. Теперь сотни тысяч трудящихся стали хозяевами «Москвичей» и «Побед».

За короткие сроки у нас построены крупнейшие автомобильные заводы, оснащенные передовой техникой, освоены современные методы поточно-конвейерного производства. Успешно развивается автотранспорт, многое сделано для удовлетворения потребности народного хозяйства в различных типах автомобилей.

Все это так. Но прошлые заслуги, как бы они ни были велики, не оправдывают топтания на месте. И народ наш вправе предъявить автостроителям серьезный, еще во многом не оплаченный счет.

С каждым годом все шире производственники применяют новейшие достижения науки и техники. Мы говорим техническому прогрессу: «Добро пожаловать!»

На воздушных трассах страны летают скоростные реактивные самолеты «ТУ-104». Другие скоростные самолеты, еще большей грузоподъемности, строятся и проходят испытания. Об этом пишут в газетах. За рубежом открыто признают, что там подобных самолетов еще нет и появятся они не раньше чем через полтора-два года. Первая в мире атомная электростанция давно уже снабжает электроэнергией потребителей. На стапелях верфи строится атомный ледокол. Ученые готовятся к запуску искусственного спутника Земли. И все это сделано и делается в нашей стране, силами нашего народа. Наши технические достижения видны всему миру, и мы по праву ими гордимся.

Рядом с этими достижениями особенно заметно отставание в области производства легковых автомобилей. Так почему же мы миримся с тем, что в ряде случаев за рубежом уже давно выпускаются легковые автомобили лучшего качества и более совершенной конструкции, чем в нашей стране? Почему легковой автомобиль все еще не стал неотъемлемой принадлежностью быта и я, вы и вот он, наш сосед, пока что лишь со вздохом мечтаем о собственном автомобиле?

Попытаемся разобраться в том, что мешает нам производить легковые автомобили, соответствующие по техническому уровню требованиям наших потребителей и престижу нашей страны, выпускать их для продажи населению по вполне доступной цене, в количестве, удовлетворяющем спрос. Детище советских пятилеток — автомобильная промышленность еще очень молода, и надо позаботиться о становлении ее «характера»

Оговоримся сразу: разговор будет идти только о легковом автомобиле. В общем объеме нашего автомобильного производства выпуск легковых автомобилей, в отличие от ряда зарубежных стран, вовсе не имеет главенствующей роли. И все же поговорить именно о легковом автомобиле надо хотя бы уже потому, что он — тот предмет, который с ростом нашего благосостояния все больше привлекает внимание советской общественности.

1

Разумеется, пути развития конструкции легкового автомобиля различны для разных стран. Во многом они определяются условиями эксплуатации. Поэтому, как бы ни хотелось использовать полностью весь многогранный зарубежный опыт, все же невозможно соединить его воедино в какой-то модели, которая явилась бы, так сказать, квинтэссенцией архисовременного автомобиля.

Родиной наиболее развитого автомобилестроения по праву считаются Соединенные Штаты Америки.

Когда у нас, относительно еще так недавно, начала создаваться собственная автомобильная промышленность, мы, естественно, в качестве примера для себя выбрали США. По образцу американцев проходила организация этого нового для нас дела, определялись конструкции первых автомобилей. Шли годы, развивалось и крепло отечественное автостроение, но в силу преемственности мы продолжали оглядываться на Америку при выборе моделей автомобилей.

Никто не собирается умалять достижения автостроения в США. В этой стране производится превосходные автомобили. Но, используя зарубежные новости техники, мы делаем это подчас слишком некритически. Ведь далеко не все здесь можно с пользой применить к условиям нашей страны.

Возьмем для примера автомобильный двигатель. Для американских легковых автомашин характерна все более увеличивающаяся мощность двигателя. Сейчас в отдельных моделях она доходит до трехсот лошадиных сил — значительно выше, чем у некоторых аналогичных по классу современных европейских автомобилей.

Преимущества сильного двигателя очевидны: возрастает скорость движения, на подъемах можно не переключать передачу — это упрощает управление; мощный двигатель дает возможность с места быстро набирать скорость, увеличивается пропускная способность автодорог и магистралей.

Но есть и минусы. Более мощный американский двигатель сложнее, тяжелее и дороже европейского.

В нашей стране легковые автомобили эксплуатируются преимущественно в зоне городов. Прогаяемость магистральных автодорог и интенсивность движения у нас пока еще не столь значительны, чтобы повышенные скорости автомобиля являлись острой необходимостью. Значит, при изучении зарубежного опыта вовсе не обязательно руководствоваться как наилучшим примером практикой автомобильного двигателестроения в США.

Задача должна решаться в зависимости от того, насколько рационально можно использовать данную мощность двигателя в определенных, строго конкретных условиях эксплуатации автомобиля. Для этого нужен технико-экономический расчет эффективности двигателя с точки зрения расхода топлива, его веса, сложности его производства и ремонта, надежности в работе. Только имея такой расчет, мы сможем правильно решить, какой из типов двигателя наиболее пригоден именно для нас, для работы в СССР.

Всегда ли делаются на наших заводах такие глубокие, научно обоснованные анализы? К сожалению, нет. Предположим, нужно выбрать тот или иной тип двигателя для проектирования. Рассуждают при этом чаще всего следующим образом: вот этот показатель у двигателей большинства иностранных фирм имеет тенденцию к росту (или к понижению) — следовательно, это прогрессивно и должно найти отражение в нашей практике.

Как будто логично. Особенно если речь идет о каком-либо удельном специальном показателе, например о мощности на единицу веса. Но ведь в первую очередь нужно определить, каковы эксплуатационные ресурсы двигателей, у которых этот показатель выглядит наиболее эффективным. Может быть, немного более гяжелый двигатель даст в результате больший безремонтный пробег машины, а это для нас гораздо ценнее.

Во всяком случае ясно одно: эклектический подход к техническим проблемам автостроения вреден, механическое копирование не может принести пользы. Нужны самостоятельные творческие поиски.

Бесспорно, из иностранного опыта мы могли бы многое позаимствовать для себя.

Так, например, на Западе при создании новых моделей легковых автомобилей серьезное значение придается наибольшему удобству для пассажиров и водителя. Конструкторы добиваются улучшения вентиляции кузова, применяют установки для кондиционирования воздуха, увеличивают обзорность при помощи так называемых «панорамных», гнутых стекол, стремятся сделать подвеску машины возможно более мягкой и эластичной, чтобы не ощущались толчки от неровности дороги. О мягкости современной подвески автомобиля можно судить хотя бы по такому примеру: американская машина «крайслер» оборудована проигрывателем грампластинок, который, как и радиоприемник, используется во время движения.

Большое внимание за рубежом уделяется совершенствованию системы тормозов; руль снабжается гидросилителем, что снижает физические усилия при управлении машиной. Применение автоматических трансмиссий исключает и педаль сцепления и дает возможность почти не пользоваться рычагом переключения передач. В 1955 году 73,8 процента легковых автомобилей, выпущенных в США, было оборудовано такими автоматическими трансмиссиями.

Подобного рода технические новинки мы почему-то применяем пока весьма робко. Наши автомобили, начиная с «ЗИЛ-110» и кончая даже новой моделью «Москвича», еще уступают сравнимым по классу зарубежным моделям по многим эксплуатационным и конструктивным показателям.

Более совершенными являются такие автомобили, как «Волга», идущая на смену «Победе», а также «ЗИЛ-111», который скоро заменит отжившую свой век модель «ЗИЛ-110». На наших заводах проектируются и другие модели машин. Но — и это необходимо особо подчеркнуть — все они лишь частично ликвидируют отставание и не вносят в технику автостроения ничего принципиально нового.

Внедрив в производство эти машины, очевидно можно будет сказать: мы кое в чем догнали, но никак нельзя утверждать, что мы уже перегнали.

2

Подготовка производства автомобиля требует больших затрат времени, сил и средств. Нужно изготовить множество специальных инструментов, штампов, приспособлений, прессформ, литейных моделей и так далее. Практика показывает, что на это уходит не менее года. Но изготовление всей оснастки можно начать лишь тогда, когда новая модель автомобиля уже спроектирована, когда испытаны опытные образцы. На это уходит тоже по меньшей мере год.

Предположим теперь, что через какое-то время окажется необходимым сменить «Волгу» и «ЗИЛ-111» на более совершенные модели. Подготовка их производства, как мы только что подсчитали, займет минимум два года. Значит, нужно уже сейчас, немедленно, развернуть проектирование этих будущих автомобилей. Короче говоря, в автомобильной промышленности должен существовать определенный «задел» в конструировании машин. Отсюда вывод: надо сегодня думать о том, что нам потребуется завтра и послезавтра.

В буржуазных странах, в США в особенности, конкуренция толкает автомобильные фирмы на ежегодную смену выпускаемых моделей машин. Так появляются «сезонные моды», сопровождаемые широкой рекламой.

В отличие от этого основанием для смены модели автомашины у нас должен служить подлинный технический прогресс. Не погоня за «сезонными модами», не забота о совершенствовании какой-нибудь пепельницы в кузове, а заранее продуманная, опытным путем проверенная модернизация основных конструктивных узлов и агрегатов машины (двигателя, шасси, трансмиссии, органов управления, электрооборудования, систем питания и смазки) — вот что нам нужно. Нельзя, конечно, забывать и об удобствах для водителя и пассажиров. Чем больше накопится в «заделе» технических новинок, тем вероятнее возможность качественного скачка вперед.

Этот-то естественный процесс развития в нашем автостроении как раз и заторможен. Он заторможен искусственными, внешними причинами, привычкой брать готовое, уже где-то, кем-то придуманное. Сменив после войны машину «М-1» на вполне современную по тем временам «Победу», а «ЗИС-101» на «ЗИЛ-110» и «ЗИМ», мы на том и успокоились. А сейчас вдруг обнаружилось, что за это время в мировой практике

автостроения появилось немало интересных вещей, причем не только рекламных, а действительно поднимающих технику на новую ступень. Дело подошло уже не к текущей модернизации, по существу надо было говорить о замене выпускаемых у нас моделей. Но в портфелях наших конструкторов ничего существенного не оказалось.

За примером ходить недалеко. На автозаводе имени Лихачева решили ставить гидравлическую трансмиссию на новую легковую машину. Важным конструктивным элементом такой трансмиссии, то есть передачи, является так называемый гидротрансформатор, при котором отпадает надобность переключать передачи с первой на вторую, со второй на третью. Управление машиной существенно упрощается, средняя скорость движения машины возрастает.

Так что же выяснилось у конструкторов автозавода? Сказалось, что в течение ряда лет наши конструкторы занимались сравнительным изучением гидротрансформаторов машин «бьюик» и «крайслер». Ничего другого они не смогли предложить, как взять гидротрансформатор, скопированный с одной из позапрошлогодних зарубежных моделей автомашин. Но нам требовался гидротрансформатор иных конструкций, экономически целесообразный для производства в наших конкретных условиях.

За тот срок, когда наши конструкторы изучали заграничные гидротрансформаторы, можно было создать собственную конструкцию, простую в производстве и имеющую хорошую характеристику, вместо того чтобы блуждать в потемках вокруг зарубежных моделей.

Автор этих заметок часто адресует к конструкторам. Однако пусть читатель не думает, будто кадры наших конструкторов-автомобилистов состоят из беспомощных компиляторов, не способных вносить новые идеи в технику. Люди, способные думать, искать, творить, у нас есть, но не всегда им помогают в их творческих поисках.

Расскажем об одном показательном случае.

Что, если сделать легкой автомобиль, у которого двигатель будет сзади? Такое предложение выдвинули еще до войны конструкторы завода имени Лихачева. Что это сулило? Упрощение всей конструкции автомобиля, снижение его веса, улучшение компоновки кузова и ряд других очевидных преимуществ. Правда, такое месторасположение двигателя потребовало бы решения довольно сложных задач. Нужно было облегчить двигатель, чтобы не перегрузить заднюю ось автомобиля, следовало решить проблему охлаждения двигателя, расположенного сзади машины, и так далее. И все же довод «за» было больше, чем доводов «против».

Увы, новая идея не получила тогда поддержки. Испугала, видимо, оригинальность предложения. Нашлись товарищи, которые усмотрели в этой идее некий «футуризм», нарушение обычаев, по которым двигатель у автомобиля должен быть обязательно спереди.

Это было около двадцати лет назад... С тех пор утекло много воды. Проблема осталась у нас нерешенной.

А вот что говорит статистика о нынешнем производстве заднемоторных машин за рубежом:

И т а л и я: модель «фиат-600» — 200 тысяч машин в год.

За п а д н а я Г е р м а н и я: модель «фольксваген» и другие — 400 тысяч машин в год.

Ф р а н ц и я: модель «рено» — 150 тысяч машин в год.

Добавим к этому всем известную «тагру» у наших чехословацких друзей. Становится ясным, что творческая инициатива наших конструкторов была нацелена верно, но, к сожалению, не была осуществлена.

Нерешенных проблем много, есть над чем думать и думать нашим конструкторам, экспериментаторам, технологам и механизаторам. Жизнь подсказывает, что двигатель автомобиля завтрашнего дня будет уже не поршневой, а газотурбинный. В этой области много и настойчиво работают за рубежом. Чтобы нам не остаться в хвосте, надо быть дальновидными и начать интенсивно разворачивать фронт конструкторско-экспериментальных работ. Эксперименты же в данной области у нас проводятся пока что в совершенно недостаточном объеме.

Или вот другой, не менее важный вопрос, который мы тоже пока обходим стороной. За рубежом стали применяться автомобильные двигатели с непосредственным

впрыском топлива в цилиндры, без приготовления горючей смеси в обычном карбюраторе. Это очень перспективное дело.

В существующих карбюраторных двигателях горючая смесь приготавливается в карбюраторе путем смешивания топлива с воздухом. При прямом впрыске путь топлива в камеру сгорания в цилиндре двигателя укорачивается, благодаря чему уменьшается сопротивление впускной системы. Топливо равномернее распределяется по отдельным цилиндрам, сгорает полностью. Двигатель становится экономичнее. Мощность растёт. Знают все это наши инженеры? Конечно! Почему же мы ничего не предпринимаем в этом направлении?

3

Заглянем в конструкторский отдел автозавода имени Лихачева. Чем только не занимаются конструкторы! И многочисленные модификации грузовых автомобилей, и несколько моделей автобусов, и легковые автомобили, и холодильники, и велосипеды...

Каждое звено этого большого хозяйства гребует постоянной заботы. Конструкторы должны проектировать новые модели и непрестанно думать о перспективах в этом деле. В то же время они обязаны заниматься текущей модернизацией уже находящихся в производстве объектов, проводить плаковые работы по внедрению различных технических мероприятий, оперативно отвечать на многочисленные запросы, поступающие из цехов.

Далеко не всегда конструктор получает возможность сосредоточиться на чем-либо одном; чаще он сегодня занимается одним, завтра другим. Конечно, это мало способствует успеху творческого процесса.

С точки зрения экономики и организации производства в автомобильной промышленности многономенклатурность продукции является большим злом. Вся система поточного производства страдает, например, от того, что в основной поток массового или крупносерийного выпуска вклинивается мелкосерийная продукция. Инердным и мешающим основному производству автомобильного завода является изготовление таких вещей, как, например, велосипеды, холодильники.

Проблемам специализации промышленных предприятий уделено большое внимание в решениях XX съезда партии. Несомненно, они найдут свое отражение и в автомобильной промышленности. Сейчас хочется поднять другой вопрос — о специализации конструкторского труда проектировщиков автомобилей.

На наш взгляд, имеет прямой смысл расставить и закрепить кадры конструкторов так, чтобы люди могли совершенствовать свои знания и обогащать свой опыт в какой-либо одной, определенной отрасли, будь то конструкция легковых кузовов или кабин грузовых автомобилей, тормозные системы, рулевое управление, двигатели, автомобильное электрооборудование и так далее.

Формально такая специализация вроде бы и существует. Но фактически она не соблюдается, и конструктор, проектирующий какой-либо узел или агрегат автомобиля, частенько вынужден отложить в сторону уже начатые темы и по приказу начальства срочно переключиться на совершенно другие. Казалось бы, это разнообразит опыт, создает широту кругозора конструктора, но практически получается не так.

В современной сложной технике нельзя стать всезнайкой. И вот конструктор вместо углубленного и систематического накопления опыта в специальной области приобретает лишь обрывки знаний. До самого важного для него, жизненно необходимого — знания экономики производства, технологии — не доходят руки, он чаще всего не успевает с этим ознакомиться.

В итоге нередко бывает так: экспериментальный образец автомобиля, показавший хорошие результаты в эксплуатационных испытаниях и утвержденный к производству, оказывается неподходящим с точки зрения рационального технологического процесса. Приходится существенно исправлять чертежи по указаниям технологов. Уходит уйма драгоценного времени, летят на ветер средства, уже вложенные в подготовку инструментальной оснастки. Хорошая в принципе конструкция машины или ее узла часто теряет свои качества, так как все вносимые потом изменения не всегда удается предварительно экспериментально проверить.

Надо расширить обмен опытом и лучше организовать творческое содружество между конструкторами нескольких автозаводов, объединить усилия конструкторов в деле перспективного проектирования. Может быть, следовало бы создать специальные конструкторские бюро по примеру СКБ в других отраслях машиностроения. Такое бюро, опираясь на помощь штатных инженеров-технологов, сможет успешно разработать не один и не два-три, а несколько десятков типов легковых машин различных классов. Централизованное проектирование принесло бы огромную пользу делу стандартизации и унификации отдельных узлов и деталей автомобилей.

Несомненной конструкторской удачей явилось в свое время создание автомобиля марки «ЗИМ». Но ведь эта удача родилась благодаря совместным усилиям конструкторов горьковского и московского автозаводов. Над машиной «ЗИМ» они работали сообща. Этот благотворный опыт необходимо учесть.

Автомобиль должен служить долго. Поэтому до изготовления его нужно длительное время и чрезвычайно тщательно испытывать. Здесь все надо предусмотреть заранее и действовать наверняка.

Чтобы ускорить проведение испытаний, нужно это делать параллельно на многих опытных образцах, выделив на каждом определенный объект экспериментального исследования. Каждому понятно, что когда один и тот же образец испытывают сразу с точки зрения и качества двигателя, и пригодности кузова, и работы электрооборудования, то толку получается мало — один исследователь торопит другого, им не удается как следует «нащупать» больные места в организме автомашины. Не исключены в этих условиях и случайные результаты (как положительные, так и отрицательные), вызванные качествами именно данного образца, а не принципиальными особенностями конструкции.

Большой нашей бедой, которая в зубах навязла, является как раз отсутствие возможности проводить опытные работы в необходимом объеме и в необходимом темпе. Экспериментальная база на заводах крайне слаба и маломощна. Для постройки опытных образцов экспериментаторы вынуждены прибегать к помощи основных производственных цехов, а для тех это обуза, мешающая поточному производству. Производственники, естественно, всячески, под различными предлогами затягивают сроки выполнения заказов по экспериментальным образцам машин, не столь уж внимательно следят за качеством работы.

Чтобы организовать как следует экспериментальные работы, проводить их в короткие сроки на большом числе опытных образцов и, наконец, чтобы стоимость этих образцов перестала достигать астрономических цифр, необходим хорошо оснащенный опытный завод. Такого предприятия наша автомобильная промышленность пока не имеет. Ведь нельзя же назвать опытным заводом мастерские, существующие при научно-исследовательском институте (НАМИ), которые не имеют даже своего кузовного производства и то и дело обращаются к услугам тех же автозаводов.

В ряде других отраслей промышленности опытные заводы давно существуют и оправдывают свое назначение. За границей это дело поставлено на широкую ногу. Американцы сейчас создают крупнейшие научно-исследовательские центры в автостроении.

Экспериментальная работа у нас — один из запущенных участков. Это мешает быстрыми темпами двинуть вперед технику советского автостроения, найти и установить в ней свои собственные пути и дороги. Сейчас, после перестройки управления нашей промышленностью и ликвидации отраслевых министерств, хорошо бы в одном из экономических районов страны, там, где автомобильная промышленность наиболее развита, создать крупный опытный завод автостроения, который послужил бы базой для широкого фронта исследовательских работ, облегчил задачу быстрого технического прогресса в автостроении. Силами одних только существующих автозаводов эти задачи решаются недопустимо медленно. Очевидно, Госплан и Научно-технический комитет при Совете Министров СССР скажут здесь свое веское слово. Следовало бы, кроме того, создать специальный полигон для испытания автомобилей по образцу хотя бы полигонов, существующих за рубежом,

4

Лишенный вычурности, надуманности форм внешний вид автомобиля говорит о высокой культуре конструктора. Наоборот, излишне навязчивый, крикливый облик машины, у которой задние крылья напоминают дюзы реактивных двигателей межпланетного корабля, а облицовка радиатора вызывает сравнение с раскрытой пастью кита, акулы или иного чудовища,— все это нельзя назвать иначе, как извращением.

В погоне за «модами» американские автомобильные фирмы и корпорации уже исчерпывают границы разумного. Посмотрите один из номеров журнала «Америка», выпускаемого в США для СССР. Там представлен «крик моды» 1956 года. Среди удачных моделей бы увидите немало надуманных, потерявших элементарную целесообразность, режущих глаз пестротой окраски.

Так возникает вопрос об архитектурных формах автомобиля. Надо полагать, что и здесь был бы полезен обмен мнениями.

За исключением, пожалуй, «Победы», у нас пока не выпущено ни одной модели легкового автомобиля, которая внешне отличалась бы оригинальностью, имела, так сказать, полностью «свое лицо». Архитектурные формы наших легковых автомобилей в лучшем случае являются «гибридными». Ни для кого не секрет, что «М-1» вполне напоминает машину Форда, «ЗИЛ-110» сильно смахивает по формам на «паккард» и так далее. Советских людей, бывших за рубежом, даже спрашивают: «Скажите, долго вы еще будете выпускать паккардовскую машину?»

Невольно задаешься вопросом: почему бы нам не перестать заглядываться на чужие «моды» и «стили», а делать то, что мы сами считаем для себя разумным и целесообразным?

Не так давно при обсуждении одного из вариантов макета нового легкового автомобиля «ЗИЛ-111» кто-то из присутствующих заметил, что уже видел нечто почти аналогичное, кажется, в одном зарубежном автомобильном журнале. Раздобыли этот журнал и убедились, что действительно новый макет словно две капли воды похож на изображенную там машину.

— Как же это произошло? — спросили у автора варианта.

Последовал совершенно спокойный и невозмутимый ответ:

— А чего вы от меня ждете? Я — как портной, который шьет костюмы по заказу. Мое дело выдержать фасон, а красиво получается или нет — это вопрос вкуса заказчика...

Предвидя недоумение читателя, поспешим объяснить, о чьих «вкусах» идет речь.

До ликвидации министерства автомобильной промышленности в ней имелись два коллегиальных органа — технический совет и специальная макетная комиссия. Им принадлежало право утверждать технические задания и решать судьбу проекта нового автомобиля. Разумеется, просто нелепой была бы мысль о том, что весь состав этих бесспорно авторитетных специалистов состоял из приверженцев зарубежных эталонов. Но, как мы видим, объективно получалось именно так.

Говорят, о вкусах не спорят. Автор этих строк склонен считать, что иной раз надо поспорить, и даже очень крепко, особенно если это касается вещей массового пользования. Во всяком случае при выборе того или иного варианта архитектурной формы легкового автомобиля вряд ли следует полагаться на некий «законодательный вкус» нескольких лиц.

Эскизы, проекты, макеты новых автомобилей, по нашему мнению, надо подвергать более широкому обсуждению.

Если бы макет и декоративное оформление новой, недавно начатой выпуском модели «Москвича» были предварительно вынесены на суд широкой общественности, то этот в общем неплохо скомпонованный автомобиль, наверное, не получил бы на облицовке радиатора нелепого «украшения» в виде гигантского щедро хромированного подобия... галстучной булавки, ни о чем другом, кроме как о плохом вкусе, не свидетельствующего и уродующего в целом приятную для глаза машину. Собрать бы и обобщить деловые предложения хотя бы водителей машин — какой бы эффект это дало! А почему в стороне от обсуждения проектов и образцов новых автомобилей стоят наши научно-технические инженерные общества? Они могли бы организовать самый

придирчивый и доскональный разбор предлагаемой модели и подготовить исчерпывающие предложения.

Общественность имеет возможность ознакомиться, к примеру, с новинками одежды в домах моделей. Нам думается, что не менее полезным делом было бы создание такого Дома моделей и для продукции, подобной автомобилям, а также организация передвижных выставок-смотров.

Нам нужны наши, советские, разумные и красивые формы автомобиля. Успешно решить эту задачу призваны автомобильные художники-архитекторы. Но эта категория работников у нас весьма немногочисленна, в основном — практики, не имеющие специальной подготовки. Художественно-промышленные училища выпускают специалистов по оформлению мебели, электроарматуры, фонтанов, посуды, но только не по оформлению машин. Следует призадуматься над этой проблемой.

5

Как быстрее и полнее удовлетворить спрос населения на автомобили индивидуального пользования?

Весьма перспективным представляется производство микролитражных автомобилей. Организовать массовый выпуск этих машин, с постепенным ростом программы примерно до трехсот тысяч штук в год, можно было бы в порядке широкой кооперации существующих автомобильных и мотоциклетных заводов.

В настоящее время за рубежом, в особенности в западноевропейских странах, микролитражкам уделяется серьезное внимание, создано много модификаций таких автомобилей, хорошо налажено их производство. У нас, к сожалению, дело обстоит пока неважно.

Здесь уместно вспомнить историю «Белки». Сообщения об этом автомобиле-малютке появились в нашей печати. Потом как-то внезапно все заглохло.

Но вот в четвертом номере журнала «Техника — молодежи» за 1956 год была напечатана любопытная статья о микролитражных автомобилях. Автор — один из участников создания «Белки». В статье приведены фотографии «Белки», но почему-то нигде не упоминается ее имя. Говорится о микролитражном автомобиле вообще, так сказать, вне времени и пространства.

Причины такого странного умолчания о «Белке», о которой публиковались информации даже в зарубежной прессе, нас очень удивили, и мы занялись выяснением обстоятельств.

Оказалось, что незапланированное появление на свет «Белки» и сопутствующая этому восторженная реакция общественности сильно обеспокоили некоторых товарищей из бывшего министерства автомобильной промышленности. Дальнейшая реклама этого типа микролитражного автомобиля показалась им преждевременной. Ведь эта «незаконнорожденная» машина к производству никак еще не утверждена и неизвестно даже, где ее делать, как и из чего делать. А между тем в магазинах, торгующих автомобилями, люди уже стали добиваться записи в очередь на приобретение «Белки».

Таким образом, инициатива конструкторов, создавших первые образцы советского микролитражного автомобиля, не встретила поддержки в министерстве. А очень жаль.

Такой автомобиль, снабженный двигателем воздушного охлаждения мощностью до двадцати пяти лошадиных сил, расходует не более шести литров бензина на стокилометровый пробег. Зимой двигатель не боится холода, так как отсутствует радиатор с охлаждающей жидкостью. Значит, машину и в мороз можно держать без гаража. И нет необходимости сливать и заливать воду при хранении машины зимой на открытом воздухе.

Автомобиль типа «Белки» способен развивать скорость до девяноста километров в час, он обладает высокой проходимостью. Но самое главное — автомобиль этот весит не более шестисот килограммов, то есть более чем в полтора раза легче «Москвича», и по конструкции он намного проще. Кузов состоит всего из десяти—двенадцати основных деталей. Распределив их изготовление по существующим автомобильным и мотоциклетным заводам в порядке кооперации, эти детали можно было бы начать делать даже без дополнительного оборудования. Стоимость «Белки» при массовом выпуске

могла бы выразиться примерно в пяти-шести тысячах рублей. Это была бы действительно общедоступная машина, которая к тому же в известной мере решит и проблему с гаражами благодаря своей неприхотливости.

Спроектированная инженерами Ирбитского мотозавода и научно-исследовательского института — НАМИ, «Белка» была представлена в нескольких опытных образцах. Разумеется, она еще требовала конструктивной отработки и доводки. Но если за это дело взяться с душой и энергично, то «Белку» можно было бы быстро поставить на производство, и примерно через год после того, как появилось сообщение в печати об опытных образцах, «Белка» могла бы появиться в продаже.

Берем на себя смелость заявить, что автомобилям типа «Белки» пора и нужно открыть выход в свет. Пора кончать дискуссии на эту тему. Потребитель ждет дешевый маленький автомобиль!

6

Говоря о желательности увеличения производства легковых автомобилей для продажи населению, нельзя, конечно, упускать из виду одно весьма важное обстоятельство. Речь идет о ресурсах материалов.

Возьмем, к примеру, ту же «Белку». Для производства этих микролитражных автомобилей в количестве, скажем, трехсот тысяч штук в год ежегодно потребовалось бы, включая отходы производства, около двухсот тысяч тонн стали. Цифра немалая.

Хозяйство в нашей стране плановое, материальные ресурсы у нас на строгом учете. Металл нужен повсюду. И, конечно, есть более неотложные народнохозяйственные потребности, чем производство микролитражных автомобилей.

Так как же быть?

Выход есть — существуют заменители металла.

Вспомним о пластмассах. Применение их в автостроении — дело новое и молодое, но быстро и уверенно развивающееся. Пластические массы служат теперь, в частности, материалом для производства автомобильных кузовов. Кузов микролитражки — наиболее металлоемкий объект в машине, он составляет половину ее общего веса. Значит, если бы заменить в кузове металл пластмассой, то вопрос о материальных ресурсах в известной мере мог бы считаться решенным.

При слове «пластмасса» у читателя, возможно, возникнут невольные ассоциации с легкой, бьющейся домашней полоскательницей. Как-то даже страшновато становится при одной мысли совершить путешествие в автомобиле, кузов которого сделан из такого хрупкого и непрочного материала и может внезапно развалиться на хорошем ухабе.

Но такие представления о прочности пластических масс весьма далеки от истины. Пластмасса пластмассе рознь!

Некоторые синтетические смолы, заполненные, или, как говорят на техническом языке, армированные, стеклотканью, обладают огромной прочностью. Изделия из них выдерживают растягивающее напряжение, достигающее до 5 620 килограммов на каждый квадратный сантиметр поперечного сечения. Для сравнения укажем, что применяемая для штамповки автокузовных деталей тонколистовая сталь в аналогичных условиях испытания выдерживает напряжение только от 2 600 до 4 400 килограммов на квадратный сантиметр.

Несколько меньшей, но вполне достаточной прочностью обладает та же пластмасса, армированная более дешевым в производстве материалом — стекловолокном. В зарубежной практике кузовостроения применяются также фенольные смолы с наполнителем, представляющим собой «очес» (отходы хлопчатобумажной промышленности). В Германской Демократической Республике выпускаются малолитражки, кузов которых сделан целиком из пластмассы.

Таким образом, пластические массы по прочности на разрыв не уступают металлу и даже превосходят его. Правда, они обладают несколько меньшей ударной вязкостью. Зато во многих других отношениях на стороне пластмасс значительные преимущества. Прежде всего пластмассы легче; вес кузовной панели из пластмассы составляет всего 30—40 процентов веса стальной. Значение этого фактора нет необходимости разъяснять. Пластмассы не подвержены коррозии. Применяя пластмассы, можно получать

более сложные формы поверхностей облицовки автомобиля, чем при штамповке из стального листа. Самое название здесь говорит о пластичности материала. Наконец, кузов из пластмассы значительно легче ремонтировать, чем стальной.

Сколько, например, огорчений доставляет неосторожному владельцу «Москвича» или «Победы» нечаянный наезд крылом машины на какой-либо твердый предмет. В лучшем случае будет содрана краска, а чаще всего останется глубокая вмятина, которую потом почти никогда не удастся хорошо загладить и закрасить. Пластмассовое крыло ведет себя в таких случаях по-другому. Оно либо упруго спружинит, причем окраска не будет повреждена, так как краситель входит в состав самой пластмассы, либо при сильном ударе пластмасса сломается. Но это поправимо. Достаточно аккуратно вырезать поврежденное место, наложить изнутри заплату из стеклоткани, придав ей форму поверхности поврежденного места, затем замазать заплату синтетической смолой и дать ей затвердеть на воздухе. Если вы проделаете эту операцию аккуратно, на крыле не останется никаких следов повреждения. И дешево и просто!

Производство пластмасс — это дело, будущее которого еще впереди. Но нужно приближать это будущее.

**
*

Мысли, которыми мы здесь поделились с читателями, безусловно, не могут претендовать на полноту охвата всех проблем, связанных с дальнейшим прогрессом нашего автостроения. Мы старались рассказать только о некоторых препятствиях, стоящих перед новыми советскими легковыми автомобилями на их пути от чертежной доски конструктора до асфальта за воротами автозавода.

Нам представляется, что нельзя замалчивать такие факты, как бездумное копирование иностранных образцов, чрезмерная «осторожность» некоторых руководителей; что надо подумать о специализации в конструировании автомобилей, о слабости экспериментальной базы автостроения, об отставании в области применения пластмасс в конструкции кузовов. А главное, пора положить конец невнимательному отношению к массовым микролитражным автомобилям.

Всё это трудности нашего роста. Живут и очень нам мешают всякого рода дурные навыки, которые уже давно пора сдать в архив. Еще нет-нет да и проявят себя рутинная, близорукость, робость и равнодушие к новому. Но много есть и вполне объективных трудностей, которые надо решать в масштабах государственных. Известным тормозом на пути новой техники в автостроении являлся малооборотливый аппарат бывшего министерства автомобильной промышленности. Проведенная перестройка системы управления народного хозяйства убрала это препятствие. Теперь многое зависит от инициативы самих автозаводов и советов народного хозяйства экономических районов, которым эти заводы подчинены.

Надо ожидать, что в ближайшее время развернется социалистическое соревнование между предприятиями автомобильной промышленности также и в области наиболее полного удовлетворения запросов страны необходимым типажом и качеством выпускаемых автомобилей.

Наша страна должна занять, и она, несомненно, скоро займет, подобающее ее престижу место и в легковом автомобилестроении — этой важной отрасли промышленного производства.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Перечитывая книги...

Е. СТАРИКОВА

★

„ВИРИНЕЯ“ Л. СЕЙФУЛЛИНОЙ

Сибирская писательница Ольга Маркова вспоминает, как в двадцатые годы на самодеятельной сцене в уральском рабочем поселке Новая Утка она играла Виринею в одноименной пьесе, написанной Л. Сейфуллиной на основе ее нашумевшей тогда повести:

«Виринея» прозвучала, как взрыв. Это был первый спектакль, когда новоуткинские зрители унесли из театра нетронутые семечки в карманах и ощущение серьезности и важности всего, что им в тот вечер предложили смотреть... Правда, в рединском заводе последнее действие пьесы было неожиданно прервано появлением у сцены человека в оборванном полушубке. Сказав нам: «Тише!», он обратился к публике, вернее, не ко всей публике, а к женской ее части:

— Бабы! Вот она, ваша-то жизнь какзя была: жили вы — не жили, темнота вас изгрызла, нищета съела, а вы не согнулись, выпрямились! Спасибо Красному Октябрю!

Этот не предвиденный никем перерыв в спектакле не вызвал ни смеха, ни осуждения. Отнюдь! Его приняли серьезно, как должное, горячо аплодировали оратору».

Читатели и зрители двадцатых годов узнавали в «Виринее» себя, свои думы и чаяния, а это — первое условие действительности искусства.

Много лет прошло с тех пор, мало осталось людей, для которых события, изображенные в повести Сейфуллиной, сохранили животрепещущую злободневность, но не стареет «Виринея» и с прежней силой, хотя и по-новому, волнует читателя, потому что никогда не состарится правда жизни, правда революции, запечатленная в высокохудожественной форме.

Впервые «Виринея» была опубликована в 1924 году в четвертом номере журнала «Красная Новь». Недавно родившаяся,

только вставшая на ноги советская проза дала в том же году народу «Железный поток» А. Серафимовича, «Города и годы» К. Федина и «Барсуки» Л. Леонова. Но и среди потока талантливых книг двадцатых годов, ярко изображавших революционную новь страны, смело утвердивших принципы нового, социалистического искусства, «Виринея» заняла заметное место.

Напечатав первые свои рассказы в 1921 году, Л. Сейфуллина ко времени создания «Виринеи» обладала именем, уже широко известным, была автором «Правонарушителей» и «Перегноя». В сознание читателя она вошла как правдивый и зоркий бытописатель современности, как писатель-гуманист нового типа, не только страдающий человеку, но и поднимающий его своими книгами на борьбу за счастье.

Суровый реализм как основное качество таланта и как осознанная позиция писателя — это главное, что привлекало в творчестве Сейфуллиной ее современников и что определило историко-литературное значение ее книг. Советская литература первых лет революции была представлена главным образом поэзией, и преимущественно романтической. Сильные романтические тенденции в литературе того периода закономерны. Но не романтизму дано стать основным направлением советской литературы. Литература, предназначенная для самых широких масс народа, должна была глубоко вскрывать закономерности новой, революционной действительности, а это по силам только реалистическому искусству

Л. Сейфуллина одна из первых ответила на потребность времени в реалистическом искусстве, в правдивом и многогранном изображении революции. Взять самое трудное, самое беспощадное в жизни, говорить о нем предельно откровенно, а в результате выявить в нем светлую правду новой

действительности — так с самого начала и до самого конца своего творчества понимала Л. Сейфуллина задачу революционного художника.

Свободу для народа завоевывали и социализм строили не отдельные герои, а широкие народные массы, люди, выросшие и сложившиеся в старом обществе, впитавшие в себя многие противоречия эксплуататорского строя. Только в ходе революции, участвуя в ней, люди постепенно освобождаются от родимых пятен капитализма. Об этом не раз писал В. И. Ленин. Для советской реалистической прозы с самого ее начала одной из главных психологических задач было изображение этого общего сложного процесса каждый раз в новом, индивидуальном выражении: как вчерашний темный и забитый крестьянин, пройдя через фронты мировой и гражданской войн, становится убежденным революционным бойцом; как лихой партизан-рубака, лишь инстинктивно чувствующий правду революции, становится подлинным водителем масс, настоящим красным командиром. Далеко не все, даже талантливые, писатели умели убедительно показать путь развития своих героев. Сейфуллину с самого начала ее творчества привлекало изображение вот этого сложного процесса перестройки человеческой личности в новой действительности. Она умела в маленьком рассказе показать сложную метаморфозу героя. Но «Виринея» в этом отношении принадлежит первое место в ее творчестве. Причиной этой принципиальной победы писательницы была прежде всего многогранность, психологическое богатство самого образа Виринеи.

Старая русская литература оставила высокие образцы поэтического и тонкого изображения душевной жизни простых людей. Молодая советская литература должна была продолжить и развить эту ее традицию применительно к новым условиям действительности, выдвинувшей простого человека в первые ряды жизни, то есть сделать его главным героем своих книг, отдать ему весь жар души, всю свою любовь и мастерство, показать героическое в этом простом человеке, не ставя его при этом на ходули, отметить его темноту и невежество, но не романтизируя подобных качеств, не восхищаясь ими как проявлением стихии, а изобразив, как они преодолевались и искоренялись в ходе революции. Лучшие советские писатели шли именно по этому пути. Так разви-

вается образ Чапаева в романе Фурманова, так раскрывается перед нами Морозка в «Разгроме» Фадеева. Так показывала свою героиню Сейфуллина.

...Мечется, тоскует, не может найти по себе дела сильная, озорная, волевая Виринея в обескровленной, развороченной мировой войной деревне. Природа не обделила ее ни умом, ни красотой, ни ловкостью, но нет ей ни счастья, ни покоя. Ушла из богатого дядиного дома, истосковавшись по ласке, по человеческому участию, стала жить невенчанной, в бедной избе, на пересуд всей деревне с хлипким, больным Василием; потом не выдержала, ушла от него, нелюбимого, батрачила на чужих, работала на железной дороге. Открыто любясь Виринеей, писательница ни в малой степени не идеализирует ее. Она воспроизводит и ее грубый язык и ее оскорбительную резкость в обращении с людьми. «Виринея» написана с той откровенностью подробностей, от которых отвык современный читатель и которая была присуща прозе двадцатых годов. Но заслоняют ли эти подробности красоту и поэзию образа? Ни в коем случае. Виринея по-крестьянски пряма, ей ненавистно ханжество во всех его проявлениях, она болезненно остро чувствует его в людях и обнажает его перед всеми. Но вот она осталась одна, вышла из избы, залюбовалась весенней красотой земли, молча затосковала о чем-то, ей самой неизвестном, и читатель сразу понял, насколько лучше, чище, выше эта баба-гулена тех, кто поучает ее жить, «как все живут». За дерзким задором Виринеи, за ее отважным самовольством, за грубой резкостью читатель с болью ощущает беспомощность самобытного человека перед страшной, скучной, бессмысленной жизнью, грозящей ей нравственной гибелью. Все в Виринее — вызов этой жизни: и ее яркая красота, и ее чуткость к несправедливости, и ее пренебрежение к установившимся порядкам.

Исконная «кержачка», то есть староверка, Виринея и в отношении религии идет против обычаев, у нее свои счеты с богом, и ее трезвый ум не одурманишь предрассудками, освященными традицией. Веселая солдатка Аксинья просит Виринею переписать молитву, сочиненную «пророком» Магарой: «шибко солдаты на нее надеются. Хороша от смертной от пули». Между женщинами происходит следующий диалог:

«—...Как у старости старшого, Митрия-то, убили, Терехин Васка с тела его ту мо-

литву снял. Прописал Митревым родителям, что себе на охрану листок тот оставил.

Виринея вздохнула:

— Дурной народ — деревенские наши люди! Убили, дак чего ж молитва-то не оборонила? Ни к чему она, выходит?

— Ты, Вирка, про богово дело не бреси... Не люблю таких слов!

— Чего ты ощерилась? Не люби, а ведь сама говорншь: и с молитвой убили!

— Ну-к шго ж. Так бог схотел, закрыл глаза на ту на молитву. Митрию так на роду было написано, а другим помогает. Спиши мне ее, ты хорошо грамотна.

— Не буду!

— У-у, безбожница! »

Еще нет ни слова о революции, еще не видит Вирка своего пути в жизни, но в этом коротком, проникнутом такой тонкой иронией диалоге чувствуется будущая Виринея. Не Аксиныя с ее легкой, но традиционной моралью, а такая, как Виринея, трезвая, жаждущая лучшего, ничего на свете не боящаяся, должна была вступить на путь революции.

Некоторые критики рапповского толка в свое время пытались доказать, что значение драмы, изображенной Сейфуллиной, ограничено тем, что Виринея приходит к революции через любовь — не стань, дескать, она женой большевика Павла, и иначе сложилась бы ее жизнь. Эти примитивные рассуждения очень напоминают те упреки, которые некогда раздавались по адресу «Матери» Горького: не будь у Ниловны сына-революционера, не пришла бы она в большевистское подполье. Как будто между общественными убеждениями человека и его личными страстями непроходимая пропасть! К тому же по отношению к «Виринее» эти рассуждения просто были неверными. Виринея сблизается с Павлом не по любви, а в силу жизненных обстоятельств. Он, вдовец, приглашает ее в свой дом хозяйничать и смотреть за детьми. Она становится его женой. Живут они дружно, но настоящей, внутренней близости между ними нет. Однако, присмотревшись к Павлу, к его деятельности в деревне, Виринея находит ответ на многие давно мучившие ее вопросы. И Павел привязывается к ней, увидев в ней не просто красивую работающую бабу, но справедливого, достойного лучшей жизни человека.

Революция, пришедшая в деревню, бурные мужицкие сходы оказывают сильное и быстрое влияние на Виринею. По актив-

ности своей натуры она горячо, без оглядки вмешивается в события, помогает большевикам, агитирует за Советскую власть, разъясняет, как умеет, то, что самой только вчера стало понятным. «Я своим глупым разумом и то думаю, какая это свобода? И войну не кончают, и земли не дают, и богатеи пузом нашего брата все зашибают. Уж трясти дак до корню трясти...» Услышав от Вириней такие речи, Павел «ласково, поновому как-то» глядит на жену и говорит: «А ты мне, пожалуй что, не только по хозяйству, а в других делах хорошей помощницей будешь». Так ходом всех событий Виринея становится большевичкой, так приходит к ней и Павлу большая, человеческая любовь. Удивительно естественно изображен путь крестьянской женщины к революции — нет в этой истории ни нарочитости, ни схематизма. В превращении Вириней участвуют все ее качества, задатки и стремления: и поиски справедливости, и горячая ненависть к хозяевам жизни, и любовь, и жажда материнства. Революция открывает выход всем ее чувствам и способностям. В этом и заключается гуманистическое значение повести Сейфуллиной.

Виринея погибла от руки казаков, погибла, как боец, как революционный агитатор, она не увидела результатов борьбы. Так же погиб Софрон в повести Сейфуллиной «Пережной». «У революции прекрасное, но и страшное лицо», — говорит один из героев Сейфуллиной. Кровью лучших завоевывалась свобода народа, и это была дорогая цена. Но драматизм концовок не лишает произведения Сейфуллиной общего оптимистического тона, свойственного искусству революционной эпохи. Недолгая сознательная жизнь Вириней осветила светом яркой надежды страницы повести. Это исторический оптимизм победившего народа.

«Умение отметить мелкие настроения в период катастроф, революции, вообще коренной переделки бытия — преимущество немногих людей... Восхищающие и ужасающие явления — это только поверхность, а почва, то, что родит и погребает, она глубже», — так писала Л. Сейфуллина в своем рабочем блокноте-дневнике. Сама она в высшей степени обладала даром передавать характерность времени через мелкие подробности быта и психологии. Поэтому в ее книгах революция представляла как бы очень приближенной к читателю, изображенной глубоко изнутри. Как пришло к крестьянскую избу первое известие об от-

речении царя, как проявлялись первые проблески революционного сознания, как приобрелись первые навыки открытой классовой борьбы? Сейфуллина знала все это не приблизительно, не по слухам, а досконально: трудные предреволюционные годы и начало революции будущая писательница провела в глухой сибирской деревне, где она учительствовала, жила одной жизнью с народом, писала бабам письма на фронт, читала мужикам газеты. Там нашла она свою Виринею: прототипом образа послужила красивая Арина, сторожиха в той школе, где работала Сейфуллина.

Книги Сейфуллиной насыщены возбуждающим воздухом революции, постепенно и мощно захватывающей все более и более широкие слои народа. Великолепны некоторые сцены народной жизни той эпохи в «Виринее», их просто хочется цитировать целиком — так живо, так непосредственно они написаны, такой тонкий в них юмор, такой великолепный язык. Чего стоит фигура крестьянской матери, которая тайком от мужа — богатого крестьянина — голосует за большевиков, потому что слышала» они против войны, а сынок-то на фронте. И вот с крестьянской наивной хитростью просит она Вирку капнуть на бюллетень маслицем, чтобы отметить его, — ведь она неграмотна. В таких картинах — вся эпоха, с ее бытом, психологией, социальными противоречиями, надеждами и устремлениями. Это те «типические обстоятельства», в которых свободно и вольно развивается характер героини Сейфуллиной, каждому поступку и слову которой веришь до конца.

В статье, посвященной А. Н. Островскому, Л. Сейфуллина защищала художника-бытописателя от обвинений в натурализме, утверждая, что бытописатель в отличие от бытоописателя обладает не только «внешней зоркостью», но и «тайным духовным зрением», позволяющим ему «из спящего ка-

кофонией красок полотна жизни» выделить «густок типичнейших ее черт». Таким бытописателем была Сейфуллина. Она не пренебрегала ни одной краской в полотне жизни, но умела выделить самые характерные.

Живой диалог, живописный разговорный язык широких слоев крестьянства — главное художественное средство Сейфуллиной и при создании массовых и бытовых сцен и в изображении характеров, в том числе и самой Вириinei. Художник революции, Сейфуллина, естественно, часто изображает толпу, массу, но она почти ее не живописует, она дает ее лишь услышать. Кажется, что эти разнообразные, кричащие и спорящие голоса просто записаны с натуры. Но нет. нужен строгий отбор, большое знание человеческой психологии, чтобы этими буйными выкриками так точно охарактеризовать типичные и противоречивые настроения деревни в момент ее резкого классового размежевания. Речь народа Сейфуллина знала глубоко и тонко. Иногда буквальное воспроизведение ее неправильностей затрудняет чтение. Это дань тому языковому натурализму, который накладывал сильный отпечаток на прозу двадцатых годов. Но за этими излишествами легко видишь другое: главное в живописных диалогах не внешний рисунок, а передача своеобразной психологии говорящего человека.

Поэтому язык героев Сейфуллиной является одним из наиболее сильных источников эстетического наслаждения, которое испытывает читатель от давно знакомой книги.

Современные писатели могут многое почерпнуть в творческом опыте одной из начинательниц советской литературы: ее книги учат глубоко вглядываться в жизнь и правдиво писать ее, видя перед собой большие и светлые идеалы нашей Великой Октябрьской социалистической революции.



В. ГОФФЕНШЕФЕР

★

РЕВОЛЮЦИОННАЯ ДИАЛЕКТИКА ПОЭТИЧЕСКОГО ПРАВОСУДИЯ

В Париже в издательстве «Éditions sociales» вышли первый и второй тома неопубликованной переписки Фридриха Энгельса с Полем и Лаурой Лафарг. Они охватывают период с 1868 по 1890 год. В дальнейшем должен выйти третий том с письмами за 1891—1895 годы.

Эти три тома содержат 573 письма: 233 письма Энгельса, 233 — Поля Лафарга и 107 — Лауры Лафарг. Из 573 писем до сих пор было опубликовано лишь 25. Основу издания составляют материалы семейного архива потомков Маркса — Лонге, переданные последними Французской коммунистической партии. Частично оно дополнено из других источников, в том числе из архива Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС.

Письма публикуются на языке оригинала (переписка между Энгельсом и Лаурой Лафарг велась на английском языке) и сопровождаются французским переводом. Издание предварено большой вступительной статьей Эмиля Боттижели, подготовившего письма к печати и снабдившего их обстоятельными примечаниями.

Публикуя неизданную переписку Энгельса с Лафаргами, издательство «Éditions sociales» вносит ценнейший вклад не только в фонд эпистолярного наследия основоположников марксизма и их сподвижников и учеников, но и в изучение истории рабочего движения последней трети XIX века. В живой оценке теоретиков и руководителей движения, свидетелей и участников событий перед нами встает важнейший исторический период — от Парижской коммуны и борьбы против бакунистов в I Интернационале до первых конгрессов II Интернационала и борьбы

социалистов в буржуазных парламентах в девяностые годы.

Когда читаешь эту переписку, еще и еще раз вспоминаешь слова Ленина о том, что «после смерти Маркса Энгельс один продолжал быть советником и руководителем европейских социалистов... Все они черпали из богатой сокровищницы знаний и опыта старого Энгельса». Фамилярно-шутливый титул «генерал», которым именуют Энгельса близкие к нему люди и которым он сам иногда подписывает свои письма к ним, приобретает особое значение, когда мы читаем письма Энгельса, представляющие собой обзоры международных событий и намечающие в связи с ними стратегию пролетарского революционного движения и тактику социалистических партий Германии, Франции и Англии на каждом конкретном этапе.

Энгельс требовал от Лафарга, как и от других деятелей социализма, не только хорошего знания теории научного социализма, но и чуждого догматизму реального ощущения диалектики жизни. Говоря о тактических ошибках некоторых социалистов, он критикует и сектантскую узость, и оторванный от реальной обстановки «энтузиазм», и попытки нарушить коллективное руководство, и беспринципные или примиренческие позиции в межпартийной борьбе. И при этом чувствуется огромное внимание к людям, доскональное знание достоинств и недостатков деятелей, возмещающих социалистические партии, умение видеть в каждом из них то главное, что дает возможность верить в человека, в его преданность рабочему делу. Публикуемые письма Энгельса содержат целую серию живых характеристик и портретов деятелей немец-

кого, французского и английского социалистического движения (Вильгельм Либкнехт, Бебель, Лафарг, Эвелинг и др.). Для писем Энгельса характерен товарищеский тон подлинного демократа: «генерал» умел не только «распекать» или остроумно высмеивать, но и терпеливо разъяснять, но и извиниться, если оказывалось, что его критика была основана на неправильной информации, но и ободрить борца в минуту растерянности и указать, как нужно и можно действовать.

Само собой разумеется, что переписка особо ярко характеризует взаимоотношения Энгельса и Лафарга. Она конкретно раскрывает нам то, о чем исследователи Лафарга могли лишь догадываться по отдельным, ранее известным письмам и по косвенным свидетельствам: пристальное и повседневное руководство со стороны Энгельса деятельностью Лафарга. Ленин имел все основания сказать о Лафарге: «ученик Энгельса». Энгельс внимательно следит за политической деятельностью Лафарга, развивающейся в очень сложной обстановке классовой и межпартийной борьбы во Франции, и, помогая Лафаргу разобраться в этой обстановке, направляет его. Внимательно следит Энгельс и за публичистическими выступлениями и теоретическими работами Лафарга, появляющимися в печати, радуясь его успехам и откровенно говоря ему об ошибках. В ряде случаев он читает его работы еще в рукописи, и некоторые письма Энгельса к Лафаргу представляют собой рецензии на эти рукописи.

Письма Лафарга чрезвычайно обогащают наше представление об этом борце за научный социализм, в образе и борьбе которого как бы воплощена целая эпоха во французском рабочем движении, эпоха утверждения марксизма во Франции, соединения революционной борьбы пролетариата с теорией научного социализма. Несколько лет назад Морис Торез, высказав сожаление, что наследие Лафарга мало изучено, отметил выдающуюся роль, которую сыграл Лафарг в распространении марксизма во Франции. Письма Лафарга к Энгельсу еще раз подтверждают правильность этой оценки. И нельзя не согласиться с Эмилем Боттжигели, который, публикуя в 1955 году в журнале «Economie et politique» некоторые письма Энгельса и Лафарга, писал, что Лафарг как теоретик и пропагандист марксизма способствовал распространению

последнего среди французов в большей мере, чем Жюль Гед. Эту же мысль высказывает и Лео Фигер в своей рецензии на первый том переписки в «Cahiers du communistisme».

После издания переписки значение политической и теоретической деятельности Лафарга раскрывается перед нами во всей своей глубине, так как мы получаем возможность судить не только о не известных нам до того момента этой деятельности, но и об отношении к ней Энгельса, о высокой оценке, которую один из основоположников марксизма дал многим работам своего ученика.

С большой яркостью предстает перед нами в переписке образ Лауры Лафарг. Для Энгельса она не только дочь Маркса, о которой он после смерти своего друга заботится с отеческой любовью и которой оказывает моральную и материальную поддержку. Она для него — и письма самой Лауры дают тому яркое свидетельство — стоит в ряду активных и талантливых борцов социалистического движения. Энгельс делится с ней своими думами и соображениями о важнейших политических делах и теоретических проблемах. Достаточно сказать, что из 233 писем Энгельса к Лафаргам 141 адресовано Лауре. Лишь частично это можно объяснить обстоятельствами «семейной» переписки или тем, что, когда Лафарг сидел в тюрьме, или скрывался от полиции, или совершал пропагандистские поездки по Франции, Энгельс обращался к Лауре как посреднице.

Для исследователей литературной деятельности основоположников марксизма и близких к ним людей переписка раскрывает малоизвестные до сих пор факты, характеризующие Лауру Лафарг не только как политического деятеля и журналиста, не только как переводчика произведений Маркса и Энгельса, но и как переводчика на английский язык ряда немецких и французских поэтов (Гёте, Гейне, Беранже, Пюье и др.). За перевод «Сенатора» Беранже Энгельс награждает ее русской похвалой: «Молодец!» Для Энгельса «непереносима мысль», что Лаура собирается переводить миннезингера конца XII века Вальтера фон дер Фогельвайде с модернизированного текста, и он посылает ей старонемецкий оригинал. При этом он пишет ей: «Ты совершенно права, при всяком переводе стихов нужно соблюдать

размер и рифму подлинника, или же — как французы — быть последовательным до конца и передавать все прозой»¹.

Круг политических, исторических, экономических, философских проблем, содержащихся в переписке, чрезвычайно широк. Она как бы запечатлевает живой поток событий и вызываемых ими мыслей — от оценки злободневных вопросов политической борьбы до рассуждений Энгельса об отрицательном влиянии торгашеского духа и капиталистического массового производства на качество картинок для детей, игрушек и прикладного искусства и о превращении буржуазного вкуса в безвкусицу.

Несомненно, эта переписка вызовет не только отзывы, но и целые исследования по каждой из затронутых в ней областей.

Здесь хотелось бы пока что ограничиться характеристикой некоторых сторон переписки Энгельса с Лафаргами, относящихся к художественной литературе.

Внимательно следя за политической и литературной деятельностью Лафарга, Энгельс откликается и на его работы в области языка и литературы. Еще в начале восьмидесятых годов он знает об интересе Лафарга к литературе и прессе эпохи Французской революции. Разбирая в 1884 году библиотеку Маркса, он посылает Лафаргу ряд книг, подчеркивая, что среди них имеются труды по интересующей Лафарга эпохе. Когда в печати появляется работа последнего о языке и революции (а появилась она, как оказывается, под псевдонимом за восемь лет до того, как это принято было считать), Энгельс немедленно откликается на нее письмом, в котором вместе с положительной оценкой содержалась, по словам Лафарга, и «остроумная критика» некоторых «этимологических отступлений». К сожалению, этого письма Энгельса в переписке нет, и нам приходится судить о нем лишь по ответу Лафарга, в котором он в свое оправдание характеризует состояние лингвистики того времени. С одобрением отзывается Энгельс о памфлете Лафарга «Легенда о Викторе Гюго», и переписка позволяет восстановить политическую обстановку, обусловившую односто-

ронную «пристрастность» этого памфлета¹. Мы находим в переписке и свидетельство одобрительного отзыва Энгельса о статье Лафарга по поводу романа Додэ «Сафо». Переписка несколько расширяет наше представление о том интересе — и положительном и племяническом, — который был проявлен Энгельсом и Лафаргом к Золя и натурализму. Еще до написания статьи о «Деньгах» Золя Лафарг передает через Энгельса Каутскому свое предложение написать для «Neue Zeit» статью о «Жерминале» (а к стати, и о «Милом друге» Мопассана, характеризуя этот роман как «замечательное» произведение). Еще до написания уже известного нам письма к М. Гаржнесс, из которого мы впервые узнали об отношении Энгельса к методу Золя, Энгельс в одном из писем к Лауре Лафарг отмежевывает этот метод от «материалистического понимания истории».

Все это — и брошенные мимоходом замечания о писателях и оценки, данные Энгельсом статьям Лафарга, оценки, в которых косвенно отражается и отношение самого Энгельса к тем или иным литературным явлениям, — лишь разрозненные крупинки, ценность которых для нас может быть осознана только при восприятии их в широкой связи с известными нам взглядами и высказываниями Энгельса. И только в такой связи мы можем оценить большее значение имеющегося в одном из писем и не известного нам до этого эстетического суждения Энгельса.

Оно, это суждение, тоже возникло мимоходом — в связи с разговором о литературной деятельности Лафарга, в которой обнаруживаются многие не известные нам стороны и факты. Оказывается, Лафарг писал пьесы и собирался писать (а может быть, и написал) театральные обзоры. Оказы-

¹ Friedrich Engels. Paul et Laura Lafargue. Correspondance. 1956. «Éditions sociales». Par 3, t. II, p. 373.

¹ К сожалению, в обстоятельные примечания Эмиля Воттижели вкралась досадная неточность. Выход брошюры Лафарга о Гюго датируется где-то годом ее написания — 1835 годом. Между тем, как было доказано автором этих строк, памфлет о Гюго не был напечатан во Франции до журнальной публикации 1891 года, а отдельной брошюрой (без даты выпуска) появился лишь в 1902 году. Неточность указанной датировки подтверждается ныне и письмом Энгельса, который, прочитав немецкую публикацию памфлета в 1838 году в «Neue Zeit» и заметив, что он «очень хорош», добавляет: «Интересно, что сказали бы о нем во Франции, если бы там имели возможность его прочитать» (II, 127).

вается, что в 1883—1884 годах он писал роман, отдавая этой работе много времени. О судьбе и характере этого романа мы пока ничего не знаем. Но чрезвычайно интересен отклик Энгельса на письмо Лауры, где она сообщает о работе Лафарга над романом.

Похвалив только что появившуюся в печати статью Лафарга «Социализм и дарвинизм» и высказав надежду, что скоро появится и роман Лафарга, который он «страстно хочет увидеть», Энгельс шутливо восклицает: «Поль в шлепанцах Бальзака, это чудесно!» А затем добавляет:

«Кстати, когда я (во время болезни. — В. Г.) лежал в постели, я почти ничего не читал, кроме Бальзака, и получал огромное наслаждение от великого старика. Вот где история Франции с 1815 по 1848 год — куда лучше, чем у всех Волябеллей, Капфигов, Луи Бланов и *tutti quanti*. А какая смелость! Какая революционная диалектика в его поэтическом правосудии!» (I, 1953. Письмо к Лауре Лафарг от 13 декабря 1883 года. Последние две фразы подчеркнуты мною. — В. Г.).

Обидно будет, если любители цитат подхватят эти слова и равнодушно зарегистрируют их как «еще одно высказывание» Энгельса о Бальзаке.

«Поэтическое правосудие»... Энгельс употребил выражение (*poetical justice*), вошедшее в английский и другие языки из поэтики классицизма (через несколько лет он употребил это выражение и в письме к Минне Каутской). Оно обозначало ту идеальную справедливость, которой определяется судьба героев, карается злодеяние и награждается добродетель. Сказав: диалектика поэтического правосудия, Энгельс сразу же изъясил это выражение из монополии нормативной эстетики и наполнил его новым содержанием. Речь идет о непреложности судьбы героя, диктуемой не абстрактным нравственным идеалом, а объективным развитием событий, воспроизводящих противоречия самой действительности. Сказав: революционная диалектика поэтического правосудия, Энгельс определил объективную направленность и этого развития и художнического изображения мира, раскрывающего в настоящем будущее.

Слова, сказанные Энгельсом о Бальзаке в конце 1883 года в письме к Лауре Лафарг, перекликаются с характеристикой,

данной им автору «Человеческой комедии» в ныне широко известном письме 1888 года к М. Гаркнесс. Более того, эти слова можно рассматривать, как основное положение и квинтэссенцию той характеристики Бальзака, которую мы знаем по письму к английской писательнице.

Вспомним, что разговор о Бальзаке возник в этом письме в связи с разговором о реализме, о «реалистической правде», о «мужестве настоящего художника». И вот как в конечном итоге раскрывается конкретное содержание слов Энгельса о революционной диалектике поэтического правосудия у Бальзака: «Я считаю одной из величайших побед реализма, одной из наиболее ценных черт старика Бальзака то, что он принужден был идти против своих собственных классовых симпатий и политических предубеждений, то, что он видел неизбежность падения своих любимых аристократов и описывал их как людей, не заслуживающих лучшей участи, и то, что он видел настоящих людей будущего там, где их единственно и можно было найти». Эти «люди будущего» — республиканцы, которые, как говорит Энгельс, «в то время (1830—1836) действительно были представителями народных масс».

Известно, что «революционную диалектику» в творчестве Бальзака высоко ценил и Маркс. Как свидетельствует в своих воспоминаниях Лафарг, «по мнению великого экономиста, Бальзак был не только бытописателем своего времени, но также творцом тех прообразов-типов, которые при Людовике-Филиппе находились еще в зародышевом состоянии, а достигли развития уже впоследствии при Наполеоне III».

К сожалению, споры, возникшие в тридцатых годах вокруг положений, высказанных Энгельсом в письме к М. Гаркнесс, сосредоточились по преимуществу на словах о том, что в своем правдивом раскрытии действительности Бальзак «принужден был идти против своих собственных классовых симпатий и политических предубеждений». Возникли даже течения «вопрекистов» и «благодаристов». Основное — вопрос о характере реализма — было отодвинуто на задний план спорами о случаях противоречивого проявления этого реализма. Между тем опубликованное ныне письмо Энгельса к Лауре Лафарг дает возможность установить, что в действительности Бальзака Энгельса интересовало в первую очередь не то

обстоятельство, что Бальзак шел против своих политических взглядов, а сущность реализма, который вел писателя к этому подвигу, к «смелости», — революционная диалектика поэтического правосудия.

Слова Энгельса о Бальзаке, его восхищенные характером и глубиной реализма этого писателя имели актуальное значение. Здесь выдвигался не только общий вопрос эстетики реализма, вопрос об изображении действительности в ее революционном развитии, но и конкретная проблема, связанная с новым этапом в развитии классового общества, с самоуничтожением капиталистического строя, несущего в себе предпосылки социалистического общества. На этом новом этапе «людьми будущего» стали пролетарии. Как известно, в письме к Гаркнесс Энгельс обратился к примеру Бальзака в связи с вопросом об изображении рабочего класса в литературе. Он говорил о том, что реалистическая правдивость этого изображения немислима без показа революционного отпора, который рабочий класс дает своим угнетателям. Для Энгельса это являлось узловым вопросом современного реализма. И вопрос этот возник для него задолго до восьмидесятых годов. Достаточно вспомнить его выступления конца сороковых годов о поэзии «истинных социалистов», которая воспевала «трусливое мещанское убожество, «бедняка», ...«маленького человека» во всех его видах, но не гордого, грозного и революционного пролетария» (подчеркнуто мною. — В. Г.). Достаточно вспомнить известные строки из его «Положения рабочего класса в Англии», где, рисуя ужасающую материальную и духовную нищету, в которую вверх капитализм массы пролетариата, Энгельс видит в протесте и в борьбе против этого положения единственную арену проявления человеческих чувств для рабочего. «...Именно в этом протесте рабочий должен обнаружить свои самые привлекательные, самые благородные, самые человеческие черты».

Уже в заметках о поэзии «истинных социалистов» Энгельс, не употребляя термина «реализм», связывает, однако, вопрос об изображении рабочего класса с проблемой реалистического обобщения и художественного мастерства, раскрывающего историческую действительность в ее движении. «...Полная несостоятельность к повествованию и изображению... характерна для поэзии «истинного социализма». «Истинный социализм»

в своей неопределенности делает невозможным установление связи между отдельными фактами, о которых нужно рассказать, и общими условиями, чтобы таким образом выявить в этих фактах все, что в них есть яркого и значительного. Поэтому «истинные социалисты» и в своей прозе избегают касаться истории. Там, где они не могут уклониться от нее, они довольствуются либо философской конструкцией, либо сухо и скучно регистрируют отдельные несчастные случаи и *социальные явления*. И всем им, как прозаикам, так и поэтам, не хватает необходимого для рассказчика таланта, что связано с неопределенностью всего их мировоззрения» (подчеркнуто мною. — В. Г.).

И через сорок лет — в 1888 году — «человек, который около 50 лет имел честь участвовать в борьбе воинствующего пролетариата», снова возвращается к вопросу об изображении рабочего класса, прямо говоря на сей раз о проблеме художественного реализма. «Недостаточная реалистичность» произведения Гаркнесс заключается, по мнению Энгельса, в том, что в нем «рабочий класс фигурирует как пассивная масса», что «все попытки вырвать ее из тупой нищеты исходят извне, сверху». И дальше Энгельс заявляет: «Революционный отпор рабочего класса угнетающей его среде, его судорожные попытки, полусознательные или сознательные, добиться своих человеческих прав вписаны в историю и должны поэтому занять свое место в области реализма» (подчеркнуто мною. — В. Г.).

Проблема изображения рабочего класса не была частным вопросом, касающимся хотя и важной, но изолированной темы. Речь шла об изображении класса, ставшего решающей силой исторического развития и призванного переделать мир. Революционная диалектика поэтического правосудия ныне непреложно должна была проявляться в раскрытии живых черт класса, жизнь и борьба которого определяла будущее всего человечества, а гонимая шире, в раскрытии неотвратимого движения человеческого общества к социализму.

Понимание этого объективно-исторического процесса и значения революционной борьбы пролетариата становилось решающим условием подлинно реалистического социального романа. И характерно, что

именно в связи с этим процессом и с этой борьбой строится основной комплекс эстетических вопросов, выдвинутых основоположниками марксизма и их близкими последователями: проблемы раскрытия действительности в ее противоречиях и ведущих тенденциях, проблема художественного обобщения и типизации, вопрос о «тенденциозности» произведения и т. д.

И именно вокруг изображения живых носителей исторического будущего — представителей класса, призванного самим объективным ходом истории преобразовать мир на социалистических началах, — развертывались бои марксистской критики за принципы реализма. Если в середине века основоположник марксизма подвергали критике распылчато-филантропические произведения «кисляного социализма», связывая эту критику с критикой утопического социализма, то в последней четверти века марксистская критика ведет борьбу против натуралистических и декадентских тенденций в изображении рабочего класса.

Пролетариат стал объектом пристального внимания художников буржуазного общества как раз в ту пору, когда идеология и искусство буржуазии начали проявлять признаки упадка. Противоречия, присущие творчеству ряда крупных европейских писателей второй половины XIX века, выражались в том, что гуманистическая и демократическая устремленность сочеталась у них с ограниченными регрессивными мировоззрением и методом. Трудящиеся, люди восходящего класса, перед которым раскрывались оптимистические и героические перспективы, стали объектом изображения нисходящего искусства, показывающего человека в его бесперспективном, жалком и полуживотном существовании. Это перекрещение двух исторических тенденций, которое отнюдь не было исторически случайным, растянулось на многие десятилетия и наблюдается в капиталистических странах и до сих пор.

И этот процесс был отмечен рядом критиков-марксистов, близких к Энгельсу (Поль Лафарг, Эдуард Эвелинг, Шарль Бонье) еще в восьмидесятые — девяностые годы. Они выступили против натуралистического и декадентского принижения человека вообще и человека труда в особенности. Они выступили против бесперспективного одностороннего изображения, лишаящего пролетария надежд, борьбы, будущего — всего того, что характеризовало

существенную черту современной исторической действительности, определяющую не только будущее рабочего класса, но и будущее всего человечества.

И если Энгельс и близкие к нему критики, говоря об изображении современности, обращались к примеру Бальзака, то речь шла не о канонизации, не о призыве подражать стилю этого писателя — речь шла о методе познания и изображения мира, о глубине проникновения писателя в противоречия и тенденции развития общества, о революционной диалектике поэтического правосудия. То, что проявлялось у Бальзака — и проявляется у некоторых писателей и в наше время — стихийно и в противоречии с их политическими взглядами, должно было стать для писателей-социалистов сознательно применяемым художественным методом, основанным на передовом, подлинно научном и объективном познании мира и социальных противоречий. То, что стихийно пробивалось сквозь субъективные иллюзии и было ими ограничено, должно было получить неограниченную силу, опираясь на передовое мировоззрение.

Как известно, эстетические принципы, выдвинутые основоположниками марксизма и обогащенные художественной практикой дореволюционного и послереволюционного развития социалистической литературы, легли в основу определения социалистического реализма, имеющегося в Уставе Союза советских писателей. «Социалистический реализм, — говорится здесь, — требует от писателя правдивого изображения действительности в ее революционном развитии...» Это требование уходит своими глубокими корнями в столетнее историческое прошлое, в историю революционной борьбы рабочего класса, в историю возникновения и развития теории научного социализма. В своих начальных проявлениях оно приходится ровесником «Манифесту Коммунистической партии».

Между тем вульгарные «ниспровергатели» социалистического реализма наивно предполагают или хотят уверить нас, что метод социалистического реализма — это некий нормативно-эстетический лозунг, возникший в начале тридцатых годов XX столетия. Можно было бы не обращать особого внимания на такого рода невежественную возню вокруг социалистического реализма, если бы она не сбивала с толку некоторых людей, мало осведомленных в истории марксистско-ленинской эстетики, если бы

эта возня не задевала самых основ нашего мировоззрения, возрождая, увы, не новые и давно потерявшие крах попытки дискредитировать марксизм вообще.

Сущность социалистического реализма и борьбы за него не может быть правильно понята вне общих основных проблем марксизма-ленинизма. Напомним общеизвестную истину: в отличие от предшествующих социальных учений, руководствовавшихся нормативными социально-этическими идеалами будущего общества, марксизм основывается не на абстрактных идеалах Свободы, Справедливости, Добра и т. д., а на изучении тенденций объективного развития самой действительности. Маркс и Энгельс научно доказали, что социализм — это не отвлеченный идеал, что движение к социализму заложено в объективном развитии истории, в противоречиях капиталистического общества.

И характерно, что с первых же десятилетий распространения марксизма буржуазные ученые, вынужденные считаться с возрастающей силой и популярностью научного социализма, пытались (преднамеренно или по невежеству) пройти мимо этого основного отличия марксизма от предшествовавших ему философских, экономических и социальных учений. Опубликованная ныне переписка Энгельса с Лафаргами содержит интересный эпизод, касающийся одной из таких попыток.

В 1884 году с критикой «коллективизма», «нового социализма» выступил маститый французский ученый-экономист Леруа-Болье. В своей объемистой книге он пытается «беспристрастно» разобраться в Марксовой теории прибавочной стоимости и столь же «беспристрастно» доказать, что экономические теории Маркса построены на софизмах и имеют лишь видимость науки. Буржуазный ученый пытался изобразить теорию прибавочной стоимости, научно доказывающую эксплуататорскую сущность буржуазии, как пропагандистскую выдумку Маркса, продиктованную его ненавистью к капиталистическому строю. В то же время Леруа-Болье утверждает, что Маркс, столь острый и беспощадный в критике существующего экономического строя, «не формулирует ex professo социальной системы, которую можно и должно было бы его заменить», что «Маркс отрицает», «но его воображение оказывается бессильным, когда он подходит к построению нового мира».

Лафарг написал статью о книге Леруа-Болье, в которой доказал и невежество профессора в критике экономических категорий «Капитала» и непонимание буржуазным ученым того факта, что сила Маркса именно в том и состоит, что он не выдумывает подобно социалистам-утогистам «новые миры», а раскрывает в самой капиталистической действительности реальные противоречия, ведущие к созданию нового строя.

Написав статью, Лафарг послал рукопись Энгельсу. В опубликованной ныне переписке имеется большое письмо Энгельса с замечаниями по поводу рукописи Лафарга. Это ценнейший документ для исследователей политической экономии, так как Энгельс, исправляя формулировки Лафарга в полемике последнего с Леруа-Болье, уточняет ряд определений и категорий, предостерегает от механического перенесения законов, относящихся к капитализму, в феодальную формацию, и т. д. В особенности Энгельс предостерегает Лафарга от опасности оказаться в полемике с вульгарными экономистами на вульгарных же позициях.

Не касаясь специальных экономических вопросов, находящихся в центре письма, я хочу остановиться лишь на одном месте, имеющем общеметодологическое значение.

Как уже было сказано, Леруа-Болье видел недостаток Маркса в том, что он не формулировал заранее своего идеала социальной системы. Ибо, по мнению буржуазного ученого, «социальная теория должна исходить из трех идей: идеи справедливости, идеи пользы и идеи индивидуальной свободы». Судя по письму Энгельса и контексту уже исправленной Лафаргом статьи, Лафарг в пылу полемики, незаметно для себя и вопреки всему, что было им сказано о научном социализме, стал на позицию противника и, опровергая его, бросил фразу о том, что Маркс тоже подчинил свои экономические исследования определенному идеалу. Таким образом, эта фраза акцентировала не различие в методах, а лишь различие в идеалах, которым подчинены теоретические исследования, и ставила марксизм в один ряд с метафизическими догматическими учениями.

И Энгельс обратил внимание Лафарга на ошибочность этой фразы. По его мнению, Маркс запротестовал бы против утверждения Лафарга о том, что в экономическом анализе буржуазного общества он, Маркс,

исходил из априорного экономического, политического и социального идеала. Ибо там, где ученый подходит к объекту исследования с заранее сформулированными выводами, нет науки. Энгельс говорит о том, что человек науки «вырабатывает результаты, а когда он к тому же еще и партийный человек, то он борется за то, чтобы на практике использовать эти результаты» (I, 235).

Эти слова Энгельса отчасти предвосхищают известные слова Ленина о последовательной объективности ученого-материалиста при анализе фактов и о его классовой позиции, его партийности при их оценке. Ленин был непримирим ко всякого рода попыткам подбирать и подгонять факты под желаемые результаты, как бы ни соответствовали эти результаты идеалам, за которые борются коммунисты.

Вряд ли нужно доказывать, что марксизм имеет свои идеалы и борется за них. Фраза Лафарга о подчинении Марксом экономического исследования требованиям заранее выдвинутого «политического и социального идеала» вызвала протест со стороны Энгельса потому, что она противоречила сущности научного социализма, идеал которого возник как непреложный в год из объективного диалектико-материалистического анализа развития капиталистического строя, уже несущего в своих недрах свою противоположность — строй социалистический. И брошенная в пылу полемики фраза Лафарга могла бы дать козырь в руки противников марксизма, утверждавших, что теория Маркса «не научна», что она приспособлена к предвзятой метафизической догме.

Насколько важное значение Энгельс придавал этому вопросу, видно из конца письма. «Я поговорил с вами откровенно, — пишет здесь Энгельс, — и надеюсь, что вы не будете в обиде. Дело слишком серьезное. Если вы допустили бы оплошность, то от этого пострадала бы вся партия» (I, 235).

Лафарг внес рекомендованные Энгельсом исправления, ибо они соответствовали духу всей его статьи, где превозмодно сказано о том, как изученная Марксом капиталистическая действительность дала «возможность провидеть свое конечное преобразование».

Каждый, кто знаком с воззрениями Энгельса в области эстетики, увидит сходство между тем, что говорится в этом письме о «человеке науки», и теми требованиями,

которые Энгельс предъявлял к «человеку искусства». Достаточно вспомнить то, что стоит за его словами о революционной диалектике поэтического правосудия. Достаточно вспомнить известные слова Энгельса о тенденциозности в искусстве и о том, что тенденция должна сама по себе вытекать из положения и действия, из правдивого изображения реальных отношений.

Попытка изобразить теорию социалистического реализма как нормативную догму, предписывающую художнику игнорировать действительность во имя идеала, находится в том же ряду попыток дискредитировать марксизм, с которыми последователям научного социализма уже неоднократно приходилось сталкиваться.

Предостерегая Лафарга от ошибочной фразы, Энгельс учитывал повадку буржуазных «критиков» марксизма хвататься за любую вульгаризацию марксистских принципов, чтобы, выдавая вульгаризацию за самые принципы, доказывать их несостоятельность.

К такому же приему прибегают и нынешние «ниспровергатели» социалистического реализма.

Против вульгаризаторов социалистического реализма боролось и продолжает бороться советское литературоведение. Но одно дело — бороться прогив вульгаризации метода во имя утверждения этого метода, другое — выдавать извращения метода за самый метод во имя его отрицания, как это делают некоторые «ниспровергатели» социалистического реализма.

Мы говорим здесь не о «печальниках» из лагеря империалистов, которые в капиталистической прессе и радиопередачах с некоторых пор начали проявлять изумительную «заботу» о чистоте и процветании коммунистической идеологии и культуры и всячески хотят помочь нам «освободиться» от социалистического реализма. Цена этой заботы, цена политическая, а подчас имеющая и вполне прозаическое денежное выражение, нам известна.

Но вот в пресловутой статье польского литератора Яна Котга «Мифология и правда», автор которой претендует на искреннюю заинтересованность в процветании искусства социалистического общества и сетует на отступления от диалектического материализма, вы читаете, что корень всех зол — «признание социалистического реализма, поскольку он опирается

на марксистскую эстетику, лучшим художественным методом». По его мнению, «эстетика социалистического реализма и выбор образцов XIX века были ложными». Таким образом, ложным объявлено не вульгаризаторское извращение эстетики социалистического реализма, ложной объявлена сама эта эстетика.

После этого воистину традиционного избитого критического хода мы могли бы усомниться в искренности сокрушений по поводу отступления от марксизма, которыми наполнена статья, если бы ее автор не обнаружил самого элементарного незнания предмета, о котором пишет. Так писать о социалистическом реализме может лишь человек, имеющий весьма смутное представление о сущности, исторических и теоретических корнях этого метода, о которых мы уже говорили, и в конечном счете — о марксизме в целом.

«Отменить» социалистический реализм нельзя, как нельзя «отменить» социализм. Можно или, закрыв глаза на объективную историческую закономерность возникновения, существования и прогрессивной роли метода социалистического реализма, бесплодно заниматься его «ниспровержением», или же, признавая эту закономерность, действовать многообразному по своим формам проявлению и развитию этого метода в искусстве, как последователи теории научного социализма сознательно и активно содействуют объективному историческому процессу в его движении к социализму и коммунизму.

А содействовать развитию и расцвету социалистического реализма — и в художественной практике и в эстетике — можно, лишь следуя тому смелому и мужественному реалистическому принципу, который

Энгельс назвал революционной диалектикой поэтического правосудия.

Материалы, имеющиеся в переписке Энгельса с Полем и Лаурой Лафарг, с новой силой и остротой ставят перед нами кардинальные вопросы марксистско-ленинской эстетики. Но ошибочно было бы воспринимать эти материалы лишь как счастливо обнаруженный боевой резерв, который может помочь нам в сегодняшней идеологической борьбе. Они с новой силой напоминают нам и о существенном пробеле в нашем искусствознании и литературоведении.

У нас до сих пор еще мало изучено эстетическое и литературно-критическое наследие основоположников марксизма и их ближайших и виднейших последовательей. Между тем разработка теории марксистско-ленинской эстетики невозможна без изучения ее истории.

Нам необходимо создать систематическую и глубоко разработанную историю марксистско-ленинской эстетики и критики, историю, в которой основные категории и проблемы нашей эстетики будут осознаны в их конкретном историческом возникновении и развитии, в их конкретном историческом содержании и значении.

Только при таком условии мы сможем выявить и понять все богатство, накопленное в области социалистической эстетики более чем за сто лет, и правильно и эффективно использовать это богатство в сегодняшней борьбе. Только при таком условии мы избавим себя от бесплодных усилий открывать давным-давно открытое. И только при таком условии мы ясно увидим и сможем разрешить те подлинно новые задачи, которые новая историческая действительность ставит перед марксистско-ленинской эстетикой в период строительства коммунизма.



ВЛ. ПИМЕНОВ

★

РАЗГОВОР О ДРАМАТУРГИИ

(Заметки консультанта)

Может быть, ни об одном жанре искусства не сказано за последнее время столько разноречивого — верного и несправедливого, важного и несущественного, — сколько сказано о драматургии. Удивить это может только тех, кто не любит театр. А таких людей, очевидно, не так уж много.

Работаю я в аппарате Союза писателей. По должности мне положено заниматься вопросами драматургии, и я не только читаю пьесы, обсуждаю замыслы и спектакли, но и разговариваю с людьми, которые приходят в Союз писателей иногда и без пьесы — просто, чтобы встретиться с товарищами, поделиться мыслями, рассказать о своих исканиях.

Те, кто думает, что драматурги не переживают горечи от неудач, нередко постигающих многие наши спектакли и пьесы, что они спокойно смотрят на то, как изо дня в день не сходит со страниц газет и журналов один и тот же заголовок: «Преодолеть отставание драматургии!», — глубоко заблуждаются.

Труд драматурга — сложный и не всегда благодарный. Конечно, не всякий драматург посвящает себя театру целиком. Не для всякого писателя пьеса — главное дело жизни. Бывает, что даже две-три пьесы не делают автора профессиональным драматургом. Бывают и случайности, бывают и легкие успехи, за которыми наступает безвестность. Бывают и поверхностные скороспелки, спекуляции на злободневных темах и переходящих кампаниях. Для многих театр — случайный спутник.

Но если писатель знает и любит театр, если он чувствует, что может выразить себя, свои волнения и мысли, свой опыт только в пьесе, только на сцене, такой писатель ни-

когда не уйдет из театра, потому что без театра он как писатель погибнет или в лучшем случае потеряет какую-то часть себя. Если же пьеса рождена мыслью не о театре, а о выгодах, связанных с театром, то этот брак по расчету вряд ли будет сердечным и прочным.

Без любви к театру не надо браться за драматургию. Театр — соавтор драматурга. Он так же отвечает за жизнь пьесы, как и драматург. Без театра у пьесы не будет полной жизни. Без театра пьеса — это сирота, детище с одним родителем.

Иногда задумашься, почему иной автор пишет именно пьесу, а не стихи и не прозу. Не так давно один из драматургов, новые пьесы которого уже много лет не появляются на сцене, сказал: «Довольно! Новые пьесы никому не нужны. Театры не интересуются ими. Пишу прозу». Но нет. Тот, кто честно, по призванию, взялся за драму, не уйдет навсегда в прозу, в поэзию, как бы трудна ни была дружба с театром, со зрителем. Бросив на полстранице неоконченный роман, недописанный стих, он снова возьмется за диалог, за драматическое столкновение, за драматургическое воплощение судеб своих современников.

Когда был резко и справедливо раскритикован спектакль Центрального детского театра «Мы втроем поехали на целину», Погодин обратился в театр с просьбой временно снять спектакль. Он тяжело переживал критику. «Думаю о том, что случилось», — говорил он. — Я писал правду, я это видел, я знаю этих людей. А выходит, что я что-то сказал не то, вырвал своих героев из общего движения жизни... Больше писать пьес не буду. Одни неприятности. Я не умею писать «благополучных» пьес». Но уже через несколько

минут он снова заговорил о драматургии и рассказал замысел своей новой пьесы. Не прошло и полугода, как Театр имени Маяковского получил от Погодина «Сонет Петрарки». Правда, это была совсем не та пьеса, о которой он говорил. Но это значит, что будет и еще одна пьеса, замысел которой зреет.

Вот это и есть призвание, это и есть профессиональная драматургия. И что бы то ни было, снова и снова будет приносить Погодин в папке новую рукопись или о судьбах ученых, или о первых чекистах, или о тружениках целины. Никогда о мелочах и всегда о главном.

О новой пьесе Розова «Вечно живые» критика пишет сдержанно. После пьесы «В добрый час!» это не шаг вперед. Ну так что же? Разве у автора все пьесы одинакового достоинства? И у Островского есть «Гроза», но есть и «Красавец мужчина» — пьесы разные.

Розов работает профессионально. У него есть свой герой, он ведет его из пьесы в пьесу. Это молодой человек нашего времени, входящий в новую жизнь.

Тесными узами творческой дружбы связан Розов с Детским театром. На его сцене состоялись премьеры трех розовских пьес. «Детский театр — это мой дом, мой театр», — говорит драматург.

Сейчас Розов увлечен идеей создания нового театра-студии. Он будет писать для него пьесу.

На Розова его театр может надеяться.

Только постоянная, именно профессиональная работа писателя и позволяет ему иметь «свой театр», крепкие дружеские связи с его коллективом.

Драматург же, для которого театр существует как близкое учреждение, ставящее пьесы, а не как близкий ему творческий дом, никогда не станет профессиональным драматургом.

Драматурга сближает с театром не только общая творческая манера, но и взаимное уважение в творчестве. Вот почему, например, можно по-разному относиться к произведениям Салынского, но о нем всегда можно сказать, что писатель думал только об одном — «на творческий труд театра я должен положить свой творческий труд».

«Когда я вхожу в театр, — сказал как-то Салынский, — мне хочется еще раз заглянуть в себя, проверить весомость своего духовного багажа. Мне кажется, что я

слишком еще не подготовлен для равной роли с театром. И театр поднимает меня на труд, я бы сказал — на подвиг. Мне всегда кажется, что в театре знают больше меня, и я стараюсь сделать все, чтобы принести им какие-то свои новые знания о жизни и советском человеке-творце».

А говорят, что сегодня драматурги и театры — это не дружественные стороны. Неправда это. Там, где есть настоящие творческие отношения, — там и дружба, а где расчет и конъюнктура, ремесло и апломб, — там, конечно, дружбы нет.

Говорят, что слабость наших пьес — в художественном несовершенстве, а с идейностью дело обстоит, в общем, благополучно. Это спокойствие за идейность идет от поверхностного понимания ее. Можно написать «правильную» пьесу о жизни колхозников, о целинниках, о бюрократизме, о борьбе в науке, и, тем не менее, это не будет идейная пьеса.

Если эмпирически передавать в пьесе факты, но не раскрывать существа их, если обозначать в ней актуальные темы, но не говорить своего слова о жизни, не охватывать эти идеи и факты общей идейной концепцией, своим авторским видением жизни, произведение не будет идейным, так как актуальная тема вовсе не тождественна идее произведения. И, во-вторых, если профессиональное мастерство писателя несовершенно, его произведения не могут быть глубоко идейны. Недостатки мастерства неизбежно скажутся на идейных просчетах, на мировоззренческой слабости пьесы.

Жизнь литературы, непрерывно развиваясь, все время меняет расстановку творческих сил, вводит новые лица. Было время, когда к старшему поколению драматургов — Треневу и А. Толстому, Ромашову и Билль-Белоцерковскому, Лавреневу и Глебову, Вс. Иванову и Булгакову, Шаповаленко и Кочерге — присоединилось новое поколение: Погодин, Корнейчук, Крапива, Рахманов, Вишневский, Афиногенов, Гусев, Крон, Симонов, Арбузов, Шейнин и Туры, пришли Штейн, Симуков, Софронов, Мдивани, Дмитриерко, Малюгин, Михалков, Соловьев, а за ними Собко, Розов, Винников, Зорин, Салынский, Лаврентьев, Макаёнок, Алешин, Девятков, а вслед — Курочкин, Володин, Зак и Кузнецов, Шатров. Так безостановочно идет пополнение драматургин. И вряд ли так уж важно, кто из них «старший», кто «средний», а кто принадлежит к младшему поколению. Важно другое — какова творче-

ская активность писателя, что у него в душе, о чем он хочет сказать и как он это делает. Не забывая заслуг прошлого, не следует так уж часто отвлекаться на их подсчеты.

Ведь сказать по правде, многие драматурги сами бывают виноваты в том, что театры к ним остыли.

Во всяком деле должна быть ответственность, тем более в творческом. Не просто надо чувствовать, что ты, именно ты, отвечаешь за что-то, а чувствовать, что ты выполнил свою задачу во всю силу своего таланта, что лучше ты выполнить не мог, что ты можешь только так, а не иначе. Вот этого, мне кажется, многим нашим драматургам еще не хватает.

У нас любят говорить о величии мастеров прошлого. Что ж, это верно. Но ведь и наши мастера не только ученики.

Думается, что величие Шепкина и Садовского, Мартынова и Ермоловой, Островского и Чехова никак не заслоняет Хмелева и Москвина, Щукина и Бучму, Грибова и Остужева, Астангова и Бабанову, Корнейчука и Лавренева, Вс. Вишневского и Тренева. Это новые вершины, у которых своя высота и свой силуэт. А сколько вершин еще не взято! Будем ли мы только повторять восхождение предшественников?..

Новое завоевывают не сетованиями на трудности, но борьбой с ними, не жалобами на то, что мешала теория бесконфликтности, но преодолением всех помех в своем собственном творчестве, не оглядкой на кого-то, написавшего еще худшую пьесу, но полной отдачей всех сил разума и сердца тому, чтобы твоя пьеса была нужна народу.

...В комнате секции московских драматургов идет оживленная беседа. Один из драматургов жалуется. «Все не ясно. Как надо писать, о чем писать?..» И тут же дает понять, что ему мешают последствия культа личности, рецидивы «бесконфликтности», хотя разговоров об острых конфликтах этот драматург никогда и не вел.

...Это было семь-восемь месяцев тому назад. Один драматург думал, размышлял, работал и написал пьесу о... Париже!!

Что ж? Может быть, и это своеобразное вторжение в жизнь? Но что помешало ему написать пьесу о советской жизни? Ведь он хотел писать именно о ней? И писал когда-то!..

И вот еще на какие размышления наводят беседы с драматургами. Можно напи-

сать смелую, острую пьесу, но так долго мучиться этой своей смелостью, так долго оглядываться по сторонам, что сама пьеса невольно потускнеет и смелость ее окажется чисто внешней, данью моде.

Смелость несомнима с робостью. Казалось бы, это неспоримо. Но бывают случаи, когда появляется произведение смелое, а писатель робеет: «Что-то скажут?» В этой робости виновата отчасти наша критика. Она не жалела эпитетов, которые затем годами следовали за автором, отнюдь не украшая его творческий путь.

После того как «Театр» напечатал «Раки» Михалкова, в Союзе писателей было проведено обсуждение пьесы. Пьесу сильно раскритиковали. Михалков, естественно, был расстроен.

Но вот и «Раки» были поставлены, и Михалков невредим, а новой комедии нет, все еще «копится» смелость.

Вовсе не всякий диалог, в котором ведутся прения на актуальные темы, называется пьесой. А ведь так зачастую бывает. И как трудно доказать, что пьеса не пьеса, когда в ней все «правильно» и в то же время все ложь, потому что нет мастерства, нет большой и важной идеи.

Однажды в Союз писателей пришел драматург Т. Он принес пьесу и просил ее прочитать.

— Вещь, я скажу прямо, на важную тему,— сообщил он.— Написана по живым наблюдениям. Это о людях Западной Германии. Я там жил, все это знаю хорошо. Пьеса неплохая. Она уже сделана, тут все учтено, вообще-то я считаю ее законченной.

Прочитали. Обыкновенная иллюстрация, которых приходится читать множество. Семья, где одни — за режим Аденауэра, а другие — за демократическую республику. Вещь действительно «сделана», но кому она может доставить радость?

Автор приходит за ответом:

— Ну как?

— Да так. Та же схема. Ведь у вас не люди, а функции.

— Ну вот, вы не заметили нового. У меня авантюрист назначается министром в тот момент, когда он грабит одного богатого капиталиста. Он грабит, а его в это время назначают министром.

— Да, довольно неожиданно и оригинально, но непонятно, почему за стеной, в другой комнате, в течение двух часов спокойно сидит ограбляемый.

— А он мне в этот момент не нужен на сцене,— быстро нашелся драматург. Помолчав немного, Т. сказал грустно: — А афоризмы, которые рассыпаны по всей пьесе, вы так и не заметили?

— Заметили. Но ведь они рассыпаны без смысла и не нужны для характеристики героев. Герои плоски и прямолинейны.

Такое холодное «составление» пьес иногда захватывает и молодых драматургов, и они, только что начав, уже успели забыть, что драма должна волновать эмоциями, что она вовсе не механическая иллюстрация тех или иных положений.

В день опубликования постановления ЦК КПСС о животноводстве один из наших известных драматургов сообщил, что у него уже три года лежит пьеса «как раз об этом, как в воду глядел... Ну, как будто бы знал, абсолютное совпадение, та же проблема. Прошу поддержать пьесу, теперь-то она уж абсолютно актуальна».

— Но ведь ваша пьеса слаба, иллюстративна. Проблема есть, а людей нет.

— Ну, не знаю. Мне кажется, что мы должны идти в ногу с современностью и помогать в осуществлении хозяйственных проблем. Это — главное.

Да. Помогать мы должны, но не популяризацией сельскохозяйственных задач в диалогах, а созданием образов наших современников.

Нет, простое сцепление частных фактов не создает искусства. В искусстве не будет «как в жизни», если ты не сумеешь увидеть психологию факта, не сумеешь осмыслить его художественно.

В комнату вошел осторожной походкой человек невысокого роста и тихо, очень скромно сказал:

— Я хотел бы поговорить о своей пьесе. Мою пьесу поставил Ковровский драмтеатр. Успех у спектакля был большой, зрители заполняли зал до отказа. Вот две рецензии, я их привез, спектакль хвалят за актуальность темы и правдивость событий. Но в отделе распространения сомневаются, надо ли ее распространять. Говорят, — он усмехнулся, — очень слабая пьеса.

— О чем же она?

— О борьбе с пережитками. Видите ли, я юрист. Все, о чем я пишу, — подлинные факты. Недавно судили в нашем городе одного торгового работника за хищение социалистической собственности. Заодно с ним действовали и некоторые другие работники.

С государственным добром они обращались, как со своим, тащили из магазина водку и продукты.

Пьесу читали. Это живой образец мелкого бытописательства. Да, герой пьесы и сам пил и других поил, но вывод-то из этого какой? А простой — у нас есть еще плохие завмаги и другие работники, берущие взятки. Вот и вся несложная мораль пьесы, где все «как в жизни».

Талантливая пьеса не очень нуждается в поддержке. На ее пути к сцене могут встретиться трудности, но ее заметят, о ней будут говорить, она станет желанной в театре, хотя и вызовет споры, неудовольствие одних и горячие восторги других.

— Против постановки моей пьесы (речь идет о «Персональном деле». — В. П.) возражали в двух городах, — рассказал А. Штейн.

— Почему?

— Говорят, будто пьеса неправильно изображает работников отдела кадров, искажает кадровую политику.

— Ну что же, значит задела кого-то, значит есть у них кто-то похожий на Полудина, значит тем более надо пьесу там ставить!

А вот другая беседа, тоже как-то отражающая общее положение в нашей драматургии. Ее можно было бы назвать так: «Почему же всем можно, а мне нельзя?» А я думаю, что каждый художник должен сам, не оглядываясь на товарищей, решать, что можно и нужно именно ему, и главное, что нужно и полезно зрителю.

— Почему идут «Жена», «Одна», «Отец и сын», «Наша дочь», а не идет «Потерянный дом», разве он хуже этих пьес? — спросил как-то Сергей Михалков.

В самом деле, почему? Если уж говорить начистоту, то «Потерянный дом» ничем не нарушил бы гармонию этого ансамбля. Но вот нужны ли вообще в нашей драматургии бесконечные вереницы разведенных и брошенных жен, влюбленных пожилых ответработников, разбивающих семьи молодых девиц и т. д. — над этим стоило подумать. Ведь в искусстве воспитываются и утверждаются этические нормы, ставятся на суд общества законы жизни. Если страдания героя или героини возмутят спокойствие современников, если радость, которую герои пьесы испытывают, захватит сердца зрителей, если то, что случилось в одной семье, будет поучительным и важным, а не только занятным «вообще», такая пьеса проживет большую жизнь. Говорят:

«У нас есть еще пошляки, циники, они обижают женщин, есть еще дурные женщины, расставляющие сети наивным простакам, есть и просто хорошие люди, но разлюбившие, к несчастью, своих жен». Да, все это есть. Но вряд ли, иллюстрируя лишь частные случаи, можно построить такое произведение, которое потрясло бы сердца современников, изменило бы что-то в жизни. Новая мораль, новое слово прозвучит лишь тогда, когда писатель овладеет не частной ситуацией в жизни двух или трех людей, но смыслом их любви и страданий, взаимосвязью их личных переживаний и дел с общим ходом современности.

То, что создание характера современника — главная наша задача, не станет отрицать, пожалуй, ни один драматург.

Но герой растет в действии, в борьбе. «Ему нужен идейный противник равной силы, — говорит А. Симуков. — Тогда и конфликт будет острым и герой деятельным. А вот когда я написал «Девушки-красавицы», мне один серьезный по виду знакомый театральный деятель сказал: «Это как же, значит комсомольцы тайно от руководства создали резерв новых деталей. Обманули комсомол, партию. Вы чему учите нашу молодежь? Пьеса не пойдет. Вот видите! Погодинского Гая до сих пор приводят в пример, а у него ведь ошибки были покрупнее. А я хотел показать, как, пусть наивно, пусть еще неверными путями, мои герои желают утвердить новое, разоблачить бюрократов».

К герою нашей драматургии нельзя подходить догматически: дескать, раз он должен быть положительным, значит во всем правильным, значит во всем примером. А он одновременно может быть и примером и сам нуждаться в примере. В пьесе Мдивани «Новые времена» есть герой — хороший практик, но малообразованный председатель колхоза Василий Агафонов, — который сам решил уйти с этого поста. Один областной работник воспротивился: «Вы что же, предлагаете всех их заменить?..» Прошло немного времени, много новых председателей, широко и всесторонне образованных, посланцев партии пошло в ряде случаев на смену, может быть, и хорошим практикам, а практики стали учиться... Жизнь сказала свое слово.

Герой наш только тогда будет личностью, когда вступит в идейную борьбу. Положительный герой будет живым, деятельным человеком только тогда, когда он мыслит,

когда в нем, помимо обаяния воли, есть и обаяние интеллекта. Вот, например, когда Корнейчук прочел свою пьесу «Макар Дубрава» в Малом театре, там сказали, что герой слишком много рассуждает, что пьеса излишне назидательна. А вахтанговцы сумели в этих рассуждениях Макара о жизни увидеть существо нового, советского характера, существо нового, коммунистического отношения к труду. Вот к такому существу образа героя и должен стремиться драматург.

За много лет наблюдений над тем, как в драматургию входят новые молодые силы, убеждаешься, что появление нового драматурга происходит как бы неожиданно. И каждый раз по-разному совершается этот сложный и важный процесс — приход молодежи в литературу.

На совещании молодых писателей Белоруссии в 1952 году обратил на себя внимание сотрудник «Ежа», фельетонист Макаенок, который написал несколько одноактных пьес. Пьесы были написаны живо. Макаенку на совещании сказали доброе слово. Через год в Минске, в Театре имени Янки Купалы, шла его пьеса из жизни героев французского Сопротивления. Пьеса была обычной ходульной схемой, чуть холодноватой, чуть литературной, а в общем, даже трудно было угадать, что за этими бесстрастными общими словами о жизни, которой он вовсе не знает, стоит молодой горячий человек, только что остроумно и живо посмеявшийся над злом в окружавшей его действительности. Возникла опасность, что молодой драматург уйдет в ремесло, в ловкое, но безжизненное драмодельчество. Но Макаенок вовремя увидел свои ошибки, нашел в себе силы преодолеть их — он снова обратился к жизни, а через нее уже к простому, живому искусству. Следующая пьеса его, комедия с заостренным сатирическим жалом «Извините, пожалуйста», обошла почти все театры нашей страны, знакомя зрителя не только с событиями в одном из белорусских колхозов, но и с интересным дарованием нового молодого драматурга.

Сейчас Макаенок вновь в колхозе. Он снова изучает жизнь и работу своих будущих героев.

Верится: будет пьеса.

Будет, непременно будет настоящая пьеса у каждого драматурга, который со всей силой воли стремится преодолеть любые зашлоны, мешающие ему увидеть подлинную

жизнь в ее ярком цветении, в ее неодолимом поступательном движении.

Драматурги старшего поколения часто вспоминают в беседах старые споры и обсуждения, в которых неизменно принимали участие А. Толстой, А. Афиногенов, Вс. Вишневский, вкладывая в свои выступления страсть художника и огромную заинтересованность к труду собрата как части общего дела.

Что же, разве нет теперь хороших друзей или принципиальных противников? Или нет новых, интересных для обсуждения пьес? Или не о чем спорить?

Есть пьесы. Есть темы для споров. Более того, есть, конечно, и горячие споры, возникающие на обсуждении многих новых пьес в стенах Союза писателей.

Но хочется, чтобы вся атмосфера труда художников слова, работающих в области драматургии, обладающих своим индивидуальным почерком и отстаивающих те или иные творческие принципы, объединяемые методом социалистического реализма, была проникнута вместе с тем общей, коллективной заботой о создании яркого и многогранного репертуара для советского театра, высоким сознанием коллективной ответственности за общее дело.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Е. Ржевская. Пароль: Советский Союз!.. — **Илья Сельвинский.** Стихи Дмитрия Кедрина. — **Н. Грибачев.** История капитана Кирибеева. — **Владимир Дягилев.** Первая книга. — **С. Покровский.** Новое исследование о Радищеве. — **Анна Илупина.** Гордость русского балета. — **Н. Хохлов.** Те Ги Чен — поэт и воин.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Кандидат химических наук **О. Добролюбский.** Великая задача химии. — **И. Иноземцев.** Поэт камня. — **В. Гайдук.** Во имя науки. — Кандидат экономических наук **Д. Валентей.** Миф о «народном капитализме». — **Е. Немировский.** В защиту книги. — Доктор медицинских наук **В. Загорянская.** От Гиппократов до Павлова. — Инженер **М. Голей.** Если мерить точной меркой... — **И. Крупеников.** Автор семисот научных трудов.

Литература и искусство

Пароль: Советский Союз!..

Ключая проволока, перерезавшая огромный пустырь на секторы, часовые вышки, жалкие землянки, в которых невозможно согреться. Военнопленные... За плечами у большинства — ранение, много дней мучительного плена, голод, сыпняк.

Их вызывают поодиночке, группами — предлагают подписать согласие на работу для Германии, снять военную форму. Уговаривают, угрожают; за отказ — концлагерь.

Над бесстрастным лицом фашистского офицера блестит череп на бархате околыша фуражки. СС! Знобящий щепот переводчика из военнопленных:

«— Не глупите, не понимайте вопрос об измене так щепетильно... Ведь концлагерь — это место, откуда нет возврата...»

Что это — искреннее участие или стремление множить число себе подобных в надежде, что в час расплаты легче будет затеряться в толпе?

Женщин-военнопленных, отказавшихся работать на нацистов, гонят в концлагерь. Здесь сорокалетняя сгорбленная сибирячка-военфельдшер Ефросинья Сергеевна и лихой начальник штаба стрелкового ба-

тальяна юная Верка; маленькая заплаканная Зина и жизнерадостная Тоня Леонтьева с ее бесшабашной цыганской песней, изумившей конвой.

Вот они, «пропавшие без вести», в своих потрепанных, тощих шинелях, в разбитых ботинках бредут под снегом в концлагерь. Ни орден, ни воинское отличие, ни почет не ждут их за это бесстрашие. Но иначе они не могли поступить. Об этом сказала одна из женщин переводчику:

«— Вы думаете, что, если я дам подписку добровольно работать на гитлеровцев, я смогу вернуться на Родину и смотреть в глаза своим близким?»

В числе женщин, отправленных в Майда-нек, а затем в концлагерь Равенсбрюк за отказ работать на врага, была военврач III ранга Краснознаменного Балтийского флота Антонина Александровна Никифорова. Ей мы обязаны появлением записки «Это не должно повториться...»

В последнее время у нас в печати появляются документальные публикации и художественные произведения, посвященные судьбе людей, оказавшихся в плену, и заполняющие несправедливо существовавший долгое время пробел в литературе. Записки А. Никифоровой вносят свой вклад в это благородное, нужное дело. Ведь не зная о судьбе советских людей в фашистском пле-

Антонина Никифорова. Это не должно повториться... Журнал «Знамя» № 5 за 1957 год.

ну, нельзя представить себе полно жизнь и судьбу нашего народа, меру его испытаний и героизма.

Записки Антонины Никифоровой, в создании которых ей помогали оставшиеся в живых узники Равенсбрюка (это — коллективное свидетельство о фашистских злодеяниях), — грозное напоминание о недавно пережитой народами трагедии.

«Наши мертвые друзья не забыты, — писала немецкая коммунистка Эрика Бухман, помогая А. Никифоровой. — Мы, их товарищи, разделавшие с ними тяжелые дни, расскажем об их страданиях всем народам, во всех странах. Мы обвиним их убийц и не найдем себе покоя, пока не разрешим задачу — уничтожить фашизм!»

Врач Антонина Никифорова, работавшая в лагерном ревира — в бараке для больных, в этом кошмарном подобии лазарета, — рассказала о пережитом и виденном ею. Это мужественный, честный рассказ, каждая строка его — обличение фашизма.

Равенсбрюк — центральный женский концентрационный лагерь в Германии. Польки, немки, французенки, русские, чешки, еврейки, бельгийки, голландки, румынки... Десятки, сотни тысяч женщин и детей прошли через этот лагерь смерти. Их умерщвляли в газовых камерах, заживо сжигали в крематориях, бросали в ямы, наполненные воспламеняющейся жидкостью, отравляли ядом. Новорожденных топили в ведре с водой. На здоровых женщинах насильственно производили опыты, превращая их в калек, обрекая на невыносимые муки, на смерть. Целая система насилия, издевательств. Чего стоит хотя бы «апель» — переключка, описанная А. Никифоровой.

В четыре часа ночи — проливной ли дождь, осеннее ненастье, мгла или жестокий холод — всех до одного узников, в том числе больных и немощных, выгоняли из блоков на улицу. Одетые лишь в полосатые арестантские платья, часами стояли они на распухших ногах, под градом ударов палками, сыплющихся на замешкавшихся, на тех, кто не опустил по швам руки или осмелился нарушить «форму» — укрыть от ветра голову полотенцем, подпоясать платье. Больные — на руках у товарищей. Тут же в рядах — дети, пошканные, сгорбленные маленькими старички. Когда рассветало, видны были упавшие, не выдержавшие ежедневной пытки.

В какой мрак была погружена распластанная под фашистской свастикой Европа!

На ее землях чадил газовой камерами равенсбрюки, майданеки — «Privateigentum von Himmler» («личная собственность Гимmlера»).

Вспоминаются незабываемые дни 1945 года. Город Быдгощ, в который вместе с частями нашей ударной армии мне довелось войти. Окраины города были сплошь в кольце проволочек лагерей. Весь день по улицам Быдгоща шли, заняв мостовые, крепко обнявшись, русские солдаты с освобожденными ими людьми всех национальностей. Тут были узники лагерей: женщины, завернутые в одеяла, в мешковину, французы-военнопленные со своим трехцветным знаменем, бельгийцы, угнанные на строительство оборонительного вала, пленные англичане, американские летчики с приколотыми к груди, выпрошенными на память красными звездочками. Песни, просветленные лица, окрыляющее чувство любви и свободы... Как взволнованно ощущали мы в те дни смысл нашей борьбы с фашизмом, великую миссию нашей армии! И сейчас, читая записки А. Никифоровой, с волнением думаешь об этом.

Записки А. Никифоровой значительны тем, что это летопись не только страданий, но борьбы, братства, величия духа. Написанные мужественным, умным и зорким человеком, они проникнуты пониманием людей и событий, сочувствием к людям, нежной дружбой и человеческим теплом, связывающим автора записок со многими узниками лагеря.

Невозможно без глубочайшего волнения читать о русском враче Любе Конниковой: никакими пытками, расправами не смогли нацисты принудить ее изготовлять для них патроны; о юной Зине Голубевой, организовавшей в бараке Равенсбрюка траурный вечер в годовщину смерти Ленина, своим стихами вселявшей в узников надежду на их освобождение Красной Армией и жестоко поплатившейся; о героической гибели ленинградки Веры Ванченко-Писанецкой и о многих других, кого не сломил фашизм.

Сколько таких безвестных героев! Находясь в плену, они противопоставили чудовищному насилию врага великую стойкость, верность родине, презрение к смерти.

Окруженные в концлагере доносчиками, лишенные имени, натравливаемые друг на друга, женщины всех национальностей ценой своей жизни спасали жизнь товарищей.

Есть такие человеческие связи, которые не в силах был уничтожить фашизм. Паро-

лем для них в концлагере было: «Советский Союз», «Красная Армия», «коммунист».

Прочитавший эти записки навсегда запомнит, как узницы срывали астры под носом у лагерной администрации, чтобы с букетом цветов встретить Розу Тельман. Как спасали тяжело заболевшую молодую коммунистку француженку Николь. Запомнит чешку Зденку — «солнце лагеря», как называли ее соотечественницы, и обаятельного человека, вдову известного французского писателя-коммуниста Вайяна-Кутюрье — Мари-Клод. Так и видишь ее, неутомимую в заботах о товарищах, не падающую духом, излучающую тепло Мари-Клод, бежавшую в лагерь от расправы и превратившуюся в «мертвую душу», лишенную пищи и крова, с которой Антонина Никифорова, скрывая ее, делилась арестантской похлебкой и постелью.

Написанные сдержанно, просто, доносящие правду о пережитом, записки содержат множество интересных, ценных деталей,

галерею подлинных портретов, запечатленных А. Никифоровой с большой точностью, остротой, наблюдательностью. Рассказав о Равенсбрюке, Антонина Никифорова выполнила наказ товарищей по заключению. Помогая ей, Мари-Клод писала: «Только чудом вообще можно было вырваться из этого ада, и я надеюсь: тот, кому выпало это счастье, будет кричать на весь мир о том, что он видел, для того чтобы все знали, что было бы с Европой, если бы фашизм не был сломлен. Пусть помнят о роли СССР!»

Сталинград первый дал всем нам уверенность в освобождении, в спасении. Никогда мир не в состоянии будет отблагодарить в достаточной мере Красную Армию и всех тех, кто погиб за свободу Европы».

Перед памятью павших, перед будущим, перед родом человеческим народы в ответе за то, чтобы фашизм никогда не повторился.

Е. РЖЕВСКАЯ.

★

Стихи Дмитрия Кедрина

Мы мало и плохо пропагандируем своих поэтов. Русская советская поэзия дала миру великолепных мастеров. Редко в какой другой поэтической культуре можно найти такое разнообразие ярких личностей, стилей, почерков, литературных систем, при общей и единой мечте о великом грядущем. А много ли известно об этих мастерах в Англии, Франции, Германии, Италии, Америке, если не говорить о литературоведах? Много ли в конце концов знает о богатстве своей поэзии наш советский читатель? Если звезды первой величины ему, конечно, знакомы, то представляет ли он себе грандиозность нашего поэтического небосклона за пределами этой плеяды?

Все эти мысли пришли мне в голову, когда я раскрыл однотомник Дмитрия Кедрина, изданный недавно Гослитиздатом. Среди наших читателей найдется немало любителей стиха, которые знают все и всех. Но как много таких, которые не имеют о Кедрине никакого представления! А это совершенно недопустимо, ибо Дмитрий Кедрин — выдающийся советский поэт.

Прежде всего необходимо подчеркнуть,

Д м и т р и й К е д р и н . Избранные. Подготовка текста Л. Кедринной и Л. Озерова. Редактор З. Кондратьева. 479 стр. Гослитиздат. М. 1957.

что Дмитрий Кедрин представляет собой тот редкий тип поэта, который почти исчез в предреволюционной литературе и стал возрождаться только после Октября, — я имею в виду творчество, охватывающее все жанры стиха, гармоническое развитие поэтического организма. Одни писатели владеют стихом только в лирике; другие умеют создавать и эпические поэмы, но пьесы в стихах им уже не даются; третьи, напротив, научились писать пьесы, но поэмы и лирические стихотворения не входят в круг их мастерства. Дмитрий Кедрин умел все, как умели все наши классики от Пушкина до А. К. Толстого. Наряду с лирикой вы найдете у него эпос — «Конь», «Дорош Молибога», рядом с балладами и песнями — трагедию «Рембрандт». Да и сама лирика у Кедрина необычайно разнообразна: от гневной антифашистской инвективы до записочки другу с приглашением на дачу.

Но само по себе разнообразие еще не делает поэта. Дарование Дмитрия Кедрина замечательно тем, что все, чего бы оно ни коснулось, начинало теплеть и светиться, точно согретое лучом. У каждого из нас наряду с удачными стихами встречаются средние и даже слабые вещи. У Кедрина почти нет брака. Объясняется это удивительным чувством меры, свойственным этому челове-

ку. Я не знаю другого поэта, у которого слово так хорошо знало бы свое место в строчке. Читая Кедрина, кажется, будто не он искал слов, а слова сами разыскали его и подталкивали головой ладонь, как котят, требующие, чтобы их погладили.

Из лирического наследия Кедрина трудно выбрать лучшее, настолько все отобрано еще в черновиках этим взыскательным художником. Раскрываю томик наудачу:

ГЛУХОСТА

Война бетховенским пером
Чудовищные ноты пишет.
Ее октав железный гром
Мертвец в гробу — и тот услышит!

Но что за уши мне даны?
Оглохший в громе этих схваток,
Из всей симфонии войны
Я слышу только плач солдаток.

1941 г.

Раскроем в другом месте:

ПОГОДА

Ни облачка! Томясь любовной мукой,
Кричат лягушки, пахнет **резеда**.
В такую ночь и самый близорукий
Иглу отыщет без труда.

А как луна посеребрила воду!
Светло кругом, хоть по руке гадай...
А мы ворчим: «Послал же черт погоду;
В такую ночь бомбежки ожидай».

1941 г.

Еще страница:

АРХИМЕД

Нет, не всегда смешон и узок
Мудрец, глухой к делам земля:
Уже на рейде в Сиракузах
Стояли римляни корабли.

Над математикум курчавым
Солдат занес короткий нож,
А он на отмели песчаной
Оружничество вписывал в чертеж.

Ах, если б смерть — лихую гостью —
Мне так же встретить повезло.
Как Архимед, чертивший тростью
В минуту гибели — число!

1941 г.

Эти стихи не требуют комментариев. Даже выхваченные из книги по прихоти случая, они говорят о том, что в хоре стихов, посвященных Отечественной войне, звучит своя, кедринская интонация, которую не спутаешь с другой: у автора свой подход даже к такой, казалось бы, всеобщей теме. Он героичен без позы и трагедичен без патетики. Литературоведы, которые будут изучать голоса советских поэтов, гремевшие, рыдавшие, проклинавшие, призывавшие народ к бою в годину страшной схватки с фашизмом, не смогут обойти и сдержанного голоса Кедрина, глотавшего слезы, но мужественно утверждавшего правоту своей Родины. Характерно для Кедрина, что поэт нигде не говорит об этой правоте «в лоб», но она как бы разлита между строк, как бы сама собой подразумевается.

До сих пор я говорил о военном цикле Кедрина. Но те же черты — чувство меры, ясность, точность, красочность, душевная теплота и обязательно присутствующая в стихотворении изюминка неожиданности мысли или наблюдения — свойственны и кедринскому пейзажу и его стихам о любви.

Владея всеми жанрами, Кедрин владел и всеми «языками»: речь интеллигентская, речь поповская, речь кащелярская, солдатская, казачья с украинизмами, крестьянская речь (как современный говор, так и фольклор старинной Руси) — все было ему доступно, во всем этом он двигался как у себя дома. Сопоставим для примера два небольших стихотворения:

**

*

Прощай, прощай, моя юность,
Звезда моя, жизнь, улыбка!
Стала рукой мужчины
Мальчишеская рука.
Ты прозвенела, юность,
Как дорогая скрипка
Под легким прикосновеньем
Уверенного смычка.
Ты промелькнула, юность,
Как золотая рыбка,
Что канула в синее море
Из сети у старика!

Второе:

ГОРБУН И ПОП

В честном храме опосля обедни,
Каждый день твердя одно и то же,
Распинался толстый проповедник:
До чего, мол, божий мир хорош!
Хорошо, мол, бедным и богатым,
Рыбкам, птичкам в небе голубом!..
Тут и подошел к нему горбатый
Высохший урод с плешивым лбом.
Он сказал ему как можно кротче:
— Полно, батя! Далеко зашел!
Ты вот, на меня взглянувши, отче,
Молви: все ли в мире хорошо?
Я-де в нем из самых из последних.
Жизнь моя пропала ни за грош!
— Не ропщи! — ответил проповедник. —
Для горбатого и ты хорош.

Однако владение различными наречиями, говорами и акцентами нужно было Кедрину не само по себе, не коллекции ради. Рубежом литературных эпох является характер героя. Когда мы говорим «Онегин», мы представляем себе не только «философа в восемнадцать лет», но и облик его времени, которое так же отличается от времени, допустим, Некрасова, как отличается от Онегина, ну, хотя бы Яким Нагой. Октябрьская революция создала совершенно небывалого героя — человека социализма, характер, имеющий всемирно-историческое значение. Тоска по идеалу, во все времена жившая в душе любого поэта, великого или малого, получила разрешение в образе большевика, который сочетает в себе безграничную смелость интеллекта, целеустремленность птицы, впервые летящей в далекие, никогда не виданные страны, гуманизм, лишенный обывательской сентиментальности, но исполненный глубокой любви к человечеству, самозабвенной и в то же время требовательной. Марксизм, «выстраданный Россией» (Ленин), отшлифовав мысли и взгляды этого героя, стал не только его философией, но культурой, растворенной в самом существе его, как железо в красных кровяных шариках. Создать такого героя в поэзии — значит дать человечеству не только образ эпохального обобщения, но и образец нравственного начала новой эры. Воспитательное значение такого идеала невозможно переоценить.

Проблема героя эпохи возникла перед нашими поэтами в первые же дни революции. Легкомысленные стихотворцы, уверенные, что назвать — это и значит изобразить, пытались решить ее с места в карьер. Они говорили о своем герое, что он такой и этак, полагая, что от этого читатель и вправду увидит его таким. Другие действовали иначе: они выводили в стихах выдающихся деятелей революции, включали цитаты из их речей, и наше знание об этих замечательных людях, независимое от авторов произведений, приписывали своему поэтическому гению. Наиболее талантливые день за днем, как в дневник, заносили в стихи лучшие свои думы и чувства — и, таким образом, из отдельных черточек действительно складывались очертания современника. И Демьян Бедный, и Маяковский, и Безыменский создали в своих стихотворениях лирический образ современника. Но эпохе нужен и тип эпический.

Дмитрий Кедрин понимал эту задачу

поэзии яснее многих. При этом он отдавал себе отчет в ограниченности своих сил. Однако силы растут вместе с напряжением самой деятельности. Очевидно, сознавая это, Кедрин стал подходить к своей задаче исподволь. Он пробовал набрасывать эскизы характеров уже в своих маленьких стихотворениях. На примере пола и горбуна можно видеть, какой силы была у Кедрина эпическая хватка. Большое количество стихов Кедрина, будучи совершенно самостоятельными произведениями, являлись в то же время пробой сил для дальнейшего подъема в эпос. Даже песни Кедрина — это сплошь и рядом эпизоды, пронизанные драматизмом («Песня про пана», «Дума»). Путь Кедрина к эпосу не был полетом гения, которому явилось откровение — и стало далеко видно во все концы. Путь Кедрина тем и любопытен, что это дорога в гору одаренного человека, который точно соразмеряет цель со своими силами, но не отступает от цели, а идет к ней неуклонно, тщательно подготавливая успех каждого своего шага. Так пришел он к своей поэме «Конь».

Написанная старинным, но не архаическим языком, поэма «Конь» полна обаяния. О чем бы ни говорил автор, что бы ни описывал, все насыщено жизнью и красотой, тонкой наблюдательностью и творческой фантазией. К сожалению, я пишу не монографию, а всего лишь этюд и не имею возможности широко цитировать, но не могу удержаться от того, чтобы не привести хотя бы такое описание просыпающейся Москвы XV века:

Под просветленными крестами
Ударили колокола.
Упряжка с лисьими хвостами
В собор боярыню везла.
Дымком куриться стали дома,
И гам послышался вдали,
И на Варварку божедомы
Уже подкидышей несли...

...Уже ташила сочни баба.
Из кузниц несся дальний гул.
Уже казенной песней «Грабят!»
Был потревожен караул.

Разве не кажется вам, читатель, что отрывок этот написан самим жителем Москвы эпохи Иоанна Грозного? Разве удивительные детали быта, подмеченные автором, производят впечатление вычитанных из учебников истории, а не пережитых на собственном опыте? Таких прекрасных по точности и краскам мест можно было бы набрать в поэме немало. И все же лучше всех описаний, как бытовых, так и чисто исторических,

у Кедрина написаны люди—царь Иван Васильич, проходимец латник Генрих Штаден, итальянский архитектор Барбарини и в особенности Федор Коль, богатырь по силе и сама природа по духу, ярко одаренный человек, выросший из плотника в прекрасного зодчего и кончивший свою жизнь в кругу отверженных — разбойников, мытарей и пьянчуг. Участь Федора, эта судьба гечня, самсродка, характерна не только для старинной Руси, но и для дореволюционной России.

С особенной глубиной проявилось мастерство Кедрина-портретиста в его стихотворной драме «Рембрандт». Не стану задерживаться на второстепенных персонажах, которые очень разнообразны: супруга художника Саския, служанка Хендрике, впоследствии ставшая его женой, ученики его — преданный Фабрициус и продажный Флинк, капитан корпорации стрелков Баннинг Кук, раввин Мортейра, — для каждого из них поэт нашел краску, и, несмотря на эскизность рисунка, они выглядят живыми и достоверными, хотя и не лишены гротеска. Но с наибольшим блеском написан сам Рембрандт. Если на окружение художника пошли акварель, цветной карандаш, а то и просто голландская сажа, то Рембрандт Ван-Рейн выполнен маслом. Из картины в картину проходит перед нами человек, который знал богатство и нищету, славу и забвение, но неизменно оставался тем, чем был: могучим и свободным духом. Мы видим Рембрандта в отношениях с женой, со служанкой, с обоими учениками, с мудрецом, учителем Спинозы, с принцем Тосканы, с маклером, с заказчиком, с продавцом красок. Каждая такая встреча, каждый диалог вносит нечто новое в образ Рембрандта, какую-то дополнительную подробность, но везде и всюду Рембрандт — художник божьей милостью. В письме к нему кальвинистов, требовавших явиться на суд церкви за незаконное сожительство с Хендрике, Рембрандта возмущает прежде все-

го содержащаяся в этом письме тупая критика рембрандтовского Иосифа, бегущего в Египет. Как это замечательно почувствовано поэтом! Какая находка драматурга! Далее: когда приставы тащат мебель живописца, чтобы продать ее с молотка, Рембрандт и здесь реагирует, как истинный творец:

Первый стражник
Вот бирюзовый бархат, ваша честь.

Второй стражник
Вот шляпа с белым кружевным плюмажем.

Третий стражник
Вот золотая цепь, да как длинна!

Рембрандт
Берите все, что только взять возможно!
Не бархат мне, а синь его нужна,
Не золото, а этот блеск тревожный.

И даже на смертном одре, находясь при последнем дыхании, Рембрандт остается человеком искусства. Убеденный атеист, он отказывается от предсмертной исповеди; когда же пастор чуть ли не насильно поднес к его губам крест, Рембрандт взглянул на распятие угасающими глазами и прохрипел свои последние слова:

Беспомощно написан этот бог.

Лирики расцветают смолоду, но для того, чтобы вырос эпик или драматург, нужен большой жизненный опыт. Тридцативосьмилетний поэт уже обладал этим качеством, он уже освоил трудное дело лепки характеров на старинном русском и иностранном материале. Но, если судить по его лирике, создававшейся параллельно, Кедрин подходил уже к своей заветной мечте: к современной теме в драматургии. Однако этому новому периоду его творчества не дано было осуществиться. Отсюда — глубокая боль его учителей, сверстников и учеников. Пусть же оценит эту короткую, но прекрасную жизнь наш большой и чуткий читатель.

Илья СЕЛЬВИНСКИЙ.

★

История капитана Кирибеева

Читая повесть «Капитан Кирибеев», словно заново открываешь для себя огромный кусок жизни, целый край, суровый и великолепный одновременно. Сюжет по-

П. Сажин. Капитан Кирибеев. Редактор В. Ильинков. 104 стр. «Росман-газета» № 3 за 1957 год.

вести по-человечески значителен и в личном и в общественном плане. Повествование ведется от имени биолога Воронцова — «профессора», как называют его китобойцы, с которыми ученый совершает трудный и опасный рейс на Тихоокеанской китобойной флотилии. Действие происходит перед

Великой Отечественной войной, то есть в то время, когда советский китобойный промысел только создавался. Личные наблюдения Воронцова и его встречи с людьми перемежаются с рассказом о трудной и сложной жизни капитана китобойца «Тайфуна» Кирибеева.

Мне особенно нравится в повести сильная и прозрачная, как родник, жизнеутверждающая идея — любовь к человеку сильной воли и духа. В последнее время у нас появилось великое множество произведений, которые «разоблачают» и «бичуют». Создается впечатление, что авторы с утра до вечера бегают да ищут язвы и болячки, кричат с упоением: «А вот еще одна!» — но, похоже, не только не собираются эти болячки лечить, но и не знают, как это делается. И хотя они подчеркнуто называют себя социалистическими реалистами, есть в литературе этого рода что-то старческое, брюзгливое, усталое, резко контрастирующее с горьковскими традициями. Их злодеи похожи на белую кобру в «Маугли» Киплинга, кобру, у которой давно выпали ядовитые зубы, а их положительные герои по широте души и романтичности уступают даже горьковским боскам, потому что только рефлектируют и рассуждают. Я уверен, что эта литература, в которой гимн жизни, человеческому деянию подменен нечленораздельным мычанием, — дело временное, как всякая мода, но это все-таки противно...

И Степан Кирибеев, человек незаурядный, умный, храбрый, с душой чистой и открытой, но потерявший веру в друга, в женщину, которую он безмерно любил, и его жена Лариса — персонажи интересные и убедительные даже не столько по их отношению к жизни в целом, сколько по глубине характеров и мотивировке поступков. Перед читателем раскрывается драма двух людей, по-человечески понятная, переданная просто, но не упрощенно: за безыскусным рассказом чувствуется глубокое личное горькое, тяжелые, запутанные отношения.

Думаю, что не ошибусь, если скажу, что читатель примет повесть с благодарностью, хотя кое в чем, мне кажется, следует автора и упрекнуть. Как тип, весьма любопытен капитан-директор флотилии Плужник, превосходно идет к нему поговорка: «Вот тебе и Галапагосские острова!» — поговорка, которая выражает смесь удивления и

растерянности, добродушия и озадаченности, но не предполагает никакого действия. Это является главным и в характере современного, так сказать послевоенного, Плужника — удивление, растерянность, склонность к красивой фразе, но неспособность к активному решению. Но дело в том, что ни характер его, ни судьба в повести не дорисованы, логически не завершены. Может быть, для этого достаточно было бы одного яркого абзаца — чем он копчил, как? Читатель очень заинтересован в этом, а в повести Плужник как-то сошел на нет, словно упал за борт без всякого всплеска...

Чувствительным просчетом в повести, на мой взгляд, является полное невнимание автора к одному из важных образов — помощнику капитана Ворожейкину. По характеру, по профессиональным качествам он в повести как — величина, оставшаяся читателю неизвестной. А ведь он сменил на посту зазнавшегося штурмана Небылицина. На кого сменил нахохленного воробья Небылицина капитан Кирибеев — на ястреба или синицу? От этого зависит многое: состояние Плужника, который противился переводу с «Тайфуна» Небылицина, дальнейшая судьба матроса Жилина и боцмана Чубенко, бытие китобойца «Тайфуна» вообще. Понятно, что не стоит затягивать повесть подробным описанием судьбы Ворожейкина, но в одном небольшом, только бы тщательно сделанном куске, коротком, но характерном диалоге можно было бы сказать многое, в частности об отношении Ворожейкина к Кирибееву, можно было бы показать главную для дела черту характера этого нового командира. Наконец, нельзя оставлять читателя в неведении относительно судьбы Ларисы, после того как ушел от нее Кирибеев, — ей в повести отведено очень много места, и в эпилоге так или иначе надо подводить черту.

Хотелось бы несколько слов сказать и о языке повести: он прост и свеж, очень энергичен, но иногда со срызами в прозаизм, в торопливость (это особенно чувствуется в эпилоге).

В заключение хочется по-товарищески порадоваться появлению новой хорошей книги, которая обогащает нашу литературу не только количественно, что бывает чаще, но и самое главное — качественно.

Н. ГРИБАЧЕВ.

Первая книга

Кажется, это было совсем недавно — после долгих месяцев ожидания мне сказали: «Будем печатать». Рукопись пошла в набор, и вот наконец в моих руках свежий, пахнущий краской экземпляр книги! И сразу вспомнились бессонные, счастливые ночи, когда работал над повестью. И радостно и тревожно. Впереди у книги самостоятельный путь. Каков-то он будет? Короткий или длинный? Полюбится твоя книжка читателям или нет? Будут ли люди, прочитавшие книгу, так же любить твоих героев, как ты их любишь?

Книга вышла, но автор не успокоился. Он ждет отзывов, писем. Новые волнения, новые радостные и грустные минуты.

Пройдут годы. Будут новые книги, новые тревоги, но ощущение первой книги, как память о первой любви, никогда не исчезнет, не сгладится в душе.

Эти воспоминания невольно пришли на ум, когда я читал первую книгу стихов молодого поэта Владимира Максимова «Не забывая встреч», вышедшую в Ленинграде. Вероятно, он так же переживал все это, так же ждал первых отзывов. И вот я решил написать. Это не рецензия, а просто мысли товарища, возникшие при прочтении первой книжки поэта.

Для начала позволю себе привести небольшое стихотворение Максимова:

Старый лес...

Над полянами росными
Он стоял, не жалея себя.
И шумит пордевшими соснами,
О подношенных жизнях скорбя...

Он глядит всеми черными метками
До сих пор не забыв про бон.
Постойшь...

и покажутся мелкими
Неудачи иные твои.

Прочтешь эти строки, и тебя охватывает желание жить и работать, никогда не забывая о тех, кто был твоим другом и кого уже нет рядом. Но именно потому, что его нет рядом, на тебя возложена задача жить и работать за двоих, думать о большом и непобедимом деле, ради которого ушли из жизни твои товарищи и друзья.

Сильнее всего Владимир Максимов в лирических стихах. Стихи эти, как прагмат, короткие.

В. Максимов. Не забывая встреч. Редактор А. Решетов. Ленинград. СС стр. 1956.

Уже апрель дарил садам тепло.
Автобус подкатил, дождем умытый.
Я увидел тебя через стекло
И понял вдруг, что ты не позабыта...

Мелькнув, ушел автобус на кольцо.
А я стоял, храня твою улыбку.
Нет, я увидел не твое лицо,
А мной давно свершенную ошибку.

Поначалу, читая это стихотворение, думаешь — зарисовка, весенний пейзаж. Но последние две строчки как бы освещают все стихотворение ярким светом, наполняют умной мыслью.

Вот пример такой же выразительной концовки:

Ты щедрым будь. И над остывшим чаем
Не вспоминая обид прогорклый дым —
Так много мы порой себе прощаем
И не прощаем ничего другим.

В этих весомых, ударных концовках — поэтическое своеобразие стихов Владимира Максимова. Их хочется запомнить, заучить. А желание запомнить стихи, по-моему, хорошая оценка творчеству поэта.

Для поэтического таланта Владимира Максимова характерны теплота и искренность. О чем бы ни писал поэт — об агрономе ли, о студентке, о своем случайном спутнике — во всем душевность и непосредственность, живое участие в судьбе другого человека, желание удач и успехов этому человеку.

Пусть не художница на вид,
Но разве не искусство это?
Гляди: она сейчас творит
Картину радостного лета.

Так заканчивается стихотворение об агрономе.

Широк диапазон поэта. Несомненно, внимание читателей привлекут стихи об Иране («За Араксом»). В них любовь к чужому народу, к его труду, сочувствие обездоленным. Лучшие стихотворения из этого цикла — «Человек в пути», посвященное Абуль-касиму Лахути, и «Искатель жемчуга». В них найдены нужные слова, передан колорит страны.

...Тяжелый воздух смешан с пылью,
И над спиной земной коры
Угрюмый гриф раскинул крылья,
Спасаясь в небе от жары...

В стихотворении «Искатель жемчуга» радует зримость описания.

Метнулась мимо стая рыб пугливых,
А он, рукой обхватывая риф,
Скользит по дну нагретого залива,
Глаза широко под водой раскрыв.

Как удачно найдено слово — «нагретого». Оно передает и обстановку и состояние пловца. «Нагретого» — значит жарюща, значит трудно и тягостно человеку.

А как это рельефно:

Глубь прорезают водоросли круто,
Как трещины зеленое стекло.

К сожалению, не во всех стихах уровень поэтического мастерства Владимира Максимова таков же, как в лучших его стихотворениях. Встречаются повторы, приблизитель-

ные рифмы, небрежность и неточность. Например, в стихотворении «Перед дорогой» в одной и той же строфе поэт пишет: «Головами гудков проноет мне сегодня дорога...»; «Сквозь поющие версгы я буду глядеть на тебя». Непонятно, кто же в конце концов псет — гудки, дорога или версгы? Поэт рифмует: «полползли — пошли», «никто — все тебе не то», «придет — не заметит» и т. д.

Молодому поэту предстоит еще большая, кропотливая работа над языком. Это бесспорно. Но сейчас мне хочется сказать о главном: Владимир Максимов обладает самым необходимым, без чего нет поэта, — свежестью, яркостью мысли, образностью.

Владимир ДЯГИЛЕВ.

★

Новое исследование о Радищеве

Труд Г. Макогоненко — «Радищев и его время» — результат исследований автора, посвященных Радищеву и близким ему деятелям русского просвещения XVIII века (Новикову и другим). Дискуссия на страницах журнала «Вопросы философии», возникшая в связи с опубликованием статьи Ю. Карякина и Е. Плимака «О двух оценках «Путешествия из Петербурга в Москву» в советской литературе», свидетельствует об актуальности вопросов, поднятых в книге Г. Макогоненко.

Автор показывает историческую обстановку, в которой формировалось мировоззрение Радищева, раскрывает его общественные связи, характеризует политические и эстетические взгляды виднейших представителей русского просвещения — Новикова, Козельского, анализирует творчество мало известных нам передовых писателей того времени — Курганова, Туманского и Н. Д. (раскрыть инициалы этого печатавшегося в журнале «Зеркало света» литератора до сих пор не удалось).

Г. Макогоненко вносит важные уточнения в биографию Радищева. Он привлекает ряд источников, в частности материалы Лейпцигского архива, фондов Филяндской дивизии, в которой обер-аудитором (прокурором) служил Радищев, и устанавливает место его рождения, сообщает подробности пребывания в Лейпциге, приводит новые, убедительные данные, доказывающие, что

автором знаменитого «Отрывка путешествия в ***» И. Т., помещенного в журнале «Живописец», был не Радищев, а Новиков.

Скрупулезный текстологический анализ позволил также Г. Макогоненко воссоздать канонический текст оды «Вольность».

Буржуазное литературоведение рассматривало все «Путешествие из Петербурга в Москву» как лирическую исповедь автора. Это открывало широкий простор для фальсификации мировоззрения Радищева. Так, например, высказывания многочисленных, самых разнообразных персонажей «Путешествия» безоговорочно приписывались Радищеву. Либеральные надежды и упования некоторых из них на «просвещенного» царя и «благоразумных» помещиков выдавались за мысли и чаяния самого автора «Путешествия». Явные же революционные призывы Радищева либо замалчивались, либо расценивались как прием, призванный воздействовать на сознание помещиков и побуждающий их поспешить с освобождением крестьян. Иной раз эти призывы несходительно трактовались как результат душевной неуравновешенности Радищева.

И ныне подобная оценка «Путешествия» безраздельно господствует за рубежом в буржуазном литературоведении. Типична в этом отношении работа Дэвида Ланга «Радищев и Стерн», в которой Радищев объявляется подражателем Стерна, а произведение великого русского мыслителя — одним из обычных в то время «сентиментальных путешествий».

Г. Макогоненко. Радищев и его время. Редактор Ю. Оксман. 774 стр. Гослитиздат. М. 1955.

Г. Макогоненко доказал, что путешественник — лицо, не идентичное автору. Он обращает внимание на то, что в главе «Тверь» Радищев описывает встречу героя «Путешествия» с автором оды «Вольность», подчеркивая тем самым невозможность отождествления писателя с его героями. Герой «Путешествия» — это один из передовых людей, сочувствующих страданиям народа, но еще верящих в реформы сверху, в возможность убедить помещиков поступиться своими привилегиями. Сталкивая героя произведения с самыми различными людьми, показывая ему все стороны российской действительности тех лет, Радищев рисует его духовное перерождение, говорит об утрате иллюзий, о признании им неизбежности народной революции.

Г. Макогоненко исследует эстетическое значение книги Радищева для русской литературы, ее роль в истории русского романа, в становлении русского критического реализма, полемизирует с теми, кто считает, что Радищев оставался на позициях сентиментализма, и убедительно доказывает, что он не только не принадлежал к этому направлению в литературе, но высмеивал и пародировал произведения главы школы русских сентименталистов — Карамзина.

Произведения Радищева исследователь рассматривает в хронологической последовательности, в органической связи с развитием политической борьбы и общественной мысли русского общества второй половины XVIII и начала XIX века.

Рубежом, определившим формирование революционных убеждений Радищева, автор справедливо считает крестьянскую войну под руководством Пугачева, всколыхнувшую всю Россию. Нам представляется, однако, что Г. Макогоненко напрасно обошел такие работы Радищева, как «Письмо о китайском торге», «Записка о податях в Петербургской губернии», и его переписку. Это мешает выяснить отношение Радищева к развитию промышленности, его взгляды на задачи внешней торговли, оценку им русской сельской общины, характеристику положения казенных крестьян. Пройдя же мимо «Описания моего владения», написанного Радищевым в селе Немцово, Г. Макогоненко приходит к ошибочному выводу о том, что «после «Путешествия» в творчестве Радищева нет обличения крепостного права».

В книге «Радищев и его время» поставлен ряд важных вопросов, в том числе о

роли Радищева в истории русского освободительного движения, об его отношении к русскому и западному просветительству.

Не со всеми положениями Г. Макогоненко, однако, здесь можно согласиться. Суждения его нередко противоречивы, не отражают всей сложности изучаемых явлений.

Прежде всего отсутствует необходимая ясность в определении просветительства — этой идеологии идущей к власти буржуазии. Выступая против феодально-абсолютистских порядков, дворянских привилегий и произвола королевской власти, просветители выражали интересы противостоящего феодалам общества. Поскольку контуры этого общества не были тогда ясны, а противоречия буржуазного общества еще не проявились, просветители верили, что ликвидация феодальных порядков принесет всеобщее благоденствие. Они защищали интересы народа, задавленного феодальным гнетом, но опасались активности масс и возлагали надежды на мудрость монархов, которые поймут необходимость неотложных реформ в интересах процветания государства.

Вольтер, Монтескье, Гельвеций, Руссо были просветителями, но наряду с ними в антифеодальной борьбе существовало революционно-демократическое направление, выразившее в тех исторических условиях идеологию трудящихся масс. Видными представителями этого направления во Франции были Мелье, Марат, Бабеф и другие.

По мнению же Г. Макогоненко, буржуазия уже в период борьбы за власть создавала собственную идеологию, отделившуюся от просветительской. Эта идеология должна была закрепить ее господствующее положение в обществе. После победы буржуазии, по мнению Г. Макогоненко, лишь использовала в своих целях просветителей, которых выдвинули крестьянство, «плебейство», «низы». При такой оценке классовой основы просветительства непонятно то опасение народной революции, которое было так характерно для него.

Автор исследования причисляет и Радищева к числу просветителей, сопоставляет его воззрения со взглядами Монтескье, Гельвеция и Руссо, но оставляет вне поля зрения Мелье, Марата и приходит к выводу, что русское просветительство было более демократичным и революционным, чем французское.

Раскрыть идейные связи русских и западных мыслителей, оценить тот вклад, который внесли в развитие мировой освободительной мысли русские ученые, можно лишь в том случае, если сравнить их взгляды не только со взглядами Монтескье и Руссо, но и со взглядами Мелье и Марата. Этого Г. Макогоненко не делает.

Радищев, по нашему мнению, олицетворял не просветительство, а революционный демократизм. Выступая против подобной характеристики, Г. Макогоненко заявляет, что «стремление объять Радищева революционным демократом антиисторично, что он был «дворянским революционером».

Между тем понятие «дворянский революционер», как мы считаем, определяет только то, из какой социальной среды вышел общественный деятель, но не характеризует сущность его мировоззрения. Дворянские революционеры Герцен и Огарев, как известно, стояли на революционно-демократических позициях. Заявление Г. Макогоненко о том, что Радищев не революционный демократ, а дворянский революционер, тем более повисает в воздухе, что он сам подчеркивает «революционность и демократизм убеждений Радищева», говорит, что «Радищев был революционером», которому «свойственен глубокий демократизм».

Автор, следовательно, согласен, что Радищеву свойственны «демократизм убеждений, признание необходимости народной революции, пламенная проповедь уничтожения дворянства, отстаивание интересов прежде всего крестьянства». Если же это так (а это действительно так), то отрицание революционно-демократического характера убеждений Радищева непонятно.

Проповедь народной революции, защита «народного правления» как единственно приемлемой формы государства позволяет характеризовать взгляды Радищева как революционно-демократические, получившие свое дальнейшее развитие в трудах Беллинского, Герцена, Чернышевского.

Многих исследователей смущает тот факт, что декабристы утратили такую решающую черту революционного демократизма, как курс на народную революцию, что в этом смысле они сделали известный шаг назад от Радищева. Но историческое развитие не идет прямолинейно. Так, например, революционные народники далеко ушли вперед от времен Чернышевского в создании революционной организации, но идейный уровень их был ниже, чем у великого революционно-

го демократа. Декабристы впервые создали революционную организацию, разработали ее программу, возглавили вооруженное восстание. В этом они значительно опередили Радищева. Но значительная по численности организация дворян-революционеров не смогла принять бесстрашной веры Радищева в силу, разум, несокрушимость, творческую энергию и инициативу масс.

В реакционной зарубежной литературе последнее время ведется атака против революционных традиций русской общественной мысли. Так, в английской печати Леонард Шапиро стремится уверить, что Радищев и Чернышевский «принадлежат к двум совершенно различным и совершенно противоположным духовным организациям». Эту противоположность он видит в том, что Чернышевский и его последователи враждебно относились к самодержавному государству, а Радищев разрабатывал проекты реформ для царя. Тем более важно для советского исследователя подчеркнуть, что Радищев, будучи сторонником народной революции, перехода земли в руки тех, кто ее обрабатывает, установления «народного правления», заложил основы той программы, которую впоследствии всесторонне разработали и развили Чернышевский и его соратники.

К недочетам работы Г. Макогоненко относится игнорирование зарубежной литературы о Радищеве. Между тем в буржуазной литературе продолжают попытки представить «Путешествие» Радищева как подражание Стерну (уже упоминавшийся Д. Ланг), встречаются упреждения в компаративистском духе (К. Битнер). Критика этих антинаучных построений, несомненно, обогатила бы книгу Г. Макогоненко.

Нельзя было пройти и мимо того факта, что в коммунистической и демократической литературе зарубежных стран создано немало ценных работ о Радищеве. Кстати, ряд авторов успешно разрабатывает поднятый Макогоненко вопрос о композиции «Путешествия». К ним относятся Гольдгаммер (ГДР), Якубовский (Польша).

В целом же перед нами серьезный труд по истории русской литературы и общественной мысли.

Хороший язык, увлекательность изложения и широкий диапазон исследования делают книгу Г. Макогоненко интересной не только для специалистов-литературоведов, но и для широких читательских кругов.

С. ПОКРОВСКИЙ.

Гордость русского балета

Имя Анны Павловой вошло в историю хореографического искусства еще при ее жизни. Цельная натура большого художника, сердечного, порой противоречивого, но всегда настоящего человека, до последнего дыхания была предана идее прекрасного, воплощенной в танце. Великая русская танцовщица задолго до революции уехала из царской России, так как «императорский балет» сковывал ее творческие стремления, мешал развитию ее недюжинного таланта, исключал новаторство, к которому всем своим артистическим существом упорно стремилась Павлова. Она поселилась в Англии, но трудно сказать, где был ее дом: она постоянно гастролировала во всех странах света, посвятив свою жизнь пропаганде классической хореографии во всем мире.

Анна Павлова со своей небольшой труппой выступала и в великолепных и в отвратительных условиях, заботясь лишь об одном: дать людям радость понимания танца... Она открыла эру балета в США; познакомила со своим неповторимым искусством людей всех континентов и материков; выступала в Мехико на арене для боя быков перед двадцатипяти тысячной аудиторией; на нью-йоркском ипподроме рядом с учеными слонами и акробатами; в помещении ангара где-то на севере; под открытым небом в Таунсвилле, в Австралии... И везде и всюду стала она символом балета, приобщив к нему сотни людей, посвятивших себя исполнительской и педагогической деятельности, тысячи и миллионы зрителей, которым никогда до Павловой не был так близок светлый, чистый и поэтичный мир классической хореографии.

Вот почему и сегодня, когда минуло уже более четверти века со дня смерти Павловой, ореол вокруг ее имени не померк.

В прошлом году в Лондоне к двадцатипятилетию со дня смерти балерины была выпущена книга «Анна Павлова». Сейчас, в русском переводе Ю. Добровольской, эта книга вышла в Москве, в Издательстве иностранной литературы, под редакцией, с предисловием и примечаниями Е. Суриц. Работа переводчика и редактора заслужит, как мне кажется, тем большего одобрения, чем

внимательнее мы будем вчитываться в эти страницы, овеянные настроением танцев Павловой, духом ее пленительного мастерства, ее ежедневного подвижнического труда. Заслуга тех, кто подготовил русское издание этой книги, выглядит особенно значимой в свете того, что происходит с изданием книг по балету (или, вернее, с их изданием) в «Искусстве».

Сборник открывается предисловием, излагающим содержание (иногда излишне подробно) материалов, составляющих основу книги. Здесь небольшое исследование редактора-составителя А. Г. Фрэнкса — «Биографический очерк», посвященный жизненному и творческому пути Павловой; здесь воспоминания ее учениц и актрис ее труппы; здесь своеобразная статья известного индийского танцовщика и балетмейстера Рама Гопала, рассказывающая об огромном интересе Павловой к Индии и ее культурной, храмовой, народной хореографии. Наконец, несколько страничек воспоминаний самой Анны Павловой и балетмейстера Михаила Фокина представляют собой бесценные свидетельства процесса становления мастерства замечательной танцовщицы.

Непреходящее беспокойство художника, каждодневные поиски новизны, непреложные утренние занятия, постоянно напряженные нервы до и после выступлений, утомительные переезды из города в город, из страны в страну и в каждой из них изучение местных танцев, национального искусства — архитектуры, музыки, живописи... Пытливый ум, изысканный вкус, редчайшие минуты полного удовлетворения тем, «как я танцевала сегодня», неизменное желание узнать что-то новое, чему-нибудь научиться у окружающих, наблюдательность, доброта, вспыльчивость, требовательность к другим и особенно к себе — такова была Павлова. Такой мы узнаем ее в воспоминаниях современников и ближайших товарищей, в ее собственных (увы, до обидного кратких) высказываниях, в тех балетах, которые она создала, — от «Трех деревянных кукол» на музыку Х. Леви до «Осенних листьев» на музыку Ф. Шопена. Ее великолепные, истинно бессмертные танцы вроде «Умирающего лебедя» Сен-Санса, впервые поставленного для нее Фокиным, или «Рождества» на музыку Чайковского, сочиненного самой Павловой, отличались такой одухотворенностью, что и сегодня их вспоминают как чудо и от-

кровение. И самое замечательное, что описанию этих и других творений Павловой веришь. Веришь потому, что вспоминающие пишут без излишней восторженности, очень просто, непринужденно и, рассказывая о своих собственных настроениях, вызванных в свое время искусством Павловой, как бы передают эти радостные впечатления нам.

В Петербурге в Мариинском театре Павлова танцевала в сорока балетах и четырех операх. Пять произведений Михаила Фокина получили известность в русской столице и далеко за пределами России благодаря Павловой. Ее заграничный репертуар насчитывал семьдесят два произведения, ее знали как необыкновенно разностороннюю балерину, которая танцевала Одетту-Одиллию в «Лебедином озере», Китри в «Дон-Кихоте», «Панадерос» Глазунова, «Менуэт» Моцарта, «Русский танец» Рубинштейна — Чайковского, «Сирийский танец» Сен-Санса, «Рондино» Бетховена — Крейсера, а она все искала новые вещи, все мечтала о воплощении новых тем...

Но что бы ни танцевала Павлова, где бы она ни жила, она всегда, везде, во всем оставалась русской актрисой, великим художником своей родины, с необыкновенно глубокой душой, которую она вкладывала в каждое движение, в каждое па, в каждый спектакль или концерт, где ей приходилось выступать. Ее заветная мечта —

жить «где-нибудь в России» — так и не осуществилась.

Было множество причин, помешавших вернуться ей на родину, когда страна ее стала уже свободной, когда балет, как и все искусства, стал достоянием народа и Павлова могла бы увидеть, что ее мечты о приобщении к хореографии миллионов простых людей не напрасны. Ее жизнь, проведенная за пределами горячо любимой отчизны, оборвалась в разгар работы. Американский импрессарио Павловой Сол Юрок заканчивает свои воспоминания многозначительным и честным признанием: «В другом мире, при другой системе ее берегли бы, как драгоценный алмаз, она бы работала только по несколько месяцев в году и танцевала бы не более двух-трех раз в неделю. У нее было бы время и для работы, и для отдыха, и для любви, и для детей, и для трудного искусства быть счастливой».

Да, «трудное искусство быть счастливой» не было дано Павловой в том мире, где она жила и творила. Но счастье тех, кто ее видел, состоит в том, что она принесла им сокровища русской хореографии, породившей все лучшее, что есть в современном балете мира. И не случайно именно в России, в сегодняшней Советской стране традиции Анны Павловой живы, развиваются и совершенствуются в великом искусстве Галины Улановой.

Анна ИЛУПИНА.

★

Те Ги Чен — поэт и воин

Гора Моранбон (Гора красных пионов) в Пхеньяне — одно из самых прекрасных мест в Корее. Она воспета древними и новыми поэтами. Тысячи корейцев приходят сюда и в дни радостных торжеств и в дни траура. Вершина горы покрыта низкорослыми соснами; на склонах — густые заросли акации; а ниже, у бирюзовых вод реки Тэдонган, серебристые ивы распростерли свои легкие длинные ветви.

Говорят, что в давнее время склоны Моранбона были сплошь усеяны красными пионами. Отсюда и пошло название горы. Сейчас каждую весну гора покрывается цветущим низкорослым чиндале. А поздней осенью гранитные скалы, взметнувшись

над Тэдонганом, устилают мириады светло-желтых, цвета свежего воска, листьев акации. И тогда вся гора напоминает гигантский шатер, покрытый чешуйчатой смальтой...

Здесь, на Моранбоне, похоронен Те Ги Чен, крупнейший поэт Кореи, гордость современной корейской литературы. Друзья его рассказывают, что накануне гибели, летом 1951 года, во время варварской бомбардировки Пхеньяна американскими самолетами, поэт вышел ночью из своей землянки, которая была вырыта у подножия горы, и читал товарищам только что написанные им стихи. Он был поглощен тогда работой над новой поэмой. В развороченной бомбой землянке около бездыханного тела Те Ги Чена нашли листки бумаги, запорошенные землей. На них чет-

Те Ги Чен. Избранное. Перевод с корейского. Редактор Г. Ярославцев. 118 стр. Гослитиздат. М. 1956.

ким почерком выведены были строки из неоконченной поэмы об охотниках за вражескими самолетами. Последние слова, написанные Те Ги Ченом, слова его лирического героя, были:

Я иду на охоту за вражескими самолетами...

Советский читатель давно знаком с произведениями Те Ги Чена. Выпущенный недавно Гослитиздатом сборник его стихов значительно расширяет наше представление о творчестве этого выдающегося поэта Кореи.

Талант Те Ги Чена, художника большой лирической силы, сформировался и окреп после освобождения Кореи войсками Советской Армии в августе 1945 года. Народно-демократический строй, установленный в Северной Корее, революционные преобразования во всех областях жизни вызвали бурный творческий рост народа. Знаменательные перемены произошли и в литературе. Вместе с Те Ги Ченом на литературном поприще выступили поэты Мин Бен Гюн, Хон Сун Чер, Се Ман Ир, прозаик Хан Пон Сик и многие другие. Они славят новую жизнь, отражая в своих произведениях могучий оптимизм освобожденного человека — строителя новой Кореи.

Исследователи современной корейской литературы называют Те Ги Чена корейским Маяковским, подчеркивая духовную близость поэтов двух братских стран. Те Ги Чен был крупным знатоком русской классической и советской литературы. Он считал себя учеником Маяковского и одним из первых переводил его стихи на корейский язык. Благодаря Те Ги Чену на корейском языке зазвучали «Левый марш», «Приказ по армии искусств», «Во весь голос» и другие произведения замечательного советского поэта.

В рецензируемый сборник стихов Те Ги Чена включена «Наша песня», написанная им в 1947 году. В ней поэт раскрывает свои взгляды на роль поэзии в жизни и борьбе народа за свое счастье:

Кто не знает
Нашу песню?

Нет — она не вздох любовный,
Нет — она не майский ветер,
Не листья осенней шорох.

Наша песня —
Гром, зовущий
В бой, где победит народ.

Нет — она не звук свирели,
Не озерная прохлада
И не облачко в лазури.

Наша песня —
Пламя гнева,
Что испепелит врагов.

Это взрыв народной воли,
Потрясающий всю землю.
Это радостная мощь.
Это жар любви великой,
Это ненависти лед.
Это преданность отчизне,
Клич свободы, гуд борьбы.
Кто не любит
Нашу песню?

Таково поэтическое кредо Те Ги Чена. Пламенные стихи его поистине являли собой образец сыновней преданности отчизне, воспевали и свободный мирный труд и гуд борьбы.

Те Ги Чен любил ездить по стране. Очень многие его стихи навеяны встречами с людьми, общением с чарующей природой родной Кореи. Он бывал на заводах и фабриках, у рисоводов и рыбаков, у железнодорожников и лесорубов, у студентов и школьников. Незадолго до начала войны Те Ги Чен написал поэму «Песнь о жизни». Это результат его длительного пребывания на Хыннамском химическом комбинате, который был разрушен японскими милитаристами перед их отступлением из Кореи, но затем восстанавливался корейскими рабочими. Те Ги Чен долго жил в Хыннаме. Рабочие часто заходили в его скромную комнату, вели с поэтом задумчивые беседы, делились с ним своими радостями и горестями. Отзывчивый и сердечный человек, Те Ги Чен снискал в заводском коллективе большое уважение. Когда после возвращения в Пхеньян поэта спросили, что ему дало пребывание на заводе, он ответил:

— Я привез десятки чудесных биографий наших рабочих. Теперь записи в блокноте надо перевести на поэтический язык.

И он осуществил свой замысел. «Поэты! Здесь настоящая жизнь!» — восклицает Те Ги Чен, утверждая право и обязанность писателя активно вторгаться в жизнь.

Те Ги Чен — революционер и в поэзии. Корейская классическая поэзия не содержит в себе такого поэтического жанра, как поэма. Для старой поэзии Кореи характерны преимущественно короткие стихотворения, написанные изящным слогом. Новаторство Те Ги Чена состоит в том, что он

первый из корейских поэтов утверждал в поэзии эпический жанр, поэму с широким охватом происходящих событий, с глубоким политическим обобщением. Поэт много и плодотворно работал в этом жанре. За сравнительно короткий срок он написал поэмы «Наш путь», «Песня о земле», «Пэктусан», «Восстание в Есу». В основе поэмы «Пэктусан» лежат исторические события: сражения корейских партизан в районе горы Пэктусан на крайнем севере страны. Поэма эта — гимн мужеству и бесстрашию, она зовет на подвиги.

Эпические произведения Те Ги Чена встретили восторженный прием со стороны народа, мнение которого и решило исход дискуссий, развернувшихся вокруг поэм. В то время в Корее некоторые критики считали, что форма поэтических повествований Те Ги Чена не будет понята читателем. Газета «Нодон синмун» выступила в защиту автора. Те Ги Чен читал свою поэму на многочисленных предприятиях, в институтах, обращался к самой разной аудитории. Его горячо поддерживали, одобряли. Имя поэта гремело по всей стране.

С первых дней войны Те Ги Чен находился в действующей армии. В составе головного наступающего подразделения поэт дошел с боями до южнокорейской реки Нактонган. Он испытал и горечь отступления. Его стихи, подобно набатному колоколу, возвещали миру обо всем, что происходило на опаленной войной корейской земле.

В стихотворениях «Корейская мать», «С горячей улицы», «Корея сражается», «Холм», «Снежная дорога», «Смерть врагам!» и многих других Те Ги Чен запечат-

лел героическую эпопею борьбы корейского народа.

Стихи свои Те Ги Чен печатал в центральных газетах, в провинциальных изданиях, в стенных газетах армейских частей. Сейчас Союз корейских писателей собирает все, что было им написано.

В переводе произведений Те Ги Чена для рецензируемого сборника принимали участие А. Гитович, А. Чивилихин, Ю. Александров и другие. В основном их работа должна быть оценена положительно. К сожалению, некоторые произведения Те Ги Чена в переводе обеднены и не передают богатства поэтической формы оригинала.

Те Ги Чен не дождался дней победы, но в наступление ее он страстно верил. Эта убежденность давала возможность поэту уже тогда, сквозь дым и порох, видеть картины мирной Кореи.

А родина Корея, ты воспрянешь,
Поднимешься из пламени, из пепла...
...Прекрасные над пеплом встанут зданья,
Как воля их создавшего народа.
Гудки заводов в стройный хор сольются.
Запарусят над морем крылья чаек.
Весна придет, цветами одаряя,
Плодами, отягчающими землю,
И золотистыми коврами злаков.
И радостные песни зазвучат.

(«Смерть врагам»)

Северная Корея встает из руин. Стихи Те Ги Чена взяты на вооружение миллионами строителей новой жизни. Корейский труженик находит в пламенных стихах поэта животворный источник любви к родине, к народу, служению которому была отдана вся славная жизнь Те Ги Чена.

Н. ХОХЛОВ.

★

Политика и наука

Великая задача химии

Поле, заросшее сорняками... Какой громадный труд требуется для их удаления! Труд кропотливый, неблагодарный — очистил один участок от сорняков, глядишь, другой уже зарос. Но вот над полем появился самолет, разбрызгивающий раствор какого-то вещества, и случилось чудо: все

сорные растения погибли, а культурные не только остались неповрежденными, но начали лучше развиваться.

...Телята на ферме были разделены на две группы, и в их питании наблюдалось только небольшое отклонение: одной из групп в пищу добавлялись буквально миллиграммы определенного химического вещества. Телята этой группы заметно прибавляли в весе, отличались хорошим аппетитом, были подвижны, с блестящей розной шерстью.

Академик С. И. Вольфович. Химия и сельское хозяйство. Редактор Р. М. Васенин. 88 стр. Издательство Академии наук СССР. М. 1956.

Такие химические вещества — реальность нашего сегодняшнего дня. Они уже найдены и применяются в сельском хозяйстве. Одно плохо — применяются еще явно недостаточно.

Роль химии в сельском хозяйстве не сводится только к внесению определенных удобрений в почву, как это думают многие. В интересной научно-популярной брошюре академик С. И. Вольфович приводит множество фактов и называет ряд проблем, дающих ясное представление о поистине безграничных возможностях роста продуктивности сельского хозяйства при правильном использовании достижений химической науки.

Урожайность всех сельскохозяйственных культур можно повысить не только с помощью азотных, фосфорных или калийных удобрений, но и с помощью множества иных питательных веществ, порой весьма простых, а порой довольно сложных. Еще Д. И. Менделеев и К. А. Тимирязев считали возможным, используя удобрения в комплексе с другими мероприятиями агротехники, увеличить урожайность во много раз. Д. Н. Прянишников указывал, что наше земледелие способно обеспечить изобилие продуктов питания на полтора столетия вперед, если население будет удваиваться каждые пятьдесят лет. И разве это предел?! Новейшие научные достижения, внедренные в практику, позволяют намного превысить и эти возможности.

Мрачному «закону убывающего плодородия» и хищническому использованию земли в капиталистических странах, а также лженаучной теории Мальтуса социалистическая наука и техника прогнано поставляют систему конкретных мероприятий, активно способствующих повышению плодородия, непрерывному подъему производительности растениеводства и животноводства.

Рост и развитие растений зависят от количества и качества «пищи». Но ни одно из применяющихся минеральных или органических удобрений не содержит в достаточном количестве все необходимые для растений питательные вещества. Это значительно повышает роль химии, создающей такие вещества. Их можно варьировать на различных этапах развития организмов.

Специфика питания растений до сих пор учитывается недостаточно. Между тем сдвиги в размещении сельскохозяйственных культур имеют тенденцию к дальнейшему расширению. Южные культуры передвига-

ются на север; осваиваются целинные и залежные земли; вовлекаются в земледелие пустынные и болотные почвы, требующие изменения их химического состава.

В связи с этим С. И. Вольфович разбирает ряд проблем, касающихся применения различного рода удобрений, в том числе и новых. Так, автор ставит интересный вопрос об использовании огромных ресурсов углекислого газа, выделяющегося при работе тепловых электростанций, металлургических, химических и других заводов.

К сожалению, в книге мало внимания уделено использованию микроудобрений, содержащих в своем составе соединения меди, марганца, цинка, бора, молибдена и других химических элементов.

Автору можно было бы сделать еще один упрек. Представляется мало оправданным помещению цветного рисунка основных элементов питания растений на таблице Д. И. Менделеева. Деление на «применяемые» и «вероятно необходимые» макро- и микроэлементы не отвечает нашим теперешним представлениям о степени важности того или другого химического элемента для процессов жизнедеятельности. Трудно согласиться лишь с «вероятной необходимостью» для питания растений соединений хлора, кремния, алюминия, без которых нельзя было бы представить жизнь организмов. Кроме того, число «вероятно необходимых» микроэлементов можно было бы значительно расширить за счет соединений мышьяка, хрома, никеля, бария, кадмия, титана и многих других элементов, положительное влияние которых в последние годы установлено большим числом опытов. Пожалуй, сейчас можно уже сказать, что все химические элементы принимают то или иное участие в процессах жизнедеятельности как растительных, так и животных организмов.

Химия все более глубоко вторгается в сельскохозяйственное производство. Она не только обеспечивает растения необходимой пищей, ускоряет их рост, но и помогает им бороться с вредителями, защищает от заморозков, а также лечит от всевозможных заболеваний.

Автор рассказывает, что в результате применения минеральных удобрений урожай хлопка-сырца в среднеазиатских республиках повысился по сравнению с тридцатыми годами в два с половиной раза, а в некоторых передовых колхозах и совхозах — в четыре-пять раз.

Применение бормагнеиового удобрения при обработке посевов сахарной свеклы дает дополнительную прибыль в семь-восемь тысяч рублей с гектара. Затрата одного рубля на ядохимикаты сохраняет сельскохозяйственную продукцию на пять—десять рублей. Подобных примеров множество. Весьма эффективно применение некоторых химических веществ при борьбе с грызунами (одна крыса со своим потомством способна за год уничтожить пищевых продуктов на четыреста рублей!).

Подкормка химическими веществами не только повышает рост молодняка, но также удоиность коров, настриг шерсти у овец и коз, яйценоскость кур и гусей.

Свою полезную книжку академик С. И. Вольфович заканчивает следующими справедливыми словами:

«Легко представить себе, как заколосятся нивы и нальются плодами сады, когда земля получит все нужные ей элементы питания, когда удобрения и средства химической мелиорации сделают все почвы плодородными, когда земля будет быстро и эффективно очищаться от сорняков, а растения — от вредителей и болезней. Успехи химии, физики и биологии сделают плодородными пустыни и болота, заповярную тундру и южные пески, что намного увеличит земледельческий фонд... Труд человека в сельском хозяйстве станет еще более здоровым, производительным и привлекательным».

*Кандидат химических наук
О. ДОБРОЛЮБСКИЙ.*

г. Одесса.

★

Поэт камня

Александр Евгеньевич Ферсман обладал не только драгоценным даром проникновения в тайны природы, но и умением ярко и точно рассказывать о своих исканиях. «Поэт камня» — так метко назвал Алексей Толстой этого выдающегося разведчика земных недр.

Труды А. Е. Ферсмана и его согрудников положили начало освоению апатитовых и нефелиновых месторождений Кольского полуострова. Ленинской премией была недавно отмечена работа ученых, которые продолжили эти исследования и нашли путь к промышленному использованию алюминия из хибинских апатитовых руд.

Вся многогранная деятельность ученого в годы Советской власти — выдающийся пример соединения теории с практикой, пример патриотического служения Родине, народу.

В сущности, таким же патриотическим делом были и его пользующиеся мировой известностью книги для молодежи: «Занимательная минералогия» и «Занимательная геохимия», раскрывающие перед ней новый большой мир и зовущие к научным дерзаниям. Новым вкладом войдет в научно-художественную литературу и книга «Путешествия за камнем», выпущенная Детгизом. В записях многолетних путешествий, экскурсий и экспедиций по Крыму и Под-

московью, по Чехии и острову Эльба, по Уралу и Хибинам, по каракумским пескам и пустыне Кызылкумы отразилась эволюция ученого, который от юношеского увлечения камнем пришел к выдвигению и решению сложных геохимических проблем.

Вот наудачу взятые примеры, показывающие, как искусно сочетает Ферсман точность и глубину научной постановки вопроса с силой художественного образа, доносящего до читателя живую конкретность действительности.

«Вся свита древних отложений, начиная с отложений эпох, скрытых от нас во мраке геологического прошлого, и кончая силуром и девоном, беспомощно ломалась под напором сил с востока, поднималась в крутые складки и опрокидывалась на голову», — пишет Ферсман, рассказывая о том геологическом времени, когда создавались месторождения самоцветов знаменитой Мурзинки; грандиозная картина древнего поднятия Урала отображена в одной сжатой характеристике. Автор умеет одной-двумя фразами рассказать о победе нового геохимического учения над традиционными представлениями о происхождении каракумской серы: «Не подземный огонь, а море и солнце родили серу».

С любовью говорит автор об эвдиалите — малиново-красном минерале Хибинских гор, с которым он связывает старинную саамскую легенду, или об орских яшмах, чьи цвета и переливы он определяет точным глазом

художника: «Немного мрачная серо-синяя яшма удивительной мягкости тона, с черными мелкими жилочками или серо-зелено-вато-синяя со струйчатыми волнами синевато-серого или сплошного пепельного цвета».

Этнограф и географ, историк и экономист, А. Е. Ферсман смотрит на природу глазами людей, ее преобразующих. Отсюда в его книгах и образы ученых, строителей, технологов, и образы искателей камня, уральских «горщиков», с их трогательной и нежной любовью к самоцвету, и меткие зарисовки старого и нового советского быта народов, жизнь которых приходилось ему наблюдать, и увлекательные картины труда советских людей, преобразивших уральский край, и хибинскую тундру, и среднеазиатскую пустыню.

Мир открыт еще не полностью, и белые пятна существуют и на нашей карте, говорит читателю А. Е. Ферсман в главе об исследованиях в Хибинах и подчеркивает, что «в этом полярном ландшафте и географа и геолога, может быть, ждут не меньшие неожиданности, чем в пустынях Средней Азии или в тайге северо-востока Сибири». Но задача заключается не только в том, чтобы стереть с карты белые пятна. Необходимо более глубоко постигнуть законы развития нашей планеты и всех ее оболочек, чтобы, как писал А. Е. Ферсман, «отдельные точки находок отдельных химических элементов слились в общую закономерную геохимическую картину». Тогда, по словам ученого, «родятся те геохимические выводы, которые позволят смело предсказывать будущее».

Особое место в ферсмановских описаниях путешествий занимает пейзаж. «Как химику земли, — пишет он в главе о каракумской экспедиции, — мне хотелось самому посмотреть на тот своеобразный мир солей и озер, мир выцветов и песков, защитных корок и пустынных загаров, которые характеризуют пустыню и составляют ее красоты». И вот этот таинственный мир открылся глазам путешественника: он у серных бугров Чеммерли. «Разноцветные кремни, покрытые как бы лаком пустынного загара, в огромном количестве лежали по склонам. Над отвесным карнизом намечалась мягкая и ровная вершинка, почти сплошь состоявшая из прекрасной серной руды. Мы не могли нарадоваться этому богатству, и один кусок за другим в восхищении поднимали мы, все более и

более убеждаясь, что эта сера не миф, а реальная действительность, огромная производительная сила, «будущее Туркмении».

В умении показать пейзаж так, чтобы в нем раскрывались черточки будущего, — один из истоков той романтики, какой отличаются лучшие страницы ферсмановских книг. И сегодня, перечитывая рассказы ученого об освоении неведомого ранее, трудно доступного мира Хибин или о перспективах промышленного развития Южного Урала и Средней Азии, читатель с волнением узнает в них приметы времени. Наука, которой ученый отдал жизнь, сегодня помогает добывать сырье для черной и цветной металлургии, строительные материалы, удобрения для наших полей.

Большое воспитательное и познавательное значение книг А. Е. Ферсмана несомненно. Можно только порадоваться, что Детгиз выпустил «Путешествия за камнем».

Нам кажется, однако, что при подготовке этого издания редакция недостаточно пользовалась опытом прижизненных изданий наиболее популярной книги «Занимательная минералогия». Между тем опыт этот поучителен. Как известно, Ферсман вел со своими читателями обширную переписку. В новых изданиях своей книги он многое учитывал, вносил дополнения, облегчающие восприятие текста юными читателями.

«Путешествия за камнем» много сложнее, чем «Занимательная минералогия», и потому особенно важно было так построить справочный аппарат, чтобы он действительно облегчал восприятие текста книги, к тому же не доведенной автором до конца. Помещенный в конце книги «Словарь» не всегда удовлетворяет этому требованию. Он ограничивается сухими справками, не подхватывающими ферсмановских идей и не расширяющимися то, что порой дается автором лишь вскользь, в беглом упоминании или в намеке.

«Мировое значение имеют также и еще мало кому известные минералы будущего — кианит и вермикулиг», — пишет Ферсман. Но словарь, давая справку об этих минералах, не разъясняет, почему именно автор считает их «минералами будущего». «Пробег по «невидимому» Уралу через Мугоджары и «Уралиды» на восток — туда, где они смыкаются с «Тяньшанидами», — намечает Ферсман очередной маршрут автопробега по Уралу. Но в словаре мы ничего не найдем ни об «Уралидах», ни о «Тяньшанидах». Зато есть разъяснение слов

«оранжад» (апельсиновый напиток) и «лукуловский пир», которым место скорее в подстрочных примечаниях.

В то же время в примечаниях не оговорено многое, что следовало бы оговорить. Например, Ферсман рассказывает о горной станции «Тьетта» в Хибинах, как о существующей в прежнем своем виде. В действительности «Тьетта» была уничтожена во время налетов фашистской авиации и после войны заново восстановлена. Ученый говорит лишь о косности старых геологов, мешавших освоению хибинских природных богатств, тогда как позднее стало известно

многое, о чем не догадывались Ферсман и его сотрудники: помехи, которые им чинились, были сознательным вредительством врагов Советской власти, подстрекаемых из-за рубежа.

Плохое впечатление оставляют карты. Хотя они и подражают иллюстрированным картам XVIII века, но по содержанию бедны, в них нет ни указания масштаба, ни значков полезных ископаемых, словом, ничего, что делает карты полезными в «Занимательной минералогии» и «Занимательной геохимии».

И. ИНОЗЕМЦЕВ.

★

Во имя науки

Он похоронен на Колыме, и чтобы увидеть его могилу, нужно проделать часть того путешествия, которое совершил сам ученый. В 1943 году там воздвигнут памятник с надписью: «Выдающемуся исследователю Сибири, Колымы, Индигирки и Яны геологу и географу Ивану Дементьевичу Черскому (1845—1892 гг.) от благодарных потомков».

Огромную роль в судьбе И. Черского сыграло польское восстание 1863 года. За участие в восстании восемнадцатилетний юноша поплатился ссылкой в Сибирь и царской солдатчиной. Светлые университетские аудитории ему заменила грязная заброшенная баня, где при коптящей сальной свечке Черский часами просиживал над приборами, книгами и препаратами. Так были познаны основы естественных наук — от астрономии до антропологии. Неутолимая любовь к знанию помогла Черскому проделать невероятно трудный путь — от ссыльного студента-самоучки до ученого с мировым именем. Сибирский край стал для него новой родиной, суровой, неразгаданной, требующей всех сил, всей жизни.

Сборник трудов И. Д. Черского и статей о нем, подготовленный иркутскими научными работниками, представляет сейчас не только научный, но и большой общественный интерес в связи с освоением северо-востока Сибири.

Впервые публикуются некоторые статьи Черского, свыше пятидесяти его писем и ко-

лымский дневник 1892 года. Филологи могут почерпнуть из этнографических заметок Черского интересные сведения, касающиеся быта, языка и фольклора народностей Севера.

Воспоминания В. Обручева, Б. Дыбовского, С. Шаргородского и Н. Ядринцева рисуют светлый образ ученого-подвижника, беззаветно преданного своей идее, мужественного человека, чуткого, отзывчивого товарища.

В сборнике на ряде материалов широко раскрывается значение научной деятельности Черского. В статье С. Обручева рассказывается об основных этапах жизни и творчества ученого. В. Скалон и П. Ильин характеризуют Черского как крупного зоолога и метеоролога. И. Арембовский и Л. Иваньев рисуют Черского как первого исследователя палеолита на материке Азии. «Невольно пренебрегаясь глубоким уважением, — пишут авторы, — к ясному и мощному уму и великому мужеству человека, который на заре развития русской археологии и притом в крайне неблагоприятной обстановке мог проводить такие исследования». А. Гранина проделала большую работу по составлению библиографии произведений И. Черского и литературы о нем.

В сборнике рассказывается и о сыне И. Черского — Александре Ивановиче Черском, талантливом ученом, достойном своего отца и трагически погибшем на Командорских островах в 1921 году.

В книге хотелось бы видеть более широкую и четкую характеристику социальных взглядов и общественных интересов Черского. Его преданность науке, настойчивое внимание к быту народностей Сибири дают

И. Д. Черский. Неопубликованные статьи, письма и дневники. Статьи о И. Д. Черском и А. И. Черском. Ответственный редактор С. В. Обручев. 371 стр. Иркутское книжное издательство. 1956.

для этого достаточный материал. Судя по ряду воспоминаний, Черский пользовался большой любовью сибирских крестьян и бурят. Он много общался с простым народом, быстро усваивал язык местного населения, собирал материалы, касающиеся верований, народной медицины и т. д. Все это вполне согласуется с теми демократическими и свободолюбивыми устремлениями, которым ученый был предан с юных лет.

Труды И. Д. Черского, помимо их науч-

ной ценности, имеют большое воспитательное значение. Пройдут годы, смелые гипотезы ученого и его коллекции смогут показаться очень скромными, но молодых тружеников науки всегда будет вдохновлять пример Черского, который сумел сделать высокую страсть к познанию целью всей своей жизни. Названный именем Черского величественный горный хребет навсегда увековечил подвиг ученого.

г. Иркутск.

В. ГАЙДУК.

★

Миф о «народном капитализме»

Какой необузданной фантазией надо обладать, чтобы зачислить Моргана, Рокфеллера, Дюпона, Мелона, Форда и других представителей финансовой олигархии США в ряды пролетариев! Но вот председатель Конгресса производственных профсоюзов США Филипп Мэррей считает, что «на деле в Америке нет классов... Мы все здесь рабочие. И в конечном счете интересы фермеров, промышленных рабочих, бизнесменов, служащих и интеллигенции совпадают».

Не меньшей фантазией надо обладать, чтобы представить рабочих, шахтеров, металлургов, мелких служащих в качестве капиталистов. Но вот Э. Джонстон, один из крупнейших бизнесменов США, утверждает, что «скромнейший рабочий на одном из моих электростанций, клерк в банке, в управлении которым я принимаю участие, продавец в моей кирпичной или известковой фирме — не меньше капиталист, чем я сам».

Разоблачению мифа о «народном капитализме» посвящена работа И. Г. Блюмина и И. Н. Дворкина. Авторы подвергают критическому анализу различные теории «народного капитализма», «демократического капитализма» и другие, а также буржуазные вымыслы об ослаблении роли монополий и «бескризисном капитализме», фальсифицирующие капиталистическую действительность.

Виднейшее место в этой лживой пропаганде занимают теории «демократизации» капитала и «уравнения доходов». Буржуазные пропагандисты пытаются, в частности, убедить рабочих в том, что распростране-

ние акций крупных объединений среди миллионов мелких держателей делает тем самым капитализм «народным», а десятки или даже сотни тысяч мелких и мельчайших акционеров превращаются в «совладельцев» акционерных предприятий, в капиталистов.

Беспочвенность этих домыслов очевидна. Буржуазные американские экономисты Б. Баумол и Л. Чендлер вынуждены признать, что «контраст между чрезмерным богатством и бедностью остается характерным для нашей экономики». Об этом же говорил в сентябре 1956 года кандидат в президенты США Стивенсон: «Четырнадцать миллионов американцев принадлежат сейчас к семьям, доход которых не достигает одной тысячи долларов в год». Насколько скромна эта сумма, можно судить по тому, что, даже по официальной буржуазной статистике, прожиточный минимум семьи составляет примерно четыре с половиной тысячи долларов. Стивенсон значительно преуменьшил число американцев, живущих на этот заработок, и к тому же умолчал о трех миллионах полностью безработных.

Данные комитета Геллера по изучению социально-экономических проблем говорят о том, что около семидесяти процентов всех американских семей не может полностью удовлетворить свои скромные потребности.

Господствующие классы США возложили на буржуазных идеологов чрезвычайно трудную задачу: «доказать», что безработица и кризисы не есть порождение самой капиталистической системы хозяйства, а лишь продукт «старого» капитализма, ныне преодоленного в процессе «капиталистической революции», и что «новый» капита-

лизм стал «народным», «бесклассовым», снимающим вопрос о классовой борьбе.

Подавляющее большинство американских трудящихся отлично понимает, что пропасть, отделяющая их от капиталистов, не становится менее глубокой от всей этой шумихи. А она продолжается. «Народный капитализм» широко рекламируется печатью, радио, телевидением. В Америке была даже создана специальная передвижная выставка. Она называлась: «Соединенные Штаты — народный капитализм. Новый путь жизни для людей».

За США по мере сил тянутся другие капиталистические страны. В Англии с целью популяризации идеи «народного капитализма» создана «Экономическая лига», наиболее активными деятелями которой являются 33 директора крупнейших компаний страны, занимающие в общей сложности 229 директорских постов.

Проповедники «новой экономической

системы» стремятся убедить народные массы, что изменяют сущность капитализма, объявив его народным. Но рабочие остаются рабочими, а капиталисты — капиталистами.

Работа И. Г. Блюмина и И. Н. Дворкина — одна из первых, где разоблачаются реакционнейшие «теории» о мнимой трансформации капитализма. Книга заслуживает положительной оценки. Авторам следовало все же полнее и более четко выявить органическую связь между различными теориями «народного капитализма». Критика по существу очень близких «теорий» рассредоточена в разных главах. Это касается, например, «демократизации капитала» и теории «уравнивания доходов». Следствием этого явились некоторые повторения в книге.

Кандидат экономических наук
Д. ВАЛЕНТЕЙ.

★

В защиту книги

Перед зданием Берлинского университета 10 мая 1933 года запылал гигантский костер. Беснующиеся молодчики в коричневых рубашках с дикими ужимками плясали вокруг костра и бросали в огонь книги. Не верилось, что все это происходит в XX веке, в столице государства, давшего миру многих замечательных мыслителей, ученых, писателей.

В этот день было сожжено двадцать пять тысяч томов. Собравшихся приветствовал Геббельс. Погромщики сжигали произведения классиков марксизма, писателей-антифашистов, борцов за мир и ряда прогрессивных писателей, прославивших свою страну и внесших большой вклад в мировую литературу. С этого дня костры из книг стали неизменными спутниками фашизма.

Прошло двадцать лет. Народы мира покончили с германским фашизмом. Но вот в 1953 году во многих странах Европы снова запылали костры из книг. История их такова.

☞ *Anne Lyon Naight. Banned Books. N. Y. 1955 (А. Л. Хейт. Запрещенные книги. Нью-Йорк. 1955).*

A. L. Naight. Verbotene Bücher. Von Homer bis Hemingway. Düsseldorf. 1956 (А. Л. Хейт. Запрещенные книги. От Гомера до Хемингуэя. Дюссельдорф. 1956).

В послевоенные годы во многих западноевропейских городах были созданы так называемые «информационные центры США». В задачу им ставилось пропагандировать пресловутый «американский образ жизни» (впрочем, известно, что работники этих центров не брезговали и самым вульгарным шпионажем). При центрах имеются библиотеки. Понятно, что подбор книг, газет и журналов был в них предельно тенденциозным.

И вот в начале 1953 года в сенате США выступил печальной памяти Маккарти и заявил, что библиотеки зарубежных информационных центров пропагандируют... коммунизм. Вскоре специальная комиссия в составе неких Кона и Шайна отправилась за море инспектировать библиотеки. Путешествие их было поистине молниеносным. За восемнадцать дней они посетили семь европейских стран и, вернувшись в США, доложили, что выявили свыше тридцати тысяч книг «коммунистического содержания». Многие из этих книг вскоре были изъяты из библиотек и уничтожены. Среди них оказались романы Говарда Фаста, Сартра, Синклера Льюиса и многих других писателей.

Кампания по «чистке» библиотек вызвала столь сильную волну протестов в

европейской и американской печати, что президент США Эйзенхауэр вынужден был публично осудить ее. В июне 1953 года президент произнес в одном из колледжей речь: «Не присоединяйтесь к гонителям книги!»

Эти факты заимствованы нами из работы Анны Хейт «Запрещенные книги», вышедшей в 1955 году в Нью-Йорке вторым, исправленным и дополненным изданием и в 1956 году в Дюссельдорфе (на немецком языке). Автора трудно заподозрить в «прокоммунистических настроениях». А. Хейт — президент различных литературных объединений и женских клубов Нью-Йорка, член совета Нью-Йоркской публичной библиотеки. Читатель не найдет в рецензируемой книге сколько-нибудь серьезного отбора и критики источников, как это имеет место, например, в работах русских библиографов Б. С. Боднарского, Д. В. Ульянинского и зарубежных библиографов Г. Губенса, Ф. Друэна, В. Кнутелля, успешно трудившихся над составлением указателей запрещенных и конфискованных изданий. Тем не менее книга Хейт содержит ряд интересных материалов, хорошо освещающих вопрос о том, как обстоит сегодня дело со свободой печати в капиталистических государствах Европы и Америки.

Вот некоторые из этих фактов.

Еще в 1599 году «Элегия» Овидия, переведенные на английский язык Кристофером Марло, были торжественно сожжены в Лондоне по приказу архиепископа Кентерберийского. Три с лишним века спустя, в 1929 году, другое замечательное произведение этого древнеримского лирика, «Искусство любви», подверглось запрету в США. В 1931 году таможенные власти запретили ввоз в страну известных «Метаморфоз» Апулея. В 1934 году чикагская полиция конфисковала издание «Декамерона» Джованни Боккаччо за «порнографию». В 1933 году по той же причине были изъяты репродукции фресок Сикстинской капеллы — гениального произведения Микеланджело. «Неприличие» часто становится благовидным поводом для преследования прогрессивных авторов в США. Здесь существует даже так называемая «Национальная организация благопристойной литературы». В «черном листе», опубликованном этой организацией в 1954 году, мы находим имена Флобера, Золя, Руссо, Хемингуэя, Фолкнера. А годом раньше шесть тысяч эк-

земпляров романа Синклера Льюиса «Королевская кровь», где остро ставится вопрос о преследовании негров в США, были изъяты из американских библиотек, причем в качестве официальной причины значилось то же «неприличие». С другой стороны, иллюстрированные еженедельники, выходящие миллионными тиражами, беспрепятственно помещают на своих страницах фотографии кинодив в виде, весьма далеком от благопристойности.

Книга Хейт посвящена в основном преследованию произведений художественной литературы. Между тем общеизвестно, каким жесточайшим гонениям подвергается в США и прогрессивная научная литература. В частности, сам автор пишет, что в 1954 году в США был конфискован труд В. И. Ленина «Государство и революция». Не составило бы большого труда значительно дополнить Хейт. В нашей и зарубежной печати неоднократно публиковались факты запрещения американскими властями научной литературы — вплоть до конфискации вполне «благонадежного», казалось бы, «Ботанического журнала», единственная «вина» которого состояла в том, что он был издан в Советском Союзе.

Когда реакционеры собираются обрушиться на какого-либо автора или какую-либо книгу, они, как правило, вытаскивают на свет жупел коммунизма. В качестве курьеза расскажем о том, что журнал «Паблишес Уикли» сообщил, что в 1953 году в штате Индиана власти наложили запрет на детские книги о Робине Гуде, о квакерах, ибо, по их мнению, книги эти «играли на руку коммунистической пропаганде». Три года назад школьный совет города Эль Пасо (штат Техас) изъял из школьных библиотек учебник истории, в котором был помещен текст декларации ООН о правах человека. Комментарии, как говорится, излишни.

Жесточайшим преследованиям подвергается книга и в других капиталистических странах. В Ирландии, например, запрещены к изданию все произведения Золя, Франса, Стендаля, Драйзера, Фолкиера, Ремарка, Хемингуэя, Колдуэлла.

Свирепствует цензура во франкистской Испании.

Тяжела судьба прогрессивной книги и в Федеративной Республике Германии. Знаменательно, что из немецкого издания работы Хейт изъяты тексты о преследованиях книги нацистами.

«Приложила руку» к гонениям на книгу и церковь. «Индекс либрорум прохибиторум» («Указатель запрещенных изданий»), выпущенный в Риме папой впервые в 1559 году, с тех пор регулярно переиздается. В книге Хейт приводятся сведения о последнем издании «Индекса» (1948) с дополнениями 1954 года. Список этот обширен и разносторонен. Католикам запрещается читать, например, «Краткую историю Англии» Гольдсмита и «Красное и черное» Стендаля, труды Дарвина и романы Дюма, «Памелу» Ричардсона и «Рассуждения о методе» Декарта.

Нельзя отказать Хейт в известной объективности. Рассказывая, например, о гонениях на Бальзака и Гюго в Испании, она одновременно отмечает, что произведения этих писателей издаются большими тиражами в СССР. Книги Твена, говорит она, являются в Советской России «бестселлерами» (любимым чтением).

Но отсутствие критического подхода к источникам зачастую ставит автора в неловкое положение. Какая-то бульварная газетенка написала, что в СССР запрещены Кант и Декарт, — и Хейт моментально регистрирует это сообщение. Из ее книги можно узнать, что в нашей стране находятся под запретом Конан-Дойл и даже Андерсен, сказки которого, оказывается, изъяты потому, что в них «восхваляются принцы и принцессы».

Сообщим Хейт и ее читателям, что Кант, Декарт, Гегель и другие классики мировой философии неоднократно издавались в СССР. Например, «Избранные произведения» Декарта вышли в свет в 1955 году тиражом в двадцать тысяч экземпляров. Академия наук СССР напечатала его знаменитые «Рассуждения о методе».

Артур Конан-Дойл — один из популярных в нашей стране зарубежных писателей. «Затерянный мир», например, только за последние десять лет неоднократно переиздавался. Общеизвестна популярность Андерсена в нашей стране. Достаточно сказать, что сказка «Гадкий утенок» в 1955 году вышла тиражом в миллион экземпляров. А вот в США, в штате Иллинойс, в 1954 году было постановлено издавать знаменитого датского сказочника со штампом «Только для взрослых», чтобы, как говорилось в решении, «уберечь детей от непристойностей». Сколько бы ни говорилось о свободе печати в США, король на поверку оказывается голым!

Немецкому изданию книги А. Хейт предпослан текст «Ареопагитики» — знаменитой речи в защиту свободы печати, произнесенной Джоном Мильтоном в 1644 году в английском парламенте. «Господа! — призывал великий поэт. — Дайте свободу мысли!»

Этот призыв в условиях капиталистического мира звучит очень злободневно и сегодня.

Е. НЕМИРОВСКИЙ.

★

От Гиппократов до Павлова

«Лекарь Поликоло отвел в сторону пастора Штрumpfа, прищурился значительно, собрал щеки морщинами.

— Сухие жилы, — сказал он, — коими, как известно нашей науке, душа соединяется с телом, в сем случае у господина адмирала наполнены столь сильными мокротами, что душа с каждой минутой притекает к телу по все более узким канальцам, и надо ждать полного закрытия оных мокротами».

Сцену смерти Франца Лефорта из «Петра I» я читала студенткой. Помню, будущий врач во мне усомнился: мог ли лейб-медик сравнительно недавно, двести с небольшим лет назад, поставить такой диаг-

ноз. Нет ли здесь ошибки автора, бессознательного анахронизма?

Но Алексей Толстой был безукоризненно точен, вложив такие слова в уста лейб-медика начала XVIII века, который почти буквально повторяет классические положения античной медицины, созданные Гиппократом и Галеном. Когда Поликоло изучал свое ремесло, его не могли научить ничему другому.

В этом лишний раз убеждает книга «Исследователи человеческого тела». Ее автор — венский профессор Гуго Глязер, гигиенист и историк медицины, — известен рядом своих книг, таких, как «О питье и еде человека», «Открыватели мира» и другие. Г. Глязер — видный общественный деятель, председатель Австро-Советского общества,

Гуго Глязер. Исследователи человеческого тела. От Гиппократов до Павлова. Перевод с немецкого. Под редакцией Б. Д. Петрова. 244 стр. Медгиз. М. 1956.

В своей новой книге Г. Глязер поставил перед собой оригинальную, интересную, но и очень трудную задачу: отобразить в форме популярных очерков эволюцию медицины за два с половиной тысячелетия. «Вряд ли, — пишет автор, — среди многочисленных книг по истории медицины найдется такая, которая наглядно показывает исторический процесс изучения человеческого организма на протяжении столетий. А между тем каждый образованный человек должен был бы иметь представление о том, как протекал этот процесс, кто были люди, шедшие тяжелой дорогой первооткрывателей, на какие трудности они наталкивались».

Работа Г. Глязера написана доступно и в то же время на высоком научном уровне. В предисловии к русскому изданию профессор Г. Гращенков пишет: «Самое ценное в этой популярной книге — многочисленные факты, которые имеют большое воспитательное значение», и дальше: «Яркие описания ряда событий из истории науки окажутся интересными и полезными для популяризации великих материалистических идей, преобразующих мир на новых началах».

Автор разворачивает перед читателем интереснейшую историческую панораму. Язычники Гиппократ и Гален создали античную классическую медицину. Мусульманин таджик Ибн-Сина (в латинской транскрипции Авиценна) спустя несколько столетий систематизировал, дополнил и углубил ее. Написанный им по-арабски «Канон медицины» вскоре был переведен на латинский язык и стал настольной книгой всех врачей.

На заре нашего тысячелетия христианская церковь как бы канонизировала всех троих — язычников и магометанина. Набожный католик Данте Алигьери упоминает об этом в своей «Божественной комедии». Так каждое слово, написанное кем-либо из трех отцов медицинской науки, стало истиной, усомниться в которой мог только безбожник. Церковь прикрыла античную медицину непроницаемой скорлупой, под которой и правильные и ошибочные идеи жили долгие века без каких-либо изменений.

Ярко и увлекательно пишет автор о том, как реформаторы медицины эпохи Возрождения — Леонардо да Винчи, Парацельс, Везалий, Фаллопий, Евстахий и другие, — начиная как ученики «классиков», вскоре неизбежно вступали в острый конфликт с великими тенями. Полемицировать с мертвецами, находящимися под защитой свя-

тейшей инквизиции, было по меньшей мере затруднительно. И все же многие замечательные деятели Ренессанса вели такую борьбу долгие годы.

Церковь многократно, под угрозой страшных кар, запрещала всякое рассечение трупов, необходимое для анатомических исследований. В качестве примера достаточно привести буллу папы Бонифация VIII «О погребении». Стремясь мотивировать эти запрещения, церковь ссылалась на то, что анатомия давно и в совершенстве изучена классиками, что смысла в новых вскрытиях нет, а есть только греховность, нарушение законов божеских и человеческих. Огромный вред, принесенный христианской церковью науке, изучающей человека, показан в книге выпукло и четко.

С большой теплотой упоминает Г. Глязер о тех редких оазисах, где католическому мракобесию не удавалось добиться полной победы над прогрессивной научной мыслью.

Университеты Болоньи и Падуи, позднее — Эдинбургская хирургическая школа да еще, пожалуй, старинный французский университет в Монпелье, смело полемицировавший с реакционной Сорбонной, — вот и весь список учебных центров, которым удалось сохранить какую-то научную независимость.

Главы, посвященные далекому прошлому медицинской науки, удались автору больше всего и будут приняты читателем с интересом и благодарностью. Глава, в которой рассказывается об универсальном гении Леонардо да Винчи, читается, как роман. Если картины и скульптуры, бомбарды и акведуки гениального флорентинца были широко известны при его жизни, то плоды его анатомических трудов дошли до человечества несколько позднее, во второй половине XVI столетия.

Оспователем современной научной анатомии человека Г. Глязер, как и большинство историков медицины, считает современника Леонардо — Андрея Везалия. Главный труд Везалия — классический учебник анатомии — появился в 1543 году, то есть через четверть века после смерти Леонардо. Андрей Везалий был лейб-медиком императора Карла V, а затем его сына, Филиппа II. Когда Везалий был арестован святейшей инквизицией, лишь заступничество Филиппа спасло его от костра. Беспощадный католик-изувер, вдохновитель тысяч сожжений, Филипп II пошел на конфликт с инквизицией...

С известного полотна работы Петера-Пауля Рубенса на нас смотрит круглолицый сангвиник с пронзительными, чуть насмешливыми глазами. Это Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм, вошедший в историю медицины под таинственным именем Парацельса. Вполне правильно рассматривая его как бунтаря, отвергавшего классическую медицину, Г. Глязер указывает, что он «приблизил аптеку к ложу больного».

Замечание вполне справедливо. Парацельс был крупным ботаником, химиком и алхимиком. Он широко пользовался лекарствами, народными средствами, которые собирал по всей Европе. Но разве не стоило упомянуть о том, что, помимо алхимии, Парацельс много занимался «каббалой», оккультными «науками» и даже некромантией? И жизнь и смерть этого удивительно-го человека окутаны тайной. Известно, что он и при жизни и посмертно был несколько раз отлучен от церкви и получил от церковников титул «апостола чернокнижия». В наши дни, когда мутный поток мистики и оккультизма разлился на Западе особенно широко, Парацельс снова вошел в моду.

Г. Глязер рассказывает о ряде неправильных медицинских теорий, хотя не всегда достаточно четко указывает на тот вред, который они приносили развитию науки. Так, он упоминает о «пневме» и «флогистоне», но почти ничего не говорит о том, что они затормозили выход теории горения на правильный путь, то есть открытие кислорода. Преодоление каждой из таких ошибочных теорий создавало необходимые предпосылки для нового, очередного «скачка».

Большое впечатление оставляет глава «Открытие кровообращения». В ней рассказывается о трагической судьбе испано-француза Мигеля Сервета, описавшего легочное кровообращение. После многолетней научной полемике с основоположником нового, протестантского, вероучения женеvским диктатором Кальвином Сервет имел неосторожность попасть в его руки. Обличитель «римской, в пурпур облаченной блудницы» (то есть римско-католической церкви), Кальвин и сам, видимо, недалеко ушел от святых отцов, совершавших аутодафэ на площадях Мадрида и Толедо. Сервет отказался признать свои «пагубные, еретические заблуждения» и 27 октября 1553 года погиб на костре.

Удался автору рассказ, посвященный англичанину Вильяму Гарвею, открывшему

кровообращение и опубликовавшему результаты своих замечательных работ в 1628 году. Жаль только, что живописная история борьбы Гарвея и его учеников с парижской школой анатомов (которых возглавлял крупный ученый Жан Риолан-младший) изложена автором буквально в нескольких строчках.

Наоборот, «погоне за трупом», охватившей врачей в XVII и XVIII столетиях, посвящено слишком много места. Это несколько отклоняет в сторону основную линию повествования.

Несколько неровно написана глава о великом французском ученом Лавуазье, открывшем кислород и изучавшем химию дыхания. Г. Глязер успевает сообщить читателю ряд второстепенных деталей из жизни Лавуазье, но не находит места для главного: Лавуазье был одним из главных освободителей химии от алхимии, таким же реформатором-материалистом, какими были его современники энциклопедисты в области гуманитарных знаний.

Начиная с этой главы краткость становится все более ощутимым недостатком книги. Ученых в книге становится все больше, а говорится о каждом из них все меньше. Плавное течение авторского изложения становится прерывистым и излишне стремительным.

Левенгук, Шлейден и Шванн, Биша, Герлах, Перкин, Рюиш, Гольджи, Рамон-и-Калхал, Хартинг, Штрикер, Клебс — на примере жизни всех этих тружеников микроскопии и подготовки микропрепаратов автор на пяти страницах пытается объяснить читателю сущность перехода от «грубой» хирургии к тонкой и сверхтонкой. Химии организма, загадкам питания, открытию витаминов и роли их в организме (включая авитаминозы), гормональным процессам отводится слишком уж мало места.

Хронологическая последовательность глав заменяется некоей иной, которую можно было бы назвать «подготовительной».

После главы, посвященной гематологии, появляется весьма своеобразная глава «Лицо, череп, мозг», в которой очень занимательно изложены сведения по лафатеровской физиогномике и френологии Галля. Эта глава служит мостом, по которому автор переходит к многочисленной группе ученых, работавших в течение девятнадцатого столетия над изучением головного мозга. Все они перечислены в таком же быстром темпе.

Последняя из глав о великих исследователях человеческого тела посвящена жизни и учению И. П. Павлова.

В предисловии к книге справедливо указывается, что при описании развития науки начиная с восемнадцатого столетия недостаточно освещены работы русских ученых. В частности, это относится к «отцу русской физиологии» И. М. Сеченову, А. М. Филомафитскому, Н. И. Пирогову. Читатель, несомненно, пожалеет об этом именно потому, что все очерки написаны Г. Глязером с глубоким знанием материала и несомнен-

ным литературным талантом (отметим попутно хороший перевод Ю. А. Федосюка).

Два с половиной тысячелетия — поистине «дистанция огромного размера». Уложить ее в тесные рамки одной книги без всякого ущерба практически оказалось слишком трудным.

Медгизу следовало бы продолжить важное и нужное дело, начатое изданием книги Г. Глязера, и подготовить к печати более обширный популярный труд по истории медицины.

Доктор медицинских наук
В. ЗАГОРЯНСКАЯ.

★

Если мерить точной меркой...

Отлично умевший беседовать в своих книгах с юношеством, М. Ильин скавал как-то, что материал науки должен быть «переплавлен в огне искусства». Тогда произведение не просто удовлетворит любознательность, но заденет за живое, не только формально ответит на вопросы, но вызовет глубокий интерес, обратится не только к разуму, но и к чувствам читателя.

В книгах для молодежи все это особенно важно. Попробуем подойти с этой точной меркой, справедливо предложенной М. Ильиным, к некоторым из книг, выпущенных в последнее время «Молодой гвардией» и Детгизом.

Проблемам астрономии, ракетной техники, звездоплавания посвящены книги «Открытие мира» Б. Ляпунова и «Путешествие к далеким мирам» К. Гильзина. Об атомной энергии повествует книга «Солнце на Земле» Е. Балабанова, о «механических слугах человека» — «Рассказы об автоматике» Н. Гонека и М. Ивина.

Текстам книг «Открытие мира» и «Путешествие к далеким мирам» предпосланы почти тождественные эпиграфы: оба авто-

ра посвятили свои работы памяти выдающегося деятеля науки, основоположника астронавтики — Константина Эдуардовича Циолковского (столетие со дня его рождения отмечается в нынешнем сентябре).

Книга «Открытие мира» завоевала популярность юных читателей. Лучшей рекомендацией для нее служит предисловие М. Ильина. Он пишет, что книга «написана горячо, со страстью, с верой в осуществление мечты Циолковского и, больше того, с верой в безграничные возможности человека, человеческого разума. Эта вера заражает читателя. Чем бы ни занимался потом этот читатель, он не забудет о волнении, которое он испытал, читая об «открытии мира».

В книге К. Гильзина также рассказывается о том, как созревала идея межпланетных путешествий, каковы сегодня реальные возможности полетов на Луну и другие планеты.

Однако обе эти книги заслуживают разной оценки. «Путешествие к далеким мирам» мало напоминает научно-художественное произведение. Это скорее сводка фактов, изложенных в определенной последовательности. Через каждые несколько страниц — сноски. Материал излагается академично, почти как в учебнике. «Интригующих» заголовков вроде «Запряжка в полмиллиона лошадей» или «Тающие» снаряды и «тающие» поезда» недостаточно, чтобы книга стала по-настоящему интересной. Этому препятствует бесстрастно написанный текст. Такие книги, если уместно подобное сравнение, хотя и являются литературным переводом с языка науки, но пе-

Б. Ляпунов. Открытие мира. Редактор В. Пекелис. 160 стр. «Молодая гвардия». М. 1956.

К. А. Гильзин. Путешествие к далеким мирам. Ответственные редакторы Г. В. Левенштейн и М. А. Зубков. 280 стр. Детгиз. М. 1956.

Е. Балабанов. Солнце на Земле. Редактор Ф. Федченко. 295 стр. «Молодая гвардия». М. 1956.

Н. Гонека, М. Ивина. Рассказы об автоматике. Научный редактор А. А. Воронов. 176 стр. Детгиз. Л. 1957.

реводом «подстрочным», а не художественным.

Последняя часть «Путешествия к далеким мирам» носит название «Побываем в будущем». Приведем небольшой отрывок.

Инженер стал рассказывать школьникам:

« — Высота корабля — более 50 метров, а его диаметр в самой широкой части — 6 метров. По форме он, как видите, напоминает гигантский снаряд, снабженный спереди треугольными крыльями. При взлете из общего веса корабля 940 тонн 814 приходится на долю топлива. Это составляет более 86 процентов. Меньше 14 процентов, всего 126 тонн, весят конструкция корабля, его оборудование и пассажиры...»

Нужны ли в научно-художественной или даже в научно-популярной книге подобные лекции со множеством цифр? И так ли уж оживляют изложение надоевшие читателям экскурсии безликих ребят со скучно поучающим их безликим инженером?

В самый торжественный момент, когда люди прибывают на Луну, К. Гильзин ограничивается справкой: диск Земли в четыре раза больше лунного, свет его в восемьдесят раз ярче лунного света и т. д. и т. п.

Конечно, нельзя считать, что научно-популярные издания, подобные книге К. Гильзина, вообще не нужны. Но ведь речь идет о книге, изданной Детгизом! И поэтому ее достоинства должны определяться не только суммой полезных знаний, которые она содержит, но и тем способом, которым автор доводит эти знания до юного читателя, то есть доходчивой и увлекательной литературной формой. Лишь в этом случае книга станет подлинным другом и советчиком молодежи, пробудит в ней любознательность, стремление к узнаванию новых, неизвестных вещей.

На сессии Академии наук СССР по мирному использованию атомной энергии президент Академии А. Н. Несмеянов сказал: «Настало время вместо использования жалких крох консервированной в том или ином виде на нашей планете колоссальной энергии солнца создать свое солнце на Земле!» С проблемой использования грандиозных запасов энергии, заключенных в атомном ядре, знакомит работа Е. Балабанова «Солнце на Земле». Эта книга — не сухой рассказ ученого. Автор стремится показать романтику открытий и изобретений. Жизнь изложения достигается здесь не шаблонными приемами. Она органически при-

суша стилю и языку автора и помогает молодому читателю проникнуть в самую суть излагаемого материала. В книге отсутствуют излишние подробности и ненужная детализация, приводящая иногда к тому, что за деревьями не видишь леса.

Несомненное достоинство книги «Солнце на Земле» — наличие «внутреннего сюжета». Логическая нить повествования заставляет читателя следовать за ходом авторской мысли, как бы становиться участником научного эксперимента.

Книги Е. Балабанова и Б. Ляпунова написаны, если можно так выразиться, в свободной манере, без наукообразной натуги. Образный язык их резко отличается от стандартной беллетристики, против которой так восставал М. Ильин.

И все же хорошие книги Е. Балабанова и Б. Ляпунова не лишены недостатков.

В «Открытии мира» встречаются повторения и небрежно написанные страницы; не до конца продумана композиция. Кое-где автор сбивается на беглое перечисление. В «Солнце на Земле» автор нет-нет да и согрешит против хорошего вкуса. Е. Балабанов не ограждает читателя от встречи с «седеющим профессором», удивительно напоминающим своей полпой и абсолютной безликостью инженера, скучно поучающего ребят в книге К. Гильзина.

С иной, значительно более досадной категорией недостатков мы встречаемся в книге Н. Гонека и М. Ивина «Рассказы об автоматике». Авторы задались целью поведать читателям «о том, как устроены и как работают некоторые из наших механических слуг». В предисловии они обещают рассказать и «о том новом в автоматике и телемеханике, что каждодневно входит в нашу жизнь», справедливо полагая, что «каждому надо знать принципы работы автоматов, их устройство, как знаем мы по школьным урокам устройство простейших машин». Но авторы выполняют свои обещания плохо, формально и без того уважения к читателю, которое есть в книгах Б. Ляпунова, К. Гильзина и Е. Балабанова.

Когда читаешь «Рассказы об автоматике», создается впечатление, что авторы не в одинаковой мере владеют материалом, относящимся к различным отраслям техники.

Иногда авторы с жаром объясняют читателю вполне общедоступные вещи, но часто

лишь вскользь упоминают о весьма сложных понятиях, как бы делая вид, что они вовсе не нуждаются в расшифровке. Впрочем, даже такое мимолетное упоминание предпочтительнее неудачного объяснения, каким, например, является описание работы электронной счетной машины. Прочитав его, читатель вправе спросить: а как же работает такая машина?

Стремясь «доходчиво» подать материал, авторы иногда вносят путаницу в ряд понятий.

«...Тройка добрых коней везет в гору тяжело нагруженный воз. Возница поглядывает, чтобы все лошади тянули добросовестно. Если правая пристяжная — она с хитринкой, с норовом — начнет вилять, ездовой подстегивает ее кнутом. Можно ли сравнивать электрический генератор с лошадей? В какой-то степени, очень условно, можно. Мощность, или нагрузка станции, — это тот же воз с поклажей. Мощность зависит от количества энергии, которое берет потребитель...» (стр. 65).

Отвлекаясь от литературной ценности приведенного отрывка, уместно спросить, зачем авторы отождествляют мощность станции с ее нагрузкой? Ведь это разные понятия. И почему мощность станции зависит от «количества энергии, которое (?) берут потребители»? Неужели, если они будут брать меньше, мощность станции уменьшится?

Показывая, что может произойти из-за плохой работы регулятора или возбуждителя, Н. Гонек и М. Ивин пишут: «В конце концов может создаться такое положение, когда «отставший» генератор уже не только не будет давать ток в сеть, но станет потребителем энергии, вырабатываемой его соседями. Ведь сбросивший нагрузку генератор продолжает вращаться. Но он перестал быть генератором, он стал двигателем, затрачивающим энергию на свое вращение».

Легко себе представить недоумение юного читателя (о специалистах нечего и говорить). В школе, на уроках физики, он усвоил, что электрические машины обладают свойством обратимости — генератор может стать двигателем. Но для этого нужно, чтобы машина не просто «продолжала вращаться», — необходимо, чтобы она изменила направление вращения! И каким образом генератор, став двигателем, начнет «затрачивать» энергию на свое вращение? Что же, он сам себя вертит? Ведь так и до «перпетуум мобиле» недалеко!

Или вот другой пример. Авторы пишут: «Вентильный фотоэлемент является в подлинном смысле крохотной электростанцией, работающей на «желтом угле», то есть на солнечном свете» (стр. 24). Такое утверждение кого угодно может сбить с толку, ибо «желтым углем» называется не солнечный свет, а энергия солнечного излучения.

Ограниченность места не позволяет перечислять все ошибки, встречающиеся в «Рассказах об автоматике».

Язык книги не менее неряшлив, чем технические описания. Вот некоторые примеры: «Часы бьют по-разному — на четверть часа, на полчаса, на час» (стр. 11). «Суточная производительность такой машины — бумажная лента длиной 600 километров при ширине в 7 метров» (стр. 12).

Многочисленные языковые погрешности, недопустимые сами по себе, в книге Н. Гонка и М. Ивина часто приводят к технически неграмотному изложению. «...Мы затрачиваем энергию, нужную для того, чтобы оторвать электроны от оболочек или просто привести их в движение» (стр. 23). Кого «их»? Электроны или оболочки? «Так как между ними приложено напряжение...» (стр. 26). Приложить напряжение можно к чему-нибудь, а не между чем-нибудь.

Приведенных примеров достаточно, чтобы заключить, что книга Н. Гонка и М. Ивина не делает чести ни ее авторам, ни издательству.

Теперь несколько слов об иллюстрациях. Они должны помочь читателю разобраться в материале, пояснить текст, дополнить его. Поэтому авторам научно-популярных произведений не следует механически переносить в свои книги чертежи и схемы из используемых первоисточников. Вместе с художниками нужно так переработать эти рисунки, чтобы они стали доступны пониманию читателей, не знакомых с техническим черчением или условностями схем. Рисунки в научно-популярных книгах должны быть наглядными и выразительными.

В этом отношении книги Б. Ляпунова и К. Гильзина выгодно отличаются от книг Е. Балабанова, Н. Гонка и М. Ивина.

Многие из схем, приведенных в «Рассказах об автоматике», могут быть поняты только специалистами, но никак не школьниками, для которых они предназначены. Что же касается обложки, то ничем другим, кроме отсутствия художественного вкуса у работников издательства, нельзя объяс-

нить изображенного на ней железного истукана в рыцарских доспехах и с головой идола. Непонятно, что олицетворяет это чудовище? Если механического человека — робота, то изображение неверно и технически безграмотно; если что-либо другое, то непонятно — что и зачем.

Научно-популярная литература для юношества играет громадную роль в воспитании и формировании мировоззрения молодежи. К ее изданию следует относиться с большой ответственностью и с большой любовью.

Инженер М. ГОЛЕЙ.

★

Автор семисот научных трудов

Круг научных интересов академика Льва Семеновича Берга был исключительно широким, и вполне можно согласиться с его биографами И. Ф. Правдиным и В. С. Чепурновым в том, что «Берг — это научная энциклопедия, университет».

Ученый опубликовал более семисот трудов по различным отраслям науки: географии, зоологии, ихтиологии, климатологии, геологии, почвоведению, ботанике, агрономии, этнографии, истории науки. Он известен также как выдающийся педагог, подготовивший сотни специалистов. В течение многих лет Берг возглавлял Всесоюзное географическое общество — одно из старейших и наиболее крупных научных обществ нашей страны.

Книга о Берге издана Кишиневским университетом, и это не случайно: он родился в Молдавии, в городе Бендеры, окончил с золотой медалью кишиневскую гимназию. Первые впечатления натуралиста, первые его шаги на поприще естествознания были связаны с Молдавией, и этого ученый не забывал никогда. «Бессарабия — моя родина», — часто повторял он. В 1918 году, когда Бессарабия была насильственно захвачена боярской Румынией, Берг писал: «Никогда никто не согласится с отторжением от России лучшего края ее территории». Первая научная работа Берга, напечатанная в 1897 году, содержала описание коллекции рыб Бессарабской губернии. В другом раннем труде он писал о своих успешных опытах по выкормке в условиях Молдавии шелковичных червей.

В первой части рецензируемой книги рассказывается о жизненном пути ученого, во второй — о его научной деятельности.

Первой самостоятельной научной рабо-

той Берга после окончания (также с золотой медалью) Московского университета явилось изучение озер южной части Западно-Сибирской низменности и Северного Казахстана. Затем молодого ученого назначили смотрителем рыбных промыслов в низовьях Сыр-Дарьи, у впадения ее в Аральское море. Начинаящий исследователь быстро сумел опровергнуть господствовавшее тогда мнение о будто бы происходящем усыхании этого озера-моря и установил, что оно является в геологическом смысле молодым водоемом.

В эти же годы Берг провел исследования и других крупных озер — Балхаша и Иссык-Куля.

В 1909 году Берг опубликовал свою ныне всемирно известную книгу «Аральское море», которую он представил в Московский университет в качестве магистерской диссертации. Работа эта была настолько оригинальна, что соискателю присвоили за нее сразу степень доктора географии. Книга «Аральское море» была плодом неустанный исследовательского труда на протяжении десятилетия. И на этом и на ряде других примеров авторы показывают удивительное трудолюбие ученого, его целеустремленность.

В последующие годы Берг сосредоточил свои силы преимущественно на решении разнообразных проблем географии и ихтиологии. Он работал в Зоологическом институте Академии наук СССР и был профессором различных учебных заведений. Особенно тесную связь он поддерживал с Ленинградским университетом.

Значительный размах имели экспедиции Берга. Мы видим пытливого путешественника и на ледниках в верховьях реки Исфары в Средней Азии, и на знаменитом высокогорном озере Севан в Армении, и в пустынных песках Большие Гарсуки.

Часто ученый совершал поездки по зарубежным странам. В Австрийском Тироле он

И. Ф. Правдин и В. С. Чепурнов. Академик Лев Семенович Берг (1876—1950 гг.). Редактор Н. Куликов. 108 стр. Государственное издательство Молдавии. Кишинев, 1956.

изучал ледники, побесител Норвегию, Германию, Италию, Корею. Как делегат Тихоокеанского научного конгресса он в 1926 году ездил в Японию и по возвращении опубликовал работу о ее сельском хозяйстве.

Многочисленные и тщательно выполненные исследования природы СССР и других стран, прекрасное знание научной литературы на нескольких языках, умение обобщать материалы и идеи других ученых, огромная трудоспособность — все это позволило Бергу создать труды мирового значения.

На первое место здесь нужно поставить широко известный двухтомник «Физико-географические (ландшафтные) зоны СССР», вышедший тремя изданиями в 1931, 1937 и 1947 годах. Это настольные книги географа-исследователя, учителя географии, краеведа, студента-географа, да и всякого интересующегося природой родной страны. Исходя из представлений В. В. Докучаева, которого Берг считал своим учителем, он детально и широко характеризует двенадцать основных природных зон Северного полушария. Каждая из них рассматривается и как особая область в сельскохозяйственном отношении. Вслед за Докучаевым Берг не раз подчеркивал необходимость строго зонального подхода при решении агрономических вопросов.

Очень важное значение имеют и такие труды ученого, как «Основы климатологии» и «Климат и жизнь».

Многочратно переиздававшимся трудом Берга «Рыбы пресных вод СССР и сопредельных стран» и другими его работами

широко пользуются не только советские ученые, но и ученые Китая, Индии, Японии, Америки, европейских стран. «...Нет ни одной крупной ихтиологической работы на иностранных языках, — пишут авторы, — где не было бы имени Л. С. Берга. В этом отношении Л. С. Бергу принадлежит виднейшее место во всем мире». Многие труды ученого содержат ценные практические предложения по рыболовству и рыборазведению в реках, озерах и морях.

В книге И. Ф. Правдина и В. С. Чепурнова выпукло показана роль Берга в развитии многих наук. Все же многие стороны деятельности ученого заслуживали более полного освещения. В частности, мало сказано о книге Берга «Бессарабия», недостаточно ясно изложены его идеи о происхождении лёсса — этой важной почвообразующей породы, занимающей большие пространства почти на всех континентах; полнее следовало разработать тему «Берг — историк науки». Следовало резче подчеркнуть значение научных исследований Берга для дальнейшего развития естествознания.

Идеи Берга живут и успешно разрабатываются сейчас многими советскими учеными, в печати появился ряд материалов, расширяющих наши знания о жизни академика Берга и его научном творчестве. Тем не менее, думается нам, необходимо подготовить более полную научную биографию Льва Семеновича Берга — выдающегося географа-энциклопедиста нашей страны.

И. КРУПЕНИКОВ.

г. Кишинев.



ОТГОЛОСКИ МИНУВШЕГО

(Последняя строчка по созвучию ассоциировалась с фамилией обер-прокурора святейшего синода Победоносцева.)

Товарищ Гарденин, кроме этой басни, сообщает также дополнительные сведения о басне «Ослы и Лев». Он пишет:

ИЗ ПИСЕМ ЧИТАТЕЛЕЙ Мы получили два интересных отклика на заметку В. Шепелева о найденной им анонимной басне «Ослы и Лев» («Новый мир» № 9 за 1956 год), которая была написана по поводу отлучения от церкви Л. Н. Толстого. Авторы откликов — В. Гарденин (Москва) и А. Смирницкий (Ленинград) — прислали текст другой басни, написанной по тому же поводу и тоже анонимной. За исключением нескольких деталей, тексты, присланные товарищами Гардениным и Смирницким, совпадают.

Как дело началось — не помню, хоть убей,
Но только семь смиренных голубей,
Узнав, что Лев не хочет их блюсти обычай,
А вздумал (дерзость какова!)
Жить наподобье Льва,
Решили отлучить его от стаи птичьей.
Ни для кого уж не секрет,
Что послан Льву такой декрет:
«Чтоб с голубятни он не смел летать,
Покуда не начнет, как голубь, ворковать;
Ликуют голуби: «Мы победили тут,
Мы надо Львом свершили правый суд,
В лице своем соединить умея
И кротость голубя и мудрость змея!»
Вопрос нам, может, зададут:
«Да где ж победа тут?»
Но так как, если верить слуху,
Те голуби сродни святому духу,
То каждый, чтобы быть целей,
Всяк шкурой дорожа своей,
Конечно, от таких воздержится вопроцев
И будет славить голубей победоносцев!

ные сведения о басне «Ослы и Лев». Он пишет:

«У меня сохранилась со времен студенчества небольшая книжка, изданная на русском языке в Швейцарии, в Давосе, в 1904 году и распространявшаяся в России нелегально. Это сборник русских революционных стихотворений «Под гнетом самодержавия» — один из выпусков «Русской свободной библиотеки». Там напечатана и басня «Ослы и Лев». Автор не указан. Вариант текста, напечатанного в сборнике, мне кажется более правильным, чем вариант, найденный В. Шепелевым в Орловском архиве. Так, вместо строчки, приведенной в заметке В. Шепелева, «Лев назван гибельным служителем страны» стоит «Лев назван гибельным смутителем страны». Вместо «И сановнейших ослиных семь голов» читается «И сановитейших ослиных семь голов», что правильнее и по размеру стиха. Вместо «сказал, метнув хвостом», в тексте «сказал, махнув хвостом».

Таким образом, теперь читатель познакомился с двумя баснями пока неизвестных. к сожалению, авторов, иллюстрирующих отношение русской интеллигенции к акту отлучения царским правительством Л. Толстого от церкви.



РЪЕ ПЛАИЖИ

„МУЗЕЙ СЕЛА НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ“

В Хельсинки есть скалистый, поросший сосняком «Беличий остров». Пройдя по длинному мосту, вы словно вступаете в сказочный мир. По ветвям с деревьев спускаются белки, взбираются вам на плечо, залезают лапками в карманы, отыскивая лакомства, раскрывают бумажные картузики, которые приносят посетители, и выбирают оттуда орешки. Белки эти доверчивы, так же как и синицы, которые, цепко сжав лапками ваш палец, спокойно поклевывают хлебные крошки с раскрытой ладони. К самому берегу, к ногам, подплывают дикие утки, ожидая подачки. А в тени высоких сосен стоят на лапчатых пнях, словно «избы на курьих ножках», рубленые бревенчатые клетки, где в старину крестьяне хранили зерно. Рядом с такой клетью — замшелый овин, а немного поодаль — старинный крестьянский дом с надворными постройками. Неподалеку от курной избы стоит дом зажиточного поселянина, а за ним на каменистом пригорке — крылатая ветряная мельница.

«Беличий остров» — музей, куда финны собрали из всех губерний образцы старых деревенских строений, музей, в котором овеществлена история уходящего в прошлое быта

финского поселянина — и безземельного торпаря-издольщика и зажиточного земледельца.

...В приморском древнем городе

Турку, чуть ли не в самом центре, среди новых каменных зданий, вы вдруг входите в деревянный, утвержденный на гранитных валунах городок. Несколько кварталов словно перенесено сюда из сказки о спящей царевне. Это Луостаримяки — Монастырская гора, район, уцелевший от страшного пожара в начале прошлого века, пожара, после которого Турку утратил свое первенство среди городов Финляндии. Эти несколько кварталов петровских времен превращены в заповедник-музей.

Дом скорняка с распластанной вместо вывески кошкой. Дом сапожника с огромным деревянным сапогом, висящим над воротами. Мастерская и жилье ювелира, где все инструменты лежат на верстаке рядом с витриной (в которой кольца, браслеты, запястья, брошки и серьги) так, словно их хозяин через часок вернется и приступит к работе. Над переулком золотится выборгский крендель. Здесь рядом с домом гончара — булочная-пекарня, такая, какой она была во времена Великой Северной войны, с комнаткой, где посетитель мог из небольших чашек пить душистый кофе. Кажется даже, что и сейчас ощущаешь его аромат. А вот дом семьи моряков. Здесь жены и матери с привычной теплотой тревогой ожидали возвращения своих мужей

и сыновей из дальних плаваний. На тесаных полках, некрашенных и потемневших от времени, расставлены заморские диковины, сувениры. Под потолком подвешены тщательно сделанные модели бригантин и бригов. А позади, за очагом кухни, — небольшая комнатка с низким потолком и маленьким оконцем. Эту каморку снимал студент Абосского университета. На столе у окошка раскрыты его книги, словно он сейчас вернется с дружеской пирушки, чтобы засесть за зубрежку.

— В этом домике, — показывают вам, — жила первая портниха в истории города. Вернее, первая, которая стала шить на других за деньги...

Так эти восемь кварталов превращены в своеобразный исторический музей быта городских ремесленников.

Подлинность вещей придает всему виденному большую достоверность и производит на посетителей большее впечатление, чем обычные музейные макеты.

В Бухаресте «Музей села на открытом воздухе» раскинулся на берегу озера. Сюда из самых разных уголков страны свезены типичные крестьянские постройки, с оградами, резными крылечками, со всеми областными особенностями архитектуры. В каждом доме на некрашенных столах и стенах поставлена и разгешана домашняя утварь — все эти облитые глазурью кувшины, дерюжные дорожки, тарелки и ложки, в создании которых ремесло сочеталось с искусством. Перевезенная сюда старая сельская церковь с крестом на шпиле, отраженном в

озере, придает законченность этой сборной всерумынской деревне, которая видна как на ладони с башни нового высотного Дома Скынтейи — замечательного произведения архитектуры сегодняшней Румынии.

И в Хельсинки и в Бухаресте мы вспоминали о такой же сборной латышской деревне на окраине Риги. Здесь тоже дома собраны со всех районов Латвии. Рядом с огромной старинной корчмой — пасека, ульи которой выдолблены в стволах деревьев.

Прекрасная резьба по дереву соседствует с темной, без окон, клетью для батраков; примитивная живопись сельской церквушки угрожает грешникам карой на том свете; для них же на этом свете рядом с церковью вкопан позорный столб.

Мне думается, что и у нас, в РСФСР, надо бы создать такую деревню, собрать образцы народной сельской архитектуры — от

курной баньки до изукрашенной резными наличниками, тончайшим деревянным кружевом подмосковной избы. В этой деревне можно собрать и вологодские многооконные избы, и олонецкие пятистенки с высокими дворами, с огромными русскими печами, и мазанки Орловщины с глинобитными полами. Со всей присущей им утварью, с берестяными туесами, с вышитыми полотенцами, долбленной из дерева посудой и керамикой деревенских гончаров, они должны быть свезены в специально для этого отведенное место. Это сборное село может быть построено где-нибудь поблизости от Всесоюзной сельскохозяйственной выставки или в каком-нибудь другом месте вблизи от Москвы.

Вероятно, имеет смысл создать три отделения «музея на открытом воздухе»: починки северной лесной зоны, деревня нечерноземной полосы и степное чернземное село. Здесь,

в избе, срубленной без единого гвоздя (великолепном образце плотницкого мастерства), можно было бы увидеть и лучину, которую молодежь знает только по песням, и лапти, из-за которых погибли целые леса: ведь для одной пары лаптей надо было надрать лыко с двух семи-восьмилетних лип.

Мы научились передвигать многоэтажные каменные здания, и думается, что не так уж сложно будет собрать вместе небольшие бревенчатые дома.

Сейчас, когда электричество и радио входят в быт колхозной деревни, когда растут новые совхозные поселки полугородского типа и старое на глазах уходит в историю, создание такого музея приобретает большое значение для воспитания молодежи, которая, для того чтобы правильно оценить сегодняшний день, должна хорошо знать о прошлом.

Геннадий ФИШ.



МЕЖДУ ПРОЧИМ...

ПОПРАВКА К ПОПРАВКЕ

Как повелевает добрая традиция, всякий рецензент, отметив достоинства рецензируемой книги, тщится упомянуть и о некоторых недостатках и замеченных ошибках. Это правило принадлежит к кодексу хорошего редакционного тона. Придерживаются его и в редакции журнала «Вопросы истории».

В № 1 «Вопросы истории» за 1957 год помещена рецензия Е. И. Дружининой на книгу немецкого профессора Эдуарда Винтера (ГДР) «Галле как первый очаг германской науки о России в XVIII веке» (Берлин. 1953). Рецензентка, отмечая обилие нового и интересного материала, представляющего значительную ценность для истории русско-немецких культурных связей, не преминула указать, что в книгу «вкрались отдельные неточности фактического порядка». Так, например, «М. В. Ломоносов вернулся из-за границы не в 1742 г. (стр. 90), а в 1741, и не из Марбурга (стр. 197), а из Фрейбурга» (стр. 168).

К сожалению, рецензентка, как гласит старинная поговорка, не поглядев в святцы, бухнула в колокола. М. В. Ломоносов действительно возвратился в Петербург из-за границы 8 июня 1741 года (по старому стилю). Но возвратился он не из Фрейбурга, ибо этот

город находится в Баден-Вюртемберге, где Ломоносов никогда не был. Он обучался горному делу во Фрейберге (Саксония). По тогдашним временам это были даже два разных государства. Однако Ломоносов выехал на родину и не из Фрейберга, откуда он ушел пешком в мае 1740 года и никогда больше туда не возвращался, хотя много странствовал по Германии и Голландии. Вернулся он все-таки из Марбурга (через Ганновер и Любек).

Остается пожелать, чтобы добросовестные историки, отмечая «неточности фактического порядка», сами не грешили против фактов.

Александр МОРОЗОВ.

★

ШЕРЛОК ХОЛМС, ДАТЧАНЕ И НОРМАННЫ

Куйбышевское книжное издательство выпустило «Записки о Шерлоке Холмсе» А. Конан-Дойла. На странице 85 книги одно из действующих лиц упоминает о завоевании Англии норманнами. К этой фразе имеется следующее подстрочное примечание: в XI веке норманны (датчане) покорили Англию, и датский король Кнуд Великий был провозглашен королем Англии.

Странно! До сих пор считалось, что датчане — это одно, а норманны — другое. И герцогом норманнов, завоевавшим в XI веке (точнее в 1066 году) Англию, был Вильгельм Завоеватель. Что касается датского короля Кнуда Великого, то хотя держава, которой он управлял, и включала в себя Англию

(в 1017 — 1035 годах), никакого отношения к нормандскому завоеванию Англии он не имел. Более того, если верить Большой Советской Энциклопедии, этот король скончался, не дожив целых тридцати лет до нормандского завоевания Англии.

Пожалуй, не нужно быть Шерлоком Холмсом для того, чтобы сделать определенные выводы о степени знакомства редактора М. Н. Старостина с курсом истории средних веков, изучаемым школьниками — основными читателями редактировавшейся им книги.

А. З.

★

В ЗАЩИТУ ТОЧНОСТИ

В недавно вышедшей книге профессора А. Н. Соколова «От романтизма к реализму. Из курса лекций по истории русской литературы XIX века» (Издательство Московского университета. 1957. Редактор В. Кулешов) есть страницы, посвященные творчеству одного из создателей русской реалистической повести — Н. Ф. Павлова, произведения которого в тридцатые годы вызвали гнев Николая I и были высоко оценены такими авторитетными судьями, как Пушкин, Гоголь, Белинский, Тютчев, Чаадаев, В. Одоевский.

Имя Павлова сопровождается здесь на странице 211 следующими датами: 1811—1860. Между тем известно, что Н. Ф. Павлов умер в 1864 году. Датой же его рождения принято было считать 1805 год. (Автору этих строк удалось разы-

сказать запись в метрической книге одной из московских церквей, свидетельствующую о том, что Н. Ф. Павлов родился 7 сентября 1803 года.) Во всяком случае годы, указанные в книге А. Соколова, нужно признать совершенно фантастическими: жизнь писателя оказалась укороченной на двенадцать лет.

Н. Ф. Павлову вообще явно не повезло у наших историков литературы, библиографов и комментаторов: в справочных изданиях и историко-литературных трудах (как дореволюционного, так и советского времени) о нем сплошь да рядом сообщаются неверные сведения.

«Литературная энциклопедия», например, заставила Павлова окончить юридический факультет Московского университета вместо «отделения словесных наук». По данным той же энциклопедии, Павлов начал литературную деятельность только в 1825 году, хотя уже в 1823 году он выступил в печати с басней «Блестки» (из Арно), в 1824 году в «Мнемозине» печатались его стихи, а еще раньше он переводил с французского пьесы, которые шли на тогдашней сцене.

Грешит неточностями и VI том академической «Истории русской литературы» (Издательство АН СССР,

1953). Здесь, например, утверждается, что Павлов «был выслан на жительство в Пермь» в 1852 году. На самом же деле ссылка произошла в 1853 году. Автор же примечаний к письмам И. И. Панаева, опубликованным в «Трудах Всесоюзной библиотеки имени Ленина» (IV сборник. М. 1939), отнес эту ссылку ко времени создания повестей «Именины» и «Ятаган» (то есть к тридцатым годам) и объявил, что именно повести были причиной высылки Павлова, хотя между появлением повестей и ссылкой прошло восемнадцать лет.

Н. ТРИФОНОВ.



КОРОТКО О КНИГАХ

С. С. ДЕЕВ, Г. К. НИКОЛАИЧЕВ. В борьбе за Великий Октябрь (Иваново-Вознесенская партийная организация в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции). Ивановское книжное издательство. 1957. 148 стр. Цена 2 р. 80 к.

Известие об установлении Советской власти в Иваново-Вознесенском районе, как вспоминал М. В. Фрунзе, «было восторженно встречено широкими массами и быстро распространилось повсюду... все противники переворота из числа интеллигенции и городского мещанства не могли бы слова сказать прогив при том настроении, какое имело место в народе». Не удивительно, что отдельные вылазки контрреволюции были пресечены в корне.

В книге С. С. Деева и Г. К. Николаичева рассказывается о том, как Иваново-Вознесенская большевистская организация — одна из старейших партийных организаций в стране — возглавила революционную борьбу масс между Февралем и Октябрем. Ярко нарисованы фигуры руководителей революционной борьбы иванововознесенцев — М. В. Фрунзе, Ф. Н. Самойлова, Д. А. Фурманова и многих других участников октябрьских боев.

П. С. СТЕПАНОВ. Борьба за укрепление Советской власти в Смоленской губернии в 1917—1920 гг. Смоленское книжное издательство. 1957. 144 стр. Цена 2 р. 80 к.

Вооруженное восстание началось в Смоленске вечером 30 октября (12 ноября) 1917 года. На следующий день власть Временного правительства была здесь свергнута.

Накануне Октябрьской революции около двенадцати тысяч крестьянских хозяйств на Смоленщине не имели земли, почти в пяти тысячах хозяйств не было никакого скота. Революция дала смоленским крестьянам более полутора миллионов десятин земли, конфискованной у помещиков и духовенства.

Широко используя архивные документы, автор рассказывает о борьбе трудящихся Смоленской губернии за становление Советской власти, о том, как разрывалось строительство социалистической экономики. Отдельные главы книги посвящены участию смоленских рабочих и крестьян в разгроме интервентов и белогвардейцев, ликвидации контрреволюционных банд в губернии.

БОРЬБА ЗА СОВЕТСКУЮ ВЛАСТЬ В САМАРСКОЙ ГУБЕРНИИ. Куйбышевское книжное издательство. 1957. 292 стр. Цена 5 р. 65 к.

...Начало сентября 1918 года. В Москве только что произведено покушение на В. И. Ленина. Воины Красной Армии, стремительным ударом выбив белых из Симбирска, шлют телеграмму любимому вождю: «Дорогой Владимир Ильич! Взятие Вашего родного города — это ответ на Вашу одну рану, а за вторую — будет Самара!». «Взятие Симбирска — моего родного города, — ответил Ленин, — есть самая целебная, самая лучшая повязка на мои раны. Я чувствую небывалый прилив бодрости и сил. Поздравляю красноармейцев с победой и от имени всех трудящихся благодарю за все их жертвы».

Об этом эпизоде гражданской войны рассказано в коллективном труде В. И. Писарева, Е. И. Медведева, К. Я. Наекина и Ф. А. Каревского. В книге использован ряд материалов куйбышевских архивов, воссоздающих страницы борьбы за Советскую власть в Самарской губернии.

Д. БУДАЕВ. Рабочие-революционеры смоляне. Смоленское книжное издательство. 1957. 102 стр. Цена 2 р. 40 к.

Людей, подобных тем, кому посвящена настоящая книга, В. И. Ленин называл «народными героями русской революции». «...Все, что отвоевано было у царского самодержавия, отвоевано и склочито ельно борьбой масс, руководимых такими людьми...»

Автор рассказывает о выдающихся представителях русского рабочего движения — уроженцах Смоленского края и об активных участниках борьбы за установление и упрочение Советской власти на Смоленщине. Книга открывается очерком о смолянине Петре Алексееве, который в 1877 году произнес перед царским судом бесстрашные пророческие слова о том, что под мускулистой рукой миллионов рабочего люда разлетится в прах ярмо деспотизма.

В следующих очерках освещается деятельность Петра Моисеенко, чье имя связано с революционным рабочим движением начиная с семидесятых годов XIX века и вплоть до Великой Октябрьской социалистической революции, а также его товарища по организации знаменитой Морозовской стачки Луки Иванова (Абраменкова). Со страниц книги встают светлые образы

героев, отдавших жизнь за победу советского строя — В. З. Соболева, В. И. Смирнова, Я. Е. Демидова.

ДОКУМЕНТЫ О РЕВОЛЮЦИОННЫХ СОБЫТИЯХ 1905—1907 гг. В ЯКУТИИ. Якутское книжное издательство. 1957. 208 стр. Цена 7 р. 80 к.

В сборник вошли документы, отражающие вооруженный протест якутских политических ссыльных (февраль—март 1904 года), деятельность образованных в Якутии союзов, создание первой в Якутии социал-демократической организации, забастовки крестьян-ямщиков, волнения среди Вилюйской казачьей команды и т. д.

Большинство документов публикуется впервые.

ФРОНТОВЫЕ ОЧЕРКИ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ. Том I. Воениздат. М. 1957. 710 стр. Цена 11 р. 55 к.

Кто из советских читателей не помнит очерка военного журналиста П. Лидова «Таня»? В суровый 1941 год на газетном листе П. Лидов впервые поведал миллионам людей об удивительном подвиге восемнадцатилетней девушки, оказавшейся, как потом выяснилось, Зоей Космодемьянской.

А газетные сообщения о «дороге жизни» через Ладогу, очерки о кровопролитнейших боях под Сталинградом, о незабываемых героях-панфиловцах, о поражениях и победах? Из самой гущи боев, по горячим следам событий писали свои сообщения, очерки, заметки советские писатели, ставшие в годы войны военными корреспондентами.

Сборник «Фронтвые очерки» состоит из трех томов. В вышедший первый том включены материалы, относящиеся к 1941—1942 годам и частично первым месяцам 1943 года. Читатель найдет здесь самые разнообразные формы фронтového очерка: и очерки-портреты, и очерки-рассказы, и публицистические выступления, и оперативно-тактические очерки, встретит имена писателей П. Павленко, А. Фадеева, Вс. Вишневского, М. Шолохова, Е. Кригера, Б. Полевого, Л. Соболева, Э. Капиева, Р. Кочара и многих, многих других авторов.

Во второй том сборника вошли очерки, характеризующие боевые действия 1943—1944 годов. Материалы третьего тома отражают освободительные походы Советской Армии в 1945 году, окончательную победу над гитлеровской Германией и разгром японского империализма на Дальнем Востоке. Составитель сборника В. Катинов.

АНАТОЛИЙ АЛЕКСИН. Два очерка. Рассказы и повесть. «Молодая гвардия». М. 1957. 96 стр. Цена 1 р. 40 к.

Анатолий Алексин пишет в этом сборнике о людях хороших, чистых — таких, которые умеют любить и дружить, идут по жизни прямыми, честными путями. Но встречаются среди нас и дельцы, и приспособленцы, и порхающие беззаботно по жизни молодые люди, и те, кто стоит на перекурьбе и кому вовремя оказанная дружеская поддержка помогает встать на ноги, найти свое место в жизни. И о них пишет писатель. Недаром

книга А. Алексина называется «Два очерка». В нее вошли рассказы: «Мимозы», «Неправда», «Два очерка», «Письмо бывшему другу» и повесть «Записки Эльвиры».

ЯПОНСКИЕ ПОВЕСТИ. Сборник произведений прогрессивных японских писателей. «Молодая гвардия». М. 1957. 456 стр. Цена 8 р. 30 к.

Уже самое название сборника не может не привлечь внимания: литература Японии — древняя, богатая и своеобразная — пока еще, к сожалению, очень мало знакома нашему читателю.

Три повести, напечатанные в этой книге, принадлежат современным прогрессивным писателям. Они пронизаны горячим дыханием жизни трудового народа, рисуют его беды и радости, выражают его стремления и мечту к лучшей жизни, воссоздают образы борцов за народное дело. Все три повести носят автобиографический характер.

Первая повесть — «Жизнь для партии» — это волнующий человеческий документ. Автор ее Такидзи Кобаяси, писатель-коммунист, мученически погибший в полицейском застенке с гордыми словами на устах: «Мужайтесь, друзья! Кобаяси не одинок!»

Повесть «Футисо» принадлежит выдающейся современной писательнице (недавно умершей), другу Советского Союза Юрико Миямото. Она рисует широкую картину жизни Японии конца второй мировой войны и первых послевоенных лет.

Наконец, третья повесть — «Жить!» — подлинная история жизни молодой работницы Утако Ямада. Тяжело заболев и находясь на излечении в больнице, Утако Ямада описала горькую судьбу своих родных и близких — обездоленных японских тружеников. Бесыскуственный рассказ талантливой девушки трогает сердце.

Все три повести пользуются широкой популярностью среди японских трудящихся, они с интересом будут прочитаны и советскими людьми.

Г. БЕРДНИКОВ. Чехов-драматург. «Искусство». Л.—М. 1957. 245 стр. Цена 16 р. 30 к.

В свое время К. С. Станиславский писал: «Глава о Чехове еще не кончена, ее еще не прочли как следует, не вникли в ее сущность... Пусть ее раскроют вновь, изучат и дочтут до конца».

Советское литературоведение сделало немало, творчески очищая наследие Чехова от домыслов буржуазно-либеральных фальсификаторов. Однако «глава о Чехове» до сих пор еще не закончена.

Следуя традиции лучших исследователей творчества Чехова, автор новой книги рассматривает драматургию Чехова в органической связи с его прозаическими произведениями. В книге подвергаются подробному разбору и одноактные пьесы Чехова (глава «Чеховский водевиль»).

Конкретный художественный анализ помогает автору показать закономерное развитие чеховского реализма, продолжающего традиции драматургии Гоголя, Тургенева, Островского, Толстого.

Обстоятельный разбор драматических произведений Чехова, сделанный в книге, окажет, несомненно, и практическую помощь театру в создании подлинно чеховских спектаклей.

Л. А. ГЛАДКОВСКАЯ, Е. И. НАУМОВ. А. Серафимович. Д. Фурманов. Семинарий. Издательство Ленинградского университета. 1957. 230 стр. Цена 6 р. 25 к.

Сосдинение двух имен крупнейших советских писателей в этой книге не случайно. Авторы «Семинария» объясняют это так: «Писатели разных поколений, они... были единомышленники, соратники по литературной борьбе, их связывали тесные товарищеские отношения, основанные на творческом взаимопонимании».

Цель, которую ставили перед собой авторы книги, — помочь студентам и преподавателям литературы в изучении творчества А. Серафимовича и Д. Фурманова и представить весь справочный материал о писателях.

Обширный обзор критической литературы, характеристика основных задач изучения творчества обоих писателей, даты их жизни и творчества далают книгу полезной не только для студентов филологических и литературных факультетов и преподавателей литературы; с ней стоит познакомиться всем, кто интересуется творчеством Серафимовича и Фурманова.

Т. Х. КУМЫКОВ. Присоединение Кабарды к России и его прогрессивные последствия. Кабардино-Балкарское книжное издательство. Нальчик. 1957. 136 стр. Цена 1 р. 60 к.

И средь витязей земли,
Осмотревшись, мы впервые
Друга верного нашли:
Это был народ России...—

так писал один из зачинателей кабардинской литературы Б. Пачев.

Стихи эти напечатаны в книге Т. Х. Кумыкова, вышедшей в канун четырехсотлетней годовщины добровольного присоединения Кабарды к России и являющейся кратким очерком истории кабардинского народа. Книга написана популярно и вместе с тем проникнута духом серьезного исследования. Автор по-новому поставил и осветил ряд важных вопросов, таких, как кабардино-русские отношения в XVI—XVIII веках, общественный строй Кабарды, народно-освободительные движения первой половины XIX столетия и, наконец, прогрессивные последствия присоединения Кабарды к Русскому государству.

Заключительные главы посвящены установлению Советской власти в Кабарде и ее расцвету в братской семье народов СССР.

Н. Н. МАКАРОВ, Г. Л. ТАРАСОВ. На восток ст Байкала. Краеведческие очерки о Бурят-Монголии. Бурят-монгольское книжное издательство. Улан-Удэ. 1957. 164 стр. Цена 2 р. 60 к.

Дикий, пищий, глухой, таинственный край... Такова была Бурят-Монголия в прошлом. Авторы, сделав краткий экскурс в историю, рисуют сегодняшнюю Бурят-Монголию. Перед нами проходит ее живописная природа, ее города и села, фабрики, заводы, культурные учреждения, курорты, музеи и заповедники.

Край, не знавший индустрии, имеет ныне около трехсот промышленных предприятий. К 1960 году намечено завершить электрификацию всей Бурят-Монголии. На службу народу все шире ставятся сокровища республики—золото, вольфрам, уголь, мрамор.

Авторы назвали свою работу «краеведческими очерками». Написанные сжато и ярко, эти очерки дают живое представление о стремительном экономическом росте социалистической Бурят-Монголии.

СПАРТАКИАДА НАРОДОВ СССР. «Физкультура и спорт». М. 1957. 154 стр. Цена 14 р. 80 к.

Это издание, объемом в двадцать листов, вполне может быть названо книгой-альбомом: иллюстраций в нем больше, чем текста. Очерки и рисунки рассказывают о захватывающей спортивной борьбе, развернувшейся в прошлом году в финальных соревнованиях спартакиады, происходивших на стадионах и в спортивных залах Москвы. Своеобразный отчет об этом крупнейшем событии в спортивной жизни нашей страны составлен писателями, журналистами, художниками и фотокорреспондентами.

А. СВЕГОВ. Друзья встречаются в Москве. «Физкультура и спорт». М. 1957. 72 стр. Цена 1 р. 10 к.

В книжке рассказывается об истории молодежных игр. Правда, страницы этой истории пока еще не многочисленны: они охватывают период всего лишь в четыре года. До этого спортивные игры входили в программу фестиваля и назывались летними международными студенческими играми. С 1953 года, во время IV Всемирного фестиваля в Бухаресте, были учреждены международные спортивные игры молодежи, что сделало их подлинно массовыми. Вторые международные спортивные игры происходили в Варшаве в 1955 году во время V Всемирного фестиваля.

Автор рассказывает о наиболее интересных эпизодах предыдущих соревнований, о духе подлинной дружбы, которая пронизывала эти яркие праздники молодости. Покидая Варшаву, молодые посланцы стран мира приняли обращение к молодежи, которое заканчивалось словами: «Объединимся для защиты нашей юности, наших надежд, прогресса, светлого будущего человечества!»

СДАЮТСЯ В ПЕЧАТЬ...

Много книг, брошюр, альбомов, плакатов в честь VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов выпустили наши издательства. Одновременно с фестивалем проводятся и III Международные дружеские спортивные игры молодежи. Выходящие из печати книги издательства «Физкультура и спорт» посвящены этому красочному празднику юности, силы и ловкости, советским спортсменам, с честью защищающим спортивную честь своей Родины, различным соревнованиям.

Еще свежо в памяти выдающееся событие международной спортивной жизни, где в полном блеске проявилось высокое мастерство спортсменов Советского Союза — XVI Олимпийские игры, происходившие в прошлом году. Повествующая о них книга называется «В далеком Мельбурне». Авторы А. Кулешов, П. Соболев, журналисты, присутствовавшие на играх, рассказывают о напряженной борьбе, развернувшейся на олимпиаде, о победителях этих соревнований, на которых командное первенство завоевали представители СССР.

Читатели книги Г. Колодного и В. Зверева «Спортивная Москва» познакомятся со спортивными рекордами Москвы и Советского Союза, с мастерами спорта — москвичами, со спортивными организациями и сооружениями столицы СССР. Книга представляет собой полезный справочник с указанием адресов и маршрутов.

Выходит из печати ряд буклетов (фото-очерков), посвященных выдающимся спортсменам и отдельным видам спорта. Назовем некоторые из них: «Виктор Чукарин» Е. Симонова, «Владимир Куц» Р. Поляковой, «Аркадий Воробьев» И. Борисова, «Современное пятиборье» Е. Эбель, «Гребцы олимпийцы» Б. Сливко; «Велосипедный спорт в СССР» А. Красникова, «Стрелковый спорт в СССР» Ю. Палычева.

Перед коллективом авторов книги «Физическая культура и спорт в СССР» стояла важная задача не только показать успехи и достижения наших спортсменов, не раз за последние годы обновлявших мировые и европейские рекорды, но и напоминать о том, что физкультура и спорт — могучее средство оздоровления широких масс трудящихся. Книга эта выйдет в свет к сорокалетию Великой Октябрьской социалистической революции.

Книга «Родителям о физическом воспитании детей» (руководитель коллектива авторов — доктор педагогических наук В. Яковлев) подчеркивает большое значение физических упражнений для здоровья и правильного развития детей. Е. Бабаева в книге «Производственная гимнастика» рассказывает о положительном воздействии на организм человека физкультурной паузы в процессе труда.

Многочисленные «болельщики» футбола несомненно с интересом прочтут книгу заслуженного мастера спорта В. Гранаткина «Международные встречи советских футболистов».

Хорошо известно, что советские шахматисты и шахматистки прочно удерживают звания чемпионов мира — личные и командные. Не последнюю роль в этом играет многочисленная шахматная литература, выходящая у нас солидными тиражами. (К слову сказать, Комитету по делам физической культуры и спорта пора бы подумать о возобновлении издававшейся до войны шахматной газеты.) Все же нужно бросить в адрес издательства «Физкультура и спорт» упрек в том, что книги, посвященные даже важнейшим шахматным соревнованиям, выходят с очень большим опозданием.

Среди более чем десяти шахматных книг, выпуск которых запланирован до конца нынешнего года, наибольший интерес представляют «Турнир в Амстердаме» (встреча претендентов на матч с чемпионом мира в 1956 году) и «Межзональный турнир в 1955 году в Гетеборге».

Недавно в Праге состоялось очередное совещание руководящих работников физкультурных издательств социалистических стран. Были подведены итоги международного сотрудничества издательств и намечены мероприятия, касающиеся совместной работы по созданию массовых книг, пропагандирующих спорт. В нынешнем году издательства Чехословакии, ГДР и Польши уже выпустили на трех языках идентичную книгу о велогонке мира.

Совещание рекомендовало всем спортивным издательствам привлекать для создания художественных произведений о спорте и спортсменах лучших писателей и поэтов своих стран.

Решено в будущем году издать книги «Спортивный юмор» и «Спорт в иллюстрациях». Издательства Чехословакии, СССР, ГДР, Польши, Венгрии, Болгарии, Румынии начали уже привлекать авторов для создания новелл, басен, фельетонов, юмористических рассказов. Каждое из этих произведений будет переведено на ряд языков и одновременно издано в нескольких странах.

Совещание решило также выпустить энциклопедический словарь по физической культуре и спорту. Его словарь составлен советским издательством «Физкультура и спорт».

Новая коллективная форма работы издательств стран социалистического лагеря — еще один пример плодотворного сотрудничества братских народов.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ГОСПОЛИТИЗДАТ

Ленин о воспроизводстве и экономических кризисах. 296 стр. Цена 5 р. 50 к.

Н. К. Крупская. В Октябрьские дни. 32 стр. Цена 30 к.

Р. Лавров. Десятая Всероссийская конференция РКП(б). 40 стр. Цена 45 к.

Георгий Дмитриев. Избранные произведения. Издание в двух томах. Том 1. 528 стр. Цена 11 р.

М. Бреннер. Нефть. 148 стр. Цена 2 р. 30 к.

М. Е. Добрускин. Культурное строительство в Народной Болгарии. 132 стр. Цена 1 р. 60 к.

Н. Ковальский. Итальянский народ — против фашизма. 184 стр. Цена 2 р. 25 к.

Лю Юн-ань. Демократическое и социалистическое строительство в Северо-Восточном Китае. 240 стр. Цена 4 р. 50 к.

Материалы III съезда Албанской партии труда. 432 стр. Цена 7 р. 30 к.

Материалы VIII съезда Итальянской коммунистической партии. 344 стр. Цена 6 р. 20 к.

Е. Подвигина. Партия — организатор трудового подъема в борьбе за развитие тяжелой индустрии. 160 стр. Цена 2 р.

В. Поляков. Калиновка идет вперед. 96 стр. Цена 1 р. 10 к.

Н. Ребрикова. Таиланд. 104 стр. Цена 1 р. 25 к.

Джон Рид. Десять дней, которые потрясли мир. 352 стр. Цена 12 р.

Современный субъективный идеализм. Критические очерки. 528 стр. Цена 9 р.

Страны социализма и капитализма в цифрах. (Статистические материалы для пропагандистов). 128 стр. Цена 1 р. 75 к.

А. Трофимов. Рабочее движение в России 1861—1894 гг. 200 стр. Цена 2 р. 50 к.

ИЗДАНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

Заседания Верховного Совета РСФСР четвертого созыва. Четвертая сессия (28—29 мая 1957 г.). Стенографический отчет. 208 стр. Цена 5 р.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

И. Авраменко. Дом на Мойке. Роман в стихах. 192 стр. Цена 5 р. 65 к.

С. Айни. Бухара. Перевод с таджикского. 244 стр. Цена 4 р. 60 к.

С. Бондарин. Лирические рассказы. 432 стр. Цена 7 р. 25 к.

И. Гази. За городом, за Казанью. Роман. Перевод с татарского. 288 стр. Цена 5 р. 75 к.

М. Гирнык. Ромашки. Стихи. Перевод с украинского. 88 стр. Цена 1 р.

Р. Достян. Два человека. Повесть. 119 стр. Цена 1 р. 85 к.

А. Караганов. Александр Афиногенов. Критико-биографический очерк. 196 стр. Цена 3 р. 25 к.

В. Карбовская. Мраморный бюст. Рассказы. 256 стр. Цена 4 р. 45 к.

А. Корнев. Пречистый бор. Стихи. 176 стр. Цена 2 р. 70 к.

В. Корзун. Коста Хетагуров. 204 стр. Цена 5 р. 25 к.

Ю. Корольков. Тайны войны. Роман. 671 стр. Цена 13 р. 15 к.

А. Лебеденко. Лицом к лицу. Роман. 639 стр. Цена 11 р. 5 к.

Е. Любарева. Александр Твардовский. 188 стр. Цена 3 р. 25 к.

В. Мозуринас. Стихотворения. Перевод с литовского. 124 стр. Цена 1 р. 30 к.

Г. Некрасов. Утро твое. Стихи. 111 стр. Цена 1 р. 65 к.

Л. Ошанин. Стихи о любви. 180 стр. Цена 3 р. 90 к.

Н. Полякова. Журавли над Мстою. Стихи. 88 стр. Цена 1 р. 40 к.

М. Пришвин. Глаза земли. 467 стр. Цена 7 р.

О. Сарывелли. Книга моей жизни. Стихи. Перевод с азербайджанского. 96 стр. Цена 2 р.

С. Сорин. Товарищ Дзержинский. Поэма. 64 стр. Цена 1 р. 25 к.

С. Спасский. Два романа. 775 стр. Цена 12 р. 60 к.

С. Федорченко. Отрочество Семигорова. Роман. 380 стр. Цена 6 р. 30 к.

К. Финн. Драмы и комедии. 490 стр. Цена 12 р.

А. Шевченко. Песня-загадка. Рассказы и очерки. 288 стр. Цена 3 р. 20 к.

ГОСЛИТИЗДАТ

Ба Цзипь. Осень. Роман. Перевод с китайского. 528 стр. Цена 10 р.

Валерий Брюсов. Стихотворения. Поэмы. 335 стр. Цена 4 р. 55 к.

А. Ф. Вельтман. Приключения, почерпнутые из моря житейского. Саломея. 576 стр. Цена 10 р. 65 к.

Радое Доманович. Страдия. Повесть. Перевод с сербско-хорватского. 79 стр. Цена 80 к.

Вера Инбер. Стихи и поэмы. 239 стр. Цена 4 р. 25 к.

Алим Кешоков. Стихотворения. Поэмы. Перевод с кабардинского. 336 стр. Цена 7 р. 40 к.

Мария Майерова. Лучший из миров. Роман. Перевод с чешского. 315 стр. Цена 6 р. 50 к.

Панас Мирный. Гулящая. Роман. Перевод с украинского. 576 стр. Цена 9 р. 35 к.

Е. Михайлова. Проза Лермонтова. 383 стр. Цена 9 р. 85 к.

Ж.-Б. Мольер. Собрание сочинений. В двух томах. Перевод с французского. Том 1. 675 стр. Цена 9 р. 35 к. Том 2. 703 стр. Цена 10 р. 45 к.

Монгольская поэзия. Сборник. Перевод с монгольского. 191 стр. Цена 4 р. 30 к.

Н. Ф. Павлов. Повести и стихи. 358 стр. Цена 6 р. 85 к.

Семен Розенфельд. Повесть о Шалапине. 263 стр. Цена 2 р. 50 к.

Михаил Садовяну. Избранные произведения. Переводы с румынского. 360 стр. Цена 7 р.

Стихи пенджабских поэтов. Перевод с пенджаби. 170 стр. Цена 3 р. 80 к.

Тугельбай Сыдыкбеков. Люди наших дней. Роман. Авторизованный перевод с киргизского. 343 стр. Цена 7 р. 35 к.

Рабиндранат Тагор. Рассказы. Перевод с бенгальского. 431 стр. Цена 8 р. 10 к.

Тициан Табидзе. Избранное. Перевод с грузинского. 235 стр. Цена 4 р. 95 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

П. Барашев. Спутники Ориона. 150 стр. Цена 2 р. 25 к.

Н. Бирюков. Первый гром. Повесть. 288 стр. Цена 6 р. 10 к.

Н. Бобров, А. Винокуров. По волнам воздушного океана. Очерки. 224 стр. Цена 4 р. 75 к.

С. Гегузин, Т. Яковлев. Пятый орден на знамени комсомола. 159 стр. Цена 95 к.

Д. Данин. Добрый атом. 96 стр. Цена 1 р. 45 к.

М. Жешко. Моя работа с активом. 72 стр. Цена 95 к.

Е. Златова, В. Котельников. Путешествие по Молдавии. 304 стр. Цена 8 р. 20 к.

М. Колесников. Удар, пересекающий горы. Роман. 232 стр. Цена 5 р. 90 к.

Бегал Куашев. Моя родина. Стихи и поэмы. 64 стр. Цена 1 р. 90 к.

Кайсын Кулиев. Хлеб и роза. Стихи. Перевод с балкарского. 255 стр. Цена 3 р. 55 к.

Бекмурза Пачев. Верные слова. Стихи. 192 стр. Цена 4 р. 10 к.

Пионерский театр кукол. Сборник. 232 стр. Цена 14 р. 5 к.

Виктор Хмара. От Лондона до Москвы. 48 стр. Цена 95 к.

В. Чивилихин. Живая сила. Очерк. 168 стр. Цена 2 р. 35 к.

В. Н. Шнитников. Звери и птицы нашей страны. 256 стр. Цена 10 р. 90 к.

ДЕТГИЗ

Болгарские сказки. Перевод с болгарского. 112 стр. Цена 5 р. 80 к.

Н. Брыкин. Искушение. Роман. 428 стр. Цена 7 р. 80 к.

В. Важдаев. Ганс Христиан Андерсен. Очерки жизни и творчества. 120 стр. Цена 4 р. 10 к.

А. Волков. Земля и небо. 192 стр. Цена 8 р. 60 к.

П. Комаров. Приамурье мое. Стихи и рассказы. 240 стр. Цена 4 р.

А. Кузнецова. Жизнь зовет. Повесть. 160 стр. Цена 2 р. 30 к.

Латышская детская литература. 1940—1955. Библиографический указатель. 208 стр. Цена 4 р.

А. Линдгрэн. Малыш и Карлсон, который живет на крыше. Перевод со шведского. 136 стр. Цена 3 р.

Мир Джалал. Манифест молодого человека. Повесть. Перевод с азербайджанского. 200 стр. Цена 4 р. 50 к.

А. Поповкин. Ясная Поляна. 96 стр. Цена 4 р. 70 к.

П. Чанд. Змеинный камень. Рассказы. Перевод с хинди. 128 стр. Цена 4 р. 80 к.

Н. Чуковский. Двое. Рассказы. 112 стр. Цена 2 р. 45 к.

М. Шошин. Юность. Повесть. 64 стр. Цена 1 р.

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

Вопросы повышения скоростей движения на транспорте. 237 стр. Цена 14 р. 85 к.

А. П. Гальцов. Анализ климатообразующих процессов. 206 стр. Цена 7 р. 20 к.

Н. Н. Гусев. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1855 по 1869 г. 916 стр. Цена 35 р.

М. В. Дмитриев. Вопросы формирования и снижения себестоимости продукции в легкой промышленности. 346 стр. Цена 11 р. 90 к.

История Кабарды. 294 стр. Цена 15 р. 90 к.

И. Левин и В. Мамаев. Государственный строй стран арабского Востока. 311 стр. Цена 10 р. 70 к.

Н. А. Маринов. Стратиграфия Монгольской Народной Республики. 268 стр. Цена 17 р.

Е. М. Савицкий. Влияние температуры на механические свойства металлов и сплавов. 294 стр. Цена 18 р. 25 к.

Физико-химические основы производства стали. 800 стр. Цена 40 р.

Г. Ф. Хильми. Теоретическая биогеофизика леса. 205 стр. Цена 6 р. 45 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК РСФСР

А. М. Гукасова. Трудовое воспитание в загородном пионерском лагере. 120 стр. Цена 1 р. 65 к.

И. М. Забелин. Основные проблемы теории физической географии. 104 стр. Цена 1 р. 45 к.

Из опыта воспитательной работы в начальных классах школы. 84 стр. Цена 1 р. 25 к.

А. Н. Матвеева. Наблюдения и географические экскурсии в природу. 96 стр. Цена 1 р. 20 к.

А. В. Половцев. Избранные педагогические труды. 132 стр. Цена 3 р. 95 к.

Спорт в школе. Сборник. 480 стр. Цена 8 р. 45 к.

ГЕОГРАФИЗ

Мухамед Али. Афганистан. Новый путешественник. 144 стр. Цена 4 р. 50 к.

Г. Бауэр. Книга о слонах. 152 стр. Цена 2 р. 70 к.

Г. В. Карпов. Чарлз Дарвин. 46 стр. Цена 70 к.

Джим Корбетт. Кумаонские людоеды. 206 стр. Цена 3 р. 20 к.

В. В. Похлебкин. Норвегия. 80 стр. Цена 1 р. 30 к.

А. К. Рождественский. За динозаврами в Гоби. 216 стр. Цена 3 р. 20 к.

А. Ф. Трещников, В. М. Пасецкий. Соломон Андрэ. 46 стр. Цена 70 к.

Э. Шеклтон. В сердце Антарктики. 448 стр. Цена 16 р. 10 к.

Т. Н. Щеглова. Вьетнам. 183 стр. Цена 4 р. 90 к.

Н. Н. Яковлев. Ирландия. 48 стр. Цена 80 к.

«ИСКУССТВО»

А. Афиногенов. Статьи, дневники, письма. 370 стр. Цена 22 р. 80 к.

И. С. Набатов. Заметки эстрадного сатирика. 152 стр. Цена 9 р. 60 к.

М. Пархоменко. Драматургия Ивана Франко. 104 стр. Цена 3 р. 10 к.

Советская кабардинская драматургия. 214 стр. Цена 7 р. 30 к.

МЕДГИЗ

И. Ф. Лорие. Болезни кишечника. 208 стр. Цена 6 р. 70 к.

Справочник практического врача по физиотерапии. 376 стр. Цена 11 р. 70 к.

А. И. Шиманко и А. К. Мельниченко. Организация фармацевтического дела. 294 стр. Цена 5 р.

Л. Д. Штейнберг. Ревматизм у детей. 284 стр. Цена 9 р. 45 к.

«МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ»

А. Гранитов. Парки и сады Москвы. 86 стр. Цена 1 р. 75 к.

Б. Забелин. Специализация и кооперирование в промышленности. 98 стр. Цена 1 р. 20 к.

П. Зорин. Производство черепицы в колхозах. 94 стр. Цена 1 р. 50 к.

А. Оглоблина. Орехово-Зуево в 1917 году и теперь. 110 стр. Цена 1 р. 35 к.

Подготовка и победа Октябрьской революции в Москве. Документы и материалы. 350 стр. Цена 8 р. 65 к.

А. Прокопович. Технический прогресс в станкостроении. 149 стр. Цена 1 р. 95 к.

М. Ушкалов. Двадцать лет у молота. Опыт новаторов московских предприятий. 34 стр. Цена 55 к.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

История Советской Конституции (в документах). 1917—1956 гг. 1048 стр. Цена 17 р. 75 к.

М. В. Кожевников. История советского суда. 1917—1956 гг. 384 стр. Цена 14 р. 90 к.

В. Ларин. Международное Агентство по атомной энергии. 100 стр. Цена 1 р. 25 к.

Правовые вопросы индивидуального жилищного строительства. 104 стр. Цена 2 р. 85 к.

М. П. Ринг. Вопросы гражданского процесса в практике Верховного Суда СССР. 276 стр. Цена 8 р. 65 к.

К. Г. Федоров. ВЦИК в первые годы Советской власти. 1917—1920 гг. 172 стр. Цена 6 р. 55 к.

Главный редактор **К. М. Симонов**

Редакционная коллегия:

Б. Н. Агапов (зам. главного редактора), **С. Н. Голубов,**
А. Ю. Кривицкий (зам. главного редактора), **Б. А. Лавренев,**
М. К. Луконин, А. М. Марьямов, Е. Успенская, К. А. Федин

Редакция: Москва-Центр, Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес).
Вход с улицы Чехова, 1. Тел. К 5-76-97.

Сдано в набор 2/VII-57 г.

Подписано к печати 10/VIII-57 г.

А 06923. Формат бумаги 70×108/16. 8 1/2 бум. л.—23,29 печ. л. Тираж 140.000 Заказ 1515.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»
имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 9 руб.